

II

296791

РАССКАЗЫ
1954 ГОДА



РАССКАЗЫ 1954 ГОДА



*Советский писатель
Москва ~ 1955*

Нора Адамьян

ТРУДНАЯ ВСТРЕЧА

Седа Александровна смотрела, как они шли навстречу ей по аллее роз — невысокий, мальчишески сухощавый мужчина и плотная, загорелая девочка с круглыми карими глазами.

«Ему это даже и в голову не приходит... Может быть, потому что Марочка выглядит моложе своего возраста? А если вот сейчас сказать: «Это твоя дочь, твой ребенок?» И оттого, что это было так возможно и легко сделать, Седе Александровне стало страшно, как бывает, когда смотришь вниз с высоты пятиэтажного дома.

— Вот моя мама, — сказала Марочка. — Вы ей тоже расскажете сказку о трех розах?

— Легенду! — поднял кверху палец Каро Леонович. — Но я думаю, мама знает эту историческую легенду?

Седа Александровна не была уверена в этом, но промолчала — и тут же сама на себя рассердилась. Нет, давно, очень давно прошло то время, когда для нее было важно ответить: «Ах, легенду о трех розах?» — и показать, что она знает и эту легенду, и принцип устройства холодильников, и происхождение Млечного Пути, и свадебные обряды полинезийцев, и еще черт знает что.

«Почему я сержусь? — с грустью подумала Седа Александровна. — Чего я хочу от него? Чтобы он узнал Марочку? Разве это возможно?»

Она шла немного впереди Каро Леоновича и Марочки, будто открывая гостю свое хозяйство. По обе стороны широкой аллеи стояли массивные темнозеленые кусты,

осыпанные тяжелыми розами. С высоких подпорок свешивались головки красных и белых цветов. Выющиеся розы раскинули свои стебли вдоль дорожки, обвивали деревянные рейки, тянулись к стволам сосен, украшая все на своем пути яркими гроздьями.

— Ты видел наш первый парк? — спросила Седа Александровна.

— Как же, мне Марочка продемонстрировала все его достопримечательности.

— Ну, там больше декоративная зелень. А вот сейчас ты увидишь наши основные достижения.

Розовая аллея сразу и вместе с тем неприметно перешла в лесную тропинку, скользкую от опавшей хвои. Вокруг поднимались сосны. Лес казался дремучим, но скоро меж стволами появился просвет. У ровной, словно по линейке отрезанной полосы леса начинался цветочный парк.

Седа Александровна знала, какое впечатление он производит на посетителей цветочного сада. У последних сосен она обычно отходила в сторону от дороги и наблюдала за людьми, перед которыми открывалось широкое пространство, покрытое цветами.

— Третий участок — наша витрина. Там мы показываем товар лицом, — говорила она своим сотрудникам.

Цветы в парке были подобраны по тону. Они стлались по земле, поднимались выше человеческого роста, шли густыми полосами, составляли клумбы-букеты и клумбы-корзины.

— Фантастика! — закричал Каро Леонович. — Где вы взяли эти гладиолусы? Какая насыщенность красок!

— Эт-то что такое? Эт-то что, я спрашиваю?! — кто-то кричал очень близко сердитым голосом, с придыханием.

Марочка сорвалась с места, потянув за собой Каро Леоновича. Седа Александровна торопливо пошла за ними.

У поворота дорожки невысокий толстый старичок держал большеголового мальчугана за подол майки. Рядом, засунув руки в карманы когда-то белых брюк, стоял белокурый, докрасна обожженный солнцем юноша.

Преступление не нуждалось в доказательствах. В руках у мальчугана был длинный, почти с него самого ростом, стебель гладиолуса.

— Сломал! — торжествующе закричал старичок на встречу Седе Александровне. — Пожалуйста!

Увидя новых свидетелей, мальчик рванулся в сторону, но безуспешно. Рядом с ним уже стояла Марочка, спокойно рассматривая его большими глазами.

— Ты новенький, да? — И хотя мальчик ничего не отвечал, она крикнула матери: — Он новенький, мама, он только сегодня приехал!

— Да пустите вы его, Григорий Ефремович! Куда он денется в самом деле? — недовольно проговорила Седа Александровна.

— Пожалуйста, я его пушу! — закричал Григорий Ефремович, еще крепче ухватив майку. — Но вы, может быть, не рассмотрели, на что он покусился?

Седа Александровна отлично рассмотрела. Это был один из лучших экземпляров недавно выведенного сорта. Растение предполагалось оставить на семена.

— Что ж теперь, убить его, что ли?.. Этот цветок мы назвали «северным сиянием». — Она взяла из рук мальчика плотный стебель с крупными цветами и, высоко подняв, повертела им в воздухе.

— Я не знал! — вдруг отчаянно выкрикнул маленький пленник. — Я думал — это просто так растут...

— Ах, ты думал, что это полевые цветочки? — переспросил Григорий Ефремович. — Букетик хотел нарвать?

— Простите, но это, может быть, правда, — вмешался Каро Леонович. — Я, знаете, сам был несколько потрясен, когда вдруг, без всякого предупреждения, в лесу возникла вся эта роскошь.

— Ага! — обрадовался Григорий Ефремович и повернулся к Седе Александровне. — А что я говорю? Что я повторяю вам, товарищ директор, всегда — ежедневно и ежечасно? Мы должны иметь ограждения, то есть забор. Нельзя превращать цветоводство в филиал пионерского лагеря.

Марочка тем временем деловито, применив некоторую силу, по частям вытащила из кулака Григория Ефремовича майку мальчика.

— У вас в лагере уже был звонок на ужин. Я его отведу, хорошо, мама? — И, обернувшись к Каро Леоновичу, Марочка спросила совсем другим, искательным тоном: — Вы это просто так сказали, или вправду придете вечером к костру?

— Я ничего никогда «просто так» не говорю. Если широкая публика изъявит желание, я не откажусь.

— Она изъявит,— быстро проговорила Марочка.— Значит, я скажу Сереже, хорошо?

— А кто такой Сережа?

— Старший вожатый,— ответила за Марочку Седа Александровна и отстранила девочку.— Ступай...

Григорий Ефремович между тем ворчал:

— Конечно, если за все по головке гладить... Сломал ценное растение, дорогая деточка, — беги ужинать... Как хотите, я этого современного воспитания не понимаю и не признаю.

— Какое же это современное воспитание? — перебил старика Каро Леонович.— Если вы вспомните Макаренко, по существу единственного крупного педагога нашего времени, то он определенно высказывался в пользу мер физического воздействия...

Опаленный солнцем юноша громко рассмеялся.

— Напрасно вы так весело смеетесь, молодой человек! — Каро Леонович сощурил глаза.— Я говорю совершенно серьезно. И на практике, и в теории...

— Да что вы мне толкуете! — вдруг бесцеремонно прервал его юноша.— Я сам воспитанник колонии. Чуть все это!

— Позвольте, позвольте! — Каро Леонович вплотную подошел к молодому человеку.— Не надо понимать все так примитивно. Я имел в виду взгляд Антона Семеновича, высказанный им... Хотя, простите, в каком году вы были в колонии?

— Ну, не знаю, какие там взгляды, — упрямо твердил юноша, — а чего не было, того не было. Я воспитывался в подмосковной школе, которой ученик Макаренко заведовал. Я самого Антона Семеновича, конечно, не застал.

— Ага! Вот видите! — обрадовался Каро Леонович.

Седа Александровна, внимательно слушавшая весь этот разговор, теперь обернулась к бухгалтеру:

— Готов счет?

— Счет будет готов завтра утром, — сухо проговорил Григорий Ефремович.— Товарищ Коротков, — он кивнул на опаленного юношу, — уже отобрал, что им надо. А вас Секоян просил прийти в оранжерею.

В оранжерее демонстрировался новый вид флокса — махровый, двухцветный. Распустился он еще утром, но Секоян, старший научный работник цветоводства, решил обнародовать это после рабочего дня. В высокой теплице уже собрались сотрудники, технические работники, молодые студентки-практикантки.

Армо Секоян с равнодушным достоинством стоял в стороне, покручивая пуговицу синего халата. Он сделал свое дело, теперь оценивайте! Но сердце у Секояна трепетало, потому что он был очень тщеславным человеком и любил выслушивать справедливую оценку своих достоинств.

Флокс развернул только несколько цветочков плотной кисти. Крупные белые лепестки каждой розетки были подбиты снизу густомалиновой оборочкой.

Седа Александровна, перед которой все расступились, быстро подошла к растению. Остановившись в нескольких шагах, она оглядела цветок, наклоняя голову то на один бок, то на другой, прищуривая и расширяя свои темные, густо опущенные ресницами глаза.

— Очень эффектно, — одобритительно сказала она наконец. — Не совсем еще представляю себе в больших массивах. Как бы не рябило... — Она еще раз осмотрела растение, удовлетворенно повторила: — Безусловно, эффектен! — и повернулась к гостям, приглашая их полюбоваться и высказать свое мнение.

— Ничего, подходяще, — солидно сказал товарищ Коротков, улыбаясь студенткам-практиканткам, с которыми уже успел познакомиться.

Армо Секоян немедленно бросил на него уничтожающий взгляд. Сейчас все должно было принадлежать ему — улыбки, восхищение девушек, признание начальства, уважение общественности. Завтра он снова примется за работу, словоохотливый, суетливый, незаметный. Завтра ему ничего не надо, но сегодня — его день.

— Продолжительность цветения — июнь-сентябрь, — сказал он надменно.

— Что ж, — живо отозвался Каро Леонович, — это обычный срок для флоксов, как мне кажется. — Он подошел вплотную к цветку и даже нагнулся, чтобы рассмотреть его толстый стебель у основания. — Так... Семейство синюховых... Родина — Северная Америка... Если не ошибаюсь, их сейчас насчитывается около сорока пяти видов?

С Армо Секояна моментально слетела неприступность.

— Шестьдесят! — сказал он внушительно. — Шестьдесят! Причем двадцать из них выведено в Советском Союзе, а три — именно в нашем цветоводстве...

— Армо Секояном! — ловко оставила Седа Александровна.

Старший научный работник с достоинством опустил глаза.

— Путем скрещивания? Или вегетативной гибридизацией? — И, не дав ответить загоревшемуся вдохновением Секояну, Каро Леонович обвел всех веселыми глазами:

— А вот кто из присутствующих скажет, когда впервые в истории ботаники было упомянуто об изменении человеком форм растительного мира?

Седа Александровна с досадой отвернулась. Она знала, что на этот вопрос не ответит никто. Больше того — знала, что на него и невозможно ответить.

— Товарищ Секоян, — нарочно очень громко спросила она, — а как насчет морозоустойчивости?

Но это не помогло. И сотрудники, и девушки-студентки, и приезжий заказчик — все отхлынули от махрового флокса, привлеченные рассказом о всяких садах Семирамиды, о цветах царицы Клеопатры...

— А вот вы, ботаники, знаете ли, что значит карат? — звучал бодрый голос Каро Леоновича.

— Мера веса драгоценных камней? — неуверенным тоном ученицы ответила одна из практиканток. — Но при чем тут ботаника?

— О-о! Значит, не знаете? Ну, так это не больше и не меньше, как семена цареградского стручка. Случалось вам есть так называемый сладкий рожок? Именно его семена служили ювелирам мерой веса под названием каратов...

«Ну, хорошо, — думала Седа Александровна, — ну, эрудиция, желание блеснуть... Вероятно, в молодости это было простительно. Но неужели жизнь ничему его не научила? Ведь должен же он понять, что человек рядом страдает? Как можно этого не видеть!»

Армо Секоян стоял нахохлившийся и с преувеличенным вниманием рассматривал какой-то росток. Но никто этого не замечал. Увлекая слушателей, Каро Леонович

вышел из оранжерей. Необходимо было сказать Секоюну что-нибудь ободряющее.

— Я думаю, и в больших массивах ваш флокс будет очень хорош. Как раз то, что нужно для бульваров, набережных...

Изо всех сил стараясь быть объективным, Армо Секоюн сказал прерывающимся от волнения голосом:

— Очень эрудированный товарищ... Доставляет большое удовольствие его слушать. Особенно эти экскурсии в историю... Что — он будет у нас работать?

— А, бросьте! — Седа Александровна махнула рукой. — Он вовсе и не ботаник.

Густосиреневое небо быстро темнело. От леса веяло прохладой. Приснувшие к ночи душистый табак и неприметная маттиола подняли головки и заблагоухали, отесняя все другие ароматы. Над ними вибрировали толстые серые ночные бабочки и запускали в глубину цветка длинный, похожий на часовую спираль хоботок. Издали доносились приглушенные расстоянием голоса и тяжелые шлепки мяча. Это в лагере доигрывали партию в волейбол.

«Стать бы одной из тех девочек, которые там прыгают возле сетки,— думала Седа Александровна: — еще никаких ошибок, никакой ответственности...»

Она села на скамеечку под большим кустом, обхватив руками колени. Трудно давался ей этот день. Нет, она не хотела бы ни с кем меняться своей судьбой! Даже за сияющую молодость не отдала бы она своего места в жизни, своего дела и главное — Марочку.

Когда-то она мечтала о сыне. О красивом, идеальном ребенке. В мечтах она с гордостью показывала его этому человеку. «Да, это твой сын, — говорила она спокойно и гордо, — но ты не имеешь на него никаких прав». Так собиралась она мстить за обиду, за одиночество, за свою большую, неразделенную любовь.

Родилась самая обыкновенная девочка — с капризами, упрямая. Недавно Марочка заявила матери, что никогда не сможет стать героем, потому что совсем не выносит физической боли. По арифметике у нее одни тройки. И тем не менее Марочка, живая, правдивая, любящая, была дороже всего на свете. Ей принадлежало все

лучшее в жизни. Имела ли Седа Александровна право лишить ее отца во имя своих старых обид?

В этот момент рядом кто-то убежденно сказал:

— Седа Александровна, я понимаю ваше негодование, и вы вполне правы. Вполне!

— Это Сережа? — спросила Седа Александровна, всматриваясь в темноту.

— Да, — ответил невидимый пионервожатый лагеря. — Я вас искал по всей территории. Мы не оправдали вашего доверия. Но я даю слово, что подобный позорный случай больше не повторится.

— Это вы про мальчика, который сорвал гладиолус? Я знаю, что тут простая случайность. Не огорчайтесь.

— Нет, это вопрос принципиальный! — заволновался Сережа. — Нам доверились, перед нами раскрыли все ворота...

— Да ведь ворот нету.

— Тем более! Я знаю, что в душе вы все-таки сердитесь. Мы сейчас, перед костром, обсудили этот вопрос. Старшие ребята постановили три дня работать в цветоводстве. Необходимо загладить недостойный поступок...

— О, это меня может заинтересовать! А если серьезно, то что вы сможете делать?

— Всё. Землю рыть, камни таскать, поливать...

— Это мне подходит! — засмеялась Седа Александровна. — Кроме шуток, Сережа: нам в понедельник привезут корчевальную машину — тогда действительно нашим ребятам работа найдется.

— Какие могут быть шутки! Я вам таких ребят поставлю — звери, а не ребята. Ну, побежал... Марочка сагитировала этого профессора, он нам доклад делает. Большущий костер разводим... Может, и вы придете?

— Может быть... Это вам Марочка сказала, что он профессор?

Сережа не ответил. Он исчез в темноте так же бесшумно и быстро, как и появился. Седа Александровна медленно пошла по дорожке, сереющей в зарослях цветов. Потом она вступила в лес и во мраке переходила от сосны к сосне, пока пламя огромного костра не блеснуло ей в глаза. Костер был разведен посередине открытой лужайки. Седа Александровна прислонилась к широкому теплому стволу, осторожно, чтобы не испачкать смолой нарядное платье.

Отсюда ей хорошо был виден костер и озаренные светом ребячьи лица. Почти все уже расселись, только некоторые из малышей никак не могли устроиться. Возле них хлопотала Марочка. Она покрикивала на мальчиков, подкатывающих к костру большое бревно, втаскивала на него малышей, оправляла на них платица и наконец уселась на краешек бревна, торжественно сложив на коленях руки.

«Как она здесь уверенно держится!» — усмехнулась Седа Александровна.

Впрочем, вряд ли было на земле такое место, где Марочка держалась бы иначе. Она всегда находила кого опекать, о ком позаботиться и, таким образом, везде становилась хозяйкой положения.

Седу Александровну заметили. Марочка снова хлопотала, отыскивая для нее место. Каро Леонович улыбнулся своей мальчишеской улыбкой, обнажающей красивые зубы. Но Седа нетерпеливым жестом остановила Марочкино рвение, слегка кивнула гостю и осталась стоять у сосны.

К костру вышел Сережа и сказал ребятам, что с ними проведет беседу ученый-экономист Каро Леонович Сарксян. Седа Александровна внимательно прислушалась: нет, Сережа не назвал его профессором.

Каро Леонович подошел к костру, подняв руку не то для приветствия, не то для того, чтобы утихомирить щедрые ребячьи аплодисменты.

— Я поделюсь с вами впечатлениями о поездке делегации нашей республики в страны Ближнего Востока.

Он повернул голову и чуть прищуренными глазами посмотрел на Седу Александровну.

«Ах, так! — подумала она. — Вы участвовали в такой поездке? Это, конечно, показатель жизненного успеха!»

Каро Леонович начал свой рассказ с забавного эпизода. Члены делегации ехали по пустыне на автомашинах. У одного из колодцев-оазисов две женщины — известная артистка и молодая колхозница, Герой Труда — решили немного почиститься от пыли и умыться. Мужчины отъехали подальше и стали ждать своих спутниц. Проходит час, два, а их все нет. Наконец встревожились, повернули машины обратно — и что же увидели? Огромный таун верблюдов пришел из пустыни на запах воды. Верблюды окружили колодец и так тесно сомкнули коль-

то, что женщины никак не могли выбраться. Им пришлось доставать ведром воду из колодца и пить животных. Они все черпали и черпали воду и уже выбились из сил, отчаялись, потому что верблюдов было множество и им всем хотелось пить...

Деги у костра смеялись. Седа Александровна смотрела на Марочку. Девочка вся подалась вперед. На ее круглом личике отражалось восхищение. Иногда она торжествующе оглядывалась — все ли слушают, всем ли интересно? — и, удовлетворенная, счастливая, снова обращала к рассказчику свои ясные глаза.

«Что ж удивительного! — с горечью думала Седа Александровна, — Говорить он умеет! Но для чего, для чего после стольких лет полного молчаливого разрыва он явился сюда?..»

Седа Александровна нащупала в кармане измятое письмо. Оно было короткое и без обращения.

«Отдыхая в санатории, я совершенно случайно узнал, что Седа Караян живет и работает так близко. Презрев золотое правило — не позволять настоящему вторгаться в хрупкие владения прошлого, — я захотел вспомнить время, когда мы были молоды, беспечны и даже, кажется, счастливы. Своим посещением прославленного цветоводства я никого и ни к чему не обязываю...»

Хрупкие владения прошлого! Седа Александровна вспомнила, как родила Марочку в маленькой больнице малознакомого города. Рядом с ней лежала такая же молодая мать. Ее родные день и ночь дежурили у больницы, ее завалили цветами, передачами, письмами. Ее крикливому красненькому ребенку готовили торжественную встречу. А Марочка с первых дней была смугленькая, пушистая, спокойная. Но ей никто, кроме матери, не радовался, никто не писал записок с вопросами о ее здоровье, никто не ждал ее у выхода из больницы.

«Но чего я хочу от него? — опять и опять спрашивала себя Седа Александровна. — Разве он знал о существовании ребенка? Не о своих женских обидах я должна сейчас думать, не свои счета сводить...»

Костер уже догорал. Пламя больше не вырывалось вверх веселыми, танцующими лоскутками. Груда раскаленных углей сияла в темноте.

Каро Леонович говорил, оглядывая всех ребят; говорил негромко, но очень отчетливо:

— Эта встреча произошла на одной из маленьких ту-рецких станций, когда делегация уже возвращалась до-мой. Едва светало, в купе было душно, не спалось, и лю-ди вышли к дверям вагона. На станции никого не было, да и какая это была станция! Несколько глинобитных домиков, несколько искривленных, пыльных деревьев, а кругом выжженная степь. Все уже собирались вернуть-ся в вагон, но вдруг увидели странную фигурку. Вдоль поезда шел маленький мальчик, и всех удивило, что он шатался, словно пьяный. Только когда он подошел бли-же, стало понятно, что мальчик спал на ходу. В руках у него были огурцы, большие, желтые, несъедобные. Ре-бенку так хотелось спать, что у него не было сил предла-гать свой товар. Но он все шел и шел по насыпи, шатаясь и спотыкаясь. Когда его окликнули, мальчик не сразу проснулся, не понимая, чего от него хотят. Но когда со-образил, что может продать эти огурцы, то весь затрепет-ал от волнения. Ему дали денег, сказали: «Иди спать, не надо нам ничего», — но он все торопливо вынимал из-за пазухи такие же желтые, переспелые огурцы. И когда поезд тронулся, он все бежал за вагоном, сон-ный, маленький, протягивая к нам руки...

— А мы в это время спали! — вдруг громко и горе-стно сказала Марочка.

— Да, — подтвердил Каро Леонович, — вы спали. И для меня было счастьем подумать, что дети Советской страны спокойно спят в этот час.

В лагере резко зазвучал звонок, и тотчас рядом с фи-гурой Каро Леоновича у костра возник Сережа.

— Еще! — кричали ребят. — Еще немного! Десять минут! Минутку!

— Дисциплина, — коротко сказал Сережа. — Де-журным — залить костер. Остальные — по спальням.

Нельзя было не подчиниться этим коротким приказа-ниям.

Седа Александровна вышла на освещенную взошед-шей луной дорожку навстречу Каро Леоновичу и Ма-рочке.

Марочка была взбудоражена.

— Почему вы его не взяли с собой? — требовательно спрашивала она, вцепившись в руку Каро Леоновича. — Он, наверно, кушать хотел. Вы должны были взять его с собой в поезд!

— Но, быть может, он не хотел ехать с нами, — серьезно отвечал Каро Леонович. — Возможно, у него на этой станции были родители.

— Родители! — презрительно фыркнула Марочка. — Это что за родители, которые посылают своих детей продавать огурцы! Если родители не могут воспитывать детей, на что ж они нужны?

— Пойдемте чай пить, — быстро сказала Седа Александровна. — А где этот загорелый товарищ? Он ведь тоже здесь где-то был. Я его хотела позвать к чаю.

— Его уже пригласили, — сообщила всезнающая Марочка. — Его Ирочка пригласила к студенткам. У них сегодня малиновое варенье.

— Да, — засмеялся Каро Леонович, — малиновое варенье плюс двадцать лет. Как бы мы ни любили малиновое варенье, боюсь, что нам оно уже недоступно...

— У нас есть вишневое. А вы правда любите малиновое? У нас еще пирог есть.

— Ну, против пирога устоять невозможно! Идем, найдем, съедим пирог!

Марочка подхватила веселый ритм, и они, взявшись за руки, в такт отпечатывали шаги по дорожке парка:

И-дем,
Най-дем,
Сье-дим,
Пи-рог...

Седа Александровна шла чуть позади и первая услышала за собой торопливые шаги Сережи.

— Товарищ Сарксян, — сказал запыхавшийся Сережа, — я... то есть мы не успели поблагодарить вас за ваш замечательный доклад. От имени нашего лагеря...

— Во-первых, это был не доклад, — строго прервал его Каро Леонович. — Во-вторых, мне вполне достаточно отношения детей к моему рассказу, который вы так своевременно оборвали.

Сережа растерялся.

— У нас очень строгий режим, — попытался он оправдаться. — Вы знаете, я отвечаю...

— Ах, вы отвечаете! Ну, тогда, конечно, о чем и говорить...

И Каро Леонович с Марочкой снова зашагали по дорожке, пришлепывая ногами.

И-дем,
Най-дем,
Сье-дим,
Пи-рог...

— За что ты его так оборвал? — вполголоса спросила Седа Александровна, когда они достаточно уже отошли от того места, где остался огорченный Сережа.

— Не люблю начетчиков, — сейчас же отозвался Каро Леонович, как будто ожидавший этого вопроса. — К дисциплине тоже надо относиться сознательно. Прежде всего решить вопрос, что важнее: лечь ли детям ровно в установленный час или нарушить на несколько минут режим, но зато дать им возможность узнать новые вещи, которые расширяют их кругозор, вырабатывают мирозерцание? Но, видите ли, «он отвечает» — и с точностью автомата, не задавая себе никаких вопросов, соблюдает свой режим. Ну, сама определи, не прав ли я?

— Насколько я помню, ты всегда прав. Во всяком споре я тебе оставалась должна две копейки.

Седе Александровне не хотелось сейчас вступать в пререкания. Крепко держа за руку Каро Леоновича, Марочка уцепилась за платье матери. Так шли они втроем в лунной прохладной тишине. Это создавало новое, не изведенное Седой Александровной чувство семьи. Еще больше усилилось это чувство, когда они сидели на веранде домика, увитого вьющимися растениями. Вокруг настольной лампы метались серенькие бабочки. Тихо звякала чайная посуда. Марочка без умолку о чем-то рассказывала, а Седа Александровна сидела молчаливая и задумчивая.

— Я очень похожа на своего папу, — вдруг услышала она. — Мой папа не любил фотографироваться, и я не люблю. У меня всегда лицо глупое выходит и глаза выпученные. Вот потому, когда он погиб на войне, у нас никаких его карточек не осталось. Только одна, и то лица не разобрать.

— Марочка, иди вымой ноги и ложись спать, — сказала Седа Александровна.

— Ох, мамуль, ну, еще минутку!

— Не заставляй меня повторять.

Марочка медленно вылезла из-за стола и пошла в комнату. Некоторое время она еще повозилась там, затем крикнула: «Спокойной ночи!» — и затихла.

— Какой у вас здесь воздух! — негромко проговорил Каро Леонович. — Лес, цветы, травы... У меня даже голова кружится. А ты, наверно, привыкла?

— Да, я привыкла.

— Признаться, я не ожидал встретить такое благоустроенное хозяйство. И неужели ты начинала с пустого места?

— Ну, не совсем так...

Седа Александровна закрыла глаза, — иначе она не смогла бы восстановить в памяти, как выглядел участок много лет назад. Было два гектара парка. Там, где сейчас насажена розовая аллея, лежал ров, заросший цепким кустарником. Шла война. Работники цветоводства, — а их всего и было: директор, научный работник и трое женщин, подсобных рабочих, — сами рубили деревья и корчевали пни. На цветочных клумбах сажали картошку и бураки. Марочка была еще совсем маленькая. Ее брали с собой в лес на работу, расстилали на земле одеяло — там она и возилась с чурками и еловыми шишками.

— Ну вот мы и встретились после стольких лет, — сказал Каро Леонович с легким, нервным смешком. — Ты, вероятно, довольна? Ты достигла того, к чему всегда стремилась.

— К чему это я всегда стремилась?

— Как же, директорский пост, самостоятельность! В тебе всегда это было — тщеславие, стремление повелевать...

— Во мне? — Седа Александровна вспомнила себя покорной, обожающей девочкой. — И ты это замечал?

— Эх, Седа! — он встал со стула. — Не будем ворошить прошлое. Это прежде всего невыгодно для тебя.

— Для меня? — с горечью и возмущением переспросила Седа Александровна. — И ты можешь это говорить?!

— Могу, — медленно сказал он, глядя на нее прищуренными, холодными глазами. — Могу, учитывая возраст твоего ребенка. Ты довольно быстро перестроила свою жизнь...

«Вот сейчас и сказать! — быстро подумала Седа Александровна. — Прямо сказать ему: «Да ведь ты же

Не слепой... Взгляни! У нее твой рот, твоя манера щурить глаза, твои руки...»

Она поднялась.

— Поздно уже. Я провожу тебя.

Комната для гостей находилась в соседнем, тоже окутанном зеленью, домике, рядом с канцелярией и бухгалтерией. Седа Александровна тихо постучала — никто не отозвался. Тогда она открыла дверь в чистенькую комнату, где стояли две кровати, столик и на нем неизбежный в этих местах роскошный букет.

— Товарищ Коротков, как видно, еще пьет чай... — Седа Александровна кивнула на одну из пустующих кроватей.

— Я, вероятно, обидел тебя, Седа... Прости!

— О, какие перемены в характере! Ты теперь иногда признаешь себя неправым? Не беспокойся, ты меня не обидел.

— Знаешь, когда я смотрю на тебя, мне даже странно, что прошло столько лет. Ты все такая же красивая.

— Да? — перебила его Седа Александровна. — Я даже больше чем красивая. Мне это известно. Спокойной ночи!

И она быстро вышла, испытывая горькое чувство разочарования и недовольства собой.

Для чего она надела это нарядное платье? Для чего весь день старалась быть лучше, интереснее, чем обычно? Надеялась? Надо быть честной — надеялась на простое женское счастье. «Муж» — как много притягательного в этом коротком слове даже для самостоятельных, сильных женщин! Если бы только почувствовать, что он попрежнему дорог, попрежнему нужен! Не было этого...

А как она гордилась, как восхищалась им в первые годы их совместной жизни! С какой презрительной жалостью относилась она к людям, которые не разделяли ее восторгов! А таких людей было немало. Почему-то, где бы он ни работал, ему всегда приходилось отражать чьи-то поползновения на его самолюбие, авторитет, влияние, вступать в сложно-враждебные отношения с начальством и сослуживцами.

«Жизнь — это борьба, девочка моя», — объяснял он ей. Она всегда была на его стороне — возмущалась, негодовала, ненавидела его противников. Как хорошо сей-

час, с высоты пройденных лет и личного жизненного опыта; видела она, что громкое слово «борьба» не имело никакого отношения к тем служебным склокам, которые умел создавать этот человек! Но и потом, когда она понемногу стала постигать сущность его характера, любовь заставляла ее многое оправдывать и прощать.

Все они тогда были молоды — и Каро, и она сама, студентка сельскохозяйственного института, и их общий друг, бесшабашный, веселый Гагик Алимян. У них были большие надежды и первые удачи. Скоро должна была выйти в свет книга по экономической географии, написанная совместно Каро и Гагиком. Гагик придумал и сам вычертил остроумные диаграммы, Каро, со свойственным ему блеском и остроумием оживил сухой материал. Книга получилась интересной, даже и для тех, кто не был специалистом в области экономической географии. Было трудно определить, кто сделал больше и чей вклад значительнее. На обложке будущей книги должно было стоять: «Г. Алимян, К. Сарксян».

После того как рукопись сдали в типографию, Гагик как будто потерял к ней интерес. В его беззаботной голове уже рождались новые планы и проекты. Не дожидаясь выхода книги, он умчался в какую-то командировку.

Каро аккуратно ходил в типографию. Раза два Седа по его просьбе готовила закуску, покупала вино, и он уносил это для рабочих, занятых набором и версткой книги.

— Надо же подбодрить людей, проявить к ним внимание, — объяснял он.

В самый последний момент, перед печатанием тиража, Каро Леонович изменил алфавитный порядок фамилий, обеспечивающий равенство авторов. Каждый маломальски искушенный человек мог теперь понять, что К. Сарксяну, проставленному на обложке впереди Г. Алимяна, принадлежит основная часть труда.

Каро принес домой первый экземпляр книги. Седа не обратила внимания на порядок фамилий. От радости затанцевала по комнате. Тогда он сам ей сказал:

— Посмотри на обложку.

Она не поняла.

— Обрати внимание на порядок фамилий...

— Ой, неудобно! — воскликнула Седа. — Как это получилось?

— Я сам это сделал. — Он был абсолютно уверен в ее полной подчиненности.

— Ты? — удивилась она. — Для чего? И как ты теперь посмотришь Гагику в глаза?

— Мне будет неприятно один час, а книга останется.

— Вон что! Но если бы Гагик это сделал?

— Ну, знаешь, — сказал он с усмешкой, — есть такая классическая поговорка: «Что можно Юпитеру, то нельзя быку...»

— Это подлость!

— Это справедливость: я работал больше.

— Нет, это подлость.

Тогда он молча начал укладывать свои вещи в чемодан. Седа не могла поверить, что он уходит, не могла себе представить, как она будет жить без него. Теперь ей было стыдно вспомнить, как она отнимала у него чемодан, умоляла остаться, поговорить, обсудить...

— Где начинается критика, там кончается любовь, — сказал он ей на прощание.

Мучительно было вспомнить и то, как она его ждала — напряженно, нервно прислушиваясь к каждому шагу за порогом своей комнаты. Она не выходила из дома — боялась, что он придет без нее. Каждый телефонный звонок тревожил ее сердце.

Потом Седа Александровна узнала, что у нее будет ребенок. Это стало ее торжеством, ее надеждой. «Вот ты покинул меня, а я ношу твоего ребенка. Я его сама воспитаю, выращу, и тогда ты поймешь, какая я стойкая, мужественная...»

А жизнь была трудной и одинокой. Она сдала государственные экзамены гораздо хуже, чем от нее ждали. Исчезла надежда остаться при институте, и Седа поехала по назначению — в Гюликендское цветоводство.

«Пусть он даже не знает, где я», — думала она, хотя Каро не делал никаких попыток повидаться с ней.

В годы войны в одну из своих командировок Седа увидела его на улице города. Он шел в военной шинели, обросший бородой, прихрамывая и тяжело опираясь на палку. «Ранен!» — с острой болью подумала она. И тут же от знакомых узнала, что он даже не был призван в армию, работал консультантом в каком-то военизиро-

ванном учреждении и хромал из-за простудной болезни, да и в ту люди мало верили. «Ведь нельзя же так! — думала Седа Александровна. — И неужели нет у него близкого человека, который сказал бы ему, что это стыдно?» Тогда она еще любила его...

На ступеньках терраски кто-то сидел. Глаза Седы Александровны, привыкшей к темноте, различили парусиновый пиджак и белую фуражку Григория Ефремовича.

— Вот не сплю, — сказал он.

— Хотите чаю? — Седа Александровна тоже присела на ступеньку пониже.

— Чаю не хочу, — ответил Григорий Ефремович. — Меня вот что интересует: мы опять будем возить детей в школу на бричке?

— Если купим вторую машину, будем возить на машине. — Седа Александровна не удивилась несвоевременности вопроса. За годы совместной работы она привыкла к сложным ходам мысли своего бухгалтера.

— А Марочка? — спросил он.

— И Марочка, как другие, — ответила она. — Как все.

— Такой способный ребенок! — в голосе Григория Ефремовича прозвучала горечь. — У нее дарованье. Ей в городе надо учиться.

— Гюликендская школа хороша для всех детей, хороша она и для Марочки.

— Седочка, — сказал старик, — ну, это все так. А дальше? Марочка растет...

«Он знает!» — подумала Седа Александровна и сразу приняла свой защитный беззаботно-иронический тон:

— Она растет, мы стареем. Но ничего не переменится, Григорий Ефремович.

— Летом — конечно, — не унимался старик. — А зимой? Ни театра, ни развлечений, ветер воет, лес... Марочку надо на инструменте учить играть.

— Что ж делать, Григорий Ефремович, дорогой мой? — тихо спросила Седа Александровна.

— Седочка! Семья — великое дело. Во всем порядок должен быть. Ты молодая, красивая, все одна. А тут и помощь тебе будет.

— Ох, Григорий Ефремович! Обошлись мы в войну, когда я сахара ребенку не могла купить. Самые трудные годы пережили, а уж теперь мне ни от кого помощи не надо.

— А ты все-таки подумай. Ты ребенка не обездоливай.

— Чем я ее обездоливаю? — вспыхнула Седа Александровна. — Чего ей не хватает? Все у нее есть, все у нее будет.

— Гордишься очень, — строго сказал Григорий Ефремович, поднимаясь. — Конечно, имеешь право. Но нехорошо...

Он не дождался ответа, еще постоял немного и зашагал к себе.

В комнате, теплой и душистой после ночной свежести, Седа Александровна сбросила с себя платье, швырнула его прямо на пол, стряхнула с ног туфли и долго лежала без сна, прислушиваясь к тихому посапыванию Марочки.

Ночное дыхание сада, густое, пряное, тяжелое, сменилось свежим, острым ароматом утра. С зарей сильнее запахла свежескошенная по лужайкам трава, развернувшиеся лиловые граммофончики повилики, нежные вербены. Позже, когда солнце сразу вызолотит все ущелье, запахнут согретые розы, гвоздики, густо задышат сосны...

— Нет, это совсем не то, что вам надо, — говорила Седа Александровна, стоя на дорожке среди осыпанных росой крупных, тяжелых георгинов. — Совсем, совсем не то! Придется все менять.

Просматривая бумаги, соединенные канцелярской скрепкой, она пошла вперед, а за ней покорно двинулись Григорий Ефремович и юный товарищ Коротков. Выполняя первое ответственное поручение в своей жизни, товарищ Коротков выбирал осторожно, придирчиво все самое лучшее и сейчас в поведении директора усматривал какой-то подвох.

Бухгалтер, который до сих пор во всем ему помогал, теперь явно избегал взгляда своего клиента.

Седа Александровна уселась на скамеечке под высоким кустом. Она посмотрела на покупателя и покачала головой.

— Ну, для чего вам гладиолусы? Вам нужно окаймление для степного канала, верно? Побольше зеленого массива да побыстрее. Мы вам дадим декоративный барбарис и вот эту многолетнюю ромашку — посмотрите, какая красавица! — Седа Александровна притянула к себе куст, усеянный множеством цветов. Собственно, цветы

только отдаленно напоминали ромашку. Они были похожи на хризантемы с крупными желтыми серединками. — Потом возьмите флоксы, — сказала она, — белые, розовые и малиновые. Хлопот с ними никаких. И будет у вас прекрасная гамма: зеленое, белое, малиновое. На бордюр синий барвинок. А что вы тут набрали? — она небрежно надорвала счет. — Розы, гладиолусы... Вы с ними намучаетесь, а эффекта не будет. Вам ведь надо пространство осваивать, я знаю.

— Пространство — это, конечно, правильно... — нерешительно бормотал обожженный солнцем юноша.

Он не мог так быстро расстаться со своей мечтой. Прямо ему в лицо заглядывала огромная звезда георгина с остроконечными закрученными лепестками, дальше покачивались двухцветные шары, похожие на развернутые китайские бумажные игрушки.

— Верно, хороши! — сказала Седа Александровна, перехватив его взгляд. — А вот как придется вам их на зиму выкапывать да в специальный грунт... Да зацветут ли они еще в первый-то год?..

Она поднялась, мягким движением взяла юношу под руку и повела его по дорожке, совершенно не обращая внимания на Григория Ефремовича, который с каменным лицом сел на ее место и поднял надорванный счет.

— Ну, конечно, он теперь не устоит! — услышал бухгалтер веселый голос Каро Леоновича.

Гость стоял у скамейки и с улыбкой поглядывал на аллею, по которой Седа Александровна уводила товарища Короткова.

— Теперь уж она поставит на своем, — еще раз подтвердил он, усаживаясь рядом с Григорием Ефремовичем. — И вот ни вы со своей бухгалтерской непоколебимостью, ни этот решительный юнец сделать ничего не сможете.

— А вы сможете? — вдруг колко и язвительно спросил Григорий Ефремович. И, как будто чего-то испугавшись, добавил: — Она всегда делает по-своему...

Он внезапно вскочил со скамейки.

— Полюбуйтесь, пожалуйста: ходят, как по своим собственным владениям! Что надо? Сидели бы у себя в парке, дышали сосной. Им полезнее, нам спокойнее...

Загорелый малыш в трусиках и две девочки в сарафанчиках и с бантиками шли к скамейке...

— Дядя Григор, где Марочка?

— Не видел и не знаю. На что вам Марочка? Она вам не пара. Идите к себе — вон у вас там мяч гоняют. Ах, как интересно! Ну, пошли, пошли!

— Нам надо Марочку, — упрямо сказал малыш, а девочки закивали бантиками:

— Марочку надо...

По дорожке торопливо шла Седа Александровна.

— Григорий Ефремович, я вас очень прошу, вы уж там оформите поскорее новый счет.

— Да! — сказал Григорий Ефремович. — Вам, конечно, безразлично, что сумма заказа уменьшается почти на тридцать процентов... И потом, знаете, эта игра на личном обаянии не деловой подход. Так мы с вами финансового плана не выполним.

— Какое обаяние, Григорий Ефремович! Мальчик мне в сыновья годится. Переделайте счет, через два часа он уезжает.

Дети в сторонке терпеливо ожидали конца разговора. Теперь их было уже пятеро.

— Седа Александровна, где Марочка?

— Не знаю, ребятки, я ее сама с утра не видела.

Она села рядом с Каро Леоновичем, вертя в руках голубой цветок красивого оттенка.

— Как ты спал? — спросила она. — Хорошо? И уже позавтракал? Там все было приготовлено.

— А вы рано встаете. Я думал, что поднялся раньше всех... Что у тебя за цветок?

— Незабудка. Ты можешь мне не говорить, что это род травянистых, семейство бурачниковых. Я это проходила.

Он засмеялся.

— Мне, видно, и здесь не прощают моих знаний, вернее — моей памяти.

— Нет, это называется «эрудицией», — колко сказала Седа Александровна.

Но этот человек был ее гостем, и чтобы загладить свою резкость, она быстро заговорила о другом:

— По теории нашего научного работника Секояна, есть цветы, которые волнуют воображение каждого человека. Например, ландыши, незабудки, ромашки. Мы еще не знаем, в чем секрет их обаяния. Может быть, у каждого с ними связаны воспоминания детства или юности.

Когда мы вывели эту крупноцветную незабудку, то назвали ее «отрада сердца».

— Забавно! А эти как у вас классифицируются? — Каро Леонович кивнул на георгины.

— Это «утеха глаза», — рассмеялась Седа Александровна. — Ты какие предпочитаешь?

— Да, пожалуй, вот эти, пышные... У меня ведь мало воспоминаний, особенно — приятных. Ты знаешь мой характер, он почти не изменился. Мне трудно с людьми, вернее — им трудно со мной, — поправился он. — Хотя я понимаю: в конце концов, скорпион не виноват в том, что он скорпион, так же как у розы нет заслуги в том, что она роза. Мне легче всего с детьми. Ты могла вчера убедиться, что дети меня понимают.

— Дети доверчивы, — задумчиво проговорила Седа Александровна.

— Дело не в этом, — отмахнулся он. — В определенном возрасте чувствуешь потребность следить за ростом человеческой души, направлять ее развитие, влиять на ее формирование. Это ведь в своем роде творчество — создавать человеческий характер. Впрочем, пока я рассуждал на эту тему, ты действовала. У женщин действие часто опережает мысль.

Седа Александровна собиралась изменить этот разговор, но тут к ним подошел пионервожатый Сережа. Он поклонился, избегая смотреть на Каро Леоновича, и сказал голосом, в котором звучали трагические нотки:

— Седа Александровна, где Марочка?

— Честное слово, Сережа, я не знаю...

— Вы понимаете, человек взял на себя обязательство всю неделю заниматься с малышами. В расчете на это я составил план работы. Сегодня у меня экскурсия на сыр-завод. А куда я этих дену?

Вокруг большой клумбы с анютиными глазками расцвели малыши. Теперь их было уже не менее пятнадцати.

— Куда же она могла пойти?

— Мне кажется, я сумею пролить некоторый свет на это обстоятельство, — лениво проговорил Каро Леонович. — Дело в том, что я совершенно невольно подслушал заговор двух молодых особ. Они, если не ошибаюсь, собирались на экскурсию за малиной. Одну из юных леди звали Шушкой.

Седа Александровна возмутилась:

— Это безобразно! Что ж, Марочка забыла, что ли?

— Ну, забыла! — Сережа махнул рукой. — Мы еще вчера вечером уговаривались...

— Давайте сделаем так: я пушу ребят в пряничный домик, дадим им старый гербарий, коллекцию бабочек. Наконец, работой их займем — пусть семена перебирают. Они ничего особенно не испортят?

— Ручаться нельзя, — мрачно сказал Сережа, — но можно сделать строгое внушение.

— Вот, вот! Вы сделайте строгое внушение и отведите их. А Марочке я на вашем месте объявила бы выговор на линейке.

Сережа недоверчиво посмотрел на Седу Александровну. Выговор перед всем лагерем — это было серьезным делом.

— Она, собственно, не в нашем лагере. Она — по доброй воле...

— Все равно. Марочка — пионерка!

— Так-то оно так... — мялся Сережа. Хотя он был очень сердит на Марочку, предложение Седы Александровны ему не нравилось.

— Я сама поговорю с ней, — твердо сказала Седа Александровна.

Малыши скучали без Марочки. Она умела рассказывать сказки. Она устраивала спектакли, где актерами были цветы: роза — Золушка, гладиолус — принц, растрепанный рыжий георгин — злая мачеха. Но пряничный домик, избушка на границе леса и сада, — это тоже было интересно, главным образом потому, что туда не всегда пускали. Там жили чучело совы и гадюка в банке.

Устроив детей, Седа Александровна снова вернулась в аллею георгинов. Каро Леонович все еще сидел на скамеечке. Неподалеку от него загорелая дочерна женщина полола клумбу.

— Вануи, — окликнула женщину Седа Александровна, — где твоя Шушик?

Лицо Вануи расплылось в сладкой улыбке.

— В лес за малиной она пошла. С Марочкой... Марочка сказала: «Принесу малины — варенье сварим, гостя угощать будем, мама обрадуется...»

— А в чем дело? — спросил Каро Леонович. — Четы волнуешься? Девочка пренебрегла общественными

обязанностями только для того, чтобы сделать удовольствие тебе, самому близкому человеку. Это надо ценить.

«С ним трудно спорить, потому что в его доводах всегда есть какая-то маленькая, противная правда», — подумала Седа Александровна.

— Хочешь, посиди здесь, а я пойду на новые участки...

Но он пожелал идти с ней, не замечая ни ее сдвинутых бровей, ни ее молчаливости.

В оранжерее весело болтающий с практиканткой Армо Секоян тотчас демонстративно повернулся к ним спиной и умолк.

На новом участке, где рабочие валили лес, Каро Леонвич продемонстрировал несколько новых, усовершенствованных способов рубки. Кажется, так рубили лес в Канаде.

— Ведь по моему методу лучше? — спрашивал он рабочих.

— Уж, конечно, должно быть лучше, — пересмеиваясь, отвечали лесорубы и продолжали рубить по-своему.

На границе леса и парка Седу Александровну ждал все еще сердитый Григорий Ефремович с аккуратной папкой в руках.

— Спасибо, Григорий Ефремович, — тихо проговорила она, подписывая счет.

Бухгалтер сухо сообщил:

— Им надоело, и они высыпались из пряничного домика, как горох. У махаонов оторваны крылья и опрокинута банка с клеем.

— Могло быть хуже, — вздохнула Седа Александровна. — А где они теперь?

— Пришла воспитательница и забрала их на свою территорию. — Григорий Ефремович умолчал о том, что сам бегал в лагерь за воспитательницей.

— Это все Марочка виновата.

— Марочка вернулась. Сильно поцарапала руку. Секоян сделал ей перевязку.

Седа Александровна не выразила никакого волнения.

— Товарищ Коротков просил машину к трехчасовому поезду.

Они уже были на центральной аллее, когда Седа Александровна увидела Марочку. Девочка шла, помахивая

вая корзинкой. Марлевая повязка на руке свежестью и белизной подчеркивала беспорядок ее туалета. Растрепанные черные косички были кое-как связаны скрученной ленточкой, а пестрое платье измято и даже разорвано.

«Она, конечно, успела бы переодеться, — подумала Седа Александровна. — Это все демонстрация: «Вот, посмотрите, какой я трудный поход совершила!»

Марочка подошла к матери и, протянув ей корзиночку, сказала чересчур веселым голосом:

— Мамуль, взгляни, какая крупная малина. Только мало...

Седа Александровна видела, что девочка хитрит; чувствует себя виноватой, вот и решила встретиться с матерью на людях, чтобы смягчить первый, самый трудный момент объяснения.

— У нас было столько приключений! — заговорила Марочка с заранее подготовленными интонациями. — Мы думали, что в малиннике медведь...

Но глаза матери смотрели строго, и голосок девочки задрожал, затих.

— Иди приведи себя в порядок и подожди меня.

Когда Марочка, жалкая, с опущенными плечиками, волоча корзинку, скрылась за соснами, Каро Леонович сказал внушительно:

— Конечно, я не мог сейчас вмешиваться. Но, по-моему, ты поступила неверно. Если б я имел право...

Седа Александровна вдруг резко обернулась и рассмеялась ему в лицо, блестя своими яркими глазами и зубами. Это было так неожиданно, что Григорий Ефремович выронил из рук папку. Она быстро подняла ее, сунула в руки бухгалтеру и побежала домой.

На веранде у стены неподвижно стояла Марочка и угрюмо смотрела в одну точку.

— Тебя целый день ждали дети. Тебе это известно? — сухо спросила Седа Александровна.

— Известно, — вызывающе ответила Марочка, взглянув на мать прищуренными глазами. — Я с ними и так вожусь каждый день. А сегодня не смогла.

— Почему это?

— У меня было более важное дело.

— Пошла в лес для собственного удовольствия?

— Не для своего, а для твоего. Он вчера грустно ска-

зал: «Малиновое варенье нам недоступно». А сегодня мы с ним вместе обсудили и решили, что тебе это будет приятно.

— Ну, мне ты удовольствия не доставила, а Сережа был в затруднительном положении.

— Сережа — начетник.

— Что? Что ты сказала? Дрянная девчонка!

— Мамочка, не кричи на меня! Не кричи на меня, пожалуйста! — отчаянно завизжала Марочка и зарыдала громко и иступленно.

«Ну что мне делать? Ну какие мне слова найти? — с горечью думала Седа Александровна. — А ведь он нашел бы слова, много красивых, разноцветных слов...»

Она крепко прижала к груди круглую головку девочки и сказала, стараясь быть совершенно спокойной:

— О чем ты плачешь? Давай все обсудим вместе.

— Давай! — сейчас же благодарно всхлинула Марочка.

— Ты себя чувствуешь сейчас совсем-совсем правой? Марочка молчала.

— Нет, ты скажи, — настаивала Седа Александровна. — И в сердце ты себя чувствуешь правой?

— Нет... — прошептала девочка.

— Ну, тогда утром, при подъеме флага, ты встанешь перед линейкой и сама скажешь об этом всем пионерам. И пусть на тебя наложат взыскание.

— О-о-о! — захныкала Марочка. — Я не могу... Мамочка, а нельзя что-нибудь другое? Пусть я целое лето не буду играть в волейбол.

— Нет.

Наступило молчание.

— А малыши искали меня? Скучали? — вдруг охрипшим от слез голосом спросила Марочка.

По правилам их маленькой семьи наказание исчерпывало вину и после вынесения приговора уже нельзя было ни сердиться, ни дуться. «Ах, ты мой маленький, тщеславный дитенок!» — подумала Седа Александровна.

— Они ужасно скучали. Ходили по всей территории и ко всем приставали: «Где наша Марочка?»

— У-у, мои мордашки! — удовлетворенно засмеялась девочка.

За окном темнели деревья подступающего к дому ле-

са. Воздух, насыщенный запахами цветов, дрожащими струйками поднимался к горам.

— Сед Ксандровна-а-а! — кричал чей-то голос.

— Это Ванун тебя зовет, — сказала Марочка.

Коричневое лицо Ванун заглянуло в окно.

— Там человек должен ехать. Геворк спрашивает: или за хлебом ему пнать машину, или человека везти?

Седа Александровна посмотрела на свои ручные часики.

— Он еще двадцать раз успеет за хлебом съездить! Скажи — я сейчас приду.

— Мама, — мечтательно произнесла Марочка, — а когда дядя Каро уедет, мы ему огромный букет нарежем. Хорошо? Как писателю, что в прошлом году приезжал. Из одних роз и гладиолусов. Да, мамуль?

«Вот таким он и останется в ее памяти — умным, замечательным человеком, — с тоской говорила себе Седа Александровна, шагая по своему маленькому кабинету при канцелярии. — Когда-нибудь она спросит: «Почему ты меня лишила такого отца?» Что я ей скажу? Ничто не будет убедительным. В детстве впечатления так ярки! Она вспомнит его остроумие, его рассказ у костра... А ведь он, вероятно, не был участником этой поездки, так же как не был солдатом, так же как не стал ученым. Всю жизнь в чужой шинели... Стыдно быть его дочерью!»

Мимо окон канцелярии прошел товарищ Коротков со своим чемоданчиком. Студентки, провожающие его, несли огромный букет — непременно дань каждому посетителю Гюликендского цветоводства. Вессло подпрыгивая, прошел Сережа

— Как это вы без своей свиты? — окликнула его Седа Александровна.

— Мертвый час, — коротко ответил старший вожатый. Седа Александровна облокотилась на подоконник.

— Сережа, ведь вы корреспондент республиканской пионерской газеты? — медленно проговорила она. — Я думаю, хорошо бы написать заметку о вчерашней беседе у костра. «Рассказ участника делегации»... Как вы полагаете?

— Я хотел, — убежденно соврал Сережа, который все и не помышлял об этом. — Но при таком отношении ко мне со стороны товарища Сарксяна что можно сделать?

— Ерунда! Мы его уговорим. Пойдемте...

Она знала, что Марочка сейчас обязательно где-нибудь около Каро Леоновича. Так оно и было. Они сидели рядом на зеленой скамеечке у въезда в цветочное хозяйство, и Марочка крепко держала его за руку.

Отсюда широкая дорога уходила в лес. Товарищ Коротков уже обнимал свой букет. Девушки стояли рядом и записывали его адрес в свои блокноты.

Седа Александровна села на край скамейки, а Сережа, набравшись храбрости, изложил свое дело.

Каро Леонович, казалось, забыл свое вчерашнее негодование и был настроен благодушно и доброжелательно.

— Отчего же! — сказал он. — Я сам напишу заметку в вашу стенгазету.

— Речь идет не о лагерной газете, — пояснила Седа Александровна, глядя на дорогу. — Сережа — корреспондент республиканской газеты.

Каро Леонович помолчал.

— Это неудобно, — сказал он потом.

— Почему? — быстро спросила Седа Александровна.

— Самохвальство. Неприлично. И еще тысяча причин. Теперь Седа Александровна твердо знала, что он не был на Ближнем Востоке.

— Никакого самохвальства тут нет...

— В общем не стоит, — лениво проговорил Каро Леонович.

— Стоит! — умильно сказала Марочка. — Про вас в настоящей газете будет напечатано.

— Мне только надо некоторые данные и чтобы вы верили информацию, — объяснил Сережа.

— Видите ли, такие материалы не подлежат опубликованию...

— Нет, — сказала Седа Александровна, чтобы не дать ему никакой лазейки, — они публикуются. Но, может быть, ты не был в этой поездке?

Она все смотрела на дорогу, но почувствовала, как сразу притихла и напряглась Марочка, ожидая его ответа.

Каро Леонович рассмеялся, и сразу же облегченно расхохоталась девочка.

«Пусть я ошиблась, — сказала себе Седа Александровна. — Пусть! Может быть, это даже и лучше...»

— Ты был в этой поездке?

— Какое это для тебя имеет значение!

— Был или не был?

Каро Леонович перестал смеяться.

— Если ты так настаиваешь, допустим — нет, не был. Но что от того меняется?

— Значит, вы лично участником делегации не были? — с недоумением спросил Сережа и закрыл свою записную книжку.

— Мой юный друг! Жюль Верн никогда в жизни не покидал своего кабинета, а разве от этого вы его читаете с меньшим интересом?

— А мальчик? — вдруг упавшим голосом спросила Марочка. Она даже невольно протянула руки вперед, как будто хотела удержать полюбившегося ей турецкого мальчика.

— Мальчик был, — страдая и за нее и за себя, сказала Седа Александровна. — Его видел другой человек. Он все подробно рассказал Каро Леоновичу...

Марочка посмотрела на Каро Леоновича растерянными глазами.

— А как же вы были счастливы, что мы спим? Вы говорили, что подумали про нас!

— Это не он подумал, — горько усмехнулась Седа Александровна. — Это тоже другой человек подумал...

В это время шофер Геворк подкатил серенькую «Победу».

У дорожки показался Григорий Ефремович. Он пришел проводить своего клиента.

Товарищ Коротков откинул багажник и деловито поместил в нем свой маленький чемодан.

— Надо проститься, — сказала Седа Александровна, нарушив молчание на зеленой скамеечке.

— А знаешь, что мне пришло в голову? — беспечно проговорил Каро Леонович, поднимаясь с места. — Не воспользоваться ли и мне этой машиной? Подождите минутку, я тоже еду с вами, только портфель возьму! — крикнул он шоферу.

Товарищ Коротков изобразил на лице горечь и уныние.

— Теперь не пишите мне, девушки, — некому будет ваши письма получать. Я все равно засохну в дороге от сознания своего ничтожества...

Девушки хохотали. Марочка стояла около матери, тихая и строгая.

Каро Леонович не задержался. Он прибежал со своим красивым желтым портфелем, перетянутым широкими ремнями.

— Спасибо тебе за гостеприимство,— сказал он, целуя руку Седе Александровне.

Кивком головы Каро Леонович попрощался со старым бухгалтером и, не заметив протянутой Марочкиной руки, торопливо влез в машину. Маленькая смуглая ручка — по форме пальцев и по рисунку ногтей точный слепок с его собственной руки — повисла в воздухе и упала на синее полотно платья. Седа Александровна обхватила Марочку за плечи и прижала ее к себе.


Они обе смотрели, как уходила серая машина, поднимая за собой клубы пыли. Потом стала видна только пыль. Потом — ничего.

Седа Александровна обернулась и увидела Григория Ефремовича. Он смотрел на нее внимательными, испытующими глазами.

Крепче прижимая к себе Марочку, она сказала ему, без улыбки, очень твердо:

— Так лучше.





Ираклий Андроников

ПОДПИСЬ ПОД РИСУНКОМ

Недавно пришлось побывать мне в Железноводске. Пить воды дело, конечно, хорошее. Но куда интереснее оказались отлучки из санатория! Вместе с писателем С. П. Бабаевским, с которым в годы Отечественной войны служили в армейской газете,— ныне он живет в городе Пятигорске,— поехали мы в Ставрополь, побывали в районах. Показал он мне прославленные колхозные электростанции, впервые увидел я электрострижку овец знаменитой ставропольской породы, из шерсти которых сделан каждый четвертый костюм в нашей стране. Потом махнули в Черкесию... А ехать пришлось по той самой дороге, по которой когда-то все ездил и ездил Лермонтов—с Кавказа и на Кавказ, из ссылки и в ссылку. И решил я тогда объехать все лермонтовские места на Кавказе. Ведь он путешествовал в тележке, двигался с военным отрядом, ездил верхом... Долго ли на машине! Мне же по роду занятий моих — который год изучаю Лермонтова! — необходимо было в конце концов побывать во всех этих городках и станицах, повидать то, что довелось видеть ему.

Скажу сразу — спидометр показал около 15 000 километров. Я проехал по многим местам, где бывал Лермонтов, но во всех побывать не смог.

Из Пятигорска я отправился в Георгиевск, оттуда в Прохладный, Моздок, выехал на Терек. Через терские станицы — Червленую, Шелковскую, Старогладовскую, связанные с именами Грибоедова, Лермонтова и Льва Толстого, попал в Кизляр. Тут развернулся, взял направ-

ление на Грозный. Побывал на речке Валерик, где происходило сражение, описанное Лермонтовым в его удивительном стихотворении. Съехал территорию Северной Осетии, Кабарды. Через Орджоникидзе, по Военно-Грузинской дороге попал в Тбилиси; оттуда, перевалив Гомборы, поехал в Цинандали, затем в Царские колодцы — ныне это Цителцкаройский район Грузии. Добрался до селения Караагач, где находилась квартира Нижегородского драгунского полка, в котором Лермонтов в 1837 году отбывал ссылку. Потом переправился на пароме через Алазань и, оказавшись на территории Азербайджана, в Закаталах, покатил к югу — по направлению к Нухе и Шемахе... Потому что в Кахетию Лермонтов мог попасть из Шемахи только по этой дороге. Шемаханской царицы из пушкинской сказки я не видел, но побывал в местах сказочных...

Ехал я не просто так — не для одного удовольствия. На коленях у меня лежали фотографии с картин и рисунков Лермонтова. Известно, что Лермонтов хорошо рисовал, обладал большими способностями к живописи. Сохранились его картины и рисунки — виды Кавказа, сделанные с натуры. Хранятся они в московских и ленинградских литературных музеях, но снабжены необычайно унылыми этикетками: «Кавказский вид с арбой», «Кавказский вид с верблюдами»... Однако и без подписи ясно: если нарисована скала и арба на дороге и горная река, то это «вид с арбой». А верблюды возле скалы и горы на горизонте представляют собой «вид с верблюдами». Но что именно изображено на этих рисунках и полотнах Лермонтова, где, в каких местах, исполнены им эти работы, ничего не известно. Поэтому я до боли в шее вперялся в ветровое стекло машины, беспрестанно вертел головой, озираясь по сторонам и сравнивая рисунки поэта с открывавшимися передо мною видами. Вдруг увижу изображенное Лермонтовым!

Мне везло. «Кавказский вид с арбой» обнаружился в Дарьяльском ущелье. «Кавказский вид с верблюдами» Лермонтов, как выяснилось, писал маслом с натуры в окрестностях селения Караагач. На других репродукциях оказались селение Сион близ Казбека, замок Тамары в Дарьяльском ущелье, окрестности Мцхета, Тифлис... Постепенно опознанных рисунков становилось все больше, неопознанных меньше. И, наконец, остался один. Как на

зло, именно под этим рисунком имеется подпись. Правда, подпись сделана не лермонтовской рукой, но верить ей, казалось бы, можно: «Развалины на берегу Арагвы в Грузии» — обозначение достаточно точное.

Но сколько ни ездил я вдоль Арагвы — от того места, где она впервые соприкасается с Военно-Грузинской дорогой, до слияния ее с Курою во Мцхете, — ничего похожего на лермонтовский рисунок не обнаружил. Лермонтов нарисовал глухое ущелье, поросшую лесом скалу. На вершине скалы крепость с зубчатой стеной, по углам башни с бойницами, за стеной острый купол грузинской церкви. В середине рисунка река с двух сторон бурно омывает утес. Башня и сакля на другом берегу. Ущелье замыкает горный хребет. Готов поручиться: на Военно-Грузинской дороге похожего места нет!

Уже собрался писать, что этот вид Лермонтов набросал на память или, может быть, даже не имел в виду никакого определенного места... Но если сам не убежден в том, что пишешь, как можно уверять в этом других? Пришлось предпринять новую поездку по Военно-Грузинской дороге.

Из Тбилиси я выехал на рассвете. Неужели и на сей раз не удастся найти эти несчастные развалины? Куда они могли деться? Что за таинственное ущелье?

Остановился в Пассанаури. Прижатые прозрачным потоком Арагвы к подножию лесистых гор, толпятся возле дороги опрятные домики, — это как раз нолдороги от Тбилиси к Орджоникидзе.

День был воскресный. Я пошел на колхозный базар, где продаются куры, мацони, грецкие орехи, чеснок, стонки душистого грузинского хлеба, и стал предъявлять местным жителям фотографию с лермонтовского рисунка. Очень скоро я достиг значительных результатов — превратил базар в настоящий базар. Все перестали покупать, все перестали торговать. Фотография пошла ходить из рук в руки. Послышались советы: надо ехать в Ананури, обратно, километров за двадцать. Там и церковь, и крепость, и тоже Арагва течет...

Я только что миновал Ананури и сам догадался, конечно, еще раз осмотреть Ананурский собор.

Я сказал им об этом. Мне возразили: не так хорошо посмотрел, как надо, у молодых глаза зоркие, если посмотрят — покажут.

Я пригласил в машину трех юношей, порывистых и молчаливых. Поехали мы в Ананури, со всех сторон обошли знаменитую крепость. Воздвигнутая на пологой горе, она господствует над окружающей местностью. Река течет здесь спокойнее. Зеленые склоны гор, покрытые сдеялами посевов и пашен, расступаются, образуя долину. Ни утесов, ни скал... Словом, проводники мои убедились, что на рисунке и точно не Ананури.

В Пассанаури я с ними расстался.

Отсюда с каждым поворотом дороги окрестность резко меняется. Все сильнее шумит река. Прохладнее и словно легче становится воздух. Пасмурно. Лесистые склоны кончились. За ближними зеленеющими горами поднимаются строгие сине-лиловые горы; в углублениях и складках их гранитных вершин отливают атласом снега. Нельзя оторваться! Много удивительных мест на Кавказе, но Военно-Грузинскую дорогу словно смонтировал великий художник. Она — как лента, в которой нет повторений, нет лишнего. Вся она — чередование контрастов.

У подножия Гуд-горы в Кайшаурской долине расположено селение Квешеты. Прежде это было знаменитое место. Здесь находилась резиденция начальника горских народов и почтовая станция. Здесь ночевали те, кто совершил переезд через Крестовую гору, и те, кто, едучи с юга на север, готовился его совершить. Тут ночевал Грибоедов. Тут родились великие строки Пушкина:

На холмах Грузии лежит ночная мгла.
Шумит Арагва предо мною...

В этом месте стоял духан, упомянутый Лермонтовым на первой странице «Бэлы».

С тех пор много воды унесла шумящая Арагва. На месте духана выстроен сельский продмаг. По случаю воскресного дня возле него было весьма оживленно. Только лошади, оседланные и с перекидными ковровыми мешками — хурджунами, лениво дремали у изгороди.

Я вылез из машины и стал предьявлять толпившимся возле продмага фотографию лермонтовского рисунка. Послышались голоса, что надо поехать в Ананури, что в этих местах нет похожей церкви и крепости.

Но тут молодая колхозница по имени Русудан выдвинулась вперед и сказала:

— Покажите поближе то, что издали видела...

Я передал ей фотографию.

Взглянув, она посоветовала:

— Возьмите хорошую лошадь и отправляйтесь к верховьям Арагви. Там в осетинском ущелье Гуда найдете, что ищете.

Другие ей возразили:

— Зачем ему садиться на лошадь? Тучный человек, не привык ездить... И куда ты хочешь послать его, нет ни церкви, ни крепости, давно все упало, одни камни лежат. Что там увидит?

— Хорошо помню, еще в школе учила,— ответила молодая женщина,— что Лермонтов, когда почтил Пушкина стихотворением, к нам прибыл и погостил у нас уже сто лет назад с лишним. Может быть, когда Лермонтов ездил к истоку реки, церковь и крепость стояли, а за это время упали и потому одни камни лежат?

В ответ, смеясь, зашумели:

— Камнями угостить его хочет. Не за этим приехал. А если камнями интересуется, зачем ему так далеко ехать? Старая башня и там вон упала, в ущелье. И там, на горе. Туда пусть пойдет...

— Меня лучше послушайте,— сказала колхозница, обращаясь ко мне.— Я вам хорошо посоветовала.

Я не мог сразу воспользоваться этим советом. Было уже часа два, а лошадь и проводника достать не так просто. Поездку к верховьям Арагвы пришлось отложить, а тем временем я решил пройти по старой Военно-Грузинской дороге, которая прежде шла от Квешеты на Кайшаури и дальше к Крестовой — совсем не так, как сейчас. В шестидесятых годах прошлого века дорогу по берегу Арагвы продлили до селения Млета, взорвали там могучие скалы и, минуя станцию Кайшаури, проложили удобный зигзагообразный подъем, который сравнивают чаще всего с серпантинном. А прежнюю трассу Квешеты—Кайшаури — Крестовая, которая шла на Гуд-гору без всяких зигзагов, подымая путешественника на протяжении трех верст на высоту целой версты, с тех пор забросили. А между тем по ней-то и ездили прежде. Именно эта часть дороги описана в «Герое нашего времени».

Машине не взять уклон в 20°. Мы решили с шофером: он поедет обычным путем и будет ждать меня под Крестовой, а я, сократив расстояние вдвое по старой дороге, приду туда к вечеру.

Когда машина ушла и, выражаясь лермонтовским слогом, пыль змеєю завилась по гладкой дороге, я стал искать попутчиков на Кайшаури. Откликнулись дети: они идут, они покажут дорогу...

За углом продмага, внизу, в глубоком ложе, кипела и стремительно улетала Арагва. Вместо моста через нее перекинута бревно необычайной длины. Сбоку ни перил, ни веревки.

Постукивая по бревну тростью, стараясь не смотреть вниз, опасаясь зажмуриться, потеряв интерес к окрестностям, одеревенелый, ступал я, и шумела Арагва подо мной. В середине произошла остановка.

— Не туда помещаете ногу, — беспокоились дети, перебежавшие уже на тот берег. — Посмотрите, куда собрались пойти!

Тогда я лег на бревно и, зажмурившись, пополз, как под пулеметным огнем.

— Может быть, забыли что-нибудь купить в магазине? — фыркая, спрашивали дети, когда я, добравшись до берега, чистил костюм. — Хорошо будет, если еще раз пройдете.

Но мы уже были на другом берегу!..

За рекою — селение. Сразу за ним подъем, подобно карнизу огибающий гору, иссеченный промоинами, прижатый к пропасти осыпями мелких камней. Он идет, разворачиваясь, над излучиной Арагвы, и Арагва уходит все ниже... Мы вышли на обрывистое плато. Изумрудно-зеленое, оно поросло кудрявым кустарником. И горы, кажется, придвинуты так близко к этой площадке, что еще бы немного — и их можно коснуться рукой. На самом деле горы с обеих сторон отделены от этого зеленого плоскогорья долинами. К склонам величаво-пустынных гор прилепились селения, и в каждом древняя четырехугольная башня. Сурово. А туда, в сторону Тбилиси!.. Прячась порою в кулисах лесистых склонов, сверкает Арагва и пропадает в напоенной солнцем дымной дали. Понятно, почему в «Герое нашего времени» Лермонтов описал именно эти места.

Мы шли, беседуя о том, кем они, дети, собираются стать, когда вырастут, какие у них отметки, кому из них девять, десять, одиннадцать... И вот уже входим в селение.

— Пожелаем, — сказали дети, — чтобы вам хорошо было. А мы уже дома.

— Дети, — сказал я с некоторым удивлением, — а как же я буду без вас?!

— Дорогу укажем, так и пойдете.

— Дети, — спросил я снова, — а как же собаки?

— Вы же ничего не хотите взять, — отвечали мне дети, — зачем вам опасаться собак?

— Да, но собаки не могут знать, что я ничего не возьму.

И дети сказали:

— Тогда, наверно, собаки возьмут вас.

Я отказался путешествовать один и просил найти мне проводника. Отвечали, что проводника нет, никто не идет в Кайшаури. Я согласен был ждать до утра. Наконец сказали, что есть проводник — он обедает, освободится через сорок минут.

Я ждал терпеливо. Наконец вышел мой спутник — с мешком на плече, девяти лет от роду — и назвался Арчилом. Он шел в селение Сетури.

— Арчил, — сказал я, — дай я понесу твой мешок. Мне нетрудно, а тебе будет легче идти.

— Спасибо, — отвечал он, — но это не надо. Поручение имею доставить лук, и если вы понесете, скажут, что не выполнил поручения.

— Арчил, — спросил я, — а как ты относишься к собакам?

— Никак, — отвечал он. — Я еще маленький.

— А как же мне относиться?

— Не беспокойтесь, — отвечал он, — они сами к вам отнесутся.

Я поплелся за ним, почти совсем потеряв интерес к этой высокогорной прогулке.

Вдруг увидел я в стороне группу молодых колхозников, которые о чем-то живо беседовали. Я поклонился. Не буду уточнять, как я кланялся: у меня имеются основания подозревать, что я поклонился подобострастно. Один из юношей вышел ко мне на дорогу и поинтересовался, почему без пальто и без шляпы, с одной тростью в руках я путешествую по этим местам, не заблудился ли, не нуждаюсь ли в помощи.

Я ответил, что по этим местам путешествовали в прошлом столетии Грибоедов, Пушкин и Лермонтов, что, занимаясь историей русской литературы и этой эпохой, я как историк и критик — я не стал говорить

«литературовед» — счел долгом своим повторить их маршрут.

И вместо одобрения услышал:

— Да, к сожалению, наша критика еще очень отстает от литературы и жизни. Давно бы надо было прийти. Хорошо, — продолжал он, — что трость захватили с собой, она вам поможет...

И он стал отбиваться дубиной от желто-белых чудовищ. Мохнатые, короткотелые, с обрезанными ушами, с черными, словно сажей намазанными, физиономиями, с мелкими, как у щук, зубами, с кривыми, как ятаганы, клыками они хрипели, кидались, метались, в глотках их клокотало; оскорбительно было слышать этот сиплый, надсадный лай.

Наконец новый знакомец отбил от них и сказал:

— Должен расстаться с вами — в правление колхоза иду.

Я снова зашагал за Арчилом.

Завидев Кайшаури — цель недавних моих вожделений, но предвидя новые встречи с овчарками, я решил внести на обсуждение проект.

— Зачем нам идти в Кайшаури? — сказал я Арчилу. — Обойдем его стороною, подышим воздухом. Что мы там потеряли?

— В горах живем — неужели вам нашего воздуха не хватает? — резонно спросил Арчил. — А кроме того, я никогда не прячусь и всегда хожу по дороге.

Мы вошли в Кайшаури. Стоит машина совершенно такого же цвета, как и та, в которой я приехал в Квешеты. Около машины тот же самый шофер...

— Я не стал ожидать у Крестовой, — заговорил он, отделяясь от машины и степенно выходя мне навстречу. — Узнал, что дорога плохая, но все же можно проехать, и прибыл сюда. А пока здесь стою, выяснил: вот в этом доме сто пятнадцать лет назад ночевал Лермонтов. Чайник у него с собой был, воду разогрел, пил чай, беседовал с товарищем. Этого никто пока не знает, я первый открыл, так и напишите в вашей книге.

Спасибо Арчилу! В хорошее положение попал бы я, если бы обошел стороною это селение, оставив шофера с машиной в тылу!

Простились мы тут с милым моим провожатым и поехали за Крестовый перевал, где надо было еще уточнить

подписи к уже разгаданному лермонтовским рисункам. А что означает подпись «Развалины на берегу Арагвы», так и осталось невыясненным.

Пришлось предпринять новую экспедицию в эти места. Приехали мы через несколько дней в Кумлицихе — селение на склоне Гуд-горы на Военно-Грузинской дороге, вошли в дом, где разместилось правление колхоза. Оно как раз заседало: решался вопрос о перегоне баранты на зимние пастбища в Кизлярскую степь. Шофер мой, весьма увлеченный опознанием лермонтовских картинок, сказал председателю:

— Как погнать баранов на зимние пастбища — это потом решите. Каждый год посылаете... А вот тут есть неотложный научный вопрос. Ваши это места или не ваши? — спросил он, предъявляя рисунок и начиная сердиться. — Кто-то должен принять ответственность? Написано — Арагви. Ездим, ездим — нет желающих. Свои места должны знать? Хорошо посмотрите!

Наверно, в первый раз в истории литературной науки вопрос решался в такой обстановке. Члены правления рассмотрели рисунок, обменялись мнениями, и председатель сказал:

— Если ищете крепость и церковь, как здесь нарисовано, нет у нас. Если место хотите видеть такое, Нико пойдет, который ночью кооператив сторожит, и покажет. Это выше колхоза Ганиси.

Взяв с собой сторожа, поехали мы, петляя то влево, то вправо, все выше и выше, и добрались почти до Крестовой. Там, где в склоне горы образуется зеленая впадина, носящая наименование «Чертова долина», где лежат обломки гранитных скал, по преданию набросанные здесь из ревности разгневанным духом Гуда, полюбившим красавицу, жившую в этих местах, мы остановились и закрыли машину. Тропинка повела нас в расселину между скалами, и по этой тропинке мы бросились бежать на дно двухверстной пропасти.

И пастырь нисходит к веселым долинам,
Где мчится Арагва в тенистых берегах.

Как серебряный ручей с нарисованными волнами, мчится на дне этой пропасти, вернее — хранит вид движения, бесшумная, неподвижная Арагва; безлюдными

кажутся крохотные макеты селений. Под ногами крутая тропа, справа скалистая стена, слева пусто, словно идешь в воздухе по крылу самолета.

Упираясь ногами в тропу, отдуваясь, откинувшись всем телом назад, работая на бегу локтями, жалея, что в теле нет тормоза, мы сбежали наконец в слышимый мир, на каменистое ложе пенной, шумной Арагвы, к малолюдным осетинским селениям, обведенным оградами из плоских камней.

Впереди, у самой Арагвы на том берегу, гора. Нет, не гора. Огромная глыба словно скатилась откуда-то к самой воде, легла здесь и поросла густой рощей. Осенняя расцветка листвы — розовая, ржавая, рыжая, желтая, золотая, багряная — так богата тонами, что кажется — гору покрыли богатым цветистым ковром. И это особенно удивительно, потому что ущелье безлесно.

Форма горы отчасти напоминает колпак, какими покрывают домашние чайники, — скаты крутые, а гребень длинный и узкий. На гребне развалины крепости. Полезли наверх по обратному скату горы, — он крут, но порос зеленой травой и опутан овечьими тропами; они тянутся одна над другой, как узенькие террасы, в несколько сантиметров ширины. Хватаясь за землю руками, можно боком взобраться по ним.

Наверху — осыпь камней, остатки крепостной стены, основания башен, развалины церкви, ступени разрушенной лестницы, выходящей на этот зеленый склон. Стоит часовня без крыши, сложенная без раствора из плоского шифера и кое-где хранящая следы обмазки.

День ясный. На солнце греются змеи и с шорохом ускользают, заслышав шаги.

Отсюда тропинка ведет вниз, к селению Хатис-Сопели. Это несколько домиков с плоскими кровлями.

Мы спустились и вышли на русло Арагвы. Когда же отошли вниз по течению примерно полкилометра и взглянули назад — это самое!.. Гора, покрытая рощей, повороты ущелья, селение на другом берегу, те же контуры дальних вершин, что на рисунке. У Лермонтова, если хорошенько взглядеться, видно — часть башни уже обрушилась. А теперь разрушилось все до самого основания.

Отошли от этого места — проводник указывает на отверстие в отвесной скале.

— Это пещера, где привязан несчастный Амирани, —

говорит он. — Рассказывали, будто бога обидел и бог его наказал. Не может порвать цепь и потому стонет Амирани. Между прочим, что рассказывают о Прометее — это наша легенда. Но очень известная. И уже забывают, кто рассказал первый...

Амирани стонет в пещере! Конечно Лермонтову была известна эта легенда! Помните, в «Демоне» — путнику, который слышит рыдания Тамары, кажется:

«...то горный дух,
Прикованный в пещере, стонет»,
И, чуткий напрягая слух,
Коня измученного гонит..»

Может быть, Лермонтов здесь и услышал эту легенду? Дальше пошли — на гребне горы часовня. Интересно, что за часовня.

— Иконы раньше там были, — отвечает сторож Нико. — Говорили, надо молиться в этой часовне, чтобы не пострадать от лезгин. Кто помолится — в бою победит. Все это выдумки, пережитки, идеалистическая точка зрения... Старые люди не знали хорошо и сказали эту легенду...

Но ведь и Лермонтову она была, очевидно, известна. Жених Тамары, «властитель Синодала», спешит на брачный пир, он пренебрег обычаем прадедов, не помолился в часовне и убит в ночной стычке!

И вдруг все стало ясно: эти места и описал Лермонтов в «Демоне»! Он оживил эти древние развалины, населил их людьми, превратил в замок Гудала. Здесь живет его Тамара. Сюда прилетает Демон навевать сны на ее «шелковые ресницы». А в конце, в эпилоге, он описал этот замок, но уже заброшенный, опустелый, напоминающий о прежних днях, о том, что волновало в поэме:

На склоне каменной горы
Над Койшаурскою долиной
Еще стоят до сей поры
Зубцы развалины старинной.
Рассказов, страшных для детей,
О них еще преданья полны...
Как призрак, памятник безмолвный,
Свидетель тех волшебных дней,
Между деревьями чернеет,
Внизу рассыпался аул,
Земля цветет и зеленеет;

И голосв нестройный гул
Теряется,— и караваны
Идут звеня издалека,
И низвергаясь сквозь туманы
Блестит и пенится река.
И жизнью вечно молодой,
Прохладой, солнцем и весною
Природа тешится шутя
Как беззаботное дитя.

Но грустен замок, отслуживший
Года во очередь свою;
Как бедный старец, переживший
Друзей и милую семью...

Все дико; нет нигде следов
Минувших лет: рука веков
Прилежно, долго их сметала,
И не напомнит ничего
О славном имени Гудала,
О милой дочери его!

...Вернулся я в Тбилиси. Интересно: где же мне довелось побывать? Что я видел?

Постучался к историку. Повидался с этнографом. Посоветовался с искусствоведами, с археологом, с башпеведом — есть и такая редкая специальность! Стал рассматривать старые карты. На рукописной карте Грузии, составленной в 1735 году историком и географом Вахушти Батонишвили, увидел я кружок с крестом на том месте, где побывал, и подпись: «Монастырь всех святых».

Открываю «Географию Грузии» того же Вахушти; читаю: «Выше (то есть у истоков Арагви) есть монастырь «Всех святых», ныне уже упраздненный».

Упраздненный уже в первой половине XVIII века?.. Значит, Лермонтов изобразил средневековую крепость!

И рисунок неожиданно приобрел новое содержание. Это исторический документ! Изображение памятника, более не существующего! Не удивительно, если репродукции этого лермонтовского рисунка появятся скоро в истории грузинской архитектуры, в путеводителе по окрестностям Военно-Грузинской дороги...

Но главное все же не в этом. Главное в том, что рисунок Лермонтова дополняет наши представления о работе поэта Лермонтова. Оказывается, он — иллюстрация к «Демону», возникшая еще до того, как поэма была написана. Более того — можно считать вообще доказанным,

что рисунки Лермонтова не развлечение странствующего офицера, не занятие от нечего делать, а род записных книжек поэта, часть его вдохновенной и упорной работы. В них отразилась культура работы Лермонтова, внутренняя связь его многообразных талантов...

Рисунок помогает понять нам творческую историю «Демона», подтверждает, что Лермонтов слышал в ущелье Арагвы народные предания и легенды, что он положил в основу своей поэмы произведения грузинской народной поэзии.

Не только в поэме, но и в рисунках отразилось отношение поэта к народу, в ту пору неравноправному, угнетенному; в самом факте создания их сказалось то великое чувство дружбы, которое доставляет нам особое наслаждение и вызывает в нас чувство гордости.

Вот на какие мысли наводит рисунок Лермонтова. А подпись? Подпись останется прежняя: «Развалины на берегу Арагвы в Грузии». Только в этой подписи будет заключено для нас теперь более глубокое содержание, чем прежде.





Сергей Антонов

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Летом двадцатого года Еремеев, не долечившись, выписался из фронтового госпиталя и приехал в свою деревню. Грамотных мужиков было мало, и его сразу выбрали председателем сельсовета. Дома он застал полную разруху. Отец и мать не дождались его, померли. Пока он воевал с Врангелем, защищал родину, кто-то повывинчивал из окон его избы стекла, сорвал наличники. Изба совсем обветшала, качалась от руки.

Жить с каждым днем становилось труднее, и осенью Еремеев отправился в волость просить помощи. В волости ни гвоздей, ни тесу ему не дали, а вместо этого велели срочно собираться и ехать на совещание председателей исполкомов Московской губернии.

— Никуда я не поеду, пока хозяйство не определю, понятно? — сказал он волостному начальству, сверкая злыми глазами.

Но, услышав, что на совещании ожидается выступление Ленина, резко переменял решение и стал собираться.

«Чем мне попусту биться, как рыба об лед, — думал он, — выскажу товарищу Ленину, как мы тут за каждым гвоздем гоняемся. Пусть раненым фронтовикам настоящие льготы дают».

И, уверенный, что Ленин поймет его и поможет, Еремеев отправился в Москву.

На Казанском вокзале у него украли мешок с харчами. Он бегал искать вора, отстал от попутчиков и один шел по незнакомым московским улицам.

Было серое осеннее утро. Еремеев шагал по Мясниц-

кой и, останавливая встречных, тех, кто попроще, спрашивал, как пройти к Моссовету.

Людей в этот ранний час попадалось мало. Они недоброжелательно оглядывали худое, немывтое с ночи лицо человека, похожего на дезертира, неумело затянутые суровой ниткой пулевые дыры в полах его кавалерийской шинели и отвечали торопливо и путанно, лишь бы отвязаться.

«Октябрь месяц, — думал Еремеев, шагая по мокрым бульжникам, — через десять дён третья годовщина советской власти, а врагам все конца нет, язвы их в душу».

Часам к девяти утра, голодный и усталый, он добрался до Моссовета, но и там не нашел земляков. Все ушли в Большой театр. Чтобы не плутать понапрасну, Еремеев пошел вслед за группой председателей Волоколамского уезда, таких же опоздавших, как и он, которых повел парень москвич в черном пиджаке, опоясанном, чтобы было теплее, военным ремнем.

С Еремеевым увязался высоченный застенчивый крестьянин, похожий, несмотря на белокурую бородку, лицом на женщину.

— В нашем уезде, — робко заговорил крестьянин, — на каждого едока возложено продрозверстки по восемнадцать пудов картошки, а мы едва по пять пудов на едока соберем... Наши велели товарищу Ленину сообщить. Как думаешь?

— Не надо. В волости сами должны разобраться, — ответил Еремеев. — Вам все не так. Вы хоть хозяйство сберегли, а я вот с фронта пришел на голое место. Изба рассыпалась, починить не могу — материала не дают.

— Это действительно, где теперь материал взять! — посочувствовал крестьянин.

— Вот и не знаю, чинить ее или продавать, какая есть.

— Это действительно, одни чинят, другие продают...

— А если продавать, то как — на хлеб или на деньги.

— Кто его знает, как оно лучше, на хлеб или на деньги...

— Ну, продам избу, а дальше что? — рассуждал Еремеев, уже не интересуясь, слушает ли его собеседник. — В город уезжать или на месте жениться?

— Это верно. Одни в город подаются, другие в чужой дом идут хозяевами..»

Еремееву стало скучно, и он приблизился, чтобы послушать, о чем говорят впереди.

Больше всех тараторил худенький старичок с хитрыми, остренькими глазами.

— Это все надо разъяснить товарищу Ленину,— говорил старичок, норовя заглянуть в лицо парню москвичу.— Правительство, которое держит в своих руках бразды правления, должно знать, что если уйдет под уклон крестьянское хозяйство, хотя бы и мелкобуржуазное, по понятиям коммунизма, никто не сможет поддерживать советскую власть. А погляди, что у нас делают: корову последнюю берут, лошадь берут, сбрую и ту берут! Плюс к тому за помол на мельнице и то четыре фунта берут. Хорошо, свиней у нас уже три года нет, а то бы и свиней побрали.

— Тебя бы в окопы загнать, глину брюхом переместишь, тогда бы ты усвоил, куда лошадей берут,— оборвал его Еремеев.

«Не хватало еще, чтобы этот живоглот докучал Ленину своими пустыми обидами и мешал решить основной вопрос — о помощи демобилизованным красноармейцам»,— подумал он.

— Хлеб на Сухаревку возят,— сказал парень москвич, — а четыре фунта в больницу или в детский дом им жалко.

— Если и возим, то вам же, рабочим! — закричал старичок.— А что крестьянство от власти видит? Дрова возить заставляют, а даже мази для колес не дают. Если вы к крестьянам не имеете сочувствия, имейте хоть к колесам...

— Власть вам дает, что положено,— сказал парень,— а вы разбирайтесь, что можно просить, а чего нельзя. Думаете, у нас тут сладко? Сходите на наш завод и посмотрите: сырья на два года навалено, а людей нет. Вот о чем товарищу Ленину надо говорить.

— Это не главное,— заметил Еремеев.

— Как это не главное? Три дня завод стоял, механика не было — это тебе не главное?

— А у нас в деревне где они, люди-то? — спросил старичок.

— У нас есть. У вас, я знаю, и свадьбы играют, и ребятишки, как грибы, нарождаются.

— Это верно. У нас нарождаются, будь они неладны...— сказал белокурый крестьянин.

— Да ты обдумай, зачем они свадьбы играют! — воскликнул старичок. — Это правда, сходятся парочками, идут венчаться в волостной совет. А ты думаешь, они ради брака идут? Они не ради брака сходятся, а чтобы получить за это дело мануфактуру. Плюс к тому и на ребенка мануфактуру дают — вот они и нарождаются... Ладно, что я устарел, а то бы тоже от своей бабы побег жениться за мануфактуру-то... Гляди, в чем хожу!

— Тебе холодно? — не утерпев, проговорил Еремеев. — Ты в Крым к Врангелю подайся, тебе там теплее будет...

Старичок начал ругаться, но они вошли в здание театра, и толпа разнесла их в разные стороны.

На лестнице и в залах гудел народ. Еремеев стал было разыскивать своих, но объявили о начале совещания, и, двинувшись по кривым коридорам вслед за другими, он забрался в боковую ложу и, не обращая внимания на ворчанье сидевших и стоявших людей, протиснулся вперед.

В зале было гулко, шумно и сумрачно.

Под потолком висела огромная люстра, на ней кое-где горели лампочки. Еремеев поглядел вокруг, увидел в соседней ложе хитрого старичка и отвернулся.

Внезапно шум усилился, от сцены к заднему ряду волной покатались аплодисменты, и в группе людей, подошедших к столу, Еремеев сразу узнал Ленина, хотя раньше не видел его никогда.

Пока председатель наводил тишину, пока читалась повестка дня, Еремеев не сводил с Ленина глаз.

Он видел, как Ленин отодвинул стул, сел у края стола и, вытянувшись, посмотрел в зал, словно кого-то разыскивал. Потом похлопал по одному карману пиджака, по другому, достал блокнот, раскрыл и пригладил картонную обложку, чтобы она не закрывалась.

Еремееву казалось, что великий, необыкновенный человек должен и вести себя необыкновенно, и каждую секунду ждал от Ленина этого необыкновенного. Но Ленин стал вырывать из блокнота лист, и так же, как под руками какого-нибудь самого простого человека, лист стал отрываться неровно, — видно, плохо были пробиты дырки, — и Ленин начал отрывать листок с другой стороны, совсем так же, как сделал бы это Еремеев. Потом Ленин

принялся писать, глядя на бумагу сбоку, будто проверяя, ровно ли ложатся строчки.

Эта обыкновенность Ленина в первую минуту почему-то разочаровала Еремеева, но когда Владимир Ильич пошел к трибуне легким и быстрым шагом, словно стесняясь, что заставляет сидящих в зале людей ожидать себя, Еремеев вместе со всеми громко захлопал в ладоши.

В полной тишине, почти неестественной для зала, наполненного тремя с половиной тысячами людей, начал Ленин свою речь.

Он говорил о наступлении белополяков, о тяжелом положении наших войск на Западном фронте, говорил как раз о том, что испытал на себе Еремеев. Он говорил о том, почему, несмотря на поражение наших войск, белополяки оказались вынужденными подписать с нами мирный договор. Он говорил о том, что союз против Советской России неминуемо осужден на неудачу, потому что это союз империалистический, союз хищников, а действительного интереса, прочного, соединяющего их, у них нет.

— Это правильно,— сказал кто-то, напирая сзади на Еремеева.

Он оглянулся, узнал белокурого крестьянина и нетерпеливо кивнул. Ему казалось, что именно сейчас Ленин подводит свою речь к самому главному — к продрозверстке, к льготам, ко всему тому, ради чего съехались в этот огромный зал тысячи людей, и ждал, не пропуская ни одного слова.

Затем Ленин сказал:

— Мы должны направить все наши силы к тому, чтобы восстановить промышленность, дать одежду, обувь и продукты крестьянину, начав тем самым правильный обмен деревенского хлеба на городские продукты. Мы должны начать оказывать помощь сельскому хозяйству. Вчера в Совнаркоме мы провели решение о том, чтобы поддержать пайком рабочих того завода, который изготовит первый плуг, который был бы лучше всего приспособлен к нашим русским условиям, чтобы поднять сельское хозяйство и поставить его на более высокий уровень...

«Ну вот, сейчас все и растолкует»,— подумал Еремеев. Но Ленин сказал об очередной задаче — во что бы то ни стало в кратчайший срок раздавить ставленника

международного империализма Врангеля — и, неожиданно для Еремеева, закончил речь.

Постепенно нарастая, раздались аплодисменты.

— А как же с картошкой? — растерянно оглядываясь, проговорил крестьянин. — По восемнадцать пудов на едока наложили...

— Так он тебе и станет доклады складывать про твою картошку! — перебил Еремеев, стараясь оправдать и защитить самого дорогого для него человека. — Тут международный империализм, а ты с картошкой...

И, хлопая в ладоши, он с досадой чувствовал, что своим замечанием крестьянин сбил смутно рождавшийся во время ленинской речи ответ на все жалобы и заботы, и ему попрежнему было неясно, продавать ли избу, подаваться ли в город или оставаться в деревне.

В зале шумели.

Председатель повторял, что речь Владимира Ильича носила информационный характер, что прения излишни, а в ответ на его слова из разных концов неслось: «Прения! Открыть прения!» Еремеев посмотрел на Ленина. Чуть заметно улыбаясь, Ленин быстро написал что-то на листке своего блокнота и передал записку председателю.

Прения начались.

Первый выступил парень, с которым Еремеев шел из Моссовета. Парень говорил о недостатке людей на заводах, о помощи фронту.

Председатель назвал фамилию следующего оратора — Аверьянова.

— Я, извиняюсь, пройти не могу, — раздалось в зале. — Требуется пропуск от коменданта! — и по голосу Еремеев узнал хитрого старика.

— Говори с места! — закричали в зале.

Еремеев увидел, что Ленин снова передал записку председателю, и вскоре старичок появился у трибуны. Говорил он тихо, но кое-что Еремееву удалось все-таки расслышать.

— Вот советуют, помочь надо, — говорил старичок. — Почему не помочь, крестьянство поможет. Но только не так, как ему предписывают. Каждый должен помогать по доброй воле, а не по предписанию властей...

В зале еще больше зашумели, и Еремеев услышал только последние слова Аверьянова:

— Крестьянство должно объединиться в союз, чтобы защищать свои интересы! Да здравствует союз свободного крестьянства!

— Окуда ты, такой, свалился? — закричал кто-то.

— А вот я скажу, откуда он явился, — начал следующий оратор, еще шагая по проходу в зале. — Я вам скажу. — Он поднялся к трибуне, и Еремеев увидел худощавого высокого человека в шинели, видно, также недавно вернувшегося с фронта. — Я был у них там, в Волоколамском уезде, у них там эсеров полно, это он ихние речи говорит... Позвольте мне, товарищ Ленин, сказать вам, что чувствую я, когда слышу такие вот эсеровские речи. Мне вспоминается тогда сказка про рысь. Увидала рысь козла и барана и думает, как бы их зарезать. Сразу она, товарищ Ленин, на двоих напасть боится. «Подожду, думает, когда они раздерутся, тогда я их...» Да что тут сказки говорить! Предыдущий оратор хочет натравить крестьян на рабочих и всех трудящихся на советскую власть! Не выйдет это! А для того, чтобы и рабочему было хорошо, и крестьянину, и солдату, надо со спекуляцией кончать. А то населению соли не дают, а у Сухаревой сколько хотите...

— А ты их лови. Ты тоже советская власть! — крикнул Еремеев, видя, что даже фронтовик говорит совсем не о том, о чем надо бы, и страдая от этого.

К трибуне подошел седой растерянный старик и перекрестился.

— У меня, товарищи, образования нету, и выступать я много не могу. Тут выступают одни, другой и борются бог знает за что... А надо просить, чтобы отменили разверстку или назначили нам, крестьянству, питание как следует. А товарищ Ленин больше всего про Лигу наций говорил, а от этого вопроса увернулся...

Прения затянулись. Говорили и о сене, и о колесах, и о продотрядах, и о падеже скота, и о соли, и о спекуляции, говорили о том, что ораторы не могут пройти к трибуне, потому что все проходы запружены делегатами. Лампочки люстры затуманились и светили мутноватыми радужными огнями. В президиум подали записку о том, что люди устали стоять, и несколько записок с предложением прекратить прения. Подходила очередь выступать Еремееву, но он уже не знал, что говорить и что считать самым важным. Он все острее чувствовал, что бесчислен-

ные просьбы и жалобы, словно дремучий лес, заслонили огромный вопрос, смутно замерцавший в его сознании во время ленинской речи. Ему вдруг стало стыдно за людей, пытавшихся помешать Ленину видеть этот самый важный, огромный вопрос. «Столько нагородили, что теперь тут не только Ленин, тут сам господь бог не разберется», — подумал он и посмотрел в президиум. Ленин все так же спокойно сидел у края стола и изредка записывал в блокнот короткие строки.

Еремеева толкнули в плечо. Он обернулся. Из соседней ложи к нему тянулся Аверьянов.

— Тебе чего? — сердито спросил Еремеев.

— Вот, солдат, мы тут резолюцию написали... Чтобы полегче с разверсткой... А то получается — голодный грабит голодного. Тут вот мы подписались. И ты подпишись. И пошлем в президиум.

— Ладно, в перерыве погляжу, что за резолюция, — отмахнулся Еремеев.

Прения закончились. Председатель предоставил Владимиру Ильичу заключительное слово.

«Неужели он разберется? — с надеждой подумал Еремеев, увидев, как быстро и уверенно Ленин подошел к трибуне. — Неужели разберется?»

— Товарищи! — начал Ленин. — Мне придется ограничиться коротким заключением, потому что по началу собрания было видно, что есть довольно сильное, очень сильное желание поругать центральную власть. Конечно, было бы полезно, и я счел своим долгом выслушать все то, что говорилось против власти и ее политики. И мне кажется, что закрывать прения не следовало бы.

— Правильно! — закричал Аверьянов из соседней ложи.

Ленин взглянул наверх и продолжал:

— Но когда я выслушал ваши замечания, мне пришлось удивляться, как мало вы дали определенных и точных предложений...

— Я надеюсь, что вы, обсудив все другие вопросы, изложив все вопросы без возмущения, вы все-таки не уподобитесь некоторым персонажам той сказки, о которых упоминал один оратор. Рыси, которая ожидает войны между козлом и бараном, для того, чтобы их пожрать, рыси вы удовольствия не доставите, в этом я уверен.

Раздались дружные аплодисменты.

— Вот это правильно! — радостно сказал крестьянин, напирая сзади на Еремеева. — Вот это верно!

— Слишком больно большинство крестьян чувствуют и голод, и холод, и непосильное обложение, — говорил Ленин. — Вот за что более всего и прямо и косвенно большинство говоривших ругали центральную власть. И чувствовалось, что товарищи даже не хотели дослушать до конца, если не усматривали ответа на этот больной вопрос. И один из говоривших ораторов, не помню, какой, сказал, что я, по его мнению, «увернулся» от этого вопроса. Я думаю, что это неосновательно...

Ленин отошел от трибуны и ходил теперь вдоль сцены, резко взмахивая рукой.

— Мы понимаем, что у каждого из волнующихся здесь наболела душа, потому что нет корма для скота и скот гибнет, что обложение непомерно, и напрасно сказал товарищ, что для нас являются новыми эти крики протеста. Ведь мы же знаем и из телеграмм с мест и из докладов с мест о падеже скота вследствие трудного положения с кормом, и сознание трудности положения у всех имеется.

Еремеев смотрел на Владимира Ильича, и ему казалось все более и более странным, что столько людей съехалось из многих сел и деревень в московский театр для того, чтобы у этого невысокого человека, который носит старенький пиджачок и черный, в белую крапинку галстук, который, говорят, пьет чай без сахара, чтобы у этого человека требовать для всей области сено и колесную мазь.

«А вот он сейчас предложит, — улыбаясь, подумал Еремеев, — самим нам сообразить, что надо сделать, чтобы было сено и колесная мазь. Мы ведь тоже советская власть, как и он».

И, словно подтверждая его мысли, Ленин говорил, что когда положение казалось отчаянным, а не только трудным, когда положение было во сто раз труднее теперешнего, советская власть выходила из него тем, что, не прикрашивая этого положения, она собирала такого же рода собрания рабочих и крестьян...

— Рабочих и крестьян, — повторил Ленин, выбросив вперед руку. — Вы сюда пришли для того, чтобы высказывать прямо и резко свое мнение, а когда вы все это делаете, подумайте спокойно, что вы хотите дать и сделать, чтобы поскорее покончить с Врангелем.

Еремеев слушал, и ему казалось, что из всех находящихся в зале только они двое, он и Ленин, понимают сейчас, что главным вопросом, от которого зависит и починка его избы и урожай на его огороде, является вопрос о том, как очистить родину от врагов, как покончить с Врангелем.

Это была та правда, которую смутно чувствовал Еремеев, но боялся, так же как и многие выступавшие, думать о ней, потому что она была связана с новыми жертвами, новыми невзгодами и новыми лишениями.

И только Ленин, яснее всех увидевший эту неизбежную, но единственную ведущую к победе правду, мужественно сказал ее в глаза тысячам людей.

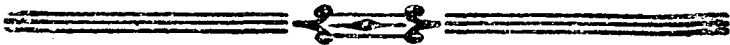
Ленин сказал эту правду решительно и уверенно, потому что за тяготами и лишениями ясно видел и первый новый плуг, видел одежду, обувь и продукты, непрерывным потоком текущие в деревню, видел светлое, мирное будущее.

«Кабы мы все научились глядеть на наши заботы с такой же высоты, с какой глядит Ленин, рассыпались бы враги в два счета», — подумал Еремеев.

И когда в перерыве подошел Аверьянов и протянул для подписи листок бумажки, протянул так осторожно, будто боялся, что все буквы, написанные на бумажке, ссыплется на пол, Еремеев строго взглянул на него и тихо проговорил:

— Ты что снешь, стерва? Эсеры писали, а ты подписи собираешь? Иди отсюда а то я тебе выдам такую подпись, что дорогу домой позабудешь.





Сергей Антонов

РАЗГОВОР

С самого утра у Жени было прекрасное настроение. Большой, светлый цех, накрытый стеклянной крышей, казался ему сегодня веселым и праздничным. Весело и сильно шумел вделанный в оконную фрамугу вентилятор, весело пели станки, и даже в тоне мастера, отчитывающего за что-то Анатолия, звучали веселые нотки. И когда, медленно набирая силу, в двенадцать часов дня загудел заводской гудок, Женя удивился: как быстро летит время! Гудок гудел совсем близко от инструментального цеха, и его бархатный, знакомый всему городку голос на минуту затопил все звуки: бесшумно стал вращаться вентилятор, бесшумно работали станки, и мастер стоял перед Анатолием, бесшумно шевеля губами. Думая о чем-то своем, Женя отвел эмульсионную трубку, вынул тепленький нипель, блестящий, как слочная игрушка, проверил его проходным и непроходным калибром и бросил в ящик; где уже лежали десятки таких же разноцветно блестящих нипелей. Потом он остановил свой старенький, мокрый от эмульсии, словно вспотевший, станок и, широко шагая по черным, жирным доскам пола, пошел к выходу. Обычно во время обеденного перерыва Женя прятал полученный под расписку метчик в глубину тумбочки, но сегодня все люди казались ему добрыми и честными, и он оставил метчик на станке.

В проходе между станками Женю нагнал Анатолий, невысокий худощавый паренек в тяжелой мохнатой кепке. У него была привычка все время оглядываться, словно

его окликали со всех сторон. Работал он всегда в кепке, чтобы буйные его волосы не засоряла стружка. По сравнению с Женей Анатолий был очень грязен. И руки его, и лицо, и синяя спецовка лоснились от сажи и машинного масла. Однако из-за этого еще белей казался видневшийся из-под спецовки белый ворстничок, облежавший тонкую Толину шею, и еще приятнее выглядел безукоризненно завязанный галстук модного цвета цикламен.

Несмотря на то, что Анатолий при всяком удобном случае навязывался на дружеские разговоры, нельзя сказать, что они с Женей были друзьями. Завистливость Анатолия и его постоянная оглядка казались Жене неприятными, но он считал себя обязанным сохранять со своим соседом по цеху вежливые отношения: они были соперники по сосоревнованию, и фамилия одного из них всегда появлялась в конце месяца на красной доске.

— Я перед выходным никак не могу в норму войти, — сказал Анатолий. — А ты, все равно как Плюшкин, уже не меньше, чем на двадцать пять рублей накрутил.

Женя ничего не ответил, только улыбнулся радостно и бессмысленно. Крупный и широкоплечий до того, что на нем не сходилась ни одна спецовка, он казался сейчас похожим на ребенка.

— Пойдем сегодня на стадион? — предложил Анатолий и оглянулся.

— Нет, не могу сегодня.

— А то пойдем. Сегодня наши с трудрезервами играют. Я тебе там одну резервочку покажу, деваха — дай боже.

— Не могу сегодня. — Женя попытался сделать безразличное лицо, но против воли снова улыбнулся и, как бы оправдывая улыбку, добавил: — В кино иду. На «Два гроша надежды».

— С кем?

— Ты ее не знаешь.

— Длинная или короткая?

— Вот так мне, — Женя попилил себя рукой по плечу. — В самый раз.

— Рыжая или белобрысая?

— Каштановая.

— Каштановая — это ерунда, — сказал Анатолий. — Каштановые — ни рыба ни мясо.

Они вышли на широкий, просторный двор. Работница

сторожевой охраны Надя поливала из шланга асфальт. Высоко над заводскими корпусами горело летнее солнце. Все вокруг было словно пропитано ярким светом, и было больно смотреть на сверкающие лужицы.

— Ну, а какая она все-таки из себя? — спросил Анатолий.

— Как я тебе объясню... — Женя развел руками.

— А попросту. Ну, глаза, например, какие?

— Глаза?.. А, знаешь, глаза я и не помню. Помню, немного щурится, когда смотрит... Совсем чуть-чуть щурится.

— Близорукая, — сказал Анатолий.

— Почему близорукая? Может, у нее такая привычка.

— Значит, хитрая. Хитрые всегда щурятся.

— Да нет! — досадливо проговорил Женя. — Совсем не хитрая... Глаза такие хорошие... Цвет только не помню. Волосы — это помню. Каштановые. Вьются.

— Наверное, шестимесячная?

— Нет, у нее свои.

— Когда же ты успел познакомиться?

— Первого мая. Помнишь, в сад ходили? Вот тогда Эскимо ей покупал. Два раза.

— Что же, тебе заводских не хватает? Наверное, молочница какая-нибудь...

— Нет, она в педагогическом учится. На втором курсе. Аккуратная такая. Круглая отличница между прочим.

— А у нее подруги есть?

— Были с ней две подруги. Но тебе там делать нечего, у тех уже есть ребята. — И, с удовольствием, видимо не в первый раз, вспоминая первомайский вечер, Женя быстро заговорил: — Когда вы с Надей меня бросили, я остался один. Думаю: куда деваться? Домой, думаю, идти рано. А тут вижу — колесо. Покатаюсь, думаю, на колесе. Купил билет, занял очередь. А передо мной они и стоят, пять человек. Три дивчины и два парня. Я сперва думал — займу очередь и отойду погулять. А как увидел ее, так и встал на месте. Она рассказывала что-то про Ньютона, и все они покатывались со смеху. Не знаю, что там про Ньютона было смешного, а стою и слушаю. Ты ведь знаешь, мне все девчата на один фасон. А тут совсем другое дело... Такая она... круглая отличница между прочим...

— Уже хвалилась?

— Нет, — Женья поморщился, — она не хвастается. Это я из разговора вывел. Она меня и не видела тогда... Ну, так вот, подошла наша очередь, стали садиться в люльки. Ее подруги с парнями заняли две люльки. А она села одна. И мне билетерша велела садиться с ней. Сам бы я не посмел сесть — мне билетерша велела. Ну вот, сидим с ней рядом, катаемся. А когда люлька идет вниз, она кладет свою руку на перекладину, совсем рядом с моей рукой, совсем близко, миллиметров, может, пятнадцать, а может, десять... Что стало со мной, я не знаю. Соображать даже перестал, вверх летим или вниз, — только и слежу за ее рукой и думаю: дотронется она до меня или нет? И думаю: если дотронется, что-то случиться должно...-какое-то, одним словом, короткое замыкание... И вдруг...

— В душ пойдем? — спросил Анатолий.

— Как хочешь, — сухо ответил Женья и замолчал.

— Там народу много. У колонки умсемся, и ладно. Да, а ты Надьке не говори, что я на стадион собрался.

Минут через пять они вошли в шумную столовую.

— Значит, приглянулась она тебе? — смотря в меню, поинтересовался Анатолий.

— Что там на второе? — спросил Женья.

— Эскалоп есть — три с полтиной. Отбивная... Познакомились все-таки?

— Я возьму отбивную.

— Каждый день одно и то же. Постоянный ты парень. А я для разнообразия цветную капусту... Как звать-то?

— Ну, Люда.

— Мещанское имя.

— Хватит об этом, понял? — сказал Женья угрожающе.

— Чего ты завелся? — удивился Анатолий. — С ним разговаривают, а он завелся все равно как не знаю кто. Подумаешь, нашел подругу жизни! Ты еще лет десять таких-то подруг будешь перебирать. Это еще ничего не доказывает, что она глаза щурит или говорит: «Ах, я еще не видала «Два гроша надежды»...» Говорила ведь?

Женья смолчал. Действительно, Люда говорила что-то вроде этого.

— Ну вот. Я с этими, образованными много времени

убил, — продолжал Анатолий, — у нее весь интерес — на чужие деньги в кино сходить. А ты ей эскимо покупаешь, все равно как Евгений Онегин.

К столу подошла Надя в светлом платье, без платочка, и спросила Анатолия хрипловатым голосом:

— Возле тебя сегодня свободно?

— Садись, — разрешил Анатолий, оглянувшись по сторонам. — Где охрипла?

— С вышки прыгала. Тренировалась. Простыла немного.

— Подумаешь, чемпион!

— Я и не лезу в чемпионы.

— Скоро к нам подойдут? — раздраженно спросил Женя пробегающую официантку. Настроение у него испортилось.

Может быть, Анатолий прав и Люда, если посмотреть на нее спокойными глазами, обыкновенная студентка педагогического техникума, обыкновенная хохотушка — и все. Странно подумать — с каким замиранием сердца ждал он, дотронется она до его рукава или не дотронется. Все произошло гораздо проще. Во время катанья у нее слетел платок с шеи, и Женя успел его подхватить. Вот и все. И она пошла с ним гулять.

«Наверно, действительно она близорукая», — подумал Женя и принялся за борщ.

Почему-то вспомнилось, с какой восторженностью он расписывал Анатолию свою знакомую, вспомнилась глупая фраза о коротком замыкании. Потом вспомнился метчик, оставленный на станке, и, совсем расстроившись, Женя отставил недоеденный борщ, уверенный, что метчика давно уже нет на месте.

— Ты чего это нынче больно серьезный? — спросила Надя.

— Не суйся, — сказал Анатолий, — тут дело сердечное.

— Да что ты! — воскликнула Надя. — А мы-то уж думали, что наш Женька единственный идейный холостяк на заводе... Ничего из себя?

— Да так, коротышка близорукая, — сказал Женя и, почему-то усмехнувшись, добавил: — Будущий педагог.

— Звать как?

— Это неважно...

— И крепко она тебя любит?

— Эскимо она любит. Ни рыба ни мясо в общем.

— Ну, давай не теряйся, — сказала Надя.

— А чего мне теряться? — ответил Женя, нахмурившись.

— Вот это разговор правильный, — заметил Анатолий и оглянулся.

А Женя вдруг подумал, что сейчас Люда сидит, наверно, в маленькой комнате своего общежития и читает толстый учебник, готовится к экзаменам. А может быть, вспоминает о нем, размышляет о том, где он сейчас, что делает, что говорит...

Женя тяжело вздохнул и, стараясь отвлечься от тяжелых мыслей, прислушался к беседе Нади и Анатолия.

— Ты ведь обещал на стадион идти, — говорила Надя. — И когда ты будешь хозяин своему слову?

— Вчера обещал, а сегодня не могу, — отвечал Анатолий. — Ты, если хочешь, иди. Я тебя не задерживаю.

— Одной какой интерес! Я с тобой хочу.

— Мало что... У меня дела.

— Какие у тебя вечером дела?

— Мало какие. Хочешь, ешь цветную капусту. Я ее почти не тронул.

— Спасибо.

— Ешь. Заплачено.

— Что, у меня денег нет, что ли? Сама закажу.

— Откуда они у тебя, деньги! — усмехнулся Анатолий. — Ешь.

— Не хочу, — устало проговорила Надя. — Дай закурить.

В глазах у нее блестели слезы. «Год назад была веселая девушка, — подумал Женя, — а теперь хрипит, курит. И головой вертеть стала, как Анатолий. Переняла дурную привычку». И чем дольше Женя смотрел на нее, тем отчетливее доходило до его сознания, что не сама она виновата в этом презращении.

— Значит, на стадион не идешь? — грустно спросила Анатолия Надя.


— Да чего ты пристала? Нашла бы себе какого-нибудь физкультурника да ходила бы по стадионам.

— Ты вот что, друг... — Женя встал, и руки его дрожали. — Если ты ее обидишь... я тебе покажу... Я тебя... — Он задохнулся, и, чувствуя, что может сейчас натворить все, что угодно, выбежал из столовой.

На дворе попрежнему ярко горело солнце. Женья шагнул к цеху, с облегчением ощущая, как сами собой разжимаются его кулаки. Асфальт уже высох, и только на цветах газонов блестели чистые крупные капли. В цехе возле своих мест хлопотали вернувшиеся с обеда рабочие. В углу мерцала куча металлической стружки, похожая издали на гору девичьих колечек. Женья подошел к своему станку, увидел лежащий на прежнем месте метчик и улыбнулся. На душе его опять стало легко, словно он только что избавился от опасной, неизлечимой болезни. Минут через десять загудит гудок, зашумят станки и начнется спокойная работа. А через несколько часов гудок загудит снова, возвещая конец рабочего дня, его бархатный голос услышит в своем общежитии Люда, закроет толстый учебник, наденет веселое платье и будет ждать тихого стука в дверь и тихого вопроса: «Можно?»

Женья снова улыбнулся и включил свой старенький станок.





Борис Бедный

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ

1

Шумно и весело было раньше у Федуновых. Дети характером удались в отца, Семена Григорьевича, росли общительными и компанейскими. У каждого из них было по несколько неразлучных друзей, и с незапамятных времен повелось почему-то так, что не они ходили в гости к своим приятелям, а те к ним. В целом году дня не выпадало спокойного, все гвалт, топот, игры да песни. Весной и осенью дородная Екатерина Захаровна жаловалась, что гости много грязи наносят в комнаты, и предлагала отвратить для начала хотя бы тех, кто ходит без калош. Но Семен Григорьевич, любивший общество, уверял жену, что гости красят жизнь, а калоши вещь наживная, и все продолжалось попрежнему.

А потом дети выросли, выучились на инженеров и агрономов, обзавелись своими семьями и разъехались кто куда. В родном городе остался лишь старший сын Петр, работавший в коммунхозе начальником над всем городским водопроводом. Уже и после женитьбы Петр долгое время жил в отчем доме, но года два назад ему дали в центре города хорошую квартиру — близко от места работы, все удобства, солнечная сторона, — и он переехал. Наиболее осведомленные из соседок поговаривали, будто истинной причиной переезда были не преимущества новой квартиры, а нелады, возникшие у Петровой жены со свекровью. Одни соседки винили во всем Екате

рину Захаровну, другие — молодую невестку. Кто из них был прав, кто виноват, решить трудно, — недаром в китайской письменности иероглиф «ссора» рисуют в виде двух женщин под одной крышей.

После переезда сына Семен Григорьевич и Екатерина Захаровна снова остались одни-одинешеньки, как тридцать семь лет назад, когда соединили свои судьбы. И просторной же показалась им теперь их старая, еще недавно тесноватая квартира!

Петр навещал родителей не часто, ссылаясь на занятость срочными водопроводными делами. Еще реже писали письма другие дети, и письма эти выходили у них почему-то обидно куцыми, по схеме: «Здравствуйте, милые! Как поживаете? У меня все в порядке. Целую...»

Дочь Вера, бывшая замужем за директором крупного сибирского завода, каждый месяц присылала по двести рублей, забывая, однако, черкнуть хотя бы строчку на обороте почтового перевода. Семен Григорьевич пристыдил как-то директоршу, и после этого Вера стала посылать деньги телеграфными переводами, в которых, как известно, министерство связи еще не догадалось отвести место для письма.

Екатерина Захаровна говорила Семену Григорьевичу, будто кладет Верочкины деньги в сберкассу, а сама тайком переправляла их младшему сыну, студенту, вдобавок к тем деньгам, что отец уделял ему из каждой получки. Семен Григорьевич нашел как-то разоблачительные квитанции в укромном месте, на комодике за зеркалом, все понял, но жене ничего не сказал и только иногда, посмеиваясь, заводил вдруг речь о том, как привольно заживут они с Екатериной Захаровной, когда проценты с отложенных капиталов достигнут солидной суммы.

Письма короче воробьиного носа, редкие приходы Петра, неудачная семейная фотография, где Семен Григорьевич вышел почему-то сердитым, а Екатерина Захаровна имела вид испуганный, да еще закапанная чернилами клеенка на столе, за которым дети готовили когда-то школьные уроки, — вот и все, пожалуй, что напоминало старикам о их сыновьях и дочерях.

С недавнего времени Семен Григорьевич стал замечать, что хитрая Екатерина Захаровна особенно внимательно слушает сводки погоды по радио. Ее радовало, что в сводках часто упоминают те города и области, где жи-

вут их дети. Когда писем не было очень уж долго, Семен Григорьевич, приходя с работы, спрашивал обычно:

— Ну как там... погода?

И Екатерина Захаровна незамедлительно сообщала:

— У Веры двадцать градусов мороза; должно быть, валенки уже надела. У Васи ветер умеренный, без существенных осадков. Про Гришу ничего сегодня не передавали. У Фени дождь; наверно, опять насморк схватит. А Саша до сих пор в летнем костюмчике разгуливает: семнадцать тепла, умней всех устроился!..

— Большая, однако, у нас страна! — каждый раз ново удивлялся Семен Григорьевич и, успокоенный, сядил обедать с таким чувством, будто от всех детей получил весточки.

При всем том Семен Григорьевич особенно на детей не обижался и считал, что в общем все идет правильно, как оно давно уже в мире заведено: были дети малыми — нуждались в его помощи, а теперь оперились, взвалили на плечи нелегкий житейский груз, сами детей воспитывают — где уж тут много о стариках думать: в сутках ведь только двадцать четыре часа.

Прежние шумные гости — и те, кто носил калоши, и те, кто, к неудовольствию Екатерины Захаровны, обходился без них, — после отъезда молодых Федуновых не заглядывали больше к Семену Григорьевичу. Желанная тишина наконец-то установилась в доме, но не радовала она Екатерину Захаровну. Не веселили ее душу и незапятнанные полы: чистота их была какая-то скучная, неживая.

Лишь несколько человек навещали теперь Федуновых.

По воскресным дням приходил старый врач Кондрат Иванович, живший в соседнем доме, некогда бесплатно лечивший всех детей Семена Григорьевича и до сих пор помнивший, кто из них болел корью, а кто скарлатиной. Суется гораздо больше, чем надо для одного гостя, Екатерина Захаровна подавала на стол чай. Семен Григорьевич пил чай крепкой заварки и вприкуску, а Кондрат Иванович — внакладку и слабый, чтобы не попортить цвет лица. Они пили чай и неторопливо беседовали о погоде, международных событиях и озеленении родной улицы. Выпив две чашки, Семен Григорьевич долго и тщательно вытирал усы и потом предлагал небрежно:

— Что ж, сразимся?

Кондрат Иванович доставал из жилетного кармана массивные серебряные часы фирмы «Павел Буре, поставщик двора его императорского величества» и говорил нерешительно:

— Неплохо бы, да вот беда — спешить мне надо...

— Одну-то партию можно сыграть! — убеждал Семен Григорьевич и, соблазняя врача, рассыпал по столу звонкие шашки.

— Разве что одну! — соглашался Кондрат Иванович, прятал «Павла Буре» и играл пять, а то и десять партий, совершенно позабыв, что ему надо спешить.

Долгое время трудно было определить, кто играет лучше: то врач одолевал мастера, то мастер врача. Но с годами Семен Григорьевич как-то наловчился и стал выигрывать раз за разом. Несмотря на их старинное знакомство, Кондрату Ивановичу, как человеку с высшим образованием, сгддно было проигрывать малообразованному соседу. Утешая себя, он говорил, что шашки игра примитивная, и все норовил подбить Семена Григорьевича обучаться благородным и высокоумным шахматам. Однако Семен Григорьевич на старости лет не хотел рисковать своим чемпионством и резонно возражал, что на шахматной доске тесно от фигур, а он простор любит. То ли дело разлюбезные шашки — тут вся доска насквозь просматривается, все пешки на виду, и никакого тебе обману..

По большим праздникам являлся мастер Зыков — дружок и одноклассник Семена Григорьевича, работавший на одном с ним заводе. Озеленением улиц и международными вопросами молчаливый Зыков не интересовался, в шашки тоже не играл, и с ним Семен Григорьевич коротал время совершенно иным образом.

Каждый раз Зыков приносил пол-литра водки и молча ставил на стол. По долгу гостеприимства Екатерине Захаровне приходилось ухаживать за гостем, подавать закуску и говорить разные любезные слова, вроде: «Селедку попробуйте! Неужели вам наша капуста не нравится?» — и прочее в том же духе, а если б ее вольная воля, она Зыкова с водкой и на порог не пустила бы. Четверть века назад у Екатерины Захаровны спился двоюродный брат; с тех пор она считала, что все мужчины как бы ходят по краю пропасти, и, оберегая семейный очаг, везде, где только могла, непроницаемой стеной становилась между мужем и водкой.

Сперва Зыков навещался лишь Седьмого ноября и Первого мая, а потом стал приходить и на рождество с пасхой. Никакого стариковского поворота к религии у него не произошло, просто ему нужен был повод, чтобы выпить. Выпивку без достаточного основания строгий мастер не признавал, считая ее признаком душевной слабости и самым обыкновенным пьянством.

С годами зыковский круг праздников расширился. После войны дружки стали отмечать День Победы — в отдельности разгром Германии и капитуляцию Японии. А в самые последние годы, когда дети Зыкова тоже разлетелись из-под родной крыши, он стал заглядывать к Семёну Григорьевичу вдобавок ко всем прежним праздникам еще Восьмого марта и на троицу.

Иногда Семёна Григорьевича навещали и молодые рабочие, его ученики. Они входили к мастеру с торжествующим сиянием глаз и с тем беспорядком в причёске и одежде, которые за версту выдавали счастливых изобретателей, только что обогативших отечественную технику открытием невероятной важности. Ребята извлекали из карманов мятые крошечные листки чертежей, размеры которых были обратно пропорциональны гениальности замысла, или приносили модели резцов, бережно завернутые в носовые платки холостяцкой чистоты и вырезанные, за неимением под рукой другого материала, из обыкновенной сырой картошки, — и тогда Екатерина Захаровна ворчала, что теперь ей понятно, почему на рынке подорожали фрукты-овощи. Чаще всего молодые изобретатели уходили восвояси, опустив головы, и, мстя себе за незадачливость, пешком тащились в свое общежитие через весь город, из презрения к себе отказываясь от услуг легко доступного по вечерам городского транспорта. Но попадались среди них и такие, кого Семён Григорьевич хлопал по плечу своей небольшой тяжелой рукой, говоря растроганно:

— Порадовал старика, комсомол! Варит котелок, варит!

Случалось, что «комсомол» являлся и без всяких чертежей и моделей. В беседе тогда какой-нибудь парнишка долго бродил вокруг да около, пока Семён Григорьевич не спрашивал, потеряв терпение:

— В чем неувязка? Выкладывай!

И в ответ слышал робкое:

— По личному я...

Ребята знали, что Семен Григорьевич не разболтает их секреты, и охотно советовались с ним в затруднительных случаях, доверяясь житейскому опыту и природному такту старого мастера, — к великому удивлению Екатерины Захаровны, которая с незапамятных времен придерживалась того мнения, что муженек ее, может быть, и понимает кое-что в своем производстве, но зато ни бельмеса не смыслит в тонких сердечных делах.

Из молодых рабочих к Семену Григорьевичу чаще других приходили тихий, не по годам спокойный токарь Коля Савин и веселый фрезеровщик Кирюшка.

2

В глубине души Екатерина Захаровна считала, что жить ей на свете гораздо труднее, чем мужу. У Семена Григорьевича был завод, который не только каждодневно доставлял ему постоянное восьмичасовое занятие, но и определял весь режим остального дня, придавая всему, что делал муж, завидный смысл: утром он озабоченно спешил на работу, а вечером заслуженно отдыхал. У Екатерины же Захаровны никакого завода не было, а заботы ее по хозяйству после отъезда детей сильно уменьшились.

Как только Семен Григорьевич уходил на свой завод, в доме устанавливалась такая тишина — котенок прокрадется на мягких лапках и то слышно. От этой гнетущей тишины, от надвигающейся старости или от того, что у Екатерины Захаровны оказалось вдруг много свободного времени, которое нечем было заполнить, она стала часто прихварывать. Раньше, когда семья была большая и Екатерине Захаровне надо было всех обшить, обстирать и накормить, у нее просто не хватало времени на болезни, и она всегда была здорова. А теперь ее стали вдруг одолевать всевозможные недуги, один другого мудренее.

Впрочем, довольно быстро находчивая Екатерина Захаровна вполне освоилась с новым своим положением и даже стала извлекать из него кое-какие выгоды. Почувствовав самое легкое недомогание или, что было одно и то же, вообразив его у себя, она немедленно ложилась в постель и ставила у изголовья жестяную коробку из-под

печенья, служившую в семье Федуновых аптечкой. Екатерине Захаровне было приятно наблюдать, как сильно беспокоится Семен Григорьевич во время ее болезни и лезет из кожи вон, чтобы угодить ей и исполнить любой каприз. Как все жены на свете, Екатерина Захаровна была убеждена, что вообще-то муж недостаточно о ней заботится, и теперь радовалась, видя его смятение. Высоко взбив подушки, она целыми днями лежала в постели, без нужды тяжело вздыхала и пугала доверчивого Семена Григорьевича разговорами о своей близкой смерти.

Домашний курс лечения вскоре Екатерине Захаровне наскучил, советы Кондрата Ивановича казались ей слишком простыми, и она чуть ли не впервые в жизни пошла в поликлинику. И там-то неожиданно-негаданно Екатерине Захаровне открылся новый, заманчивый мир. Строгая больничная чистота внушала невольное уважение. Народ в очереди стоял не в пример вежливее, чем в продуктовых магазинах, никто не лез нахрапом вперед, все было чинно, благородно. И разговор вокруг шел совсем иной. Никто не упоминал про обвес, растрату и другие низменные вещи. Под стать месту, беседа велась тонкая и ученая, порхали незнакомые Екатерине Захаровне слова: гипертония, терапевт, глюкоза.

Одно лишь омрачило радость открытия. В очереди, впереди себя, Екатерина Захаровна увидела жену диспетчера, жившую в том же доме, где и она, этажом ниже. Над диспетчершей этой давно уже смеялись все соседки: у нее вечно убегало на кухне молоко, пригорали котлеты, а муж ее, диспетчер, сам пришивал себе пуговицы. Дома она, сознавая свою неполноценность, была тише воды, ниже травы, а здесь громким, уверенным голосом завсегдатая хвалила одних докторов и поругивала других — и все это с доскональнейшим знанием дела, солидно и авторитетно. Екатерина Захаровна почувствовала, что самолюбие ее задето. Она наглядно увидела, как много потеряла, сидя дома, и с того дня стала частенько наведываться в поликлинику.

На старости лет ее вдруг обуял самый беспокойный из всех видов азарта — лечебный. Семен Григорьевич только диву давался: наверстывая все упущенное за прошлые годы, его благоверная лечилась водой и электричеством, добивалась приема у профессора, шла на рентген, капитально ремонтировала зубы.

Длинные амбулаторные очереди стали для Екатерины Захаровны и клубом, в котором она не скучно проводила свое время, и медицинским институтом, где она узнавала о всех существующих на свете недугах и способах их лечения. Врачи, даже не находя у Екатерины Захаровны никакой болезни, всегда прописывали ей какое-нибудь лекарство, которое хотя и не приносило особой пользы, но не причиняло и вреда.

Сначала она по неопытности робела перед медицинскими работниками и стыдилась отнимать у них время. Но врачи были с ней отменно вежливы, внимательно выслушивали, на что она жалуется, и постепенно Екатерина Захаровна прониклась уверенностью, что все эти образованные и воспитанные люди для того и приставлены к ней государством, чтобы обслуживать ее, и стесняться тут нечего. Каждый делает свое дело: она болеет, а они ее лечат.

Екатерина Захаровна так старательно посещала поликлинику, что в скором времени все завсегдатаи стали считать ее своим человеком. При случае она уже могла указать новичку, как найти тот или иной кабинет, и посоветовать, в какой аптеке всего лучше заказать лекарство. А потом она так понаторела, что однажды вступила с диспетчершей в спор и о самой гипертонии. Память у Екатерины Захаровны была цепкая, не засоренная учением и книгами; она хорошо помнила все, что сведущие люди говорили в очереди о гипертонии, и хотя толком не понимала, что это такое, но повторила чужие слова правильнее соседки, и та с позором должна была признать ее правоту.

У Екатерины Захаровны объявилось такое великое множество новых знакомых, что с ней стало просто невозможно ходить по городу: она раскланивалась на каждом шагу и в эти минуты сильно напоминала Семену Григорьевичу директора завода, когда тот в обеденный перерыв шел по заводскому двору. Любопытный Семен Григорьевич спрашивал иногда, с кем это она здоровается, и слышал в ответ небрежное:

— Вместе просвечивались...— Или: — Стояли в очереди к врачу ухо-горло-нос...

Большинство новых знакомых Екатерины Захаровны были люди пожилые, нигде не работающие. Они жили на пенсии или на иждивении своих детей и так же, как Ека-

терина Захаровна, на закате дней наверстывали все упущенное по части медицины. Свободного времени у них было хоть отбавляй, и Семен Григорьевич начинал теперь догадываться, почему рабочему человеку так трудно попасть на прием к врачу.

Сперва он лишь посмеивался над лечебными причудами супруги, но вскоре они коснулись и его. Екатерина Захаровна вдруг уверовала в пользу вегетарианства и стала донимать мужа обедами из овощей и разными киселями. Семен Григорьевич, любивший пищу такую, чтобы было чего кусать, долго не вытерпел подобных измывательств и пригрозил, что станет ходить в столовую или даже в ресторан. Екатерина Захаровна, всю жизнь как огня боявшаяся ресторанов-искусителей, испугалась, срочно пересмотрела свое отношение к вегетарианству, и на столе опять появились мясные блюда. Но она взяла реванш на другом: строго-настрого запретила мужу курить в комнатах и выгоняла его на кухню. С папиросой в зубах Семен Григорьевич в одиночестве прогуливался меж ярко начищенных кастрюль и сам себе казался похожим на тигра в клетке.

Благоговение перед новейшими открытиями медицинской науки прочно уживалось у Екатерины Захаровны со слепой верой в чудодейственную силу передающихся из поколения в поколение народных средств, неизвестных врачам. Семен Григорьевич часто заставал дома ветхих старушек со слезящимися глазами и бойких молодых цыганистого вида, в длинных цветастых шالях. Они приносили Екатерине Захаровне какие-то травы, корни и таинственные снадобья. Семен Григорьевич не шутя опасался, что супруга его как-нибудь ненароком отравится. Обширная жестянка из-под печенья уже не вмещала всех медикаментов, и Екатерина Захаровна в подмогу ей раздобыла где-то круглую картонную коробку из-под шляпы, которую Семен Григорьевич ехидно именовал «филиалом».

У Екатерины Захаровны появилась заветная мечта — съездить на Кавказ, покупаться в теплых водах Черного моря и полечить грязевыми ваннами свой застарелый ревматизм, которого, как думал Семен Григорьевич, у нее никогда и в помине не было. Она уже справлялась на железнодорожной станции, сколько стоит билет, заказала слесарю приделать к старому баулу замок покрепче, и

Семен Григорьевич стал склоняться к мысли, что супруга его осуществит-таки свой грандиозный замысел.

Справедливости ради следует, однако, отметить, что Екатерина Захаровна отдавала лечебным процедурам лишь свое свободное время, на первом же месте для нее попрежнему оставался дорогой муженек. Случалось, она бросала свою очередь в поликлинике перед самой дверью в кабинет и сломя голову мчалась домой, чтобы поспеть с обедом к приходу Семена Григорьевича с завода. И в думах о предполагаемой поездке на юг ее больше всего беспокоило, как будет жить в одиночестве Семен Григорьевич, кто его напоит-накормит. Тайком от мужа Екатерина Захаровна вынашивала план — поехать в дальнее путешествие вместе с ним, чтобы душа ее была спокойна, что он не терпит никаких лишений, пока она разъезжает по Кавказам...

Примерно в то же самое время, когда Екатерина Захаровна увлеклась медициной, Семен Григорьевич присмотрелся к чтению художественной литературы. Раньше ему не довелось много читать: то на работе был занят, то дома, в семье. Всех детей надо было одеть-обуть, вывести в люди, где уж тут было думать о чтении! К тому же в цехе все время совершенствовалась техника, и чтобы не опозориться перед «комсомолом», приходилось на старости лет, спрятав самолюбие в карман, вечера напролет просиживать над техническими брошюрами и наставлениями, — не до романов тут было!

Теперь же Семен Григорьевич добрался и до романов. Своих книг в доме было не густо, и скоро страсть к чтению привела мастера в библиотеку. Там он увидел, что книг написано превеликое множество, — всех не перечтешь, если даже начать читать с грудного возраста. Возраст Семена Григорьевича был уже далеко не грудной, и, как человек осмотрительный, он побоялся наломать дров в новом для него занятии и взяться совсем не за те книги, которые ему надо бы прочесть. Сам специалист своего дела, Семен Григорьевич привык во всех случаях жизни доверять специалистам. Он обратился за помощью к библиотекарше — и не пожалел. Библиотекарша была молодая и даже без очков, но в многоярусном книжном хозяйстве разбиралась не хуже, чем Семен Григорьевич в своем цехе.

Семен Григорьевич любил чтение серьезное и тол-

стые книги предпочитал тонким. Более всего он уважал книги о давно минувших временах, прочитав которые можно было узнать, что радовало тогда людей и что печалило, в каких жилищах они жили и какие носили одежды, сколько зарабатывали своим не механизированным трудом и какие тогда держались цены на хлеб, мясо, сапоги и другие товары, необходимые для жизни во все времена и для всех народов. Когда Семен Григорьевич не находил в книге ответа на эти простые и важные вопросы, он сердился на автора и считал его человеком легкомысленным.

Желая порадовать супругу, Семен Григорьевич пытался приохотить к чтению и ее, но из этой затеи ничего путного не вышло. Книги на Екатерину Захаровну действовали как-то странно: принимаясь читать, она сначала все понимала, но уже на второй или третьей странице всегда почему-то получалось так, что глаза ее попрежнему старательно скользили по строчкам, не пропуская ни одного слова, а мысли текли своим чередом, возвращаясь к насущным житейским заботам, не имеющим ничего общего с тем, о чем она читала. Бывало — глаза Екатерины Захаровны пробегали какое-нибудь пылкое объяснение в любви, а сама она в это время думала о том, хватит ли в примусе керосину приготовить утром завтрак Семену Григорьевичу, сможет ли унять боль в пояснице новое средство, о котором она вчера услышала в амбулаторной очереди, не поломает ли соседка взятую у нее швейную машинку... Прочитав книгу от корки до корки, Екатерина Захаровна помнила лишь какие-то случайные обрывки, а о главном не имела ни малейшего представления.

Семен Григорьевич сердился на жену и считал, что она просто ленится. Но Екатерина Захаровна не была виновата в том, что переживания книжных героев не могли заслонить ее собственных нужд. Она бы еще могла интересоваться жизнью и делами своих родственников или хотя бы знакомых, но решительно была не способна принимать близко к сердцу судьбы каких-то вымышленных, никогда не живших на свете людей. Ей и своих-то забот хватало, чтобы выдумывать себе еще новые. Все дело было, видимо, в том, что Екатерина Захаровна слишком долго вращалась в тесном кругу будничных житейских интересов. Она так плотно стояла на земле, что все

отвлеченное, не имеющее самого прямого, непосредственного отношения к ней, Семену Григорьевичу и их детям, уже никак не могло приковать к себе ее внимание.

Так они и жили, коротая свои предзакатные дни. Семен Григорьевич работал на заводе, а по вечерам читал толстые книги. Екатерина же Захаровна вела все домашнее хозяйство, а в свободное время лечила свои действительные и мнимые недуги.

3

Как-то в середине зимы Семену Григорьевичу пришла в цехе удачная мысль. Штука была не бог весть какая, но выгоду обещала явную. Дело касалось трудоемких валиков. После обработки на фрезерном станке валки поступали на обточку к токарям. Семен Григорьевич с часами в руках проверил свои предположения и убедился, что один умелый рабочий успеет и фрезеровать валки и обтачивать их, если токарный станок поставить рядом с фрезерным.

Надо было решить, кому поручить это дело, и тут Семен Григорьевич заколебался. Как назло, обработкой валиков были заняты лучшие его рабочие — Коля Савин и Кирюшка. На доске показателей они давно уже «играли в чехарду»: то один выходил на первое место, то другой. Оба парня одинаково хорошо знали и токарный и фрезерный станки. В довершение всех бед, ребята приударяли за одной и той же девицей, сверловщицей Клавой, и выбрать одного из них значило — смертельно обидеть другого. Учитывая их соперничество, правильное всего было бы поручить испробовать новинку обоим: работа от этого только бы выиграла. Но начальник цеха, с самого начала недоверчиво смотревший на затею Семена Григорьевича, не захотел рисковать и лишь из уважения к старому мастеру разрешил сдвоить станки для одного рабочего.

Семен Григорьевич уже склонял свой выбор в пользу Коли Савина, как вдруг заметил, что между Кирюшкой и остальными ребятами творится что-то неладное. На заводе Кирюшка появился не так давно, но за короткое время своей смекалкой и усердием в работе добился признания со стороны начальства. Ребята же, пришедшие в цех несколько лет назад всем выпуском из ремесленного учи-

лица, не очень-то благоволили к новичку. Зато балагур Кирюшка стал любимцем всех девчат. На вечеринках они охотнее танцевали с ним, чем с другими ребятами, занимали для него место в столовой и сами, без просьбы Кирюшки, покупали ему в кассе предварительной продажи билет в кино на восьмичасовой, труднодоступный сеанс. Все эти Кирюшкины успехи, понятное дело, кое-кому сильно не нравились. Семен Григорьевич уже давно видел все это, но только посмеивался, считая, что так оно в жизни и должно быть: не зевай, а то останешься с носом.

А теперь ребята совсем рассорились с Кирюшкой. Лишь два-три человека постарше еще разговаривали с ним, а остальные упорно его не замечали, будто и не было вовсе в цехе танцора Кирюшки.

Сам Кирюшка еще пробовал бодриться и насвистывал по старой памяти: «Ой, ты, радость молодая, невозможная...» — но Семена Григорьевича не так-то просто было провести, и он безошибочно определил, что на сердце у парня кошки скребут. С лица фрезеровщик осунулся, и во всей его фигуре появилось что-то жалкое, затравленное. Семен Григорьевич посмотрел туда-сюда, раскинул умом и решил, что всему причиной Клава-сверловщица, которая, видимо, не избежала Кирюшкиных чар и предпочла его Коле Савину, чем и разобидела всех ребят.

Семен Григорьевич не шутя рассердился на свой «комсомол». И хотя Колю Савина мастер всегда уважал больше, чем его удачливого соперника, но, чтобы восстановить справедливость и показать ребятам, что осуждает все их интриги против товарища по работе, он поручил новое дело не ему, а Кирюшке.

Рядом с Кирюшкиным шлицефрезерным станком установили токарный, и парень стал работать на двух станках. Он сразу повеселел, почувствовав поддержку мастера. А другие ребята надулись на Семена Григорьевича. Первый же успех окрылил Кирюшку, и он попробовал увеличить подачу фрезы. Высокие скорости сначала парню не давались, но Семен Григорьевич помог ему улучшить закалку фрезы, и дело пошло на лад.

Коля Савин и другие ребята совсем забыли дорогу к дому мастера, а благодарный Кирюшка стал частым гостем. По воскресеньям они даже ходили вместе в баню, и Семен Григорьевич учил молодого фрезеровщика слож-

ному парильному искусству. При всем том Семен Григорьевич ни разу не заговаривал с Кирюшкой о его ссоре с товарищами и из дипломатических соображений держался в цехе так, словно решительно ничего не случилось, хотя и страдал, видя, что «комсомол» оттолкнулся от него. Он все ждал, что ребята в конце концов поймут свою промашку и прежняя дружба у них восстановится.

Екатерина Захаровна заприметила, что с мужем творится что-то необычное. Но на вопрос ее, почему их перестал навещать Коля Савин, Семен Григорьевич ответил самым правдивым своим голосом, что Коля держит сейчас трудные экзамены в вечерней школе, и Екатерина Захаровна совершенно успокоилась.

Непоседа Кирюшка поведал Семену Григорьевичу новый свой замысел — поставить возле себя еще один фрезерный станок. Кирюшка уверял, что он успешно справится с работой и на трех станках. Семен Григорьевич видел: парень хочет своей отличной работой пристыдить других ребят и заставить их поскорее мириться. И, конечно же, он стремился выйти победителем в затянувшейся ссоре. По человечеству все это было понятно, а учитывая зеленую Кирюшкину молодость, даже и простительно, но мастер привык заботиться о процветании всего своего участка и посоветовал Кирюшке повременить, пока и Коля Савин освоит работу на двух станках.

Однако о горячем желании Кирюшки каким-то образом узнал начальник цеха, любивший, чтобы под его руководством происходили всякие громкие дела, которые могли бы попасть на газетные страницы и принести ему славу. До этого, казалось, он совсем не замечал всей затеи Семена Григорьевича, а тут сразу оживился и настоял на том, чтобы новатору дали третий станок.

А накануне того дня, когда Кирюшка должен был начать работу на трех станках, Семен Григорьевич неожиданно заболел.

4

То ли сквозняком его продуло, то ли глубже, чем надо, глотнул он морозного воздуха, то ли микроб какой подлый его укусил, но Семен Григорьевич вдруг занемог посреди рабочего дня. Он переборол себя и выстоял до конца смены, а дома стало еще хуже. Его знобило, в ко-

стях поселилась сладкая и томительная ломота, так что все время хотелось потянуться, а во рту стоял противный металлический вкус, будто за щеку сунули медную монету.

Встревоженная Екатерина Захаровна послала соседскую девочку за Кондратом Ивановичем. Врач вскоре явился с потертым кожаным саквояжем, серьезный и деловой, очень не похожий сейчас на того Кондрата Ивановича, который приходил по воскресеньям играть в шашки.

Хмурясь, Кондрат Иванович осмотрел язык Семена Григорьевича, щупал пульс холодной с мороза рукой, выстукивая больного костлявым, звонким пальцем. Все это он проделал строго, немного даже официально, чтобы Семен Григорьевич проникся уважением к его профессии и понял наконец: Кондрат Иванович потому, может быть, и в шашки-то играет неважно, что знает слишком много других, гораздо более полезных для человечества вещей. Семен Григорьевич запоздало пожалел, что так безбожно обыгрывал Кондрата Ивановича, и, чувствуя угрызения совести, дал себе слово после выздоровления проиграть врачу первую же партию.

— Что ж, старина, поболеем! — окончив осмотр, с напускной докторской бодростью сказал Кондрат Иванович, словно сообщал Семену Григорьевичу приятную новость или приглашал его на увеселительную прогулку. — Ничего серьезного нет, а с недельку придется полежать дома...

Екатерина Захаровна, узнав, что супруг болен не опасно, перестала волноваться. Она считала, что Семен Григорьевич, будучи здоровым, несколько притесняет ее, и теперь, пожалуй, была даже довольна, что беспомощный муженек находится в полной ее власти и она может командовать им, сколь ее душевнике будет угодно.

Для Семена Григорьевича настало тяжелое время. Его пичкали таблетками и микстурами по рецепту Кондрата Ивановича. Екатерина Захаровна тоже не сидела без дела и норовила испробовать на нем все свои врачебные знания, почерпнутые в амбулаторных очередях. Семен Григорьевич видел, что для супруги болезнь его является чем-то вроде зачетного экзамена по курсу медицинских наук.

Знаменитая жестянка из-под печени и картонный «филиал» переселились на стол поблизости от кровати больного. Они все время стояли открытыми, готовые в

любую минуту потчевать Семена Григорьевича всевозможными лекарствами и снадобьями. Екатерина Захаровна натирала мужа на ночь бараньим салом, ставила банки, поила чаем с малиной и еще какой-то противной пахучей жидкостью, которую она почтительно именовала бальзамом. Видом своим бальзам напоминал деготь, а по вкусу сильно смахивал на чернила, настоенные на перце. Бальзам этот был настолько несъедобен, что, по мнению Семена Григорьевича, целебные свойства его имели характер исключительно психологический: бедняга, проглотивший хоть единую ложку бальзама, неминуемо приложит все усилия, чтобы никогда больше не болеть и не подвергаться угрозе пить эту отраву вторично.

Утром Семену Григорьевичу стало лучше. Помогло ли совместное лечение Кондрата Ивановича с Екатериной Захаровной или здоровый организм брал свое, но так или иначе озноб уже почти прошел и лишь ломота в костях стала еще слаще и томительнее. Не привыкшему к безделью Семену Григорьевичу нудно было день-деньской лежать в постели. Одолевали разные невеселые мысли — о своей старости, о затянувшейся размолвке в цехе, о равнодушии детей.

Ему вдруг очень захотелось именно сегодня получить письмо от родного человека, который уважает и любит его не только за труд на заводе, а просто так, по-родственному, не рассуждая и не прикидывая по-бухгалтерски и его достоинства и недостатки. Он с нетерпением ожидал прихода почтальона, но тот принес лишь газету. Семен Григорьевич прочитал газету всю целиком — от передовой до объявлений о разводе. И хотя в нынешнем номере было несколько дельных статей, и острый фельетон, и удачная карикатура, но даже такая интересная газета не смогла заменить Семену Григорьевичу коротенького письма, написанного родной рукой.

Время ползло на самой тихой, больничной скорости. И чего только не передумал он за день!

Многое воспринималось сейчас совсем не так, как вчера и позавчера, когда Семен Григорьевич был здоров. У него появилось такое чувство, будто привычный и давно обжитый им самокат, который месяцы и годы мчал его все вперед и вперед сквозь житейскую суетолюку, вдруг остановился на полном ходу, и вот теперь он озирается в незнакомой местности, не зная, что предпринять.

Иные заводские заботы, которые еще вчера утром казались Семену Григорьевичу очень важными, теперь как-то померкли, отодвинулись в сторону. Изредка он прихварывал и раньше, да и с заводом расставался каждый год на время отпуска, но такого с ним еще никогда не приключалось. «Совсем дряхлый стал!..» — тоскливо думал Семен Григорьевич.

Вспоминалось все больше печальное. Как живой, вдруг встал в памяти сын Павлик, не вернувшийся с войны. При жизни Павлик был таким же, как другие сыновья и дочери, но сейчас он казался Семену Григорьевичу лучше, добрее, сердечнее. Отец невольно наделял его всеми теми качествами, каких так не хватало ему в других детях. Он был уверен, что уж Павлик-то не покинул бы отца с матерью на старости лет, жил бы с ними под одной крышей, а если б и уезжал иногда по делам службы в командировки, то, конечно же, писал бы им часто письма, — и каждое не меньше, чем на четырех страницах...

К вечеру Семен Григорьевич приободрился, ожидая, что после работы его обязательно навестит кто-нибудь из заводских знакомых. На приход Коли Савина и других ребят он, признаться, не очень-то рассчитывал, но Кирюшкуноватора ждал с минуты на минуту.

«Эх, не во-время я свалился...» — пожалел мастер и тут же припомнил, что всю свою жизнь всегда болел почему-то удивительно не во-время.

Уже давно вернулся с работы сосед-счетовод, а Кирюшки все не было. «Или собрание срочное, — решил Семен Григорьевич, — или не осилил Кирюшка трех станков, вот и не хочет меня огорчать: парень он деликатный...»

Поздно вечером Семена Григорьевича посетил сын Петр. Он вошел в комнату, где лежал отец, встревоженный, но увидел его и сразу успокоился. Семен Григорьевич полулежал в постели и скорее был похож на отдыхающего после работы человека, чем на больного. Петр присел у изголовья и спросил отца о самочувствии, машинально взглянув при этом на ручные часы. «Засек время!» — подумал Семен Григорьевич, и ему что-то расхотелось распространяться о своем здоровье. Петр заговорил о больших выгодах, которые сулит городу новая водонапорная башня, а с башни перекинулся на школьные успехи своего сына Вити. На прощанье он попросил Семе-

на Григорьевича беречь себя. У родителей Петр пробыл всего минут двадцать и за это время трижды взглянул на часы — такой занятой был он человек.

На другой день Семен Григорьевич крепко заскучал. Екатерина Захаровна и слушать не хотел о том, чтобы он встал с постели раньше, чем она испробует на нем все свои лекарства. Плотно позавтракав жареной картошкой с маринованными грибами (Семен Григорьевич был человек простой и, болея, никогда не терял аппетита), он стал думать, как бы убить время. Читать было нечего: как назло, взятую в библиотеке книгу — «Записки охотника» Ивана Сергеевича Тургенева — он прочитал перед самой болезнью, а обменять не успел. От нечего делать Семен Григорьевич стал слушать подряд все детские радиопередачи и до того дослушался, что ему начало казаться, будто на груди у него вырос пионерский галстук.

На самом интересном месте нанайской сказки на всю квартиру запел-залился звонок, заглушая рев тигра в репродукторе. Кирюшка в рабочее время прийти не мог, да и звонки были настойчивые, властные, — чувствовалось, что на кнопку нажимал человек не рядовой, а какое-нибудь начальство. «Кого еще нелегкая принесла? — подумал Семен Григорьевич. — И поболеть спокойно не дадут!»

Екатерина Захаровна вышла открыть дверь и вернулась с председателем завкома, которого Семен Григорьевич недавно ругал на профсоюзном собрании за бездеятельность. Нельзя сказать, чтобы председатель был ленив или отлынивал от работы. Нет, ему случалось и недосыпать и недоедать, он и худел и горел на работе, но толку от всего этого было все-таки мало. На свою беду, председатель завкома принадлежал к той категории работников, которые главным в любом деле считают отчетность. Он так боялся пропустить и не учесть самое малое дельце, совершенное под его руководством завкомом, что учет этот пожирал все его время и недюжинную энергию и у него уже решительно не оставалось ни времени, ни сил для самой профсоюзной работы. Вот примерно за это Семен Григорьевич и критиковал его на последнем собрании.

Председатель спросил Семена Григорьевича, вполне ли обеспечен он квалифицированной медицинской по-

мощью и нет ли у него каких претензий к профсоюзной организации,— например, по вопросу диетпитания. И хотя он ни разу не заикнулся о критическом выступлении Семена Григорьевича, мастер хорошо видел, что председатель ни на секунду не забывает о том выступлении. Ему доставляла истинное удовольствие мысль, что он такой великодушный: Семен Григорьевич его критиковал, а он вот, как ни в чем не бывало, пришел к нему на дом, на деле доказывает сварливому мастеру, что завком не бездействует и внимателен к нуждам рабочих. Семен Григорьевич вдруг заподозрил, что на ближайшем же отчетном собрании председатель не позабудет упомянуть и про это свое посещение.

— Спасибо, что пришел, а только помощи мне никакой не надобно,— твердо сказал он.— Зарплаты на харчишки хватает, а медициной обеспечен даже в избытке!

Председатель завкома удалился несолоно хлебавши, решив, что Семена Григорьевича на старости лет обуяла несусветная гордыня.

Только после его ухода Семен Григорьевич спохватился, что упустил возможность обменять книгу в библиотеке. Но, подумав хорошенько, он пришел к выводу, что если б председатель, не дай бог, принес ему книгу, то в его отчете, в графе «наименование мероприятий, проведенных завкомом за отчетный период», обязательно появилась бы строчка: «Снабжение книгами больного мастера С. Г. Федунова», а рядом, в графе «количество», стояло бы: «Книг принесено столько-то, всего страниц столько-то...»

«А ну его к лешему со всеми его мероприятиями!» — решил Семен Григорьевич и окончательно перестал жалеть, что не попросил председателя завкома обменять ему книгу.

В полдень забежал внук Витя — любимец Екатерины Захаровны. Его школа была неподалеку, и он часто навещал деда с бабкой, зная, что всегда будет желанным гостем. Когда Витюк был помоложе, Семен Григорьевич охотно возился с ним и отвечал на его бесконечные пытливые вопросы: из чего сделаны конфета, оконное стекло, снег, солнце? А потом как-то незаметно их дружба

расклеилась, разговоры стали осторожные, натянутые. Витюк уже ходил в шестой класс, изучал разные физику-химию, и неученый, но самолюбивый Семен Григорьевич боялся в разговоре с ним нечаянно проявить свое невежество и навеки потерять уважение внука.

Витюк покрутился возле больного, рассказал о своих занятиях в кружке «умелые руки» при Доме пионеров и улизнул на кухню, к бабушке. Екатерина Захаровна баловала внука, и у нее всегда хранился для него гостинец про запас. Семен Григорьевич с горечью отметил, что теперь Витюк говорит с ним лишь на бытовые и ремесленные темы, признавая здесь покамест его авторитет, а научные вопросы приберегает для беседы с другими, более грамотными людьми.

— Не скучай без нас, — сказала Екатерина Захаровна, заглядывая в комнату. — Я к зубному пошла, а Витенька меня проводит.

Семен Григорьевич остался в квартире один. По радио передавали музыку, какую-то нестройную, унылую, ничего не говорящую ни уму, ни сердцу. «Увертюра, должно быть...» — умудренно предположил Семен Григорьевич и выключил радио.

И сразу же скучная тишина навалилась на него, заложила уши. Семен Григорьевич встал с постели и оглядел комнату, выискивая, чем бы заняться, чтобы только не слышать этой тяжелой, могильной тишины. Он уже хотел взять «Записки охотника» и приняться за них по второму разу, как вдруг увидел на комодѣ незнакомую толстую книгу с надорванным корешком. Книга эта была раза в два толще «Записок», и Семен Григорьевич сразу проникся к ней уважением.

«Наверно, Витюк свой учебник забыл, — подумал Семен Григорьевич, подходя к комоду. — Интересно, чему их в этом году в школе учат?..» Но книга оказалась не учебником. На заглавном листе стояло: Жюль Верн, «Дети капитана Гранта», роман.

«Не рано ли внук за романы берется? — обеспокоился Семен Григорьевич. — Давно ли на четвереньках ползал!»

Как постоянный читатель библиотеки, Семен Григорьевич давно уже наловчился по внешнему виду книги безошибочно определять, интересная она или так себе. Наружность Витюкова романа была самая заманчивая: голубая некогда обложка, захватанная многими руками,

давно уже приобрела прочный серый цвет, а уголки листов имели ту приятную глазу округлую форму, которая сказала читательскому сердцу Семена Григорьевича, что книгой этой насладилась уже не одна сотня человек.

Стоя в нижнем белье посреди комнаты, Семен Григорьевич раскрыл книгу наугад и прочитал страницу для проверки. Описано было извержение вулкана, но ничего такого, что могло бы развратить внука, придиричивый Семен Григорьевич не нашел. Он раскрыл в другом месте и прямешенько угодил в морскую бурю. Ураган чудовищной силы нес корабль к береговым отмелям. У самого берега раскинулась тихая заводь, но корабль никак не мог пройти туда из-за огромных волн, которые неминуемо должны были разбить его об отмели. «Вот положение!» — обескураженно подумал Семен Григорьевич, принимая вдруг близко к сердцу чужую беду. Он поспешно перевернул страницу, чтобы узнать, что дальше будет. Все обошлось благополучно. Капитан велел вылить за борт несколько бочек тюленьего жира, море на миг успокоилось, и хотя оно сейчас же разбушевалось с новой силой, но корабль успел уже проскользнуть в заводь.

— Не знал я, что таким способом можно бурю утихомирить!.. — заинтересованно пробормотал Семен Григорьевич, будто был он не мастером машиностроительного завода, а по меньшей мере боцманом дальнего плавания.

В третьем месте Семен Григорьевич прочитал о нападении на путешественников красных волков — агуаров. Да самой этой минуты Семен Григорьевич и слыхом не слыхал об агуарах; он как-то обходился без них, разминаясь с ними в жизни, а теперь подумал философически: «Сколько разной твари живет на свете!..»

Он решил, что книга эта совсем не вредная, а даже полезная. «Спросят Витюка на экзамене, какие бывают волки, — он всех наших серых перечислит, да и добавит: есть, мол, еще красные волки, прозываются агуары». — «Молодец, — скажет учитель, — получай пятерку!» Хитро, бесенок, придумал, — одобрил внука Семен Григорьевич. — Вроде роман читает, а сам разные диковинки узнает. Сочетает, курицын сын, приятное с полезным!»

Семен Григорьевич захлопнул книгу и прищуренным, недоверчивым глазом посмотрел на профиль автора, нарисованный на обложке, выпытывая у него, не присочинил ли он, по своему писательскому обыкновению, чего-

нибудь насчет бури и красных волков. Профиль Жюль Верна с окладистой бородой, энергичным лицом и устремленным вдаль взглядом внушил Семену Григорьевичу полное доверие. Ему особенно понравилось, что автор не мальчишка какой-нибудь, который недорого возьмет и соврать, а человек, поживший на свете, может быть, даже его одноклассник. У Жюль Верна было простое, мужиковатое лицо, и Семену Григорьевичу он вдруг показался похожим на мастера Зыкова.

Подивившись неожиданному сходству, Семен Григорьевич лег на кровать, распахнул книгу и стал читать с самого начала. Читалось легко, свободно, печать была не мелкая, как раз по стариковским глазам Семена Григорьевича. Текст часто перемежался картинками, и мастер имел счастливую возможность на каждом шагу проверить, правильно ли он представляет себе все то, о чем пишется в книге.

Но совсем не в картинках тут было дело! Не успел Семен Григорьевич опомниться, как оказался в самом центре невероятных событий. Приключений было так много, что он едва успевал успокоиться после одного, удачно окончившегося, как сейчас же наступало новое, еще более чудесное. Еще ни разу в жизни Семен Григорьевич не читал таких книг и даже не подозревал о их существовании.

Вместе с героями романа он легкомысленно плыл по океану и запросто ловил на крюк с салом огромных акул. Когда дело дошло до расшифровки полустертых водой записок, мастер от всей души пожалел, что не обучен иностранным языкам и ничем не сможет помочь пассажирам яхты «Дункан».

К возвращению Екатерины Захаровны от зубного врача Семен Григорьевич узнал кучу интереснейших и полезнейших вещей, которые очень даже могли ему пригодиться, если б он на старости лет задумал вдруг совершить кругосветное путешествие. Екатерина Захаровна не учла всего этого, и ей сильно не понравилось, что муженек благодушествует за книгой: раз больной, так должен болеть, а не развлекаться книжками — тут тебе не читальня! Она неодобрительно косилась на Семена Григорьевича, укоризненно гремела на кухне посудой, но, зная упрямый нрав своего благоверного, отнять у него книгу и не пробовала.

Семен Григорьевич читал до самого обеда и отхватил без малого сотню страниц. Он отложил книгу лишь тогда, когда Екатерина Захаровна поставила перед ним налившую вровень с краями тарелку борща.

— Постыдился бы в свои годы такую ерунду читать! — сказала супруга, рассматривая картинки в книге.

— Много ты в книгах понимаешь! — обиделся за роман Семен Григорьевич и ткнул пальцем в надпись на обратной стороне заглавного листа, где черным по белому было пропечатано: «Для старшего возраста».

— Так это же для детей старшего возраста! — догадалась Екатерина Захаровна.

— А где тут написано «для детей»? — хитро спросил Семен Григорьевич. — Где?! Прочитала бы сама, так увидела...

Екатерина Захаровна презрительно усмехнулась:

— Есть у меня время твои глупые книжки читать! А в магазин кто будет ходить, полы мыть, обед для тебя, читателя, готовить? Кто? Может, этот твой... Жулик Верный?

Семен Григорьевич открыл уже рот, собираясь вполне резонно заметить, что тот же обед она готовит не только для него, а и для себя, но решил, что тогда спор разгорится пуще прежнего, и благоразумно промолчал.

— То-то! — торжествующе сказала Екатерина Захаровна и положила мужу в тарелку большой кусок мяса, чтобы он видел, что никакой обиды на него она не держит и великодушно прощает ему все его заблуждения.

После обеда Семен Григорьевич снова взялся за книгу, а Екатерина Захаровна уселась шить ему теплую фланелевую рубашку, чтобы он не простужался, раз не умеет болеть. По простоте душевной она думала, что муж лежит в трех шагах от нее, не догадываясь, что он в поисках капитана Гранта рыщет сейчас за тридевять земель от родного дома.

Семен Григорьевич быстренько пересек Атлантический океан, узким Магеллановым проливом проплыл в Тихий и высадился на далеком чилийском берегу. Путеводная тридцать седьмая параллель привела его вскоре на вершину Кордильеров. Тут, по воле Жюль Верна, который все время заботился о том, чтобы Семену Григорьевичу не скучно было путешествовать, его потрянуло маленько землетрясением. На оторвавшемся куске горы Семен Григорьевич вместе с отважными путешественниками стре-

нительно спустился с заоблачных высот и благополучно, без единой царапины, очутился в аргентинской прерии.

Одно несчастье за другим обрушивалось на спутников Семена Григорьевича. На равнине их настигло наводнение, они потеряли лошадей и чудом спаслись на гигантском дереве омбу, мокрые и голодные, посреди бушующей стихии. Но Жюль Верну и этого показалось мало — он зажег дерево молнией, а воду вокруг наполнил крокодилами. «Безжалостный ты человек!» — осудил Жюль Верна Семен Григорьевич. На миг он испугался, что на этот раз героям не выкрутиться из беды: одни сгорят, другие утонут, третьих съедят прожорливые крокодилы. Но тут вполне своевременно ему пришла в голову мысль: о чем же тогда будет повествоваться в оставшейся части книги, если все герои сейчас погибнут? Семен Григорьевич прикинул на глаз, что не прочитано еще добрых две трети, и сразу успокоился.

И он не ошибся. Ко всем прежним злоключениям Жюль Верн добавил еще и смерч, и эта последняя беда неожиданно обернулась для горемычных героев романа благодатной своей стороной. Подхваченное налетевшим смерчем, дерево рухнуло в воду, распугало крокодилов и, погасив огонь, прямым ходом поплыло к сухой земле, куда в самом скором времени доставило всех путешественников в полной целостности и сохранности.

— Чтоб тебя! — сказал Семен Григорьевич с восхищением и укором автору за только что пережитые волнения.

На минуту он даже прикрыл книжку, чтобы полюбоваться профилем на обложке. Профиль попрежнему, как ни в чем не бывало, спокойно смотрел вдаль, как бы обещающая Семену Григорьевичу впереди еще и не такие приключения. И мастер одними губами, чтобы не подслушала любопытная Екатерина Захаровна, прошептал признательно:

— Хитрован ты!..

Кирюшка не явился к Семену Григорьевичу и в этот день, зато под вечер неожиданно-негаданно пришел навестить больного мастер Зыков. Боясь насмешек, Семен Григорьевич проворно сунул книгу под подушку.

Как всегда неторопливый и неразговорчивый, Зыков молча снял в передней полушубок, причесал сбившиеся под шапкой полуседые волосы, расправил окладистую бороду и вошел к больному. Он молча и с преувеличенной осторожностью пожал Семену Григорьевичу руку и сел на заскрипевший под ним стул. Зыков и не подумал утешать больного друга и говорить ему разные ободряющие слова, предсказывая скорое выздоровление. Всем этим, может быть, и следовало бы заниматься каким-нибудь новоиспеченным друзьям, но Зыков знал Семена Григорьевича без малого полвека, и дружба их не нуждалась во внешних проявлениях. Иные, глубинные источники питали ее.

Они без слов понимали друг друга и ценили это понимание. Случалось, работая в разных сменах, они не виделись месяцами, но это не расхолаживало их дружбы. Каждому из них достаточно было знать, что в одно время с ним живет верный дружок, чтобы в трудную минуту чувствовать его рядом. Если дружок не дает о себе знать, значит у него все в порядке,— а стряется с тобой какая беда, так он первый придет с советом и помощью.

Оба мастера никогда не говорили о своей дружбе, не клялись другу другу в верности, и со стороны могло даже показаться, что ничто прочное их не связывает. Дружба их выглядела холодноватой, но под этим наружным холодком было скрыто больше внутреннего жара, чем у иных вспышкопускателей. Не слишком зоркий посторонний глаз замечал у них одну лишь долголетнюю привычку друг к другу, и многие из молодых рабочих Семена Григорьевича очень удивились бы, узнав, что их мастер крепко дружит с мастером соседнего участка.

Взаимное уважение не мешало им подшучивать друг над другом. Зыков боялся, что Семен Григорьевич вскоре ослепнет, читая свои толстенные книги, и, зная банные страсти друга, страшал его тем, что когда-нибудь он запарит себя досмерти. В свою очередь Семен Григорьевич опасался, что несчастная жена Зыкова в конце концов онемееет, живя так долго с молчаливым супругом, и предсказывал приятелю, что когда тот исчерпает все праздники в календаре, то начнет пить по будничным дням и на старости лет сопьется самым жалким образом. Но шутки эти они позволяли себе лишь наедине друг с другом, и

каждый из них горой бы встал на защиту дружка, если б кто-нибудь посторонний осмелился сказать про него нечто подобное.

Все меньше и меньше оставалось в живых их одногодков, и они оба понимали, что для них теперь самое пустяковое недомогание — звонок о т т у д а. Зыков видел, что на этот раз Семен Григорьевич выкрутился, надеялся, что они с ним выкрутятся и еще не раз, но стоило ли говорить обо всем этом, ежели оно и так было ясно?..

— Как там завод — все еще вверх трубами? — спросил Семен Григорьевич, издали подводя разговор к Кирюшке.

— Дымит.

— Ну, а комсомол мой как?

— Гремит!

Семен Григорьевич нетерпеливо приподнялся на локте.

— Да что ты заладил!.. У Кирюшки дела как? Сильно опозорился со своими тремя станками или стерпеть можно?

На невозмутимом лице Зыкова отразилось некоторое удивление. Он открыл было рот, собираясь что-то сказать, но раздумал и молчком вытащил из кармана свернутую заводскую многотиражку. На первой странице газеты красовался снимок: Кирюшка в гордой позе стоял у своего шлицефрезерного станка, а начальник цеха добрым дядей выглядывал из-за его плеча и покровительственно улыбался. Семен Григорьевич понял — никакого провала у Кирюшки не было, на трех станках он работает успешно.

— Вчера Кирюха твой по радио выступал, делился опытом, а сегодня его прямо в цехе кинохроника снимала... — Зыков передохнул после необычно длинной для него фразы и добавил: — Для потомства... — Подумал и еще сказал, чтобы порадовать Семена Григорьевича: — В гору пошел твой выученик, Сеня!

Семен Григорьевич сердито засопел, но промолчал: ему стыдно было признаться старому приятелю, что знаменитый Кирюшка за два дня не выбрал даже минуты забежать проведать больного мастера. Он догадывался, что начальник цеха кинохроникой да газетной славой сбивает парня с толку. На своем веку Семен Григорьевич не один раз видел, как внезапно пришедшая слава кру-

жит голову хорошим ребятам. Но Кирюшка — весельчак, Кирюшка — открытая душа, как легко он клюнул на эту удочку!..

Меж тем Зыков осмотрел лекарства на столе, насмешливо хмыкнул и спросил презрительно:

— Лечат?

Семен Григорьевич махнул рукой.

— Я тоже для тебя лекарство прихватил... — многозначительно сказал Зыков и приоткрыл борт своего широкого пиджака.

Во внутреннем кармане белоголовым птенцом в гнезде уютно сидела небольшая, аккуратная бутылочка, известная в народе под ласкательными именами: косушка, четвертинка, чекушка и просто — маленькая.

— Раздавим за твое выздоровление?

— Придется... — кротко ответил Семен Григорьевич, тронутый тем, что его выздоровление Зыков приравнивает к большим праздникам.

Не откладывая дела в долгий ящик, Семен Григорьевич тихонько встал с постели, ополоснул стакан из-под бальзама и вылил воду в фикус, от всей души надеясь, что бальзам, целебный для человека, не повредит и бессловесному растению. Но друзья совсем забыли о Екатерине Захаровне, бывшей все время начеку после прихода ненавистного ей пьянчужки Зыкова. Она незаметно вошла в комнату и схватила со стола заветную бутылочку.

— Тетя Катя, всего-навсего маленькая! — взмолился Зыков.

Но Екатерина Захаровна была непоколебима, на все уговоры «не лютовать» и «поймать совесть» лишь вертела головой, как заведенная, и удалилась на кухню с добычей в руке.

Зыков почесал в затылке и сказал с уважением:

— Серьезная у тебя жена!

Потом он на цыпочках подкрался к кухонной двери, закрыл ее на крючок и для верности подпер шваброй. После этого Зыков молча вынул из другого кармана вторую «маленькую», быстро, без лишней канители, распечатал ее точным ударом ладони в донышко и стал осторожно лить холодно булькающую водку в стакан, смотря прищуренным глазом на свет, чтобы разделить драгоценную влагу поровну.

— Пей ты первый, — предложил Семен Григорьевич, — может, у меня что-нибудь заразное.

— Через водку никакая зараза не передается! — убежденно сказал Зыков, протягивая стакан приятелю.

Почуввав недоброе, Екатерина Захаровна забарабанила в закрытую дверь.

— Не ломай домишко, тетя Катя: выпьем — сами откроем, — беззлобно посоветовал Зыков.

И позже, когда дверь была открыта и разгневанная Екатерина Захаровна, ворвавшись в комнату, усердно ругала мужское племя, обзывая поголовно всех его представителей горькими пьяницами и подзаборными забудыгами, Зыков с Семеном Григорьевичем преданно смотрели друг на друга подобревшими после водки глазами и особенно сильно, как во всякую минуту испытаний, чувствовали всю красоту и прочность своей дружбы. Екатерина Захаровна разошлась не на шутку и честила их на чем свет стоит, но приятели скромно и величественно молчали, считая ниже своего достоинства отвечать на ее ругань.

Провожая угомонившуюся в конце концов Екатерину Захаровну глазами, Зыков повернулся в профиль к Семenu Григорьевич, и тот вздрогнул: так сильно был похож его одноклассник на Жюль Верна. Подумалось: «Вот живет на свете человек и даже не подозревает о своем чудесном сходстве». Спеша доставить дружку удовольствие, Семен Григорьевич сказал:

— Есть один заграничный писатель, книжки про заморские путешествия пишет, а обличьем сильно на тебя смахивает!

— Все может быть... — ничуть не удивившись, ответил Зыков, словно всю жизнь подозревал нечто подобное, и стал прощаться.

Уже облачившись в полушубок, он вдруг спросил:

— Помнишь, мы когда-то праздновали низвержение самодержавия?

— Это февральскую-то революцию?

— Должно, ее... Не знаешь, на какое число она приходится? Я что-то запомнил.

— Раз февральская — так, значит, в феврале, — резонно рассудил Семен Григорьевич.

— Уточнить это дело надо... — сказал Зыков, и Семен Григорьевич понял, что дружку тесным кажется нынеш-

ний круг отмечаемых им праздников и он снова намеревается расширить его.

После ухода Зыкова черная Кирюшкина неблагодарность во весь свой рост представилась Семену Григорьевичу. Закрутили парня! Семен Григорьевич уже предвидел, как стыдно станет Кирюшке, когда развеется первый угар славы и он поймет всю полноту своего поведения. Интересно, что он тогда сделает? Упрется на содеянном или, вспомнив все бывшее добро, сам явится к нему с повинной головой?..

Чтобы пронырливая Екатерина Захаровна не догадалась, как сильно обидел его Кирюшка, Семен Григорьевич снова взялся за книгу. Читать ему сейчас не очень-то хотелось, но не любил он ничего бросать на полпути и всегда доводил начатое дело до конца. Сначала читал он рассеянно, но вскоре удивительные приключения захватили его, и Семен Григорьевич с пробудившимся интересом стал следить за разворотом событий, хотя и не испытывал больше прежней безоблачной радости, словно Кирюшка своим вероломством отравил и самый воздух, которым дышал он.

Весь день Екатерина Захаровна скрепя сердце терпела самоуправство больного. Зато вечером она взяла реванш — так сильно натирала на сон грядущий несчастного Семена Григорьевича бараньим салом, будто хотела живьем содрать с него кожу. Ей не терпелось доказать несознательному мужу: он больной, а она его лечит и может сделать с ним все, что ей заблагорассудится, в гибких пределах медицинской науки, в которой он ровным счетом ничего не понимает, несмотря на всю свою деловитость и чтение толстых книг, и взрослых и детских.

Она нарочно легла пораньше спать, чтобы положить конец затянувшемуся чтению. Семен Григорьевич попробовал было запротестовать, но Екатерина Захаровна депотически погасила свет, и ему пришлось подчиниться.

Семен Григорьевич долго не мог заснуть. В темноте он остался наедине со своими мыслями и думал сразу обо всем: о запропавшем капитане Гранте; о верном друге Зыкове, о Кирюшке-ветрогоне. Мысли были ночные, длинные. Екатерина Захаровна неподвижно лежала рядом, но Семен Григорьевич, хорошо изучивший жену за годы семейной жизни, в точности знал, что она тоже не спит

и по своему жестокому обыкновению ждет, когда он покается во всех дневных грехах.

Видит бог, каяться Семену Григорьевичу было не в чем. Но и на супругу он не сердился, признавая, что по своему она тоже права. Он от всей души пожалел, что Екатерина Захаровна не спит из-за него, мается, а годочки у нее не маленькие. Ему вдруг захотелось порадовать не читающую книг, погрязшую в будничных делах подругу жизни какой-нибудь возвышенной, поучительной историей. За примером не надо было далеко ходить.

— Слышь, Захаровна, — вкрадчиво начал Семен Григорьевич, предвкушая, как сильно удивится жена, когда дослушает его до конца, — есть такая хищная рыба — акула. Вроде щуки, только в сто раз больше... А может, и в двести! Так вот, поймали раз акулу, распороли ей брюхо, а там бутылка...

— Тебе бы все про бутылку! — злопамятно сказала подруга жизни.

Семен Григорьевич смущенно крикнул и отвернулся к стене.

7

Еще не переступив порога, Витюк крикнул встревоженно:

— Дедушка, я у вас вчера книгу не забывал?

Увидев свою книгу в руках Семена Григорьевича, внук успокоился за целость и сохранность библиотечного имущества и в то же время поразился, что его книгу читает престарелый дед.

— Да разве вам интересно? — полюбопытствовал он. — Это же вовсе молодежная книга. Ее все в детстве читают! Разве вы не читали?

— Не читал, — признался Семен Григорьевич. — Не пришлось как-то...

Витюк вдруг вспомнил рассказы отца о том, что в его возрасте дедушка уже работал на заводе и даже участвовал в забастовке, а позже, в семнадцатом славном году, был красногвардейцем. У него же вышло так неуклюже, будто он упрекнул деда, почему тот не прочитал в свое время какую-то книжку! Витюк виновато прикусил язык и с почтительным интересом посмотрел на Семена Григорьевича, видя в нем сейчас не дедушку, а живого пред-

ставителя героического российского пролетариата, который завоевал для него счастливую жизнь.

Семену Григорьевичу не в новинку были подобные взгляды: молодые рабочие на заводе не раз глазели на него таким образом, выводя мастера из терпения. Он считал чистым безобразием, когда человека при жизни производят вдруг в какие-то представители, хотя бы и самые почетные. Вот помрет — тогда делайте, что хотите, а пока оставьте старика в покое!..

Витюк клялся, что должен сегодня же вернуть книгу в библиотеку, но ему как-то совестно было огорчать бывшего красногвардейца, и действовал он нерешительно. Семен Григорьевич, похвалив читательский вкус внука, без особого труда выговорил себе право держать книгу до завтрашнего вечера.

Интерес к одной и той же книге воздвиг между старым и молодым читателем невидимый мостик, и Витюк, как равный равному, спросил деда:

— А на самых интересных местах вы вперед не заглядываете, чтобы поскорее узнать, чем кончится?

— Что ты! Как можно! — запротестовал Семен Григорьевич, но глаза свои почему-то отвел в сторону...

Вечером Екатерина Захаровна пожаловалась Кондрату Ивановичу, что супруг ее совсем отбился от рук и целыми днями напролет читает глупую книжку. И еще она добавила тем тонким, как бы сдавленным от почтения голосом, — который сам собой появлялся у нее, стоило лишь ей заговорить о медицине, — что, по ее мнению, это неразумное чтение сводит на нет все благодатное действие лекарств и может привести ослабленный болезнью организм Семена Григорьевича к хроническому малокровию.

Кондрат Иванович засмеялся своим скрипучим смехом и сказал легкомысленно:

— Пусть читает, сколько хочет, лишь бы раньше срока не выходил из дому!

Екатерина Захаровна надулась от обиды и усомнилась в медицинских познаниях Кондрата Ивановича, а Семен Григорьевич в благодарность предложил врачу сыграть в шашки.

Он все время помнил о своем недавнем решении проиграть Кондрату Ивановичу, но осуществить этот хитрый замысел не оказалось никакой возможности. Когда Семен Григорьевич своим зорким чемпионским глазом видел,

что очень даже просто можно сразить две-три пешки противника или пробраться в дамки, он не в силах был удержаться, чтобы не совершить этого. Не его вина, что все в своей жизни привык он делать добросовестно, в полную меру сил, и играть хуже, чем умел, был прямо-таки не в состоянии. Ему легче было на словах признать, что Кондрат Иванович играет в сто раз лучше его, чем на деле проиграть ему хоть одну партию.

Презируя себя за жадность, Семен Григорьевич первую партию закончил вничью, а вторую выиграл и даже запер Кондрата Ивановича в «нужничек» вместе с его «Павлом Буре» и высшим образованием.

— Пошел на поправку! — весело сказал Кондрат Иванович, довольно удачно делая вид, что самолюбие врача, вылечившего больного, пересиливает в нем обиду побежденного игрока.

Не успела Екатерина Захаровна закрыть за Кондратом Ивановичем дверь, как снова позвонили. Звонок был тихий, неуверенный. Сердце Семена Григорьевича сдвинуло удар. «Кирюшка!» Щелкнул дверной замок, и Семен Григорьевич услышал в передней глуховатый голос Коли Савина.

Уж кого-кого, а Колю Савина он никак не ждал. Пришел парень, не посмотрел на обиду... Семен Григорьевич смахнул слезу-горошину, подумал: «Слаб стал!»

Екатерина Захаровна встретила Колю ласково: она любила, когда их навещали молодые рабочие, — то ли потому, что после отъезда своих детей скучала по юным лицам, а может, еще и потому, что бессознательно видела в этих посещениях признание особых заслуг Семена Григорьевича, подтверждение того, что они с мужем не даром прожили свой век на земле, есть кому помянуть их добрым словом.

— Как экзамены, Коля? — спросила она токаря, помогая ему пристроить на вешалке пальто.

— Какие экзамены? — опешил Коля Савин.

— Как какие? В вечерней школе.

Коля Савин догадался, что Семен Григорьевич экзаменами объяснил его отсутствие во время размолвки, и, выручая мастера, сказал:

— Ах, в школе... На будущей неделе начнутся. День и ночь зубрю, боюсь срезаться!

— А ты не бойся, — сердобольно посоветовала Екате-

рина Захаровна. — Учи все, что положено, и ничего не бойся!

— Так и придется... — согласился Коля Савин, стыдясь, что обманывает добрую Екатерину Захаровну.

Семен Григорьевич, слышавший весь разговор, с облегчением перевел дух. Он подумал признательно, что мужчины, настоящие мужчины, даже не сговариваясь меж собой, всегда поймут друг друга — поймут и вызволят из беды.

Коля Савин долго откашливался и наконец вошел к больному. Семен Григорьевич сидел на кровати, и, может быть, потому, что смотрел он на своего любимого ученика снизу вверх, взгляд его казался виноватым. Коля поздоровался с мастером, неловко положил на стол плоскую коробку, перевязанную нарядной голубой лентой, и присел на кончик стула. Долгую минуту они стесненно молчали.

Выручила их коробка, принесенная Колей. Она покоилась на столе скучным, серым дном кверху и, судя по некоторым признакам, содержала в себе нечто кондитерское. Лента на коробке была такой праздничной голубизны, что невольно притягивала взгляды. Семен Григорьевич покосился на ленту, и Коля Савин обрадовался законному поводу начать разговор.

— Вам от всех наших ребят, — стыдливой скороговоркой сказал он, протягивая коробку мастеру.

Семен Григорьевич строго посмотрел на пеструю картинку на крышке и спросил шепотом:

— Что там?

— Конфеты, — так же шепотом ответил Коля Савин. — Шоколадные...

— А вот это зря! — рассердился Семен Григорьевич. — Эх ты, а еще токарь: кто же больным старикам конфеты носит? Да у меня от этого шоколада всегда изжога приключается. Как поем, так изжога!

Семен Григорьевич презрительно щелкнул по крышке пальцем, будто всю жизнь только и питался фигурным шоколадом.

— Мы сначала цветов хотели купить, да нигде не нашли: не сезон...

— Цветы! — фыркнул мастер. — Что я, барышня какая, чтобы цветочки нюхать?! Вижу, недобираешь ты в этом вопросе, Коля!

— Недобираю... — признался Коля Савин. — Никто нас этому делу не учил. В ремесленном много наук проходили — и математику, и технологию металлов, — а какой подарок больному мастеру принести, этому нас никто не учил... — Коля помолчал и спросил на будущее: — Семен Григорьич, а что в таких случаях лучше всего принести?

— А я почем знаю! — отмахнулся мастер. — Если б я дарил, так знал бы, а сейчас и голову ломать не стану!

— Как же теперь быть? — вслух подумал Коля Савин. — Не нести же конфеты назад. Меня ребята засмеют!

— Назад нести негоже, — согласился Семен Григорьевич и добавил доверительно: — А мы вот как сделаем: попросим Захаровну вскипятить чайку, да все втроем и навалимся на шоколадные. Авось изжога тогда оробеет!

Екатерина Захаровна ушла на кухню, и через минуту там басом загудел работающий примус. Семен Григорьевич любующимися, отцовскими глазами оглядел ладную фигуру Коли Савина и сказал растроганно:

— Молодец, что пришел! Молодец!

— Мы с ребятами собирались еще позавчера проводить вас, да побоялись...

— Уж не меня ли? — удивился Семен Григорьевич и невесело пошутил: — Неужто я для вас такой страшный стал?

— Что вы, Семен Григорьич! И не стыдно вам? Все ребята вас любят... как и раньше. Мы потому не шли — думали застать здесь...

Коля Савин запнулся, не желая произносить ненавистное Кирюшкино имя. Семен Григорьевич понял его и сочувственно кашлянул.

— Та-ак... — раздумчиво сказал он. — А нынче что ж, не побоялся ты с ним встретиться?

— Прояснилось кое-что. Попытались мы сегодня узнать у него про ваше здоровье, а он и говорит... В общем все мы догадались, что он к вам и носа не кажет.

— Что же Кирюшка молвил? Что? — Семен Григорьевич даже с кровати вскочил — так не терпелось ему поскорее узнать, почему Кирюшка оплатил черной неблагодарностью за все его заботы о нем.

Коля Савин замялся. Он давно уже чувствовал себя не в своей тарелке, а теперь совсем запутался. Говорить

о Кириюшке хорошее Коля никак не мог, так как знал о нем одно лишь плохое; ругать же его при Семене Григорьевиче не хотелось, чтобы мастер не подумал, будто он сводит с Кириюшкой счеты.

— Руби с плеча, Николай! — приказал Семен Григорьевич. — Узнавать — так уж всю правду-матку.

— Мне его слова и повторять-то неохота... В общем распространялся он в том плане, что болезнь у вас дипломатическая, чтобы не отвечать за его работу, если он не управится с тремя станками...

Семен Григорьевич даже охнул, заслышав такое.

— И язык у него не отсох?

— Не отсох... — виновато ответил Коля Савин.

Мастер опустил голову и закручинился.

— Да вы не огорчайтесь, Семен Григорьевич, — поспешно заговорил Коля. — Он и раньше такие штучки отчебучивал. Мы ведь с ним в одном общежитии живем, пригляделся я к нему...

Коля Савин спохватился, что поругивает-таки Кириюшку, несмотря на данное самому себе слово не осуждать его в присутствии Семена Григорьевича и вообще отзываться о сопернике со студеной вежливостью. «Ну и черт с ним! — непоследовательно решил он. — Мне бы только деда нашего успокоить».

Семен Григорьевич рывком поднял голову.

— Слышь, Никола, а не завидуешь ли ты Кириюшкиной славе?

— Нечему завидовать, — твердо сказал Коля Савин. — Будут такую славу мне даром давать — и то не возьму!

— Что так? Не пойму я что-то тебя. Мне, например, было бы любопытно на самого себя в кино поглазеть: по частям видел себя в зеркале, а целиком не привелось... Чем же Кириюшкина слава плоха?

— Нечистая она. Вы по радио его выступления не слышали? Жаль! Ведь он все себе приписал: будто сам предложил работать на двух станках и закалку фрезы для скоростного резанья придумал. Все сам! Мы с ребятами слушали и ушам своим не верили! Про вас он лишь в конце упомянул: «Кроме того, оказывал помощь мастер Федунов».

— Оказывал все-таки? — усмехнувшись, спросил Семен Григорьевич.

«Спокойный дед! — с уважением подумал Коля Савин. — Другой бы на его месте взвыл от обиды, а у него только глаза колючие стали».

— А может, не успел он всего по радио высказать? — заступился за Кирюшку мастер. — Поторопили его или растерялся с непривычки, не видя, кому говорит. А то и речь ему подсократили, чтобы не засорять приемники разными ненужными стариками. Мало ли что могло быть...

— Все руководство цеха отблагодарил, начиная с начальника и кончая профгруппоргом, который для него и пальцем не шевельнул, а про вас вдруг забыл? Нет, здесь тактика! — убежденно сказал Коля Савин. — Вас он больше всех опасался, не хотел славой поделиться, вот и зачеркнул. Очень уж кстати болезнь ваша тут ему подвернулась!..

Семен Григорьевич обескураженно покрутил головой, все еще не в силах свыкнуться с обидной новостью.

— А какой обходительный да ласковый был! — вспомнил он. — Встретит меня в проходной — так и засияет, будто я не мастер, а артистка фартовенькая из гортеатра. В трамвае всегда наровил билет мне купить, а в бане сам, без спросу, спину мне мочалкой тер, — ах проныра!

Только сейчас Семен Григорьевич начал понимать, как ловко Кирюшка-пройдоха обвел его вокруг пальца. Непонятно было только, почему теперь он перестал юлить, пошел на разрыв. Семен Григорьевич задумался. Как ни крути, выходило одно: после своих головокружительных успехов Кирюшка считает, что мастер ему больше не нужен и он свободно теперь обойдется без него. Использовал, как ступеньку, и отбросил за ненадобностью!

Семен Григорьевич тяжело засопел, ибо не привык он оставаться в дураках. То, что Кирюшка посчитал его бесполезным, обидело мастера больше, чем все бессовестные Кирюшкины выхваленья по радио.

— Из молодых Кирюшка, да ранний! И откуда такие берутся? — удивился Семен Григорьевич. — Все ведь у него шито-крыто. Пойди теперь докажи, кто и чем ему помогал. Да и знает ведь, ржавая душа, что не стану я с ним, поганцем, спорить. И судить его не за что: чистая работа!

— Ничего, найдем мы на него управу, — пообещал Коля Савин. — Ребята хотят на комсомольском комитете все его поведение обсудить, соскоблить ржавчину с души!

— Ах, дурень я дурень! — с запоздалым сожалением сказал Семен Григорьевич. — Мне надо было тебя на два станка поставить, а я Кириюшку-гаденыша пожалел. Кроме всего прочего, я ведь почему тогда в тебе, Коля, усомнился? Он у тебя Клаву раскосенькую отбил, а ты...

— Какая же она раскосая? — обиделся Коля Савин. — Просто глаза у нее очень черные, вот и кажется...

— Пускай черные, — покладисто согласился Семен Григорьевич, — не в том дело. Он у тебя девку отбил, а ты — хоть бы хны! Ведь даже выработка у тебя не снизилась. До того спокойный — ни рыба ни мясо. Не люблю я таких!

— Много для нее чести — волноваться, раз она меня на такого вертуна променяла! — уверенно, как о давно решенном деле, сказал Коля Савин. — Он с ней поиграет и бросит. А у меня серьезное было, на всю жизнь... — На миг Коля помрачнел, вспомнив Клаву-сверловщицу, но тут же встрепенулся и гордо добавил: — В общем недостойна она моего волнения!

Семен Григорьевич с интересом посмотрел на молодого токаря.

— Утешаешь себя этим? — понимающе спросил он.

Коля Савин устало потер виски и признался:

— Утешаю...

— Ну, и как? — полюбопытствовал Семен Григорьевич. — Действует?

— Когда действует, а когда и... не так, чтоб очень. В общем раз на раз не приходится.

Семен Григорьевич прикинул в уме, что бы могла означать подобная разноголосица, и авторитетно заключил:

— Значит, любил ты ее.

— Значит, любил...

Помолчали.

— Как она теперь-то? — спросил Семен Григорьевич.

— Кирилл с нею вроде рассорился. Она ему уже не подходит, он теперь под нормировщицу клинья подбивает. Но и в мою сторону что-то не смотрит... Она ведь гордая, Клава, долго теперь переживать будет!

Колин голос дрогнул, и какие-то новые нотки, теплые и признательные, зазвучали в нем. Спыхватившись, что расхваливает недостойную, Коля Савин закашлялся

и осторожно покосился на мастера. Семен Григорьевич был занят — он отвязывал с конфетной коробки срочно понадобившуюся ему голубую ленту и, кажется, ничего не заметил.

— Признавайся: обиделся ты на меня, когда я Кирюшку на два станка поставил? — спросил он вдруг, старательно бинтуя свой большой палец красивой голубой лентой. — Только правду говори.

Коля Савин задумался, вспоминая тогдашнее свое состояние, и сказал с некоторым даже вызывом:

— Обиделся!

— Ну и правильно! — одобрил Семен Григорьевич. — Нечего на старых хрычей богу молиться. Ведь вы, молодняк, как думаете? Раз, мол, дядя волосы седые вырастил на своей голове, так, значит, ото всех ошибок предосторожен. Черта лысого! Вот доживешь до моих лет — увидишь... А насчет того, как Кирюшке укорот дать, мы еще потолкуем. Поторопился он маленько списывать меня в утильсырьё! Эх, ребятки, ребятки... Может, доживем и до такого денька, когда Кирюшка и в ножки поклонится.

— И вы ему все простите тогда? — поинтересовался Коля Савин.

— Там видно будет, — уклончиво ответил Семен Григорьевич. — Двуличных людей я всю жизнь недолюбливал...

Екатерина Захаровна принесла чайник, чашки, ложки и прочий свой гремучий инвентарь. Сели пить чай с конфетами. Опасаясь изжоги, Семен Григорьевич выбрал какую-то маленькую шоколадную рыбку, вроде кильки, экономно сосал ее и расспрашивал Колю о заводских делах. Екатерина Захаровна изжоги ничуть не боялась и с молодым азартом грызла конфеты своими капитально отремонтированными зубами. Коля Савин обстоятельно отвечал на вопросы мастера и сначала придерживал руку, а потом, в пылу разговора, стал все чаще и чаще нырять в коробку с конфетами.

Выяснилось, что, за исключением Кирюшкиных громких рекордов, никаких особых событий за время болезни Семена Григорьевича в цехе не произошло. Литейщики и инструментальщики не вставляли палки в колеса, и участок Семена Григорьевича, как и при нем, все эти дни перевыполнял план. «Понаторели ребятки!» — одобрительно подумал мастер, но радости не почувствовал.

Умом Семен Григорьевич понимал: не останавливать же из-за его болезни завод. Но все-таки ему стало как-то не по себе, когда он убедился, что так незамеченно прошла его болезнь, что такое малое место в жизни завода занимает он. Подумалось: «Вот так помрешь ненароком — никто и не почешется...» И завод будет все так же стоять — вверх трубами, — будто и не было на свете никакого Семена Григорьевича со всеми его невеликими достижениями и позорными, непростительными на старости лет ошибками, вроде последней истории с Кирюшкой.

Слушая уверенную речь Коли Савина, Семен Григорьевич припомнил вдруг, каким робким желторотым птенцом пришел Коля в цех четыре года назад из ремесленного училища: в теории — чуть ли не профессор, а с живым шпинделем отношения натянутые... И тут сам собой возник вопрос: кто научил ребят ремеслу, благодаря какому дяде они работают теперь самостоятельно? Семен Григорьевич строго, без всякой поправки, допросил свою совесть и, из скромности думая о себе в третьем лице, ответил: «Мастер Федунов их научил! Мастер Федунов тот дядя и есть!..»

За разговором Коля Савин и не заметил, как вместе со сладкожкой Екатериной Захаровной уничтожил все конфеты, пока Семен Григорьевич сосал свою шоколадную кильку. Увидев чистое дно коробки, Коля крикнул со стыда, но было уже поздно.

— Поправляйтесь поскорее! — пожелал Коля на прощанье и тихо добавил: — Вы хоть ребятам не рассказывайте, что я весь шоколад съел. Засмеют: «Пришел, скажут, проведать больного, да сам гостинец и слопал!»

— Ладно уж, не выдам! — пообещал Семен Григорьевич.

Коля Савин ушел, ругая себя за легкомыслие и удивляясь, как ловко мастер скормил ему его же подарок.

Ночью Семену Григорьевичу приснился сон. Вместе с Екатериной Захаровной, Колей Савиным и Витюком, который уже был не его внуком, а сыном капитана Гранта, он удирали на неуклюжем плоту от людоедов. Худые людоеды, отощавшие от долгой бескормицы, преследовали их на узкой стремительной пироге. На носу пироги стоял вождь людоедов Кирюшка — с копьём в руке, голый, размалеванный по всей людоедской форме. Кирюшка-пере-

вертень потрясал копьём, собираясь метнуть его в Семена Григорьевича, хищно клацал зубами и кричал диким голосом: «Оказывал помощь! Оказывал!..»

8

На другой день, в пятнадцать часов сорок минут по местному времени, Семен Григорьевич благополучно завершил свое кругосветное путешествие. Екатерины Захаровны дома не было: на ночь глядя она ушла в продовольственный магазин и стояла сейчас, наверно, в очереди за чем-нибудь повкуснее для своего выздоравливающего мужа.

Семену Григорьевичу надоело валяться в постели, и, пользуясь отсутствием супруги, он разгуливал по комнате, с интересом, как чужие, рассматривал свои побелевшие от безделья руки и размышлял о только что прочитанной книге, о Коле Савине, о том, что, выйдя на работу, мстить Кирюшке не будет, а предоставит его собственной совести, если она еще у него есть... И потому ли, что мужественный капитан Грант был в конце концов спасен, а дружба с Колей Савиным обещала впереди много радостных минут и, по всем признакам, должна была с лихвой перекрыть все обиды, нанесенные Кирюшкой, или оттого, что хворь покидала Семена Григорьевича, но мысли у него были какие-то широкие, весенние, несмотря на трескучий мороз за окном.

Пришел Витюк за книгой, свежий, румяный, очень похожий сейчас на молодую Екатерину Захаровну.

— А я вас выдал, дедушка! — объявил он, снимая шапку-ушанку.

— Как это выдал? — не понял Семен Григорьевич.

— Вчера наша пионервожатая сказала, что мы уже не маленькие, чтобы читать Жюль Верна, и посоветовала нам братья за серьезные книги. А я встал и говорю: «Моему дедушке скоро шестьдесят, а он «Капитана Гранта» читает!»

Семен Григорьевич засомневался, хорошо это или плохо, что теперь всей пионерии известно, какие книги читает он во время болезни. На всякий случай он нахмурился и строго спросил:

— Ну, а водительница твоя что?

— Вожатая... — поправил Витюк. — Сначала она запнулась, а потом все нам до тонкости разъяснила: «У нас сейчас для детей и санатории, и Дворцы пионеров, а у дедов ничего этого не было, потому что при капитализме жили. Они даже детских книг не успели прочесть, когда были маленькими». И еще она сказала: «Случай с вами — это... иллюстрация того, что предки наши не имели детства!»

— Это я-то иллюстрация? — обиделся Семен Григорьевич. — Эх, хватила! Мало она еще каши ела, твоя вожатая-провожатая!

— Круглая отличница, — почтительно сказал Витюк, — в десятом классе учится.

— Плохо учиться! — отрезал Семен Григорьевич. — Нахваталась разных слов, а сути не понимает. У нее выходит: раз до революции родился, так уже вроде и не человек!.. Ты тоже хорош: родного деда в обезьяны зачисляют, а ты поддакиваешь!

— Да вы не так поняли, дедушка! Она в том смысле...

— Нету у нее никакого смысла, по верхам стреляет. Дворцов и санаториев мы, конечно дело, не видывали, а детство все-таки у нас было. Было!.. Как же без детства? Ведь не на ветке выросли...

Семену Григорьевичу вдруг живо припомнилось одно давнее весеннее утро. Ему было тогда лет шесть-семь. Проводив отца на завод, мать дошивала ему в то утро новую кумачовую рубашку, а он торопил ее, нетерпеливо выглядывая из окна на лужайку перед баракom, где играли его сверстники. Еще вчера лужайка лежала бурая и скучная, а ночью выпал первый в том году теплый дождь, и сейчас вся лужайка заманчиво зазеленела, залитая молодым низким солнцем. В то пригожее утро небо над лужайкой было синее-пресинее, каким оно бывает лишь в самом раннем детстве, когда хочется дойти до того места, где небо смыкается с землей, и потрогать его руками.

Наконец мать обметала последнюю петельку на вороте, и он мигom облачился в холодящую тело, ни разу не стиранную рубаху, остро ипряно пахнущую фабричной краской. Мать строго-настрого наказала ему не дразнить соседского быка кумачовой обновкой. Язык его обещал и на сто шагов не подходить к быку, а сам он в это время думал: «Там видно будет!»

Выбежав из барака, он скинул в укромном месте

тяжелые от многих заплат опорки, чтобы они своим захудалым видом не портили его праздничного наряда. Он не захотел стеснять свою радость никакими правилами и не стал играть ни в чижика, ни в казака-разбойника, а свободно и вольно носился по лужайке. Теплый ветер свистел в ушах, упругим парусом надувалась за спиной новая рубаха. Не смотря на свое окошко, он знал, что мать следит за ним и любит его ловкостью. Еще приятнее было чувствовать на себе длинные, завистливые взгляды ребят-тишек: ведь ни у кого тогда в целом мире не было такой яркой — глаз не оторвать! — рубашки, как у него. А как нежно и щекотно в то далекое утро ласкала его босые подошвы молоденькая, бледнозеленая, колючая, как ежик, травка! Даже сейчас, полвека спустя, старые ноги Семена Григорьевича припомнили то щекотное прикосновение и сами собой заныли, просясь на свободу из шерстяных носков и теплых войлочных туфель, сшитых заботливой Екатериной Захаровной...

— Было детство! — упрямо повторил Семен Григорьевич, все еще споря с пионерским начальством внука. — И свои радости были, сперва обыкновенные ребячьи, а затем и посерьезнее. Мальцами изобрели мы себе забаву в сад к управляющему-бельгийцу лазить. Не так груши-яблоки добывали, как друг перед дружкой выхвалялись своей храбростью. Сад был большущий, десятины на три, и примыкал к заводскому двору. Бердан свой сторож заряжал крупной солью, но это было еще не самое страшное. Бегали по саду два барбоса ненашенской породы, ростом с доброго теленка. И прозвища у них были чужеземные: одного Маас кликали, другого — Шельда; управляющий не любил ничего русского... Маас — тот подбрее был: штанишки обдерет и отпустит с миром. А Шельда все норовила кусок мяса послаще вырвать и подкрадывалась без лая, мы ее за это в Шельму перекрестили. Одному нашему пареньку она жилы нужные перегрызла, на всю жизнь охромел... Робкие в тот сад стеснялись лазить: через забор собак подразнят, тем и утешатся!

— А вы, дедушка... не стеснялись? — с загоревшимися глазами спросил Витюк.

— Три раза слазил, а больше не был, врать не стану. Дважды, как и все, по яблоки ходил, а в остатный разок пришлось зимой лезть, тут уж другие фрукты на уме держал...

— Как это вы до сих пор ничего не забыли? — удивился Витюк. — Ведь столько лет прошло!

— Есть что помнить, потому и не забыл... Ученье мое посреди второго класса закончилось. Таблицу умножения на шестерку вызубрил, а отвечать не довелось — отец помер. Отвела меня мать на завод, годков набавила, да и определила в ученики...

— Тяжело вам было? Били? — жалеючи деда, спросил Витюк.

Ему казалось, что, несмотря на родственные чувства, дед в глубине души все же несколько презирает его за то, что вырос он дылда дылдой, а до сих пор и рубля не заработал собственным трудом и на заводе побывал лишь с экскурсией, как какой-нибудь интурист.

Семен Григорьевич насупился, но совсем не от горечи воспоминаний, как думалось внуку. Слишком уж односторонне понимал Витюк его детство-отрочество! Похоже было на то, что внук прочитал на днях какую-то книжку о горемычном житье-бытье стародавних учеников и подмастерьев и видит теперь в деде ожившую картину — опять иллюстрация! — из этой печальной и, по всей вероятности, очень уж тонкой книжки. Семен Григорьевич был убежден, что книжка внуку попалась самая тонкая: ведь если б она была хоть немного потолще, в ней наверняка нашлось бы место не только для описания побоев и унижений, но также и для повествования о кое-чем посущественнее, чем были заполнены годы ученичества его самого и сверстников.

И еще — зеленый Витюк, кажется, опять, как и вчера, произвел его в некие представители. Семен Григорьевич терпеть не мог, когда с ним обходились как с каким-то пыльным экспонатом, место которому в краеведческом музее — где-то между костями мамонта и макетом электрифицированной МТС. И как это люди не возьмут в толк: у музейных экспонатов все позади, а его жизнь еще далеко не кончена! Недаром он до сих пор и промахи совершает, как всякий живущий, — вот опростоволосился же с Кирюшкой, а всамделишные экспонаты небось не ошибаются!..

Витюк смотрел на него, ожидая утвердительного ответа на свой вопрос. Семен Григорьевич хорошо понимал сейчас внука. Идя проторенной дорожкой, Витюк втиснул все долгие годы его ученичества в нехитрую хрестомат-

тийную форму, второпях сколоченную из худосочных знаний своих о старине. «Уложил деда в опоку и любуются!» — неодобрительно подумал Семен Григорьевич и даже плечи расправил, словно и в самом деле хотел вырваться из тесной Витюковой «опоки».

Да что Витюк! Он лишь бессознательно повторил ошибку многих знакомцев Семена Григорьевича, давно уже и вполне благополучно достигших совершеннолетия и даже снабженных солидными дипломами. Мерить привычными мерками всегда легче. Всевозможные любители упрощенного подхода к жизни уже не единожды и по самым различным поводам укладывали Семена Григорьевича в готовые формы-опоки, удобные карманные размеры которых и повсеместная распространенность казались им наилучшей гарантией от просчета.

Семен Григорьевич со своей стороны, несмотря на всю его покладистость, был убежден, что он — такой, как есть, — не вместится без остатка и в самую хитроумную опоку. И совсем не потому, что он такой громоздкий и сложный. Просто он не экспонат и никакой тебе не представитель, а обыкновенный, живой человек. И как ни укладывай его в опоку, а наружу сам собой высунется хоть махонький кончик уха, а то, как сегодня в Витюковой неумелой опоке, за бортом останется главная суть всего ученичества Семена Григорьевича, или — случалось и так — никак не найдет себе места какая-нибудь самодельная мысль мастера о коловращении людей, не претендующая на ученость, но, как всякая самодеятельность в преклонном возрасте, вполне устраивающая своего хозяина, — мысль очень уж забирающая в сторону, сучковатая, требующая для своей невредимой укладки такого расхода материала на опоку, какого, как полагали укладыватели, не стоил и весь Семен Григорьевич со всеми своими потрохами.

Всю жизнь Семен Григорьевич, где только мог, противился тому, чтобы его втискивали в опоку, какой бы почетной она ни считалась и как бы мягко ни было в ней лежать. Недели две назад мастер даже целый бой выдержал с одним газетным корреспондентом.

Корреспондент был не так уж молод, но все еще не избавился от той довольно распространенной среди газетчиков наивной уверенности, что все люди вокруг живут и труятся для того лишь, чтобы газета могла печатать о

них свои заметки, статьи и очерки. Ему уже приходилось организовывать материал о старых производителях, и он считал, что набил руку на стариках. Еще до встречи с Семеном Григорьевичем, взяв у начальства его показатели, корреспондент уже составил о мастере самое полное и исчерпывающее представление. Собственно говоря, для написания очерка ему даже и не нужно было встречаться с мастером — так ясно он заранее предвидел все, что будет о нем писать. Но для «оживления образа» корреспонденту потребовался «местный колорит» — внешность, любимые словечки, — и он отыскал Семена Григорьевича в цехе.

Поначалу Семен Григорьевич даже понравился корреспонденту. «Симпатичный старикан, — решил он. — Звезд, конечно, с неба не хватает, но для очерка о смычке поколений фигура самая подходящая». Он отметил в памяти сивые усы мастера, которые, чего уж никак не подозревал Семен Григорьевич, очень хорошо ложились в очерк: мастер мог задумчиво теревить их, а то и улыбку в них прятать, смотря по обстоятельствам очерка.

Но в беседе с Семеном Григорьевичем корреспондент семь потов пролил, а нужного ему толка так и не добился. Он никак не мог понять, почему злобредный старик вдруг заупрямился и не хочет лезть в уготованную ему уютную газетную опоку.

Корреспондент любил, как он сам говаривал, «держатъ объект в узде». Он привык спрашивать утвердительно-м тонем, вкладывая в каждый свой вопрос — для собственного удобства и экономии времени — тот ответ, которого требовала заранее сложившаяся в его голове схема очерка. Такая манера всегда безотказно действовала на людей скромных и застенчивых. Сами хорошо зная свое дело, они полагали, что сведущему корреспонденту видней, как именно должны они думать в том или ином случае, и не спорили с ним, когда он приписывал им свои мысли.

Это сильно действующее средство корреспондент решил испробовать и на нынешнем «объекте». Он спросил Семена Григорьевича:

— Не уходите на пенсию потому, что не можете представить себя вне завода? Цех для вас — родной дом, а шум машин — лучше всякой симфонии?

И хотя Семен Григорьевич, проработав на заводе без

малого полсотни лет, на самом деле не мог представить своей жизни без завода, ему вдруг очень не понравилось, что какой-то пижонистый корреспондент с широким блокнотом так легко и просто катит холодные слова-кругляши, не выстрадав их, не понимая по-настоящему, что значит для рабочего человека этот самый завод. Его возмутила и покровительственная манера подсказывать ему ответ, как малому ребенку. В этом Семен Григорьевич увидел недоверие к себе, к своим умственным способностям. Он не нуждался в подсказке и хотел сам отвечать на любые вопросы по своему разумению. Пусть он скажет не так красиво, без всяких симфоний, но если он и такой, несладкозвучный, интересен газете, так надо бы его все-таки выслушать.

И Семен Григорьевич решил проучить газетчика. Он сказал, что на пенсию ему никак нельзя податься — эта стариковская песня не для него. (Корреспондент согласно закивал головой, радуясь, что упрямый «объект» наконец-то отвечает как надо, сам добровольно ложится в опоку.) И дело тут совсем не в шуме машин, который, откровенно говоря, порядком уже осточертел ему, днем и ночью в ушах откликается. Если б была хоть какая-нибудь возможность, он давно бы ушел на пенсию: надоело с молокососами возиться, хлопот с ними много, а благодарности не дождешься. Держит его на заводе рубль-копейка. Привык со своей женой широко жить, никакой пенсии на такую жизнь не хватит! Супруга, дорогая Екатерина Захаровна, на старости лет совсем аристократкой заделалась — без шампанского не сядет за стол и, потеряв всякую совесть, хлещет дорогую шипучку, как воду. А он сам больше налегает на коньяки, потому что от грубой водки у него в животе происходит жалобное урчанье...

Корреспондент слушал и не верил своим ушам. Ни очерка, ни статьи, ни самой короткой заметки Семен Григорьевич в газете так и не увидел...

— Сильно вас били? — переспросил Витюк, не дождавшись ответа.

Семен Григорьевич задумчиво посмотрел на внука. Ему хотелось предостеречь Витюка, как опасно втискивать людей в опоки, но он побоялся, что внук по молодости лет его не поймет.

— Тумака бывало отхватывали, а еще больше страдали мы, малолетки, от недосыпания. К концу смены у

всех у нас глаза слипались, будто медом смазанные. Горький был тот мед, и многие ребяташки из-за него у станков покалечились. Уже со вторника начинали мы ждать воскресенья, чтобы выспаться досыта... Да не в этом суть! Хоть и работали мы на хозяинна-толстосума, а были и у нас свои светлые деньки. Помню, как я впервой сам, своими руками, зубья на шестеренке нарезал. И немудрящая, кажись, была шестереночка, а по сей день перед глазами стоит!

Ученая вожатая твоя небось скажет: «Никакой настоящей радости тут нету. Еще один подневольный рабочий прибавился, чтобы хозяйский барыш умножать...» Так все это, да и не так! И не потому даже, что тогда уже оставались считанные годки на хозяина работать и вскорости мастерство наше всему народу пригодилось. Это сейчас, с нынешней горки, все прошлые годы насквозь просматриваются, а в ту пору, у первой неказистой шестереночки, мы просто делу рук своих радовались, народившимся уменьем своим гордились. И заметь себе — никакого самообману тут не было! Никудышный тот человек, который сам ничего сработать на совесть не умеет. Чем сильнее руки свои умелые уважать начнешь, тем быстрее и расковать их захочется. И никаким борцом со старыми хозяевами мира нельзя стать, пока мастера своего дела в себе не почувствуешь. Задаваться мастерством никогда не надо, а уважать свои руки каждый рабочий человек обязан всегда и везде, ибо все, в конце концов, от этих рук пошло и ими держится... Не темно я говорю?

Витюк закивал головой, показывая, что вполне понимает деда.

— Да и дружба меж учениками у нас на заводе завязалась уже не ребячья. Раньше, когда мы по домам сидели, у нас редкий день без драки обходился. Один конец слободки с другим воевал, увидишь где-нибудь чужого парнишку и лупишь его за то лишь, что он рыжий! А теперь и рука как-то не поднималась на такого же, как и ты, бедолагу, а если, случалось, кого и били, так уж за дело: не выслуживайся перед мастером, на товарищей не ябедничай. Завод сплотил нас всех, нацелил, и хоть слово «коллектив» мы тогда еще по своей малограмотности не знали, а выковался он у нас самый настоящий... После первой же полочки мы сразу и повзрослели, полноправными рабочими себя почувствовали...

Первый заработок!.. Всю дорогу с завода домой он не вынимал руки из кармана, чтобы как-нибудь ненароком не обронить денежек. На пути его подстерегала рыночная площадь со своими ирисами-тянучками и сладкими тыквенными семечками. Он пересек площадь, глядя себе под ноги, чтобы не поддасться соблазну, и всю получку, до последнего грошика, принес домой. Мать стирала чужое кружевное белье. Он молча подошел к ней, вытащил ее руку из корыта, высыпал в мокрую, обезображенную стиркой ладонь все свое медь-серебро и сказал, подражая отцу:

— На вот...

Младшие братишка с сестренкой смотрели на него затаив дыхание, а мать долго держала на весу полусогнутую руку с деньгами, и в глазах ее стояли, не проливаясь, слезы. Она хотела обнять его, но вдруг застеснялась чего-то и лишь прошептала:

— Добытчик ты наш...

Потом мать засуетилась, собирая ему обед. Но деньги она не прятала, а так и держала в руке: видно, не слишком много принес он их тогда, если все они, даже в мелкой, разменной монете, вместились в зажатый материн кулак...

— Да, великая это вещь — первый заработок... — тихо сказал Семен Григорьевич. — А кое-кому преждевременная взрослость боком вышла. Чтобы уж во всем со взрослыми сравняться, стали ребятки курить, ругаться позакорыстей, а самые забубенные и в кабак тропку топтать. Ему, пичуге, леденца пососать охота, а тянет пиво, а то и ерша-горлодера смастерит, чтобы все видели: парень солидный! Ну, да такие меж нами наперечет были. Большинство заработок домой несло, посылно семье помогало.

А тут и жизнь другим боком стала к нам поворачиваться, помаленьку-полегоньку толкать нас от ребячьих забав на крутую дорожку. На сходках и маевках без нас никак не обходилось. Соберутся взрослые рабочие на поляне в лесу, а мы на всех подходах дозор несем. Нам такое доверие и лестно, всюю стараемся! Сами вроде цветы-ягоды собираем или играем в прятки, а как завидим когo подозрительного, сразу начинаем аукать, будто потеряли меньшого братика. Бывало такой гвалт подымам — не только на поляне, а и в самой слободке слышно! Чаще всего кликали мы Мишутку Борщева: был такой

бестолковый парнишка в нашем бараке, пойдет нужду справить — и то заблудится. Как наша дозорная служба потребуется, взрослые рабочие и зовут нас: «Приходите завтра к поляне Мишутку Борщева кликать!» Через нас малец этот непутевый на весь завод прославился!..

— Дальше — больше. Перед забастовкой нам уже доверили пронести на завод листовки и разбросать их по цехам. На заводе было беспокойно, каждого рабочего в проходной обыскивали и вдоль забора стражу выставили, чтобы никто не проник на завод незаконным путем. Лишь ту сторону, что к саду управляющего примыкала, оставили открытой — на Мааса с Шельмой понадеялись. Тут-то и пригодилась нам прежняя сноровка! Кто-нибудь взбирался на забор и шумел погромче. Собаки кидались к нему, а тем временем парень с листовками в другом месте тихонько перелезал через забор — и шашь к заводскому двору. Полиция и хозяйские прихвостни с ног сбились, а так и не могли понять, как листовки на завод попадают!

Семен Григорьевич усмехнулся, вспомнив былое свое молодечество.

— Вот так и росли. Ремеслом овладевали, людьми-человеками становились и незаметно в самую гущу борьбы втягивались. По нашему возрасту и разумению было это для нас как игра: чем опаснее, тем заманчивей. Не скажу, чтоб мы все тогда до тонкости понимали, но место свое знали твердо и под ногами не путались... Так что мы не только страдали под тяжким ярмом самодержавия, как твоя жохатая думает, но, как умели, помогали свалить его с копыт, готовили себя к семнадцатому голку. Ведь если б мы только скулили от побоев да свою несчастную жизнь оплакивали, так некому было бы и советскую власть ставить, санатории и дворцы для вас сооружать... Так-то вот, а ты — иллюстрация!..

Витюк давно уже ушел с книгой, а Семен Григорьевич все еще сидел на кровати и остановившимися, незидящими глазами смотрел на носик никелированного чайника, забытого Екатериной Захаровной на столе. На самом кончике носика примостился зеркальный блик, и

Семену Григорьевичу почему-то сподручнее было вспоминать давние годы, глядя на это блестящее пятнышко.

Потревоженная память подсовывала все новые и новые воспоминания — станции и верстовые столбы на пройденном житейском пути. Путь этот ничем особым не выделялся среди других путей, и не так уж высоко вознес он Семена Григорьевича, но пройден был честно, без единой попытки проехать в обозе, — шаг за шагом, от самого начала до нынешней вынужденной остановки где-то не так уж далеко от неминуемого шлагбаума, которыми кончаются все наши житейские пути-дороги.

Сумерки напоздали на Семена Григорьевича от углов и простенков и скоро заволокли всю комнату. Только окна смутно белели отраженным снеговым отсветом.

Вспоминались почему-то все больше молодые годы. Начальные события его жизни, проступая сквозь наслоения последующих лет, казались сейчас Семену Григорьевичу не совсем правдоподобными. Было такое чувство, будто все это происходило не с ним, а с кем-то другим, хорошо ему знакомым, и он лишь вычитал об этом в первых главах какой-то очень толстой и задушевной книги.

В книге этой страницы веселые перемежались мрачными, и сразу трудно даже было сказать, каких страниц перепадало больше. Но таково уж свойство человеческой памяти: минувшие годы просеяли воспоминания, и все мрачное и тяжелое расплылось, потеряло четкие очертания и как бы даже пригнулось, чтобы не мешать выступившему наперед светлому и хорошему...

В передней вкрадчиво щелкнул замок входной двери — будто негромко чихнули в кулак. Закутанная шалью, в комнату вошла Екатерина Захаровна, и от нее повеяло холодом, как от деда-Мороза. Она подивилась темноте и решила, что муженек заснул, ее поджидаячи. Но Семен Григорьевич пошевелился на кровати, и Екатерина Захаровна спросила неодобрительно:

— Что это ты, как сыч, во тьме сидишь?

— Да так, задумался что-то... — виновато ответил Семен Григорьевич, будто жена захватила его на месте преступления.

Как все старые и верные жены, Екатерина Захаровна очень не любила, когда супруг ни с того ни с сего вдруг задумывался. Сама она никогда не грешила этим и считала, что Семен Григорьевич, беспричинно задумываясь,

как бы пытается улизнуть из-под ее контроля, чего Екатерина Захаровна, уважая свои права, допустить никак не могла.

— Не зажигай света,— попросил Семен Григорьевич.— Давай посумерничаем.

«Час от часу не легче! И что это с ним?» Встревоженная Екатерина Захаровна повесила сетку с продуктами на спинку стула и сняла с себя тяжелое пальто с воротником из непонятного меха — подарок дочери-директорши.

От продуктовой сетки шел тонкий и сильный запах прихваченных морозом яблок. Семен Григорьевич полной грудью вдохнул этот вкусный запах и спросил тихим голосом:

— Помнишь, Катя, как мы с тобой познакомились?

Екатерина Захаровна даже охнула от неожиданности и решила, что добром все это не кончится: уже лет двадцать муж не называл ее по имени, а все Захаровна да Захаровна...

— Чего это ты надумал? — забеспокоилась она.— Уж не заболел ли снова? Говорила тебе: пей бальзам!

Она подошла к мужу и дотронулась рукой до его лба, пробуя температуру. Лоб был не горячий, и Екатерина Захаровна растерялась, не зная, что теперь делать.

— А как я тебя впервой поцеловал, помнишь? — совсем уж тихо спросил Семен Григорьевич, стыдясь на старости лет говорить такое.

Екатерина Захаровна не то кашлянула некстати, не то фыркнула тихонько — в темноте не разберешь. Потом она сказала неожиданно помолодевшим голосом:

— А все с того началось, что я в тебя снежком залепила! — И присела рядом, легкомысленно забывая, что ею ничегошеньки не сделано для приготовления ужина и даже чайник стоит не на примусе, а на холодном столе.

Семена Григорьевича приятно удивило, что Екатерина Захаровна до сих пор все помнит. Раньше ему всегда почему-то казалось, что супруга за каждодневными своими хлопотами по хозяйству давно уже перезабыла всю их любовь.

— Залепить-то залепила,— охотно подхватил он,— да сама и перепугалась: стоишь и смотришь, что дальше будет. Мне ничего другого и не оставалось, как чмокнуть тебя в губы!

— В щеку...— поправила Екатерина Захаровна, защищая свою давнюю девичью гордость.

— Нет, в губы! — заупрямился Семен Григорьевич.

— Ну разве что в самый краешек... — согласилась Екатерина Захаровна, припоминая подробности.

— Я тебя еще летом заприметил, как ты на лугу песни пела. Крепко ты мне в память запала. У станка стою, а голос твой в ушах звенит. Никогда со мной ни раньше, ни позже такого не бывало...

— Ты ловкий тогда был, самый ловкий из всех слободских ребят! Этим ты мне и полюбился...— с опозданием на четыре десятка лет призналась Екатерина Захаровна.

Семен Григорьевич знал, что так же, как и он, Екатерина Захаровна видит сейчас стиснутую сугробами улицу старой слободки. Давняя зима была расточительно богата снегом — потому, наверно, и решилась Катя-тихоня израсходовать горстку на тот счастливый снежок, который угодил в него и ускорил их объяснение.

Все помогало им тогда. На улице не видно было ни души, и даже мороз, лютовавший перед тем целую неделю, вдруг подобрел, словно для того лишь, чтобы не мешать им, бездомным, миловаться на улице. Счастливые и испуганные этим непривычно новым для них счастьем, они стояли, обнявшись, меж сугробами, у стены какого-то сарая и то говорили оба враз, то молчали,— молодые, вся жизнь впереди...

Давно уже растаяли те далекие сугробы. Семен Григорьевич никогда не напоминал о том вечере Екатерине Захаровне. Молодой был — не придавал ему значения, думал беззаботно, что много еще впереди будет разных вечеров, а состарился — и как-то неловко стало об этом заговаривать, боялся, что суровая Екатерина Захаровна обвинит его в телячьих нежностях. После женитьбы они поселились на другом конце слободки, и Семену Григорьевичу не часто доводилось бывать возле их сарая. Но каждый раз, когда он проходил мимо, у Семена Григорьевича невольно теплело на сердце, а ноги сами собой замедляли свой бег. Бывало ему хотелось постоять на этом месте, но как-то стыдно было среди бела дня останавливаться на улице без дела, и он лишь с ходу оглядывал сарай и шагал себе дальше с таким чувством, будто в молодость окупился.

А жизнь шла своим чередом, и той осенью, когда Петру купили школьный ранец, сарай был переоборудован под кооперативный склад скобяных изделий. Может, кто другой на месте Семена Григорьевича обиделся бы, что такое будничное предприятие обосновалось в святом для него помещении. Но Семен Григорьевич не увидел в крючках и шпингалетах ничего унижительного для себя и своей любви и рассудил, что правление кооператива поступило правильно: шпингалеты людям тоже нужны, и не пустовать же сараю из-за того лишь, что некогда здесь вздумалось кому-то целоваться.

Вскоре после того, как Семена Григорьевича произвели в мастера, сарай сломали, а на его месте построили маленький, уютный домик с веселым жестяным петушком на гребне крыши. Но не всем жильцам нового домика петух накукарекал счастье. В солнечные дни Семен Григорьевич часто видел в палисаднике перед домиком молодую, всегда чисто, как в праздник, одетую женщину болезненного вида. Из окна иногда выглядывал мужчина с прямыми черными усами и говорил ей что-то короткое и сердитое. Когда усача не было дома, женщина подзывала к себе ребятишек, играющих на улице, расспрашивала, как их зовут, гладила по головам и давала денег на мороженое. Случалось, она дремала на скамеечке, и однажды, когда Семен Григорьевич проходил мимо, она улыбнулась с закрытыми глазами, — может быть, увидела в минутном сне свой сарай, возле которого ее впервые целовали. Семену Григорьевичу почему-то казалось, что целовал ее кто-то другой, не усач, и что сарай этот находится где-то очень далеко от нарядного домика с обманчивым петушком на крыше.

А в тот год, когда Екатерина Захаровна прозвала Семена Григорьевича путешественником за его частые разъезды (в начале года он ездил в Ленинград, на курсы повышения квалификации, а в середине — в Москву, на совещание в министерство, которое тогда именовалось наркоматом), в тот год всю старую слободку снесли и на ее месте воздвигли новые четырехэтажные корпуса. Ничего не скажешь, корпуса были добротны, красивые и разве только больше, чем надо, похожи друг на друга, так что в первое время после заселения счастливые новоселы признавали свои дома лишь по кучам строительного мусора, которые, как водится, долго еще красова-

лись перед фасадами. К радости жильцов, строителям не удалось сделать эти кучи такими же похожими и симметричными, какие у них вышли дома. Если мусорная гора возле одного корпуса сильно смахивала на повсеместно известный с папиросной коробки Казбек, то возле соседнего дома она уже выглядела каким-нибудь неведомым Эльбрусом. Оставалось лишь хорошенько запомнить свою вершину — и можно было смело выходить из дома, не боясь заблудиться на обратном пути.

Как жильцы разыскивали свои квартиры после уборки мусора, Семен Григорьевич не знал. Отправляясь в гости к знакомым, поселившимся в новых корпусах, он вечно попадал на чужие лестницы. Наблюдательные ребятишки давно уже заметили эту привычку Семена Григорьевича и, завидев его, кричали вежливо:

— Опять не туда идете, дедуся!

Именно здесь, в лабиринте новых корпусов, его и настигло это неизбежное стариковское прозвище. И когда вскоре Витюк стал называть его дедом, Семену Григорьевичу было это уже не в диковинку.

На том месте, где когда-то стоял сарай, а потом домик с петушком, тоже выстроили четырехэтажный корпус. И теперь лишь в названии улицы — Старослободская — хоть и косвенно жила память о молодых годах Семена Григорьевича и Екатерины Захаровны, об их заветной встрече среди сугробов...

Семен Григорьевич молчал-молчал и вдруг спросил супругу:

— Если б, к примеру сказать, зачем-нибудь понадобилось, смогла бы ты найти то место, где... снежком в меня залепила?

Екатерина Захаровна ничуть не удивилась вопросу, будто все время только его и ждала.

— Я и сегодня мимо того места проходила, как из «гастронома» шла, — спокойно сказала она. — Если по нынешнему мерить, так это будет между книжным магазином и аптекой, чуток поближе к аптеке...

«И сюда она свою медицину приплела!» — в сердцах подумал Семен Григорьевич, досадуя сейчас на супругу не за ее небольшую промашку в топографии, а за то, что она могла так небрежно говорить о дорогом для них обоих предмете.

— Как бы не так! — выпалил он. — У самого входа в магазин то место!

И тут его поразила мысль: раз Екатерина Захаровна так быстро и довольно точно назвала место, где стоял раньше их сарай, значит, все эти годы она тоже не теряла его из виду, знала и о крючках-шпингалетах и о печальной женщине из палисадника и так же, как и он, не раз, наверно, вспоминала тот вечер среди сугробов. Даже смешно: жили под одной крышей и таились друг от друга! И чего они боялись?

Он ожидал, что супруга по своей привычке ринется сейчас в спор, выгораживая злосчастную аптеку, и сама развеет то чувство признательной нежности, которое возникло у него после неожиданного открытия. Но Екатерина Захаровна сказала покладисто:

— Все бы тебе спорить! Мы же на одном месте не стояли, а ходили от аптеки к магазину и назад. Целую тропку в снегу выбили, разве забыл?.. — Она помедлила немного и добавила, не в силах удержаться: — А снежок в тебя я все-таки возле самого аптечного крыльца кинула!

Семен Григорьевич хорошо помнил, что никакой тропки в снегу они тогда не проторили, а все время смиренно стояли на одном месте. Но возражать он не стал, понимая, что Екатерина Захаровна и так одержала над собой немалую победу, признав его частичную правоту. Чтение книг развило в Семене Григорьевиче философическую струнку, и он знал, что нельзя от людей требовать невозможного...

Екатерина Захаровна притихла в темноте, а Семену Григорьевичу вдруг припомнилось, что на том стуле, где висела сейчас сетка с пахучими яблоками, неделю назад сидел Кирюшка, внимательно слушал его наставления и смотрел на него преданными глазами. Обида на Кирюшку уже потеряла свою остроту, и Семен Григорьевич мог теперь хладнокровно думать о нем. В размягченной от воспоминаний душе мастера шевельнулось даже такое чувство, будто была и его доля вины во всем случившемся: парень заблудился по недомыслию или слабости характера, а он во-время его не одернул.

Много часов провел он наедине с Кирюшкой, а толком его так и не разглядел. Ошибся он потому, что прикрасил парня, подогнал его под известные образцы. Как

ни крути, а выходит — он тоже уложил живого человека в опоку! Что из того, что опоку он выбрал отменную, сделанную по мерке, с лучших ребят, вроде Коли Савина и тех молодых рабочих, с кем довелось ему работать в стужу и бесхлебицу первой военной зимы!

Его обманули Кирюшкина молодость, задор и... комсомольский значок на груди — все то честное и хорошее, что привык он видеть за этим значком. Упустил он из виду, что легче значок отштамповать из жести, чем выковать настоящий характер.

По доброте душевной Семену Григорьевичу хотелось сейчас думать, что дело еще поправимо. Надо лишь поскорее разобраться, глубоко внутри парня сидит вредная раковина или только с поверхности он маленько запаршивел, а снять наружную стружку — и дальше пойдет добротный матерьял.

Он уже невольно прикидывал, как надо спасти Кирюшку. Перво-наперво — необходимо оторвать парня от начальника цеха и оставить его вариться в собственном соку. Потом ребята должны на него поднажать — без злобы, но крепенько, чтобы почувствовал Кирюшка силу коллектива. Само собой, тут уж разыграет Кирюшкино самолюбие, подогретое скороспелой славой! И выйдет одно из двух: либо Кирюшка ожесточится и закаменеет в своей ранней подлости, либо пореболеет и станет человеком. Полезно будет в это время показать парню, куда ведет-заворачивает та скользкая дорожка, на которую ступил он неосторожной ногой. Сделать это следует как бы мимоходом, исподволь, чтобы не отпугнуть. В общем повозиться придется немало. Поскорее надо выходить ему на работу, а то ребята сгоряча наломают дров в этом тонком деле.

А там не худо бы и Колю Савина с Клавой-сверловщицей помирить. Дело это будет еще потоньше, неизвестно даже, с какого конца и начинать.

Семен Григорьевич покрутил головой, удивляясь, какие трудные и щекотливые занятия подсовывает ему жизнь-жистянка. Уж не выдумывает ли он сам себе работу, чтобы чувствовать себя нужным людям? Нет, помнится, он и прежде никогда мимо таких дел не проходил, — такой уж, видно, уродился...

Затхлый душок бальзама, хозяйничавший в комнате все эти дни, попробовал было потягаться с молодым,

свежим запахом яблок, но не выдержал поединка и стал отступать. А Семену Григорьевичу казалось, будто от него, выздоравливающего, все дальше и дальше отодвигают отслужившую свое бутылку с бальзамом, а заодно уж и скучную аптечку с «филиалом».

В темноте, скрадывающей нелюбезные приметы возраста, Семену Григорьевичу на миг почудилось, что ему всего-навсего двадцать лет, а рядом с ним сидит восемнадцатилетняя Катя-певунья. Екатерина Захаровна, которую долгое пребывание во тьме всегда бросало в сон, шумно и аппетитно зевнула и сразу разрушила весь его самообман.

«Вот всегда она так!» — рассердился Семен Григорьевич.

— Надо Васе посылку послать,— сказала Екатерина Захаровна тягучим своим, будничным говорком.— Как бы не отошал на студенческих харчах...

И совестливому Семену Григорьевичу стало стыдно, что он размечтался о несбыточном, в то время как Екатерина Захаровна занята насущным делом. И какая муха его укусила, что ему вздумалось променять практичную Екатерину Захаровну на девчонку Катю?! Ведь состарилась Екатерина Захаровна и потолстела бок о бок с ним, рожая ему детей и всячески украшая жизнь семьи. Все эти долгие сорок лет, не щадя себя, она заботилась о нем и детях, а если, случалось, иногда и докучала ему, то совсем не по злему умыслу, а просто от излишнего усердия.

Больше он уже не обманывал себя и все время помнил, что рядом с ним сидит не тоненькая и зеленая Катя, а дородная Екатерина Захаровна — мать и хозяйка. Чтобы загладить свою невольную вину перед женой, Семен Григорьевич положил руку на ее мягкое плечо, и Екатерина Захаровна, отзывчивая на ласку, придвинулась к нему.

Они сидели щека к щеке и молчали. В темной комнате пахло яблоками.





Александр Володин

ТВЕРДЫЙ ХАРАКТЕР

На комсомольском собрании Ася впервые сидела отдельно от своей группы — в последнем ряду, под самым потолком аудитории.

Она не хотела сидеть со своими ребятами, потому что там был Леша Сазонов. Ей надоело слушать его шуточки, пускай развлекает Женьку Лапшину. И вообще охотнее всего Ася осталась бы сейчас одна.

Когда стали выбирать делегатов на городскую конференцию, Женька вдруг выдвинула Сазонова.

«Сообразила! Только его там не хватало!» — подумала Ася.

Однако, как только Серегин предложил обсудить эту кандидатуру, даже девочки из третьей группы, сидевшие рядом с ней, закричали:

— Знаем! Знаем!

«Что они знают? Кто, кроме меня, знает его по-настоящему? Ни один человек на курсе...»

Ася подняла руку и пошла вниз.

По мере того, как она спускалась к кафедре, сердце у нее колотилось все сильнее.

Ребята удивленно оглядывались на нее, только Сазонов мрачно смотрел вперед.

Она остановилась у кафедры, откашлялась и сказала:

— Товарищи! Вот тут сейчас мы кричали, что знаем Сазонова. Разрешите мне в этом усомниться. Плохо мы знаем комсомольца Сазонова. И я попробую это доказать. Почему-то у нас принято считать, что Сазонов хо-

роший товарищ. Может быть. Но в таком случае мне придется привести один факт, о котором, кстати, наша вторая группа знает. Однажды на лекции по химии Сазонов послал профессору записку примерно следующего содержания: «Расскажите нам о новом труде Д. Якушева «Мои новые мысли об электролизе».

Женя прыснула.

— Ничего нет смешного, товарищи. Скорей это печально. Во-первых, это не что иное, как издевательство над профессором, которого все мы уважаем. А во-вторых, просто нетоварищеский поступок по отношению к Диме Якушеву. Профессор, конечно, запомнил его фамилию, и когда Дима пошел ему сдавать, он, как известно, спросил: «Ну, каковы же ваши новые мысли об электролизе, товарищ Д. Якушев?» Дима в силу своей застенчивости так растерялся, что не смог отвечать, и завалил зачет. А Сазонов, вместо того чтобы признаться в некомсомольском поступке, превратил все в шутку. А я считаю, что это не шутка, а хулиганство. Если я ошибаюсь, пусть меня поправят.

— В порядке справки! — крикнул с места Дима Якушев.— Я к Сазонову претензий не имею.

— Ну вот, Якушев меня поправил.

Все засмеялись.

Серегин постучал карандашом по графину.

Ася перевела дыхание и помолчала, собираясь с мыслями.

— К сожалению, товарищи, это не случайный факт. Это результат безответственного отношения Сазонова к своим поступкам. А что такое безответственное отношение, мы знаем. И к чему оно может привести. Оно приводит к беспринципности. И факты беспринципности комсомольца Сазонова у меня тоже имеются. То, чего он не сказал бы постороннему, то на правах дружбы он говорил мне.

Голос ее, как всегда в минуты волнения, зазвенел.

— Со мной, как с другом, Сазонов делился своими сокровенными мыслями. Так, например, он говорил, что с пережитками капитализма бороться не следует. Очевидно, Сазонов рассчитывает, что они исчезнут сами собой. Иными словами, он призывает к благодушию и всепрощению. И вот, пользуясь этим же правом дружбы, я об этом говорю, Леша, здесь.

Ася взглянула на Лешу, но он смотрел вниз.

— А мы, вместо того чтобы прямо и принципиально поставить вопрос о моральном облике нашего товарища, выдвигаем его делегатом на конференцию и тем самым только убеждаем его в том, что он прав в своих заблуждениях. И тем самым оказываем ему плохую услугу. Я считаю, что мы должны воздержаться, не выдвигать Сазонова, и пускай это послужит ему уроком!

Не поднимаясь на свое место, Ася присела с краю в первом ряду.

— Кто выступит по этому вопросу? — спросил Серегин.

Все молчали.

— Может быть, ты, Сазонов, выступишь? Тут ведь о тебе речь шла?

Леша помотал головой.

Когда началось голосование, за его кандидатуру поднялось всего несколько рук.

В раздевалке, получая пальто, Ася снова увидела Лешу. Он спускался по лестнице вместе с Серегиным и Якушевым.

Ася никогда не могла оставаться спокойной, когда Леша попадался ей на глаза. Она уронила варежку, подняла ее и начала возиться с шапочкой, пережидая, пока он оденется и уйдет.

Она вышла из института и, помахивая портфелем, медленно пошла домой. Глаза ее, казалось, обрели нечеловеческую зоркость: вечернюю улицу она видела из конца в конец. У автобусной остановки попрощался и перешел на другую сторону Серегин. Потом Дима свернул в переулок, Леша остался один. Он шел быстро, не оглядываясь.

Сколько раз они ходили этой дорогой вместе!

Дома была только Мария. Она лежала с книжкой на диване.

— Обед в кухне, разогрей, — бросила она, не взглянув на Асю. — Да скатерть сними, стирать за тобой некому.

«Правду говорят — у старых дев характер портится. Лучше бы действительно замуж выходила, что ли», — подумала Ася и вышла в кухню.

Не зажигая света, она села на табуретку.

Здесь вот, за этим столиком, однажды они вместе готовили обед. Леша вертел мясорубку и «осуществлял теоретическое руководство» по поваренной книге.

— Аська! — крикнула из комнаты Мария. — Ты где пропала?

Ася не ответила.

Мария вышла на кухню, зажгла свет.

— Что сидишь в темноте?

— Так.

— Суп-то хоть согрей.

— Ты можешь оставить меня в покое? — тихо спросила Ася.

— Дура.

Мария погасила свет и ушла.

Ася пошарила на столе, взяла со сковороды холодную котлету.

В школьные годы Ася думала, что человека можно полюбить за какие-то определенные качества и нужно твердо отдавать себе отчет: за что ты любишь этого человека. Но когда она познакомилась с Лешей Сазоновым, любовь пришла сама собой, независимо от ее воли.

Нележкой была эта любовь и недолгой.

На прошлой неделе, когда Ася позвала Лешу делать задание по анализу, он сказал, что уже сделал сам. А раньше анализом они всегда занимались вместе. Но она не придавала этому особенного значения. В воскресенье пригласила его посмотреть телепередачу. Прождала до одиннадцати часов — он не пришел. Она и тогда не поняла еще, в чем дело, но на другой день не подошла к нему. Леша, казалось, не удивился этому и был даже доволен.

Из-под двери дуло. Ноги у Аси застыли, начал побаливать висок. Наверно, от холода. Но в комнату к Марии идти не хотелось.

Сегодняшнее выступление он не простит ей, это ясно. А впрочем, какая разница? Все было кончено и без того... Кончено? Но почему кончено? Из-за чего? Что такое после этого дружба, если они не могут поговорить друг с другом начистоту, раз и навсегда!

Ася в темноте надела пальто и накинула на голову платок.

— Совсем нас забыла, Асенька,— встретила ее Лешина мама.— Леша в булочной, посиди.

Ася прошла в его комнату.

Здесь было все таким же, как прежде. И так же будет потом, когда она уйдет отсюда. Неужели навсегда? Будет сюда ходить Димка и Серегин, Женя зайдет. А она — нет...

Ася присела у стола, где они не раз вместе занимались.

Зеленая настольная бумага изрисована лошадиными мордами, усеяна заштрихованной буквой «А». Сколько Ася ни боролась с этой дурной привычкой, Леша никак не мог от нее избавиться.

В углу валялись бутсы и гантели, на стуле — лыжные брюки. Однажды Леша пришел в них на курсовой вечер, и Ася чуть не поссорилась с ним из-за этого.

Две недели она не была здесь, и на столе опять навалены книги. Вот ее подарок — «Два капитана», ее конспекты по основам марксизма! А это что за страшнелище? Ася вытащила толстую клеенчатую тетрадь.

На первой странице было написано:

«Середина XX века нашей эры. Март.»

Вчера я с ней разговаривал. Ее зовут Ася...»

Очевидно, дневник.

Ася узнала короткий Лешин звонок. Она засунула тетрадь в стопку, между книг.

Было слышно, как мать открыла дверь и сказала:

— У тебя Ася.

Леша что-то спросил, и они стали тихо разговаривать. «Обо мне»,— догадалась Ася и подошла к двери.

— Не хочу, понятно? Имею я право? — громко сказал Леша и пошел на кухню.

Ася зажмурилась, рванула дверь и побежала домой.

«Середина XX века нашей эры. Март.»

Вчера я с ней разговаривал. Ее зовут Ася.

Это произошло на вечере в их школе. Дипломатический прием проходил в теплой и дружественной обстановке.

Сначала нам показали самодеятельный концерт, где одна девица дрожащим голосом спела «Жаворонок звонкий», другая прочитала «Мцыри», затем хор довольно громко исполнил «Летят перелетные птицы».

Ее нигде не было. Я уже начал жалеть о потерянном времени, как вдруг заметил в просвет занавеса знакомые косы. За кулисами толпились чтецы и певицы, но она так ничего и не спела,— очевидно, выполняла руководящие функции.

Засим открылся собственно бал. Заиграли вальс.

Дима стал бить ногой в пол в ритме три четверти. Он постиг только «польку-бабочку». Впрочем, из мальчиков танцевал только один.

Мы с Димой, обратясь в кариатиды, самоотверженно поддерживали шаткие стены.

Наконец она появилась. Сначала обошла всех танцующих, аккуратно посыпая им головы конфетти, потом остановилась неподалеку от нас. Она заговорила со своей соседкой, и я услышал ее голос, пожалуй, в первый раз:

— Вот мы, хорошие девушки, стоим с тобой у стены, а какой-то восьмиклассник носится по залу и выбирает, с кем танцевать. Мне до него нет никакого дела, и все-таки обидно, что он выбрал не меня. Глупо!

Как только заиграли «польку-бабочку», я сказал Диме:

— Пригласи ее.

Уши у него сразу приобрели свекольный цвет. Он подошел к ней, шаркнул ножкой и издал даже какой-то звук.

Но она холодно посмотрела на него и сказала:

— Спасибо, не танцую.

Пока Дима оправился от этого удара, танец кончился, а с ним рухнула его надежда послужить Терпсихоре. Тогда подошел к ней я, и между нами завязался принужденный, «светский» разговор.

— А я вас знаю. Вы живете в двадцать девятом доме.

Она удивленно посмотрела на меня сверху вниз, хотя я и выше ее ростом. Но я не растерялся!

— Вы через наш двор в школу ходите, я вас вижу каждый день.

Затем мы молча, с неослабевающим интересом стали наблюдать за танцующими. Это продолжалось до тех пор, пока танцы не кончились.

Чувствуя, что сейчас могу потерять ее навеки, я спросил:

— Какой предмет вы больше всего любите?

— Физику,— сказала она.

— Первый раз встречаю девушку, которая любит физику,— остроумно заметил я.

Это дало мне право спуститься с ней в раздевалку.

— У нас раздевалка больше,— сказал я.

На это ей ответить было нечего.

Всю дорогу мы шли молча, и только у самого ее дома я снова пошел в наступление:

— Вы читали «Жизнь во мгле»?

— Нет,— созналась она.

— Это как раз о физиках. Хотите, я вам принесу?

— Спасибо,— сказала она неопределенно.— До свидания.

И исчезла.

Легко сказать — принесу! А где ее достанешь?

19 марта.

Невыносимо болит зуб. Хотел вырвать, но оказалось, что медицина кровно заинтересована в этом зубе. Предложили лечить.

Я органически не переношу бормашину. И все же я пойду на это, так как если я боюсь бормашины, то как же в таком случае я вел бы себя, если боль, в сто раз большую, мне причиняли бы сознательно, — например, враги?

6 апреля. Темп. плюс 7 град. Ветер южной четверти, умеренный.

Наконец достал «Жизнь во мгле». Но когда я пришел к Асе, то понял, что три недели слишком большой срок для женского сердца.

Она посмотрела на меня так, будто увидела впервые в жизни. Неизвестно, чем бы кончилось это randevu, если б, на мое счастье, не появилась ее сестра.

— Что же вы стоите здесь? — довольно приветливо обратилась она ко мне.— Проходите.

Асе ничего не оставалось, как пропустить меня в комнату.

Меня усадили в красный угол, у телевизора.

Мария (так зовут сестру) что-то вязала. Мы побеседовали с ней об архитектуре (она работает инженером-строителем) и о совместном обучении.

Ася сидела в сторонке, гордо вскинув голову. За весь вечер она не произнесла ни слова.

10 мая. Вечерет.

Вчера я застал ее дома одну, так что ей пришлось принимать меня в одиночестве. Мы сидели друг против друга за столом, и тут у меня мелькнула догадка, что ее гордый вид маскирует лишь самую банальную стеснительность. Эта мысль ободрила меня, и я спросил:

— Вы какой предмет больше всего любите? — И тут же вспомнил, что уже спрашивал об этом.

— Физику, — терпеливо ответила она.

Так как отступить было уже поздно, я сказал:

— Первый раз встречаю девушку, которая любит физику.

С целью придать хоть какое-нибудь разнообразие нашему разговору я спросил:

— Вы в какой институт будете подавать?

— В Электротехнический.

В Электротехнический! Это судьба.

Кажется, июнь.

«...Все от него отвернулись. Знакомые перестали навещать его, дети уже не улыбались при виде его, пастор отлучил его от церкви и публично проклял на паперти, звезды перестали ему сиять, боги махнули на него рукой, и фрак его покрылся паутиной».

Так будут летописцы описывать настоящий период моей жизни: я сдаю экзамен на аттестат зрелости.

Спустя полгода.

Перетряхивал старое школьное имущество, обнаружил сию тетрадь. «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой...»

3 декабря.

Я не стою ее подметки, и единственное мое оправдание в том, что прекрасно это сознаю. Чего ради она возится со мной, непонятно. Воспитывает меня с утра до ночи. Кажется, это доставляет ей удовольствие — вроде игры. Была маленькая — нянчилась с куклой, теперь ей подчиняется настоящий, живой человек.

Я исправляюсь по мере сил. Разговариваю шепотом, в раздевалке направо и налево подаю девицам пальто и искореняю свой нездоровый оптимизм.

К сожалению, выяснилось, что у нас существуют серьезные расхождения по ряду отвлеченных вопросов. Но я пришел к выводу, что спорить в таких случаях с ней не следует: убедить ее невозможно, а ссориться бессмысленно.

12 декабря.

И все же мы поссорились. Причем из-за ерунды.

Ася, Димка и я занимались начертательной геометрией. Димка между делом рассказал, что его отца (он играет на виолончели в симфоническом оркестре) выбрали в местком, и теперь он целые дни дома ворчит: «Кто умеет держать смычок в руке, тому не место в месткоме. Кто не умеет держать смычок в руке — тому место в месткоме!»

Тут Ася вдруг заявила, что Димкин отец необщественный элемент, и сам Димка тоже необщественный элемент.

Димка по своей застенчивости сразу потерял дар речи, а я сказал, что как же, Димка ведь руководит духовым оркестром в институте (видно, это наследственное).

— Ну и что ж? Это он делает ради собственного удовольствия.

— А я считаю, что общественную работу и нужно поручать именно такую, которую человек будет делать охотно, с душой.

— Хорошо. Ну, а если нужно, а тебе не нравится? Имеешь право не выполнять?

— Нужно будет — не беспокойся, выполню.

В общем на этой почве мы с ней крупно поспорили.

Она относится к людям нетерпимо. С ней бывает тяжело. Но, с другой стороны, мне кажется, что она имеет на это право, потому что очень требовательна к себе самой.

Когда заболела Женя Лапшина, Ася несколько ночей сидела у ее постели, а ведь они не так уж дружат. Вообще она очень хороший товарищ. Целую неделю она потратила на перепечатывание программ к зимней сессии для всей группы. И еще меня поражает в ней какое-то необыкновенно развитое чувство ответственности. За что бы она ни взялась — за стенгазету или культмассовый сектор, это дело сейчас же становится самым важным не только для нее, но и для всех окружающих. Например,

во всех группах проводятся культпоходы, то есть в выходной день пять человек из общежития идут на новую картину. Мы же под бдительным руководством Аси каждое воскресенье мечемся, как иступленные, по музеям и театрам Ленинграда, и кто знает, до чего бы это дошло, если бы Серегин не поставил вопрос о том, что наш культурный рост начинает отрицательно сказываться на успеваемости.

Наши девицы полусхотят, полусерьезно говорят, что Ася близка к идеалу.

17 декабря.

Ася меня просто удивила. На общем комсомольском собрании, когда Димку принимали в комсомол, она вдруг обрушилась на него: привела цитату насчет смычка и месткома, причем даже не упомянула, что эти слова принадлежат не ему, а его отцу. Между прочим она сделала выпад и в мою сторону:

— Сазонов, его друг, который оценивает это как невинную шутку, оказывает Диме Якушеву плохую услугу. А я убеждена, что подобный факт — не что иное, как пренебрежительное отношение к общественным обязанностям. А может ли считаться настоящим комсомольцем тот, кто смотрит на общественную работу как на что-то второстепенное? Нет, не может.

В аудитории поднялся шум. Все ребята знают, сколько сил отдает Димка духовому оркестру. Серегин взял слово, сказал об этом и добавил, что духовой оркестр неплохо поработал на участке во время избирательной кампании.

Женя Лапшина сначала подавала какие-то реплики с места, а когда ее заставили высказаться организованно, заявила, что Ася вообще любит наклеивать на всех ярлыки: антиобщественный, индивидуалист и т. д. И что она всегда поднимает пустяки на такую принципиальную высоту, что в конце концов все забывают, с чего дело началось.

Мне кажется, что в ее словах есть доля истины.

Димку, конечно, приняли.

22 декабря.

Наконец-то я увидел знаменитую Екатерину Михайловну, старшую пионервожатую школы, где училась Ася. (Об этой Е. М. она прожужжала мне все уши.)

Ася познакомила нас.

Е. М. тряхнула мою руку и продолжала разговор о каких-то пионервожатых. Насколько я понял, все, кроме нее, делали не то, что нужно, и не так, как нужно, и она была вынуждена кому-то что-то сказать прямо в глаза, о чем-то поставить вопрос в райкоме и о ком-то что-то куда-то написать.

Она говорила категорическим тоном и все размахивала своей бледной ладошкой. Только тут я понял, откуда у Аси ее категорический тон и привычка вздергивать голову. Точно так же держала голову Е. М., но у нее это производило почему-то странное впечатление. Маленькое личико ее казалось полудетским, полустарческим.

Как только Е. М. ушла (в дверях она еще долго махала ладошкой), Ася сразу же спросила:

— Ну как, она тебе понравилась?

— Ничего, — лойяльно сказал я. — Только она кричит и машет руками. Почему ты не сделала ей замечания? Меня же ты ругаешь за это. Несправедливо!

— Оставь свои шуточки! — разозлилась Ася. — Так все можно вышутить. Так и жизнь прошутить.

— Нет, правда. Ее послушаешь — выходит, кроме нее, все подлецы и негодяи.

— Ничего ты не понимаешь в людях. Это необыкновенно чистый, высокопринципальный человек.

— И поэтому она считает себя обязанной бичевать и обличать всех окружающих?

Ася посмотрела на меня так, будто на ее глазах я вдруг превратился в осьминога.

— Да! Если надо — бичевать и обличать. Мало у нас пережитков капитализма, мало родимых пятен? А ты призываешь к благодущию и всепрощению. Философия соглашателя!

Тут и я разозлился:

— Пережитков не уничтожишь приказами да наказаниями. Не бичевать надо, а воспитывать. Уважать надо людей, считаться с их человеческим достоинством! Как про Ленина говорил Маяковский? «Он к друзьям милел людскою лаской, он к врагам вставал железа тверже». Надо различать врагов и друзей, даже если эти друзья в чем-то и ошибаются!

— Это Женька тебе друг? Такую, пожалуй, воспитаешь...

В последнее время, после того как Женя выступила против нее на собрании, Ася здорово невзлюбила ее и теперь пользуется всяким удобным случаем, чтобы на нее напасть.

Она стала кричать, что Женька индивидуалистка, эгоистка и все прочее. А по-моему, у Жени просто очень индивидуальные вкусы: то она ко всем пристаёт со стихами Пастернака, то носится с какой-то гениальной актрисой из театра Комедии, то вдруг начнет досконально изучать философию древних греков. Но ничего порочного в этом я не нахожу.

Я постарался объяснить все это Асе и высказал ей мысль, которая и теперь, при зрелом размышлении, кажется мне верной: коммунизм тем и отличается от капитализма, что как высшую ценность оберегает человеческое достоинство, культивирует в человеке уважение к себе и другим.

Но она, боюсь, меня не слышала, потому что все продолжала ругать Женьку.

К счастью, вернулась Мария, и мы, чтобы не ругаться при ней, оделись и вышли на улицу.

Здесь была такая снежная тишина, что мне сразу расхотелось спорить. Ася шла рядом, притихшая, грустная, и показалась мне совсем девчонкой, школьницей. Она все в жизни еще разделяет на белое и черное, она может либо восхищаться, либо ненавидеть — так она восхищается своей Е. М. и ненавидит Женю, а завтра заметит какой-нибудь недостаток у Е. М., разочаруется в ней и будет восхищаться кем-нибудь другим. Она просто еще не в силах понять диалектическую сложность явлений. А так — она ведь очень хорошая.

«Наши недостатки суть продолжения наших достоинств», — такова диалектика. Как это правильно!

Я взял ее под руку. Она послушно придвинулась и потерлась белой шапочкой о мое плечо. Вот так, молча, я бы шел с ней и шел.

Сессия.

Погас последний луч надежды,
И лик грядущего суров.
Стоит беспомощный невежда
Перед толпой профессоров.

Сессия. Я занимаюсь с Асей. У нее такая память, что, прочитав страницу, она может повторить ее почти слово

в слово. А еще говорят: «Девичья память!» И вообще она жутко способная. Иногда это даже задевает мое мужское самолюбие.

Февраль. В самый мороз.

«Но в жизни все кончается, ведь есть всему конец», — как поется в детской песенке. Кончилась сессия, в свое время кончатся и каникулы. А пока — лыжные вылазки, кино, каток, театр, — тут кто угодно рухнет замертво. Ночью, покидая студенческий бал, я возвращаюсь домой, как графиня в «Пиковой даме», трупом. Снимаю парик, вынимаю челюсти, отвинчиваю ногу. Долой маску веселья и непринужденности! Поистине: светская жизнь — путь к могиле.

4 февраля.

Сегодня я оказался невольным свидетелем весьма неприятной семейной сцены.

Я пришел к Асе. В ожидании телепередачи мы сидели на диване и разговаривали о Маяковском. (Она говорит, что любит его, а сама, оказывается, знает только то, что проходили в школе. Не читала даже «Про это!»)

Вдруг она сказала:

— Скоро опять этот Петр Петрович заявится.

Меня удивил ее тон. Мне лично Петр Петрович нравится: крупный инженер и в то же время такой тихий, стеснительный. Мне это импонирует, наверно, потому, что сам я невоздержан на язык.

— Знаешь, зачем он к нам шляется каждый день? — спросила Ася. — К Марии сватается.

— Ну и что? Хороший человек.

— Ненавижу эти слова! Хороший человек, приличная партия!

— Я не говорил «приличная партия».

— Все равно. Никакой любви между ними нет и не может быть. У него дочка уже в пятом классе учится.

— Не знаю. Мне всегда казалось, что у Марии есть к нему какое-то чувство. Заметь, как она себя ведет при нем.

— Думаешь, это она из-за него? Это она меня стесняется. Потому что знает, как я ко всему этому отношусь. У нее во время войны, знаешь, какая любовь была!

Виктор был такой, Нечаев. Я его до сих пор помню, а была маленькая. На фронте погиб. Она с того времени ни на кого не смотрела. А теперь я ее просто не узнаю. «Тридцать лет — ни семьи, ни детей», — представляешь, рассуждение! В общем замуж захотелось. А я считаю: чем так, лучше никак.

Когда пришел Петр Петрович, Ася, не глядя на него, уселась на диван и вздернула голову с таким презрительным видом, что бедняга растерялся. Он вынул из кармана плитку шоколада и положил на диван.

Не поворачивая головы, Ася сказала:

— Благодарю вас. Я не ребенок. Можете отдать шоколад своей дочке.

— Почему вы такая сердитая? — улыбнулся Петр Петрович и покосился на меня.

— Так, — пожала плечами Ася.

— Нет, правда, Ася. Я вижу, за что-то вы меня невзлюбили. Не знаю, что я вам такого сделал.

— А то, что мне стыдно за вас! — вскинулась вдруг Ася. — Пожилой уже человек, коммунист к тому же, а ведете себя как какой-нибудь персонаж из пьесы Островского. Неужели вы не видите, что никакого чувства к вам у нее нет?! Брак по расчету, фу!

Несчастный как стоял, так и сел на диван.

— Сознаюсь, вы осветили вопрос с неожиданной для меня стороны, — пробормотал он. — Я, признаться, не думал в такой плоскости... Разумеется, если нет чувства, какой может быть разговор. Это было бы мучительно для обоих...

Продолжая бормотать, он надел шапку, потом пальто и, не попрощавшись, ушел.

Ася немного растерялась, но сказала:

— Ничего, все к лучшему.

Однако настроения у нас обоих основательно испортилось.

Скоро пришла Мария.

— Петр Петрович не приходил? — сразу спросила она.

— Приходил.

— Где же он?

— Посидел и ушел.

— Как ушел?

— Не знаю, — покраснела Ася.

— Почему ушел? Что у вас здесь произошло, говори!

— Ничего особенного. Просто я ему сказала все, что думаю и что ты сама прекрасно знаешь.

— Что я знаю? Как ты смеешь вмешиваться в мою жизнь?

— А вот и смею! Думаешь, я не слышала, как ты папе говорила: «Хороший человек, хороший человек»... А когда отец прямо поставил вопрос: «Любишь его?» — ты что ответила? «Кажется, люблю». Кажется! Когда любишь, милая, тогда не кажется! Разве это любовь?

Мария крикнула:

— Господи, да что ты понимаешь в любви! Цифра!

Она стала надевать пальто, но тут же сняла его, заплакала и легла на кровать лицом в подушку.

У меня был, очевидно, бледный вид, потому что Ася сказала:

— Ты-то что испугался? Не обращай внимания.

Но мне расхотелось смотреть телевизор. Я протиснулся и убрался восвояси.

На душе у меня, должен сознаться, прескверно. Какая она грубая, злая! Не говорю — с Петром Петровичем, — с сестрой! Мне стыдно за нее перед Марией. Со стороны судить, конечно, трудно, но мне кажется, что у Марии и Петра Петровича такие отношения, когда люди уже нужны друг другу, но боятся еще назвать свои чувства. У каждого из них, возможно, были в жизни ошибки, и поэтому они осторожнее, чем, например, мы. Было и счастье, на которое они невольно оглядываются. И вот Ася взяла и грубо вмешалась в эти отношения, представив их в таком свете, что теперь едва ли можно что-нибудь исправить. А разве Мария и Петр Петрович не разобрались бы в своих чувствах сами, без нее?

Нет, все-таки у Аси деспотический характер. Она почему-то хочет, чтобы вокруг нее жили по канонам, которые она считает непреложными. А ведь жизнь-то, оказывается, гораздо сложнее. И сейчас, когда Ася преисполнена чувством собственной правоты, может быть, в действительности она лишила счастья свою сестру.

Сколько вреда она может принести людям — невольно, не желая этого! Не могу забыть, как Мария плакала.

10 февраля.

Мне трудно с Асей. Тяжело ее видеть. Она позвала меня решать задачи по анализу. Я наврал, что уже решил. По-моему, она догадалась.

14 февраля.

Она теперь тоже избегает меня. Наверно, ждет объяснений с моей стороны. А я не могу решиться, потому что знаю: мои слова ее не убедят, а только оттолкнут. Может быть, навсегда. Наверно, это малодушие. Ася на моем месте безусловно нашла бы в себе мужество сказать все прямо в глаза. Что же, значит, она лучше меня.

Такое ощущение, что мир обезлюдел и я остался один. Тоска.

21 февраля.

Сегодня на комсомольском собрании, когда выбирали делегатов на конференцию, Ася выступила с большой речью по моему адресу. Она обвинила меня в безответственности и благодушии. Спрашиваю себя: неужели эти обвинения справедливы? Нет! Не может быть! И в том, что я говорил тогда Асе, никакой беспринципности не было. В этом я уверен.

Не знаю, действительно она не поняла меня или сознательно передернула? Скорей всего она говорила искренне. Я заметил — когда у Аси с кем-нибудь портятся отношения, она обрушивает на этого человека всю свою принципиальность, такую подведет политическую базу, что держись! Так было с Женей, так теперь и со мной. И все это с жаром, с каким-то даже вдохновением. В этот момент голос у нее начинает звенеть, глаза становятся оловянными и с фанатической неподвижностью устремляются вдаль. При этом она и сама не замечает, что принципиальность-то ее уже стала неприципиальная, потому что в сущности она служит сведения личным счетам.

Интереснее всего то, что через два часа после собрания, когда я отправился за хлебом, Ася пришла ко мне домой.

Мама открыла мне и сказала:

— У тебя Ася.

Видеть ее после всего, что произошло, я не мог и сказал об этом маме. Она стала меня уговаривать, но

я ушел на кухню. И тут же я услышал, как хлопнула дверь. Ася ушла.

Зачем она приходила?

Впрочем, теперь это неважно. Все равно между нами все кончено.

26 февраля.

Только что по радио передавали Пятую симфонию Чайковского. Когда я слушаю хорошую музыку, то вдруг вспоминаю, что живу на той самой земле, где жили Галилей, Пушкин, Ленин. Хочется куда-то идти, кому-то помочь, совершить какой-нибудь поступок, который люди могли бы вспомнить с уважением.

Перечитываю «Два капитана» Каверина. Здорово старик пишет!

3 марта. Переменная облачность, без осадков.

Вчера была лыжная вылазка в Кавголово.

Природа! Трудно описать чернилами.

Как натура эмоциональная, я полетел с трамплина, ушиб колено. Кроме того, простудился, заполучил ячмень. Теперь хромаю и мигаю.

Ася была в белом свитере и красной шапочке с помпоном. Она скатилась мимо меня с горы. Щеки у нее горели, маленький нос казался ослепительно белым. А рот, и глаза сердитые, и светлая челка вся в инее...

Если бы я мог не думать о ней!»

Ася скатилась с горы и оглянулась. Черный Лешин свитер мелькал наверху между стволами сосен. Леша взлетел с трамплина и упал, распутив за собой хвост снежной пыли.

Ася оттолкнулась и пошла к лесу по проложенной кем-то удобной глубокой лыжне. Снег, тронутый следами лыжных палок, бежал ей навстречу. Идти было легко и весело.

До Лешин теперь ей нет никакого дела. Жалкий человек... Она умеет подавлять в себе ненужные чувства и гордится этим. А после ссоры с Лешей характер у нее стал еще тверже.



Леонид Волюнский

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

1

Двадцать четвертого марта закончились государственные экзамены, а потом все сделалось как-то очень быстро, и уже через неделю Геннадий Петрович Бычков, — Бычок, как называли его в институте, — ехал с назначением в Шубаркульскую МТС.

На полустанке Яманкино, где ему полагалось сойти, стоянка была всего две минуты. Он спрыгнул прямо в снег, держа новый коричневый чемодан в руке, и смотрел на мелькающие мимо зеленые лаковые вагоны скорого поезда — по ту сторону насыпи его должна была ждать машина или же лошадь.

Но там ничего такого не оказалось. Прямо перед ним расстилалась пустая белая степь. Правее, у маленького, крытого шифером домика, стоял железнодорожник в овчинном полушубке, со свернутым желтым флажком в руке. Простуженным басом лаяла собака. Доносилось затихающее шелканье поезда на стыках.

Геннадий Петрович прошел направо, шагая по шпалам, и спустился против домика. Железнодорожник все еще стоял, с любопытством разглядывая его. Хриплый лай сделался злее, и из-за угла домика, натягивая свистящую цепь, вырвался огромный песочно-серый пес, похожий на волка. Геннадий Петрович остановился и шагнул назад.

— Цыц, Тюльпан! — крикнул железнодорожник.

— Здесь с МТС должны были машину прислать, — громко сказал Геннадий Петрович.

Железнодорожник пожал плечами.

— Нет, — сказал он. — Не знаю... Не было никакой машины.

— Хм! — сказал Геннадий Петрович. — Странно.

— Что? — переспросил железнодорожник. — А ну, цыц, проклятый! Пошел!

Он замахнулся флажком. Собака, урча и лязгая цепью, убежала за домик.

— От вас нельзя туда позвонить? — спросил Геннадий Петрович.

— Нет, — сказал железнодорожник. — У нас селектор.

— А сколько километров будет до МТС?

— Считается двенадцать, — сказал железнодорожник.

Геннадий Петрович взвесил в руке чемодан.

— На целину приехали?

Бычков утвердительно кивнул.

— Тут много комсомольцев прибыло, — сказал железнодорожник, — только они не здесь сходили, а в Кучукпае. Здесь стоянка маленькая.

— Мне говорили, отсюда ближе.

— Да, ближе. Кому пешком, те всегда здесь сходят.

— Может, поездом ошиблись, к другому пришлют?..

— Что? — переспросил железнодорожник. — А-а, нет... — Он улыбнулся. — У нас нельзя ошибиться. У нас ведь пассажирский через сутки ходит. Один поезд, — пояснил он. — У нас как и дни считаются: сегодня поездной, завтра нет...

— Да, верно, — согласился Геннадий Петрович. — Ждать нечего. А как туда пройти?

— На МТС? А тут дорога одна, не собьетесь, — сказал железнодорожник. — Вот так пойдете, — указал он флажком, — а за тем колком, за рощицей той, одним словом, увидите поселок...

Геннадий Петрович посмотрел. Далеко в поблескивающей под солнцем, ровной, как стол, степи, — казалось, у самого горизонта, — одиноким дымчатым островком стояла рощица. Он перехватил чемодан — из правой руки в левую.

— А вы его на ремень и через плечо, — посоветовал железнодорожник. — Способнее будет.

— Нет, ничего, — сказал он.

— А то, может, веревки кусок найти?

— Нет, нет, спасибо...

Он сказал железнодорожнику «до свидания» и пошел, не оглядываясь, по неширокой степной дороге. Собака полаяла ему вслед и затихла, и теперь только снег — слабо, чуть слышно — поскрипывал под ногами. Чемодан оттягивал руку, он перехватил его раз, затем другой и пожалел, что не взял у железнодорожника веревку: тоже, самолюбие...

«А все-таки свинство, — подумал он, — могли бы и встретить...»

Он остановился, поставил чемодан, достал из кармана папиросы. Солнце, перевалившее за полдень, пригревало совсем по-весеннему, но снег, утыканный рыжеватыми былинками ковыля, лежал, как литой, сверкая морозными искорками.

Геннадий Петрович сдвинул на затылок ушанку, осторожно присел на край чемодана. Полустанок уже едва виднелся, а до рожицы было все еще далеко. Он покурил, щурясь от сплошной, режущей глаз белизны, посмотрел на теряющийся вдаль — белый на белом — гребень железнодорожной насыпи.

Тишина была такая, будто все вокруг сговорилось и затихло, чтобы яснее показать ему границу между прежней жизнью и тем, что ждало его впереди.

— Ну что ж, — громко сказал он и прислушался, — посмотрим...

Покачав головой, он поднялся и, расстегнув пальто, снял поясной ремень. Усмехнулся при мысли о том, что сказали бы ребята, увидев его сейчас. Взвалил чемодан на плечо. Так было действительно легче. И пошел, наклонившись вперед, крепко сжав руками ремень, согреваясь от ходьбы, слизывая языком соленые капельки с верхней губы.

2

До МТС он добрался в четвертом часу. На крыльце и в полутемном коридоре конторы толпились ребята, — видно, приезжие: он услышал, как кто-то сзади сказал: «Нашего полку прибывает...» Директора на месте не оказалось. Секретарша, некрасивая, веснушчатая, в резино-

вых сапогах и оренбургском платке, увидев его, всплеснула руками.

— А за вами на Кучукпай лошадь послали. Ну и путаники у нас!

Она засуетилась, выбежала из-за своей грубо сколоченной загородки, отперла дверь в кабинет.

— Отдыхайте, пока что, — сказала она. — Устали, должно быть? Раздевайтесь, у нас тепло...

«Вот ведь меняет улыбка человека», — подумал Геннадий Петрович.

— Спасибо, — сказал он, — ничего.

В кабинете он сразу уселся на бугристый диван, зазвеневший под ним всеми пружинами, вытянул ноги; только теперь он почувствовал, как они гудят. Достав из кармана папиросы, поискал глазами пепельницу. У стола на некрашеном полу валялись раздавленный ногой окурок и несколько обгорелых спичек. Он закурил, поставив на валик дивана приоткрытую спичечную коробку. «Грязновато живут», — подумал он, глядя на пыльные, давно не беленные стены, на стол, заваленный бумажками, покрытый чернильными пятнами.

В дверь постучались.

— Войдите, — сказал он и обернулся.

На пороге стоял Сенька Яшин.

Секунду Геннадий Петрович смотрел, не понимая. В техникуме это был гладкощекий, смешливый парень с упрямо торчащей густой щеткой рыжеватых волос. А у двери стоял полный, лысоватый человек с жиденькими усиками на верхней губе. И все же это был именно Сенька Яшин, Сенька, Сенечка, и Геннадий Петрович бросился ему навстречу.

Они обнялись, поцеловались и похлопали друг друга по спине.

— Ты что же тут делаешь, бродяга? — спросил Геннадий Петрович.

— До твоего приезда был главным агрономом, — сказал Сенечка, улыбаясь и сжимая руку Геннадия Петровича своими влажными ладонями.

— Так-так... — растерянно сказал Геннадий Петрович.

«Вот это да!» — подумал он. В облсельхозуправлении он слышал фамилию «Яшин», но как-то не обратил внимания — не до того было. Сенечка смотрел ему в глаза внимательно и ласково и все еще держал руку.

— А ты ничуть не изменился,— сказал он.— Такой же, как был.

— Ну, что ты! — сказал Геннадий Петрович. — Мы сколько не виделись?

— Восемь лет, брат, восемь лет... — Сенечка наконец отпустил его руку и провел ладонью по голове, приглаживая набок редкие волосы. — Да ты садись, брат, я слышал, ты пешком шел. У нас тут разве встретят!

Они уселись на диван.

— Курить будешь? — спросил Геннадий Петрович.

— Спасибо, не курю.

— А мне помнится — курил.

— Баловался, — сказал Сенечка. — Ты где институт кончал?

— В Чкалове.

— Давно?

— Да вот прямо с корабля...

— Понятно,— сказал Сенечка.— А я, брат, на среднем застрял.

— Да... — проговорил Геннадий Петрович. — Вот уж никак не думал, что встречу тебя здесь.

— А ведь я знал, что ты приедешь, — сказал Сенечка, — директор вчера сообщил. Готовьтесь, мол, Семен Иваныч, сдавать дела... Я, конечно, поинтересовался: кто, что? Говорит: «Некий Бычков Геннадий Петрович».

Он расхохотался, обнял Геннадия одной рукой за плечи и неожиданно умолк, будто споткнулся.

— Нет, ты молодец, — тихо сказал он. — Я в тебя всегда верил. Давай-ка закурю ради встречи...

Он взял папиросу и, глядя на кончик ее, закурил, неловко и часто выпуская дым. Геннадий Петрович посмотрел искоса на его оплывшее лицо с преждевременными морщинками и черными точками угрей: вот ведь облинял, — болен, что ли? И притворствует, должно быть, по старой дружбе или из самолюбия. Делает вид, что ничего не случилось...

— Ты, Генка, не думай, — все так же тихо сказал Сенечка, словно бы услышал мысли Геннадия Петровича. — Я ведь по-настоящему рад, что ты приехал...

Он, не докурив, бросил папиросу и тщательно придавил ее носком сапога.

— Женат? — спросил он, подняв голову, и улыбнулся.

— Женат, — улыбнулся в ответ Геннадий Петрович, испытывая сильное облегчение от перемены темы. Он достал из нагрудного кармана бумажник, вытащил фотографию.

— Ого! — сказал Сенечка. — Славная. А где она у тебя?

— В Чкалове, на один курс отстала, — сказал Геннадий Петрович.

Сенечка задумчиво посмотрел на фотографию, вздохнул.

— Эх, Генка, Генка, — сказал он, — давно ли мы с тобой за девчонками бегали, а у меня уже своих двое, старшей седьмой год... А помнишь, как ты за Ленкой Зубаревой ударял, все хвастал, что летчиком станешь?

— А как же! — улыбнулся Геннадий Петрович. — В войну от девушек летчикам особое предпочтение было.

— Да-а... — протянул Сенечка. — Вот так-то. Рвались в небо, а жизнь к земле привязала...

Геннадий Петрович напряженно улыбнулся и потянулся за карточкой.

— Сюда возьмешь? — спросил Сенечка.

— Сама придет, — нахмурился Геннадий Петрович, пряча фотографию в бумажник. — Она у меня по овощам специализируется. У вас тут как с этим делом?

— Узнаешь, — усмехнулся Сенечка, — не торопись. Сегодня ты еще вроде гость, вот только привечаем мы тебя плохо. Хозяева, видишь, разъехались. Директора в район вызвали, а секретарь по зоне из колхозов не вылезает. Так что со сдачей-приемкой придется до завтра потерпеть.

Он снова обнял Геннадия Петровича за плечи и ласково прижал к себе.

— Потерпим, — сказал Геннадий Петрович. — А как тут насчет ночлега?

— Ну, это пустяки, — сказал Сенечка. — У меня переночуешь.

— Удобно ли?

— Какие могут быть разговоры! Тем более квартира казенная, для главного агронома предназначена, имеешь полное право... — Он громко рассмеялся, заглянул Геннадию Петровичу в глаза. — Это я шучу, конечно... Ну, ты посиди здесь, отдыхай, я скоро освобожусь.

Он взглянул на часы и вышел. Геннадий Петрович посмотрел ему вслед с тягостным чувством. Надо же было, чтобы все началось именно так...

Он вздохнул, покачал головой, прошелся по кабинету. Комната была угловая, в четыре окна. Два из них были обращены в пустую белую стену, и, глядя в них, казалось, что уголок этот навеки забыт и затерян.

А в другие два окна виднелся кусок машинно-тракторной мастерской и забор, над которым торчали хоботы и мостики комбайнов и поднятые грабли сенокосилок. Ровно и глухо постукивал движок. Вероятно, он работал и раньше, но почему-то Геннадий Петрович только теперь услышал этот звук, спокойный, как биение сердца.

Он прислушался, сел на диван, закурил. Ноги все еще гудели, он протянул их вперед, откинулся на спинку, прикрыл глаза. Движок постукивал все так же ровно, отсчитывая секунды. Геннадий Петрович увидел себя идущим по бескрайней белой степи, и его охватило чувство тоски и одиночества. Не было вокруг ничего, только степь и далекое, ровное биение сердца, и надо было скорее прийти туда, где оно бьется. И он шел, шел, шел, а оно билось все так же ровно, не приближаясь. Вдруг подул теплый ветерок, и запахло весной, и степь далеко впереди заколосилась, а голос профессора Уварова сказал: «Вам, молодой человек, просто-таки повезло, в ваши годы я о таком и мечтать не смел...» А степь колебалась под ветерком, как живая, и не было больше одиночества, а была какая-то полнота и легкость, и хотелось идти вперед и вперед, и обнимать руками колючие высокие, спелые колосья, и скорее прийти туда, где билось живое сердце, а Сенька Яшин сказал: «Успеешь. Не торопись».

Он прибавил шагу, чтобы уйти от этого голоса, но не мог. Сенька остановил его, взял за плечо и сказал:

— Просыпайся, брат...

И он проснулся. Сенечка, в мешковатом пальто и лохматой волчьей ушанке, стоял над ним, улыбаясь. Окна были синие, а под потолком горела неярким светом пыльная электрическая лампочка. Все так же ровно и глухо постукивал движок.

— Не хотелось тебя будить, — сказал Сенечка. — Тебе, видно, сладкое снилось. Ну, пойдем, брат, пора.

— Знакомься, Валя, — сказал Сенечка, и Геннадий Петрович, пожимая маленькую ладонь, подумал, что эта женщина, конечно, знает, кто он и для чего приехал. И то, что он сверх всего еще явился сюда ночевать, показалось ему до крайности неуместным.

Но так или иначе — она не подавала никакого вида. Застенчиво поправила растрепавшиеся волосы, улыбнулась, сказала: «Извините, у нас беспорядок», — подвинула ему стул, на ходу смахнув с сиденья какую-то соринку.

Из соседней комнаты вышли две девочки, похожие на мать — беленькие, голубоглазые и тоже растрепанные. Младшая увидела его, спряталась за старшую и никак не хотела знакомиться, а Сенечка говорил: «Ну, дай дяде ручку», — и незаметно утер ей пальцами нос.

В квартире было жарко и пахло квашеной капустой, и было много каких-то салфеточек и подушечек, а над диваном висела японка с зонтиком и с лицом из чулка и фотография в облупленной рамке из толченой ракушки: Сенька в тесном крахмальном воротничке, с упрямо торчащим ежиком и значком «ГТО» на пиджаке.

Валя похлопотала у печи, накрыла стол белой скатертью и поставила две дымящиеся тарелки и большую сковороду с глазуньей, а Сенечка вытащил откуда-то бутылку.

— Ради встречи, — сказал он и подмигнул.

— И нам щец, — сказала младшая девочка.

— Ух, обезьяны, спать вам пора, — сказала Валя, но все же поставила и для них одну тарелку. — Кушайте, — улыбнулась она, — пожалуйста... — и подвинула стул для Геннадия Петровича.

Сенечка разлил водку в граненые стаканы.

— А вы? — спросил Геннадий Петрович.

— Кушайте, кушайте! — повторила Валя и покраснела. — Я водки не пью.

— Ну, за встречу... — Сенечка поднял стакан. — И за твои успехи.

— Давай за хозяйку выпьем, — сказал Геннадий Петрович.

— Это своим порядком, — сказал Сенечка. Он чокнулся и выпил, медленно запрокидывая голову, пристально глядя внутрь стакана.

— Кушайте, пожалуйста, — сказала Валя. — Не нравятся вам, видно, наши щи?

— Нет, почему, — сказал Геннадий Петрович. Щи были действительно очень невкусные.

— Не из чего готовить. Щи да щи. Беда у нас с овощами, ни свеклы, ни томата.

— Это почему же?

— Не знаю, — улыбнулась Валя. — Это вы у него спросите.

Сенечка поморщился, потянулся за бутылкой.

— Мне кажется, здесь овощи должны великолепно родиться, — сказал Геннадий Петрович.

— Мне, брат, тоже многое казалось... — Сенечка усмехнулся и поднял стакан. — Давай-ка лучше выпьем, товарищ главный агроном...

Выпили по второй и по третьей. Сенечка заметно охмелел. Он посадил к себе на колени девочек, бодал их лбом, смеялся, потом вдруг умолк, помрачнел, сказал:

— Марш спать, пигалицы!

Девочки молча сползли с колен и ушли в другую комнату. Он снял со стены гитару, потрогал струны.

— А помнишь, Генка?..

Снова замерло все до рассвета.

Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь...

И Геннадий Петрович вспомнил последнюю техникумовскую практику, село над Волгой, ночи под теплыми звездами, запах сена, гармонь... В мае закончилась война, и сколько было планов...

— Вот так-то, — сказал Сенечка и притушил ладонью гитару. — Попрошусь теперь в самый маленький колхоз — возьмете, товарищ главный агроном?

— Как тебе не стыдно! — сказал Геннадий Петрович.

— Нет, ты не думай, — сказал Сенечка, — я ведь на тебя не в обиде. Я не из честолюбивых, за многим не гонюсь. Потихоньку будем жить, верно, Валюша?

Она ничего не ответила, — сидела, опустив глаза, катая пальцем хлебную крошку по скатерти.

Геннадий Петрович посмотрел на Сенечку, и ему вдруг до боли захотелось крикнуть: «Да что же ты с собой сделал?» Но вместо этого он сказал:

— А может, в заочный пойдешь? С небольшим колхозом вполне совместить можно.

— Я вижу, ты меня жалеешь, — усмехнулся Сенечка. Он встал, потянулся, повесил гитару на гвоздик. — Стели, Валюша, человеку отдохнуть надо...

Она вздохнула, поднялась, постлала Геннадию Петровичу на диване, сняла с кровати покрывало.

Лампочка, висевшая над столом под бумажным оранжевым абажуром, вдруг потускнела, померкла и через полминуты вновь накалилась и снова померкла.

— Начинается, — сказал Сенечка. — Это на МТМ варят. Как сварку включают, сразу напряжение садится. Теперь так и будет все время подмигивать.

— В три смены работают, что ли? — спросил Геннадий Петрович.

— С ремонтом запарка. Каждый год одно и то же. Вот, видишь...

Лампочка почти совсем угасла, только красноватая дрожащая нить едва теплилась под абажуром в сумраке.

— Каждый год одно и то же, — повторил Сенечка и зевнул. — Давай, брат, ложиться.

Валя вышла в другую комнату, и они разделись.

— Как думаешь, к началу пахоты управятся? — спросил Геннадий Петрович, натягивая одеяло.

— Кто его знает... — сказал Сенечка. Он прошел боком по комнате и шелкнул выключателем. — У нас с этим делом всегда запарка.

— Привыкли вы тут, видно, ко всему, — сказал Геннадий Петрович.

— Ничего не попишешь, — сказал в темноте Сенечка. — И ты, брат, привыкнешь.

Геннадий Петрович услышал, как под ним скрипнули пружины матраца.

4

Он нестерпимо долго лежал, глядя в темноту, и несколько раз считал до ста, закрыв глаза, и представлял себе медленно текущую воду, но уснуть никак не удавалось. Было душно под низким потолком, и постель пахла чем-то чужим, и неудобно было ногам на коротком диване. Хотелось курить. Он нашупал рукой одежду на стуле и осторожно оделся. Сенечка пошевелился во сне

и прерывисто вздохнул. Геннадий Петрович натянул сапоги, прошел на цыпочках в другую комнату и на ощупь нашел у двери свое пальто. В сенях встрепенулась и закудахтала курица, он зажег спичку, чтобы увидеть ключок, и вышел.

В детстве, на Волге, купаясь, он часто нырял на выдержку и из упрямства держался слишком долго под водой, а когда вырывался на поверхность, то никак не мог надышаться.

Так было и теперь. Он несколько раз глубоко вздохнул. В небе висели крупные колючие звезды, а степь за темными крышами была белая, как днем, и теперь особенно отчетливо виделось, как мал поселок и как бесконечно велика степь. Он закурил и прислушался: вдали все так же глухо и ровно постукивал движок.

Спустившись с крыльца, он обогнул угол дома, вышел на дорогу, постоял, задумавшись, сунув руки в карманы. Снег заскрипел под ногами сзади, и кто-то сказал: — Володя?

Он вздрогнул и обернулся. Невысокий паренек в ушанке с торчащим кверху ухом подходил к нему, вглядываясь.

— Ох, обознался... — проговорил он, подойдя поближе. — Не скажете время?

— Пять минут первого, — ответил Геннадий Петрович, осветив циферблат огоньком папиросы.

— Батюшки, опаздываю! — сказал паренек. Он торопливо порылся в карманах. — Прикурить разрешите?

В красноватом свете затыжки Геннадий Петрович увидел круглое, совсем детское лицо с длинными светлыми ресницами и носом-пуговкой.

— На смену? — спросил он.

— Ага, — сказал паренек. — Опаздываю, медведь его забодает...

Геннадий Петрович, еще сам не зная зачем, пошел рядом с ним.

— Я тут у деда одного на квартире, — сказал паренек, — так у него ходики недобитые какие-то, вместо гири — сковородка, представляете! — Он рассмеялся. — Вы ведь тоже приезжий, правда?

— Да, — ответил Геннадий Петрович.

— Давно здесь?

— Первый день.

— А я уже целый месяц...

— Тракторист?

— Ага... Пока что ремонтировать помогаем.


— Ну и как? Управитесь к посевной?

— Должны, — сказал паренек. Он помолчал немного и, шмыгнув носом, добавил: — Для того и приехали...

— Это верно, — сказал Геннадий Петрович.

Улыбнувшись, он оглянулся. Темный, спящий поселок остался позади. А впереди, далеко в темноте, светились неярким светом высокие окна машинно-тракторной мастерской, и крайнее слева настойчиво полыхало частыми голубыми вспышками.





Н. Грибачев

КУЗНИЦА

Кузница стояла на краю села. Дым из нее скатывался под кручу. Над омутами и плесами, где маялись с удочками ребятишки, плыл запах горелого железа, перекачивался звон молотков о наковальни. Двадцать три года беспрерывно, с небольшим перерывом на войну, проработал в кузнице Михайло Сидорович Кожевников. Он помнил кузницу в первые годы коллективизации: на новых, срубленных из толстых сосновых бревен стенах сквозь изначальный слой копоти просвечивало живое дерево; щегольскими сапогами поскрипывали мехи; блестела и посвечивала на солнце станина, на которой набивали шины и вгоняли втулки в колеса...

Теперь кузница почернела, обросла сажей, как дымовод, а темный высокий чуб кузнеца приплюснулся и посерел. Сила еще не ушла, но былой лихости в работе не стало, — кузнец часто задумывался, случалось, пережигал поковку, а иногда в перекур говорил заковыристо и темно:

— Вот, брат Гришка, стучим мы с тобой во все тяжкие, а дела — на рыблю ногу. Оттесняет нас жизнь на задний двор, чтоб нос не задирали...

Григорий Карпенко, двадцатилетний парень, работал у Кожевникова подручным. Послало его в кузницу правление колхоза в горячее время, когда тракторов после войны было еще маловато — пахали плугами на коровах, — послало, да так и оставило. Сам подручный был таким исходом дела доволен: работа интересная, зарабо-

ток устойчивый, а там еще и по мелочам от случайных заказов перепадало кое-что. Наметил уже он себе в невесты дочь кузнеца Татьяну, подумывал о постройке дома, а далеко впереди мерещился ему и день, когда он совсем сменит в кузнице Кожевникова. Податливый характером, он опасался спорить с кузнецом, но все-таки вставлял свое слово:

— Всякому свое... Какой ни есть наш труд, а все же индустриальный, при металле...

— Инду-устриа-альный! — усмехался кузнец. — Кто-нибудь турбину делает, а ты воп штырь на погребницу бабке Матренихе. Вот тебе и вся индустрия.

— Иголка тоже малая штука, а всех одевает...

— Так ее, иголку-то, как делают? Машиннами! — вразумлял кузнец. — Нам с тобой поручи ее делать — колхоз по миру нагишом пустим... Мелко ты пашешь, брат Гришка. Видать, одна Танька моя в голове засела, белый свет застит. А я вот подумаю, да еще не отдам!

— Теперь, Михайло Сидорович, сельсовет женит, а родители только на свадьбах «горько» кричат, — пытался отшучиваться подручный.

— Ну, ты! — осаживал кузнец. — У меня на этот случай свой сельсовет в голове имеется...

Вечером подручный сообщал дочери кузнеца:

— Опять намекал: не отдам, мол...

— А ты?

— Что я?

Танька вскидывала на Григория веселые черные глаза, по-мальчишески встряхивала головой.

— А ты, как теленок, мычал... Ладно, не проблема! Как сами решим, так и будет. Пошли на гулянку!..

В начале июня, когда схлынуло напряжение посевной, кузнец на попутной машине уехал за пятьдесят верст к куму. Собирался погостить с неделю, а заодно добыть гаек и болтов, но вернулся через четыре дня, раздраженный и ворчливый.

— Вот, брат Гришка, — сказал он, появившись в кузне, — знаешь, кто теперь я? Начальник ковочного предприятия...

— Оно так и есть, — согласился подручный. — Учитывая колхозный масштаб...

Кузнец покосился на подручного, но, не заметив иронии, досадливо сплюнул в угол, заваленный ржавыми

прутьями, поломанными и стертymi подковами и другой отслужившей век железной рухлядью.

— Шиш у нас с тобой, а не масштаб! — буркнул он. — Это ж кум меня так припечатал, черт рыжий! Болты в ребра ввинчивал, дыри на его спину... А ты — «ма-шта-аб»!.. Доярки есть Герои, огородницы есть, садоводы тоже, а кузнецов нету. А почему? Думай!..

Подручный хорошо знал характер кузнеца и сжился с ним. Худой, с черными впалыми глазами, кузнец взрывался без видимой причины. Брань его, однако, была коротка, как пулеметная очередь. Потом он или молча и с ожесточением работал, или выходил из кузницы, садился на станину и, посасывая трубку, смотрел за реку. Там тащили синие хвосты дождя проходящие тучи; в хорошую погоду светились протоки и озера. После сенокоса на лугу вправо и влево, на сколько хватал глаз, стояли стога, и прямо невозможно было представить, что такая прорва сена может быть пережевана. Но лучше всего было в разлив: тогда по всей четырехкилометровой пойме, затопив луга и кустарники, неслась с шумом вода и в ней целый день дробилось, ныряло, кувыркалось солнце...

После двух-трех перекуров кузнец возвращался умиротворенный, незлобиво поучал:

— Вот, брат Гришка, природа — это тебе сооружение... Бо-огато придумано! А мы, люди, чуть что — характер показываем, себя перед другими вперед выносим. Несоразмерно и неинтересно получается...

Случалось, что накатывала на кузнеца тоска. Обычно это происходило под конец работы. Тогда садился он на пороге кузни, складывал на груди натруженные руки, чуть покачиваясь, думал. Остывал горн, в раскрытую дверь затекал прохладный ветер с поля, позади кузни шептались старые деревья сада. В полевых даях, под самым заревом заката, возникала песня — сначала в один голос, потом к нему присоединялся еще один, а там уж и не разобрать, сколько; песня перекатывалась по холмам и ложбинам, неслась, улетала, звала невесть куда... Под ее переливы гасла красноватая гряда лесов, в омут ссыпались первые звезды и в каждое озерко на лугу впечатывалась подкова молодого месяца, словно во всю ширь земли скакал богатырский конь... Кузнец вздыхал, вешал на дверь двухфунтовый замок, грозился:

— Уйду я, Григорий, отсюда... Отстучу до весны — и поминай, как звали. Заправляй, брат, сам, а я к югу, на заводы, подамся, там, знаешь, какие молоты есть! Сила!.. Вот таким постучать, чтобы и меня земля почувствовала...

Но наступала осень, зима, новая весна, а Кожевников никуда не уходил. Кочевала только, как перелетная птица, душа его — отведет тоску, да и вернется...

В этот день перекуры не помогли, кузнец был зол. Вдобавок ко всему, выхватив из горна и описывая дугу через плечо, он уронил раскаленную скобу и обжег руку. Чертыхнувшись, швырнул под ноги клещи и прикрикнул на подручного:

— Шабаш! Клади молоток и убирайся отсюда... Совсем!

— Да разве я виноват? — оробел Григорий.

— Я и не виню... Просто ты мне на нервы действуешь своим видом.

— А какой у меня особенный вид?

— Деревянный... Ходишь около железа, а вид деревянный. Кругом все вперед устремляются, а ты, что карась, в тихую заводь устроился, ил носом копать... Не могу я этого видеть!

Уходя, бросил, не оборачиваясь:

— Вечером с батькой придешь...

Когда Григорий сообщил отцу о решении кузнеца, тот сразу закипел:

— Ишь, дьявол копченый, чего надумал! Так и знай, Гришка: это он на твой заработок зарится, все себе норовит гресть... Ну, я ему дам, я выскажусь! Ты мне зубы не показывай, зубы у нас тоже имеются... На старые порядочки потянуло, а?..

— При чем тут заработок? — удивился Григорий.

— Молчи!.. Деньги, они и святому голову скрутят... экономика, короче говоря, вот как. Она где ее ни копи — тут, как тут, а слов намолоть всяких можно, не дорого стоит... Вот и в нем, в Кожевникове, жадность закопошилась... А ты думал как?

Есть характеры, которые, как бутылочный квас в жаркий день, двадцать секунд гонят пену, а на двадцать первой выдыхаются. Таков был и Карпенко-старший. Отбушевав, он уже просительно советовал сыну:

— Ты бы, Григорий, того... ты бы с ним поуважи-

тельнее, а? Тебе бы потише с ним, поскольку зависишь. Пообещай: мол, за двоих стараться буду... А ты небось все характер показываешь!.. Пошли, что ли...

Покамест Карпенко-старший отыскивал дверь в темных сенях кузнеца, Татьяна дернула за рукав Григория.

— Выдь на минутку...

Григорий отстал и выбрался в садик.

— Ну? — грозно спросила Татьяна.

— Увольняет.

— Что же теперь?

— А я знаю?

— А ты знай... Тем более что я с тобой... За двоих и думай! А я ему не поддамся, я свое слово сказала...

В распахнутом окне появились голова и плечи кузнеца.

— Танька, отпусти Григория! Огурцов с погреба принеси!

Когда она вернулась, кузнец кивнул ей:

— Садись, слушай... Тебя тоже касается!

Разговор, однако, начался обыкновенно: о погоде, об уборке урожая. Выпили по рюмке, по другой. Карпенко-старший снова начал закипать:

— Чтой-то ты, Сидорович, петли вяжешь... Бери, что ли, быка за рога, если собираешься...

Кузнец помолчал, потом хлопнул ладонью по столу.

— А за рога — так за рога... Кончили мы с Гришкой канитель нашу, пускай уезжает.

— Ну, сморозил ты, Сидорович! — зло хохотнул Карпенко-старший. — Выпил мало, а сморозил... Да зачем ему уезжать? Ремесло знает, к работе привержен. А если не соображает чего, ты не стесняйся, ты ума ему вкладывай, это я одобряю...

— Не таракти, — обрезал кузнец. — Сказал — значит пусть уезжает. А если на то пошло, так и Таньку за подручного не отдам. Пусть и не вьется зря...

— Ну, прямо спектакль ты задаешь, Сидорович, — развел руками Карпенко-старший. — Сам кузнец, а профессией брезгаешь. Я вот при земле состою, так случается, что и обзову ее, когда настоящего урожая не дает, а все ж таки люблю и уважаю...

— Объясни-ка мне, Афанасьевич, на каком лыке в левом лапте пятку заламывать?

— Да при чем лапти? Чудеса!

— Скажи лучше — забыл... Давно не плел, то-то! В сапогах ходишь... А еще память шевельни — отыщется кое-что авось... Помнишь, шерстобиты у нас в селах были — текстильная промышленность на одной струне? Нету, брат, усопшая компания!.. Тоже швецы, шорники бродячие далекомько ушли что-то, не возвращаются!.. Жизнь вперед убежала. А я кто? Я — последний кузнец на селе. От кустарной профессии рост брал, может, разве звание останется, а овощ не тот будет... Что подделаешь? Время само показывает, что и к чему... Ну, а то лошади такие есть, с затинкой: погоняют ее — поневоле вперед двигается, а сама все же назад глазом косит, все норovit поперек дороги стать...

— Чудно говоришь, — обиделся Карпенко-старший. — Я тебе все же не лошадь, а сосед... И ты меня не уподобляй!..

— Постой-ка... Видишь? — кивнул кузнец на окно.

По селу время от времени проходили машины, свет фар полыхал по окнам и палисадникам. Их гудки, свет, шум стали частью вечерних сельских звуков, как и кваканье лягушек по весне, и скрип коростелей, и летний бой перепелки.

— Грузовики и больше ничего, — сказал Карпенко-старший.

— Правильно, грузовики... Техника! Так до нее от нашей кузницы — как до небес. Это тебе не самодельные гвозди ковать. Было такое время, а теперь, выходит, себе дороже. Я вот уже сколько лет над этим думаю! Ночами не спал, примеривался: двигаюсь или стою? Люди-то все вверх, все вверх забирают... А я? Раньше в кузне плуги сами целиком ковали, а о лемехах и отвалах и говорить нечего. Топоры, серпы делали... Ушло! Осталось нам колеса обувать, коней ковать, скобы делать. Нужная работа, а размах не тот... А недавно я к куму ездил. Язык у него, как щеколда, в любую сторону крутится, но голова не соломой набита... Посидели мы с ним, выпили, песни попели, — на эти дела он мастер! — а потом говорит: «Пойдем, Михайло, кузницу тебе покажу». — «У меня, говорю, своя есть, нечего мне в чужую сажу лезть». Смеется, черт рыжий: «Твоя кузня — пережиток, новую глянь... Пойдем!» Пошли. Приводит в машинно-тракторную мастерскую. К воротам аллея ведет, за деревьями электростанция пыхтит... Зашел я — за-

вод! Сами формуют детали, отливают, обтачивают, шлифуют. Станки в три ряда... Я полвека в кузне проработал, а что я могу? Гвоздь в кузов машины забить, а гайки без меня подкружат... Гляжу, старый глухарь, на мальчишку у станка — так он передо мной профессор! Плакать захотелось от обиды: прозевал, недодумал в срок, сам свой талант на веревочку посадил. А кум смеется: «Ничего, говорит, зато у тебя звону больше!» Разругался я с ним, с дьяволом рыжим, и домой. Приехал, глянул на свою кузню — дыра черная, а тут еще сын твой крутится... Мне бы его молодость да здоровье, так я чего не достиг бы, я бы из упряжи вперед рвался, а он удовольствовался, ум жиром обкладывает... Ну, и противно мне на него глядеть!

— Да-а! — обескураженно крикнул Карпенко-старший. — Это действительно... Думаешь, подомнет вас с этой кузницей?

— Оттеснит... Разлив, брат!

— Какой разлив?

— Половодье... Знаешь, как начинается? Тут снег подъело, там ручеек побежал, с другим слился. Глядь — в логу вода бурлит, закручивает... Пошла! Речка еще кряхтит, упирается, а ручьи несутся, кипят и — лед в куски, вода из берегов... Стоишь, дивишься, дух захватывает: летит могучая сила, сияет, под солнце катится, и все, что вокруг, — и кручи, и села, и облака, — все в ней отражается... И что ни захватит по дороге, все туда несет, под солнце. Иное бревнышко суковатое к берегу притрется, в заводи застоит, в ил всосется, вроде уж и пристроилось, ан нет — двинет его, зацепит другим бревном, волной подвернет, глядь, и уже оно по стрежню летит...

Кузнец помолчал, а потом сказал уже тише:

— Гришку на стрежень ставить надо... Пусть едет.

— Куда?

— Туда, в машинно-тракторную... Там и человек такой как раз нужен. Построят поближе где — сюда переведется, еще, может, и меня в подручные возьмет. Сам-го-то семья облепила, ногами в землю врос...

— Да ведь заработок не тот, — прикинул Карпенко-старший. — Учиться будет, так только что из дома не потащил бы, а в дом где уж...

— Не знаю, — сказал кузнец, — не думал. По мне,

если душе и рукам простора нет, так и любой кусок в горло не лезет. Едят не для того, чтоб есть,— для того, чтобы жить... Человек не корова, пожевал — и доволен...

— А как же я? — спросила Татьяна.

— Подождешь... Лето в колхозе поработаешь, а там видно будет.

— Кого на стрежень, а кого, как бревно суковатое, в тину? А любовь нашу куда девать? Под наковальню твою временно положить, что ли? Вместе со ржавыми болтами...

— Я в твои годы поменьше рассуждал, а вот спину не разгибал с утра до ночи...

— Может, и мне лапти плести поучиться? Мне тоже неинтересно картошку тяпкой полоть. Машины вон что ни день на село идут.

Кузнец озадаченно вскинул лохматые брови.

— Ты того... ты все же не очень! О тебе я думал — в техникум послать...

— А я не хочу учиться в техникуме,— сказала Татьяна.— И в городе жить не хочу. На машине в поле хочу работать! Солнце, птиц, рощи, травы люблю! Мне только еще приемник завести, по радио песни слушать,— больше и не надо ничего... Я с Гришкой поеду! — выкрикнула Татьяна и, чтобы не расплакаться, выбежала на улицу.

— Иди, Григорий, — приказал кузнец. — Ты ее этого... уговори. Это ты умеешь небось... Ишь, закрутил голову!

— Удивил ты меня, Сидорович, — сказал Карпенко-старший.— Ишь, как размахнулся!

— А это не я, Афанасьевич... Жизнь! А я что? Я удивляюсь...

— А как же все-таки с хлопцами быть?

— Рапо бы им жениться... Прежде как было? За соху стал — вот тебе и мужик, хозяин. А теперь сначала ума накопить надо, к профессии определиться... Только что с Танькой делать, не знаю. Им бы с Григорием характерами поменяться — генералом был бы!.. Разве к куму, что ли, съездить посоветоваться?..

Они вышли и простились на улице. Кузнец остался один. В травах высыпала обильная роса, с поля тянуло запахом хлебов и картофельной ботвы, над головой лился Млечный Путь. Две тени выскользнули из садика, пошли вдоль улицы, медленно растворяясь в звездном свете,

и Кожевников вдруг почувствовал острый приступ грусти, словно это уходила его собственная молодость, которую ни позвать, ни вернуть...

Через две недели кузнец снова работал в кузнице и во время перекура, задумчивый и тихий, говорил новому ученику-подручному — пареньку с задиристыми вихрами, кончившему семилетку:

— Вот стучим мы тут с тобой, брат Сашка, а потом ты от меня и уйдешь... Да еще и дочку уведешь, как Гришка. А? Уйдешь небось, пострел?

— Да куда мне уходить, дядя Михайла?

— Не знаешь, стало быть?

— Не знаю...

— И я не знаю... А все же соблазнишься ты, брат Сашка, вот что я тебе скажу. Может, у нас в колхозе гараж построят: две машины есть, а где две, там и третья заведется... А при гараже, долго-коротко, мастерскую оборудуют, станок какой-нибудь поставят, сварочный аппарат купят... Заня-ятное дело!

— А скоро, дядя Михайла?

— Ага, — торжествовал кузнец, — уже соблазняешься?

— Да я ничего, — смушался Сашка. — Просто интересно...

— То-то и оно, что интересно... И не знаешь ты, как тебя подденет за сердце, а уж что подденет, так это верно. Вот, брат Сашка, какие дела... да! Уйде-ешь!...

И непонятно было, горечь ли разлуки с дочерью, радость ли за паренька или просто удивление перед могучими велениями жизни вкладывал он в это полюбившееся ему слово:

— Уйде-е-ешь!..



Ю. Добряков

КРУЖЕВА

1

Чаще всего девушки собирались в пятистенной избе сестер Квашиных. Здесь было просторно, пахло молоком и какими-то травами. Вдоль стен, увешанных рушниками и семейными фотографиями, стояли тесовые лавки, обструганные до блеска дедом Федотом. Привлекали сюда девушек и сами сестры — Надежда и Ольга, — обе характера спокойного и мягкого, скупые на слова и доверчивые к людям, с утра гладко причесанные, розовые от ключевой воды.

Девушки, приходя, устраивались на лавке под окнами. Сестры всегда садились рядом — тихие, приветливые, похожие друг на друга и лицом, и платьем, и неторопливыми движениями сильных и ловких рук. Сидели они прямо, чтобы не болела спина и не портилась фигура; в свое время так же вот сидела и бабка Прасковья, сохранившая до сих пор девичью легкость в стане, но из-за слабости глаз кружева она уже не плела, а хлопотала в сенцах с самоваром, готовя мастерицам чай.

Сначала плели молча — так велось издревле. Лишь постукивали и пощелкивали коклюшки, будто бежала по камушкам незатейливая речка, перебирала камушки, считала, сколько их. Потом на тихой, басовитой ноте заводила песню черноглазая и чернокудрая Панка Малашкина; говорили, что отцом ее был пришлый цыган. Вторым голосом подхватывала маленькая длиннолицая Нюра Мещерякова, а за ней и другие девушки — кто высоким

и чистым выдохом, кто альтом, как Панка. Песни пели разные, но обязательно протяжные и спокойные, иначе не тот бы вышел узор. И головы от сколков не поднимали, будто не придавали ровно никакого значения песне, будто начиналась и кончалась она сама по себе, вовсе и не по их желанию.

Попозже бабка Прасковья обносила всех чаем. К чаепитию всегда попевал дед Федот. Садился в угол, прихлебывал, чмокая, дул на блюдце, охал, выпивал чашек пять, а потом забирался на печь и лежал уже там неподвижно. Девушки пили чай молча, с хрустом откусывали колотый сахар, который каждая приносила с собой завернутым в чистую тряпицу. После чая выходили в сенцы и долго мыли руки: упаси бог, если возьмешься за сколок липкими пальцами!

Приходили ребята. Ступали тихо, осторожно откашливались, садились напротив девушек на лавку, которую всегда оставляли для них свободной, выходили на улицу, если вздумалось покурить. Санька Баринов перекидывал через плечо ремень гармони, легонько проводил по ладам, словно пробуя свое умение, играл все те же протяжные и грустные песни, длинные, как северные вечера.

В селе уважали давнее и тонкое ремесло кружевниц и за искусство и за достаток, который оно приносило. Конечно, кружева — это не мужское дело. Парни приходили, чтоб мастерицам не было скучно; долги, очень долги северные вечера.

Иногда, впрочем, обычное течение вечера нарушалось. Случалось это чаще по субботам, когда бабка Прасковья приходила от соседки, с которой дружила уже добрых полвека, в легком «брожении духа», как говорил дед Федот, любивший замысловатые выражения. Дед тогда не ждал чая, а сразу забирался на печку и смотрел на бабку колючими, как у ежа, глазами. Зато девушки немедленно сбивались в тесный кружок, с нетерпением ожидая очередного рассказа.

— А бывало, девоньки, и так, — начинала бабка Прасковья, будто продолжая начатый ранее разговор. — Пришло этта от королевы гишпанской к нашему царю-императору прошение: прошу, дескать, любезный мой друг, прислать мне кружевную мантилью из самых что ни на есть тончайших ниток. Ну, царь-император, конечное дело, отказать не может, потому он с ней одной цар-

ской крови. Сей же час клич: «Есть ли в моем царстве такие мастерицы?» — «А как же, отвечают, есть на реке Сухоне, в селе Зародове, Прасковья Саввишна Квашнина. Она не только что мантилью, она...»

— Ври, ври, непутевая старуха, — хрипел с печки дед Федот.

Девушки и сами знали — любит присочинить бабка Прасковья. Пересмеивались между собой, но осторожно, чтоб не обидеть рассказчицу. Они затихали, когда бабка лезла в кованый сундучок и вынимала оттуда то большую бумагу с золотым обрезом и двуглавым орлом, то круглую медаль с изображением высокой стрельчатой башни, то грамоту в сафьяновом переплете с гербом Союза Советских Социалистических Республик.

— Ври-то ври, а медаль-то «Гран при», — укоризненно говорила бабка.

Но более всего любили девушки, когда бабка рассказывала о прошлом, о том, как рождались новые рисунки кружев, знакомые им еще с раннего детства. В этих «колесах», «бантах», «фантасках», «денежках», «березках», «городках» и «мушках» виделись девушкам привычные, милые сердцу картины сельской природы. Будто идет мастерица по улице, собирает в лукошко все, что видит вокруг, а потом отбирает из лукошка самое приметное — и вот оно уже на подушке, на сколке, под пальцами, быстро перебирающими шестьдесят, а то и больше пар коклюшек.

Раз в год, летом, приезжал из города инструктор Кружевсоюза Терентий Павлович Капралов, дородный и шумный человек в косоворотке и высоких болотных сапогах. Зайдя в две-три избы, где плели кружева, он исчез затем на неделю — охотился на уток в сухонских поймах. В заключение Терентий Павлович делал инструктивный доклад. Слушали его невнимательно: говорил он о никому неведомых брабантских, валансьенских и льежских кружевах, добавляя при этом, что кружевное искусство в Бельгии упало еще в конце прошлого века. В Зародове, собственно, мало интересовались уровнем кружевного производства в Бельгии, и только бабка Прасковья, не желая уронить свой авторитет, говорила после доклада: «Знаю, читала об этом», — хотя всем было известно, что сколок бабка читала отменно, а грамоте так и не научилась.

А еще Терентий Павлович произносил обидные слова. Рассматривая на свету накидку или покрывало, он недовольно ворчал:

— Что это у вас все колесики да бантики! Геометрия одна... Нет, вы мне в кружеве чувство дайте, душу свою откройте. Верно я говорю, девицы-перепелицы?

— Душу ему подавай! — ворчала бабка Прасковья, когда инструктор уходил. — А ну, девоньки, гляньте: есть в этом узоре душа аль нет?

И она раскидывала кружевную дорожку с редкостным и дивным рисунком, требовавшим от мастерицы искусства и фантазии.

Это был любимый рисунок бабки Прасковьи, и назывался он «морозом». Зимним вечером сидит кружевница в избе, смотрит на оконце, освещенное тусклым светом лучины, а оконце-то обледелил лютый вологодский мороз, и горят на нем белым пламенем звезды несбыкновенной красоты, стоят в белых шапках ели и сосны, таятся между ними зайцы в белых шубках, и все кругом белым-бело, как в чистом поле.

Глядя на рисунок, девушки вздыхали и задумывались. А Надя Квашнина смотрела на темное окно, и чудилось ей, что стоит за ним тот, кого она ждала уже второй год, стоит и смотрит на нее, сейчас постучит, позовет ее навсегда с собой...

2

Но он не постучал, не позвал с собой, а однажды пришел запросто с ребятами, сел рядом с Санькой Барининым, слушал его гармонь и чему-то улыбался. Приход молодого агронома никак не мог остаться незамеченным. Девушки шептались, переглядывались, и даже дед Федот, уже успевший забраться на печь, вдруг закашлялся и попросил квасу.

Да и в самом деле, было чему удивляться. Агроном Павел Семенович Кривенков приехал в Зародово больше года назад, но никто не мог похвалиться дружбой с ним или хотя бы близким знакомством. То ли сам агроном не хотел сходитья с людьми, то ли его сторонились, как человека пришлого, не из здешних мест, с непривычным московским говором. Агроном он был знающий, с ним считались старики, но и в поле, на страде, он говорил

с людьми только о деле, не позволяя себе ни вольного словца, ни расспросов о житье-бытье, ни душевного разговора. Бывало заходил Кривенков и в клуб, когда туда приезжала кинопередвижка, но садился только с людьми степенными и рассуждал с ними опять же о колхозных делах. В гости агроном не ходил и к себе не звал, — жил в маленькой комнатухе в хате-лаборатории, где у него были кровать, стол и стопка книг.

На первых порах девушки, что на выдапьи, засматривались на Павла Семеновича: парень и холост, и умен, и собой хорош. Нюра Мещерякова, встретившись с ним как-то в лесу, сказала, что она заблудилась, и попросила проводить до дому. Павел Семенович вывел ее из лесу, извинился, что спешит, и так торопливо попрощался, что Нюра навсегда затаила обиду. Постепенно интерес к нему стал ослабевать: то ли мнит о себе агроном, то ли есть у него кто-то в городе...

Только Надя Квашнина знала о нем больше, чем другие. Не по тем коротким и деловитым словам, которыми она и Ольга обменивались с Павлом Семеновичем, когда он заходил к ним на парники, а по случайной и внезапной встрече нынешней весной, заронившей в девичье сердце смутную надежду на счастье.

Встречу эту Надя запомнила до мелочей и сейчас, украдкой поглядывая на Кривенкова, снова вспоминала ее.

В воскресенье возвращалась она со станции, с базара. Шла не большаком, а проселками, туфли несла в узелке, босые ноги мягко ступали по холодноватой нескошенной траве, на которой еще лежала роса. Кругом было безлюдно, тихо, и поэтому Надя еще издалека услышала позади себя стук копыт. Оглянувшись, она увидела легкий тарантасик, бойко кативший с пригорка на пригорок и быстро догонявший ее. Когда он был уже совсем близко, девушка посторонилась и тут же увидела, что в тарантасике сидит молодой агроном. Павел Семенович тоже увидел ее, остановил лошадь и крикнул:

— Подсаживайтесь, Надежда Федотовна, вместе веселее!

— Я сейчас, я мигом... — ответила Надя, растерявшись, что он увидел ее босой, что назвал по имени и отчеству, что оказались они вдвоем на проселке.

Потом они сидели рядом, совсем близко друг к другу,

в узеньком поскрипывающем тарантасе. Павел Семенович сказал, что он ездил на станцию за посылкой от матери, что мать у него тоже агроном, работает на Кубани и прислала по его просьбе семена пшеницы «кубанки». Говорил Павел Семенович о матери с уважением и теплотой и даже показал ее фотографию, хранившуюся у него во внутреннем кармане пиджака. Надя с удивлением заметила, что у нелюдимого и всегда серьезного агронома такие же, как у матери, детские ямочки на щеках, когда он улыбался.

Уже совсем возле села, когда они проезжали мимо болотистого, редкого леска, ветер донес до них острый и тонкий запах. Павел Семенович остановил лошадь.

— Хотите, я нарву вам фиалок? — спросил он и, не дожидаясь ответа, спрыгнул на землю и тотчас исчез за кустами боярышника.

Надя слышала, как хлюпали по воде его сапоги, и ей хотелось, чтобы он не возвращался как можно дольше, чтобы она могла долго думать о нем, а он бы не знал этого.

Но Павел Семенович возвратился быстро, передал ей маленький букетик цветов, уселся снова рядом и тряхнул вожжами.

— Что может быть лучше ваших северных фиалок! — сказал он задумчиво. — Смотрите, какие они слабые, беззащитные, на тоненьких, почти прозрачных стебельках. И сколько в них жизненной силы, сколько скромной красоты! А растут они на болоте... На болоте, где ничем не пахнут кувшинки, морошка или клюква. Откуда же у них этот удивительный запах? Голубые, подмосковные совсем не пахнут.

И, не дожидаясь ответа, словно смутившись, спросил:

— Я слышал, что вы и ваша сестра — лучшие на селе кружевницы?

— У нас все девушки плетут кружева, — ответила Надя.

— Расскажите, как это делается.

Надя рассказала все, что знала сама и слышала от бабки Прасковьи: как передается мастерство из рода в род, как зародовские кружевницы брали первые призы и в Петербурге, и в Париже, и на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, как рождались новые рисунки и что говорил по этому поводу Терентий Павлович.

— Заходите, посмотрите сами, — добавила Надя.

Но агроном на приглашение не ответил. Он взял из рук девушки цветок, и, рассматривая его, заговорил:

— А что, если на кружева перенести вот эти маленькие белые звездочки и рассыпать их, как в небе, по белому фону? Вероятно, это было бы очень красиво. Только, наверно, и очень трудно.

Девушка ответить не успела — тарантас уже поравнялся с околицей села. Прощаясь, она повторила:

— Заходите, пожалуйста. Мы всегда собираемся по вечерам.

— Спасибо, зайду обязательно, — ответил Павел Семенович и махнул вслед рукой.

С тех пор Надя ждала каждый вечер. Она никому не рассказала об этой встрече, даже Ольге. Она берегла каждое слово, сказанное Павлом Семеновичем. А он все не шел. И встречаясь, как прежде, на работе, оба они, словно сговорившись, ни разу не вспомнили о разговоре на проселочной дороге.

И вот, наконец, он сидит в ее доме. Слушает гармонь, улыбается, что-то шепчет на ухо соседу. Коклюшки путались в руках Нади. Она и не заметила, как подошел час расходиться, как зашумели, вставая, парни и девушки, как подошел к ней Павел Семенович.

— Спасибо, молодые хозяйки, — сказал он, глядя то на Надю, то на Ольгу. — И вам спасибо, Прасковья Саввишна, — добавил он, повернувшись. — Прасковья Саввишна! — проговорил он другим голосом. — Можно мне зайти к вам завтра днем поговорить о важном деле?

Те, кто слышал эти слова, остановились. Что за дело у агронома к бабке Прасковье? Растерялась и бабка, но ненадолго и сказала: «Милости просим». Ольга вскочила и ушла провожать подруг. Ушел и агроном. А Надя еще долго сидела на лавке, и щеки ее горели.

Когда бабка улеглась, Надя прошла в свою комнату, где спала с сестрой, открыла ящик комода, достала начатую накидку и засмотрелась на нее. На фоне тонкого, почти невесомого кружева щедро рассыпались маленькие белые звездочки. «Сколько в них скромной красоты!» — вспомнила она слова Павла Семеновича. И еще вспомнились ей долгие бессонные часы, когда в доме уже спали, а Оленька еще не возвращалась от подруг. Если бы

она знала! Если бы знала, какой надеждой живет все эти дни ее старшая сестра!

Так, может быть завтра?

3

Но на следующий день приход агронома на посиделку к кружевницам заслонили другие события. Во-первых, из области пришла газета, в которой председатель колхоза и члены правления критиковались за плохую заготовку кормов. Во-вторых, отелилась холмогорка-рекордистка Малинка, и все бегали смотреть на большелобого, нетвердо стоявшего на ногах телка. В-третьих, Анна Никифоровна Малашкина отстегала крапивою свою дочку Панку за то, что она провозжалась с Санькой Баринковым до третьих петухов. Соседки слышали, как Панка причитала: «Мамаля, да как же это? Да я ж в комсомоле, а вы такое...» — на что мать, продолжая свою работу, спокойно отвечала: «Комсомол я уважаю, а тебя стегала и буду стегать».

Панка пришла на парники позднее других и тотчас сердито завозилась с капустной рассадой, не обращая внимания на взгляды и смешки подруг. Только черные кудряшки на ее голове вздрагивали: то ли смеялась Панка, то ли злилась... Когда девушки присели исполдничать, Панка гордо стояла в стороне и ела хлеб с огурцом. Насмешливая Нюра Менщерякова, не выдержав, шепнула:

— Что ж теперь, девочки, она и кружева будет плести стоя?

Панка услышала, огрызнулась:

— Зато я не блуждаю, как кое-кто, в трех соснах и провожать меня до дому тоже никого не упрашиваю. Меня и без просьбы проводят...

Девушки откровенно засмеялись. Только Надя ничего не слышала и не видела. Она никак не могла совладать со своим сердцем, то замиравшим, то колотившимся часто-часто.

И все же она первая заметила, как на тропке, ведущей от села к парниковым рамам, появилась бабка Прасковья. Она шла крупным, поспешным шагом, размахивала руками и что-то говорила сама себе. Замирая, Надя поднялась ей навстречу. Но бабка не обратила на нее никакого внимания, а подошла к Ольге и низко поклонилась ей.

— Ну, спасибо тебе, дочка, — заговорила бабка Прасковья плаксивым голосом, — уважила мать-старуху, отблагодарила за хлеб-соль!

Ольга тоже встала, прижала ладони к груди.

— Что такое, мам? Что с вами?

— Люди добрые! — повернулась бабка к девушкам. — Люди добрые! Да где ж это видано, где слыхано, чтобы родная дочь таила от матери сердце свое неблагодарное, чтоб скрывала от родительницы жизнь свою двуликую?! И ведь как таила — слухом никто не слышал!.. Ты знала, Надежда? — обратилась она к старшей дочери. — Говори: знала?

— Не знаю, о чем вы, маменька, — ответила Надя, чувствуя, как у нее слабеют ноги.

— И сестре старшей ни слова, вот как у нас! — бабка всхлипнула и, обращаясь снова к Ольге, заговорила уже совсем другим тоном: — Был твой агроном. Как же, пожаловал... Мы с отцом картошку копали, как он появился. Пришел — и сразу как обухом: «Я прошу вас, Федот Иванович, и вас, Прасковья Саввишна, отдать мне в жены дочь вашу Ольгу Федотовну».

Среди девушек произошло смятение. Все головы повернулись в сторону Ольги. Но она стояла все так же неподвижно, красная от смущения, прижимая руки к груди.

— Старый мой дурень, — продолжала бабка, — совсем раскис, бормочет чего-то несуразное: «Да я, бубнит, ничего. Как вот мать?.. Я, гнусит, с моим удовольствием, благодарю покорно». Я отодвинула его малость и говорю: «Спасибо за честь, Павел Семенович, только у нас так не делается. У нас сначала старшую дочь сватают».

— Маменька, стыд-то какой! — простонала Надя.

— Молчи! Не твоего ума дело! — прикрикнула бабка. — Сказала я ему, а он только улыбается. «Да я, говорит, очень уважаю Надежду Федоровну, а люблю, говорит, Ольгу». — «Как же ты ее любишь, спрашиваю, если ты ее и не знаешь вовсе?» — «Отчего же? — Смеется. — Я Оленьку уже скоро год знаю, и все между нами сговорено. Только, говорит, мы до времени огласки не хотели и на том просим нас простить. Я, говорит, в голосе бабки зазвучало плохо скрываемое торжество, — и матери своей ее описал и согласие получил». — «Да Ольга-то, говорю, согласна ли?» — «А как же, смеется, мы давно

любим друг друга». Тут опять мой дурень ввязался: «Чего ты, бсрмочет, старая, кота за хвост тянешь? Я, например, — гнусит, — с моим удовольствием...»

— А вы, мама, что вы сказали Павлу Семеновичу? — тихо, едва шевеля губами, спросила Ольга.

Бабка хотела было и на нее прикрикнуть, даже топнула ногой, но, увидев глаза дочери, поперхнулась, закашлялась и собрала губы в комочек. Ольга уткнулась старухе лицом в плечо, и обе они заплакали. Девушки бросились к ним, отняли Ольгу, закружили ее, зашумели.

Подошла поздравить и Надя, молча приложила к губам сестры сухими, холодными губами. И все опять увидели, как похожи сестры друг на друга — лицом и характером.

Когда бабка Прасковья и Ольга ушли домой, а девушки разбежались по селу разносить неожиданную новость, Надя пришла в себя уже далеко от села, на берегу Сухоны, когда на нее залаяла собака, выскочившая из будки бакенщика. Теперь она постаралась сообразить, что произошло, но не почувствовала обиды ни на сестру, ни на Павла Семеновича, а только жалость, тяжелую и стыдную жалость к себе...

Свадьбу сыграли осенью, когда сняли урожай. К свадьбе подоспел и Терентий Павлович.

Торжество справляли в новом доме, где поселились молодожены. По настоянию бабки Прасковьи, в дом сначала впустили кошку, но из этой затеи ничего не вышло, так как еще раньше туда незаметно забрался пьяненький дед Федот. Правление колхоза преподнесло Павлу Семеновичу мотоциклет, а Ольге — шкатулку палехской работы. Комсомольцы принесли Полное собрание сочинений Тимирязева. Развеселил всех Санька Баринов, который спел под гармонь частушку собственного склада:

Я от маменьки ушла.
Маме — не убытки:
Барышом остались
Кружева да нитки.

В доме было шумно и весело, когда вошла Надежда. Через ее руки, протянутые вперед, была перекинута тонкая кружевная накидка. Подойдя к молодым, она поклонилась.

— Примите и от меня.— И, посмотрев на агронома, добавила: — Помните, Павел Семенович, наш разговор на дороге со станции?

Ольга приняла подарок, а ее муж взглянул сначала на кружева, потом на Надю. Но тут подскочил Терентий Павлович. Выхватив из рук Ольги накидку, он посмотрел ее на свет, встряхнул, словно не веря своим глазам, спросил:

— У кого есть кольцо?

— У меня, — сказала Панка.

— Дай мне.

Терентий Павлович снял с пальца Панки серебряное колечко с бирюзой, осторожно взял его за ободки, продел через колечко край кружевной накидки и потянул. Кружева легко прошли через кольцо.

— Да ведь это же просто чудо! — загудел Терентий Павлович.— Чудо дивное! Вы посмотрите, ведь это же фиалки! Только что не пахнут, а? Тонкость какая, а легкость!.. Ну, Надежда Федотовна, быть вам в этом году участницей выставки.

Он долго еще бушевал от восторга, пока не увидел вопрошающий взгляд Нади.

— Отойдемте в сторонку, Терентий Павлович,— попросила девушка.

Когда они отошли в дальний угол комнаты, Надя спросила:

— Я слышала, Терентий Павлович, что в Вслогде есть школа кружевниц.

Инструктор подтвердил.

— И что этой осенью там будет новый набор...

Терентий Павлович подтвердил и это.

— Возьмите меня, пожалуйста, в эту школу. Учиться буду хорошо, вот увидите.

...Утром Терентий Павлович уезжал, и Надя ехала с ним. Провожать вышли всей семьей. Бабка Прасковья плакала, дед Федот переминался с ноги на ногу и вздыхал. Павел Семенович не сказал ни слова, а только крепко пожал Наде руку. Ольга, робко поцеловав сестру, неожиданно для себя сказала:

— Прости, сестрица...


Кони легко взяли и быстро вынесли за околицу. Ехали опять проселками. Кругом лежали голые дымные по-

ля — где-то жгли буреломы. Проскакал верхом без седла подпасок, приветливо помахал кнутовищем.

Вот и лесок на болотце, памятный с прошлой весны. Теперь уже нет фиалок, давно сошли. Какне они были хрупкие, нежные, беззащитные, на тонких, почти прозрачных стебельках! И все же сколько в них жизни, силы, стойкости! Расцветут, еще как расцветут они будущей весной!

«Вы умный, очень умный, Терентий Павлович, — думала Надя, глядя на дремавшего рядом инструктора.— Но вы ничего не поняли, Терентий Павлович. Ведь это не я сплела эти кружева. Ведь это сплела их моя любовь...»





Ефим Дорощ

ИВАН ФЕДОСЕЕВИЧ

(Из деревенских встреч)

1

Напротив базара, в одноэтажном кирпичном доме, побеленном известкой, помещается чайная райгородской артели инвалидов. В обычные дни народу здесь не много, а вот в среду или в субботу, особенно зимой, когда со всего района съедутся на базар колхозники, то и дело хлопает, скрипя пружиной, набрякшая дверь, и вместе с посетителем в чайную входит облако морозного воздуха. Посетитель останавливается, снимает шапку, отдирает намерзшие на усы ледышки, стряхивает иней с косматого воротника овчинной шубы и степенно оглядывается, словно пришел в гости. «Пожалуйте в залу!» — угадав приехавшего из деревни человека, говорит буфетчица Раиса Кирилловна, худощавая женщина в белой курточке, с нестерпимо красными губами и ногтями.

Помещение, где за буфетной стойкой и большой пивной бочкой властвует Раиса Кирилловна, базарные остряки называют «скорой помощью». Единственным его украшением служит темная, писанная маслом картина, влажная от встречных потоков холодного и теплого воздуха. Под картиной теснятся накрытые липкой клеенкой столики. Здесь задерживается лишь мимо бегущий райгородский житель, которому поскорее бы принять свой полтора грамма, запить их стаканом пива или томатного сока и побежать дальше по неизвестным делам. А през-

жий из деревни, иззябнув с дороги, желает получить полное удовольствие и поэтому проходит в зал, куда ведет широкая, в виде арки, дверь.

В зале за столиками, застланными поверх скатертей белой бумагой, полным-полно народу. Разговоры, если прислушаться, как в старое время на красную горку или в мясоед, когда по деревням играли свадьбы.

— Сватали нам его, сватали, — рассказывает дородная, уже немолодая женщина с опущенными на плечи платком и шалью, красная и распаренная от выпитого чая, — возили его к нам, возили... А мы ему: «Несогласные мы». Так и досватался, что ославился!

— Чем же, не показался он вам? — осведомляется сидящая напротив маленькая старушка, схлебывая остатки чая, и отставляет блюдечко в сторону, — может, слабограмотный? У нас вот тоже, покуда агронома себе не нашли, с полгода был такой — напишут ему все, как есть, а он и по бумажке сказать не умеет, спотыкается. А то еще бывает, — говорит она осуждающим шепотом, — вино жрут. А вино не снасть, дела не управит. Намаялись мы с таким вот виножором. В городе он теперь, в живом сырье, говорят, заведующим сидит. Бывало представитель придет, а он в стогу отсыпается, по ногам только и угадают. Что стыда мы с ним натерпелись, что горюшка!..

Старушка достает из стакана разбухший кусок баранки, жует, шевеля запавшим ртом, затем, случайно взглянув на вошедшего в зал нового посетителя, показывает на него сердитыми глазками.

— А, живая душа на костылях! — приветствует старушку посетитель, но та не отвечает, с достоинством поджав губы.

Человек этот, как я вскоре догадываюсь, и есть тот самый «виножор», о котором рассказывала старушка. Чуть покачиваясь, он идет к свободному столу, усаживается, берет нетвердой рукой меню, долго не может совладать с картонной коркой, наконец, раскрыв ее, принимается читать вслух нехитрый перечень блюд. На вид ему лет за пятьдесят. Когда официант приносит заказанную им рыбную солянку, он брезгливо копается ложкой в тарелке и говорит тоном знатока:

— Ого! С маслинами! Откуда вы их получаете?

— Из Кинешмы, — язвительно отвечает старый официант.

Я не знаю ни биографии этого человека, ни того, как стал он, если можно так выразиться, низовым руководящим работником. Легко представить себе, что году в двадцатом, вернувшись из армии, был он чуть ли не единственным грамотеем в деревне и по этой причине стал секретарем сельского совета. В простоте душевной он полагал, что рабочие и крестьяне свергли царя, прогнали капиталистов и помещиков только лишь для того, чтобы ему, в прошлом батраку, можно было жить не работая. Он обленился, оброс писарским жирком. Деревенские бабы, приходя за какой-нибудь справкой, по старой привычке подносили начальству и сало и самогон, и когда его все же попросили из сельсовета, то он, питая отвращение к физическому труду, правдами и неправдами пробрался в председатели сельпо. С тех пор, хотя никакой специальности у него нет, — впрочем, может быть, в силу именно этого обстоятельства, — о нем вдруг вспоминают в райкоме или в райисполкоме, когда возникает нужда заткнуть где-нибудь прореху. И он охотно соглашается на любую работу, лишь бы не работать...

Райгородские товарищи, ведающие кадрами, могут опровергнуть все мои предположения безукоризненной анкетой сидящего сейчас в чайной человека, могут возразить, что если и были у него выговоры, то все они в положенный срок снимались, но я предпочитаю прислушиваться к тому, о чем рассказывает старушка своей пожилой собеседнице и подсевшей к ним широколицей, румяной девушке с льяными кудерьками.

— Ревизия ему была, — доверительно и чуть ужасаясь, шепчет старушка. — Как же! Открывает ревизия сгораемый шкаф, а там, не соврать, одни бумажки. И все фальшь. Селедку, пишет, покупали для борова — десять рублей, пол-литра для хворой коровы — двадцать три...

Пожилая женщина ахает и охает, правда, больше из вежливости, а девушка беззаботно смеется. Я знаю эту девушку, она из Вексинского колхоза, где вот уже скоро двадцать пять лет председательствует Иван Федосеевич Варфоломеев, мой давнишний знакомый. Ее еще и на свете не было, когда Ивана Федосеевича впервые выбрали председателем, и она, должно быть, не представляет себе своей Вексы без дяди Вани, как называют Варфоломеева не только в районе, но и в областном центре.

Рассказанная старушкой история о председателе,

который ездил в город покупать веревку и вместе с отчетом о командировочных расходах представил акт на покупку водки для коровы и селедки для свиньи, по всей видимости, воспринимается девушкой как некая вариация щедринской истории о глуповцах, тащивших теленка на баню и конопативших острог блинами.

— Это еще не диво! — улучив минуту, перебивает старушку пожилая колхозница и продолжает с тем оттенком хвастовства, с каким рассказывают иной раз о своих болезнях: — Нас-от свиньи мучают. И огороды все перерыли, и ночью, Никола свидетель, так и лезут в избу-ту, так и лезут. На ферме им ни прокорму, ни тепла, вот и спасаются, как звери лесные.

— Вы бы себе, дочка, тоже из агрономов поискали, — несколько покровительственно советует старушка и принимается — в который уже раз — хвалить нынешнего своего председателя: и аккуратный-то он у них, и уважительный, слова черного от него не услышишь...

— Сватали нам и агронома, — вздыхает женщина. — Такое оно молоденькое, такое деликатное... Где уж ему с нами!

— Неужто крысолова? — заливается вдруг девушка, и тугие кудерьки ее подрагивают, как пружинки. — Теперь и он в женихи вышел.

Должно быть, она имеет в виду агронома по защите растений, которого, как мне говорили, действительно «сватают» какому-то колхозу. Здешние девчата всегда поднимают его на смех, когда он появляется на полях со своим сачком и ботанизированной. Не то чтобы он был смешон, этот старательный застенчивый юноша, — просто девчатам правится наблюдать, как он смущается и краснеет, когда они начинают его дразнить.

Признаться, я никак не возьму в толк, почему специалиста по грызунам и гусеницам, к тому же еще робкого характером, недавно окончившего институт молодого человека, рекомендуют в председатели колхоза. Разве только лишь потому, что в анкете у него написано «агроном».

— И нам с ним не жизнь, — рассуждает женщина, — и его жалко. У нас-от один Федька с конефермы, Михайлы Шилова зять, на чем хочешь его опутает. Только и славы, что ученый, а самостоятельности в нем никакой.

И она по-вдовьи вздыхает о хозяине, который вот как нужен ихнему колхозу. Все здесь, в этой тоске по хозяи-

ну: и чисто бабья боль за свиней, бегающих без призора, и обида на неизвестного мне Федьку, который, надо думать, присосался к общественному добру и вертит нынешним председателем, как хочет, и обычное женское беспокойство о доме, о детях, еще не настолько взрослых, чтобы уехать из деревни в другие места, где живут поллюдски. Да хотя бы и взрослыми были они — каждой ведь матери хочется жить со своими детьми, нянчить внуков!

Я слушаю этот разговор, один из многих, какие ведутся об эту пору по деревням, и прихожу к мысли, что в «анкете», которую предложила бы заполнить кандидату в председатели почти каждая колхозница, куда больше вопросов, нежели в обычных анкетах. Разумеется, слово «анкета» употреблено мною фигурально. Речь идет о том интересе к человеку, который появляется, когда знаешь, что от этого человека зависит твоя жизнь.

Тут пет никакого преувеличения, потому что, сколько бы ни старалась вот эта женщина, ничего не достанется ей на трудодни, если в хозяйстве, как говорится, ни складу, ни ладу. А колхозное хозяйство, конечно же, в руках председателя. «Голова» — называют его на Украине, и я не знаю более точного слова, каким можно было бы одновременно охарактеризовать и должность и то, что означает она для такой вот женщины.

И вот именно потому, что женщина эта на себе испытала, каково жить с плохим председателем, она рассуждает куда правильнее иных райгородских руководителей. Женщина смотрит на «виножора», как он с пьяным упрямством тычется в каждую стену и не может угадать, где же здесь дверь. Потом она произносит с неторопливой, обдуманной жесткостью:

— Не-е-ет! Своего мы так не отпустим! Мы уж и сказали ему: «Скинуть скинем, а из колхоза никуда не поедешь, не надейся. Будет, походил с портфелем! Дадим самую что ни на есть плохую лошадь, а ты поработай на ней, поломай, как мы, хребтину». А то ведь, — обращается она к собеседникам, — выпусти его только — сейчас от к другим повезут сватать.

— Чудно как-то у вас получается! — говорит девушка. — Все-то вы перебираете да все меняете!

— От добра добра не ищут, — возражает женщина. — Был бы у нас Иван Федосев, небось не меняли бы,

Несчастливые мы на председателей. И нам-от с нашим ничего, и государству от нас ничего.

— Ругатель он, Иван Федосев,— неодобрительно замечает старушка. — Как чуть не по нему, так ставит перед собой и ругает. Я ведь тамошня, из Вексы была выданная, Ваньку ихнего знала мальчонкой. Вам-то он — Иван Федосев, а мне — Ванька. Где ни встречу его, прямо в глаза говорю: «За черные твои слова быть тебе, Ванька, в аду». А он, богохульник, смеется. «Я, говорит, бабушка, и сейчас вроде в аду».

Девушка объясняет, что у Варфоломеева с начальством нелады, все ему выговоры да выговоры, — не поймешь, право, чем не угодил.

А старушка, недовольная тем, что ее прервали, будто не слышит этого и продолжает про свое. Видать по всему, она надеется на сочувствие пожилой колхозницы и говорит, ужасаясь:

— «Меня, говорит, бабушка, только помру — ангелы в рай возьмут!»

— И заслужил, — к удивлению старушки, соглашается женщина. — Люди-то за ним как живут! Позавидуешь. Хозяйство-то какое нажили!

Пригладив ладонями волосы, она повязывает голову косынкой, затем платком, а поверх платка шалью. Она просит девушку подать ей на плечо мешок и корзину, связанные полотенцем, и, подумав, добавляет:

— По старине сказать — угодник он, Иван Федосев, пускай не богу, так людям. Вот они, вексинские, — кивает она в сторону девушки, — и гладкие, и одеты-то как, и ученые... А осенью городом идешь — чьи машины в Москву с товаром бегут? Опять же вексинские. Одной мы с ними земли, одного звания, да председатели разные. Так-то!

И, повернувшись, она осторожно ступает между столбами, чуть наклоняясь вправо под тяжестью корзины с городским хлебом и мешка, должно быть с комбикормом для коровы, рослая, выносливая женщина в залоснившейся стеганке и больших, разношенных валенках.

2

— Покупным хлебом живут, — вздохнув, говорит девушка о пожилой колхознице.

— Нет, — продолжает про свое старушка, — мы своим

очень даже довольные... Уж так довольные... сказать нельзя!

Но я больше не прислушиваюсь к разговору, потому что в чайную входит Иван Федосеевич, с которым мы условились встретиться в «задней комнате у инвалидов», как называют здесь третье, самое маленькое помещение, нечто вроде отдельного кабинета.

Года три, пожалуй, прошло, как мы познакомились с Варфоломеевым, и все же каждый раз, когда я его вижу, меня удивляет, насколько не похож он внешнею на того расчетливого, прямо сказать — оборотистого «председателя-миллионера», грозного с нерадивыми колхозниками и строптивого с недалёковидным начальством, каков он есть по своим делам.

Трудно поверить, что этот неприметный пожилой человек в обвислом овчинном полу пальто с грубой шинельной крышкой, в сдвинутой на затылок шапке с опущенными ушами, неспешно, как бы безучастно входящий сейчас в зал, вот так же вошел однажды к председателю облисполкома и тихим, ровным своим голосом проговорил: «Я совхоз-от надумал купить. Как бы мне оформить купчую?» — «То есть как это... совхоз?» — несколько даже растерялся председатель облисполкома. И когда Иван Федосеевич объяснил ему, что речь идет об инвентаре и постройках недавно ликвидированного подсобного хозяйства, он уже с интересом спросил: «Ну, и сколько же просят?» — «Миллион», — спокойно ответил Иван Федосеевич. Председатель облисполкома, что называется, опешил. «Где же ты такие деньги возьмешь?» — «Так они рассрочку дают на четыре года, — все так же спокойно продолжал объяснять Иван Федосеевич, достал карандаш и тут же на сорванном календарном листочке показал все свои подсчеты и расчеты. — Мы выплатим!» Было это еще до войны, и старожилы утверждают, что именно с этой покупки пошло развиваться хозяйство Вексинского колхоза.

— Вон вы где! — найдя меня взглядом, по обыкновению негромко, с улыбкой говорит Иван Федосеевич. — Пошли в заднюю комнату!

И опять же ни этот несколько усталый голос, ни тем более улыбка — мягкая, деликатная, пожалуй, даже застенчивая — не дают основания предполагать, что Иван Федосеевич способен с обидной прямоотой высказать все,

что думает он о человеке, как это было вчера на партийном активе. «Будет тебе горшки лепить! — постукивая кулаком по трибуне, говорил он заместителю председателя райисполкома, ведающему местной промышленностью. — К этому кого-нибудь из городских можно приставить. А ты — мужик, шел бы в колхоз председателем. Конечно, в какой поменьше, с большим-от не сладись». И, несколько не смущаясь тем, что нажил себе врага, Иван Федосеевич спустился со сцены и пошел на свое место, помахивая черной рыночной сумкой с застежкой «молния», с которой он никогда не расстается.

Удивительная вещь сумка Ивана Федосеевича! Точно так же, как внешность самого Варфоломеева не отвечает ни его характеру, ни положению, точно так и сумка эта несколько не отвечает тому, что в ней содержится.

Иван Федосеевич, раздевшись, кладет сумку на стул, и если не знать, можно подумать, что сейчас он достанет из нее какую-нибудь привезенную из дому или же купленную на базаре снедь — печеные яйца, огурцы, домашнее сало, — как это делают многие посетители чайной.

— Читали, «Правда» пишет? — спрашивает меня Иван Федосеевич и достает из сумки газету. — Тут хотя про виноград, как он исчез в одном среднем районе, но это и к нашему луку можно применить.

В сумке, кроме газеты с полюбившейся Ивану Федосеевичу статьей, хранится колхозная печать, лежат в ней и деловые бумаги — тезисы последнего выступления на партийном активе, памятные заметки, таблицы, выписки. И тут же, среди бумаг, обязательно лежит какая-нибудь книга, чаще всего «Хаджи-Мурат» или же «Фома Гордеев», с которыми Иван Федосеевич почти никогда не расстается и при случае охотно цитирует.

— Телятину не будем брать, — откладывая в сторону меню, не то спрашивает моего согласия, не то решает Иван Федосеевич. — Свиинну возьмем. Свиной-то мы стараемся откармливать, чтобы упитанные были, а телят сразу продаем, лишь бы не кормить... Тощая она, телятина.

Что бы ни делал Иван Федосеевич, с чем бы ни встретился в жизни, из всего он старается вышелушить то самое ядрышко, которое сокрыто под скорлупой. Помнится, когда я однажды приехал в Вексу, он показал мне только что построенный маслодельный завод. Мне хоте-

лось сказать ему что-нибудь приятное — настолько хорош был этот деревянный домик с цементным полом, где еще пахло смолой и известкой, — и я сказал нечто вроде того, что масло, конечно, прибыльнее продавать, чем молоко.

— Тут не в одном доходе выгода, — возразил Иван Федосеевич. — Тут вот еще в чем расчет: если торговать молоком — поросят поить нечем, а если маслом — все снятое молоко, так называемый «обрат», останется в хозяйстве. Заводик этот не столь для масла нужен, сколь для свинины. Не из коммерции мы его открыли, а для правильного развития животноводства.

Должен сказать, что подобные рассуждения Ивана Федосеевича, подсказанные природной мужицкой сметкой и большим хозяйственным опытом, как это ни странно, очень часто вступают в противоречие с иными установлениями и правилами. Почему-то так получается, что председателя Вексинского колхоза никак не втиснешь в эти правила и установления, как не вобьешь, бывает, ногу в тесный сапог. На мой взгляд, виноват здесь сапог, однако в Райгороде существует мнение, что всему виною нога.

Когда я впервые собрался в Вексу, второй секретарь Райгородского райкома партии Евдокия Афанасьевна Ростовцева, услышав об этом моем намерении, снисходительно улыбнулась и сказала с вежливой сдержанностью:

— Ваше дело, разумеется. Но только ставлю вас в известность, что на ближайшем бюро мы собираемся вынести Варфоломееву выговор.

Я спросил, в чем провинился Варфоломеев.

— Срывает план развития животноводства, — ответила Ростовцева.

Это меня удивило, потому что я слышал, что у Варфоломеева лучшие в районе фермы, и в тот же день, едва познакоившись с Иваном Федосеевичем, я без всяких околичностей спросил его, что у них тут стряслось.

Сперва он не понял моего вопроса, но когда я рассказал о своем разговоре с Евдокией Афанасьевной, большое продолговатое лицо его с тяжелым подбородком и высоким, переходящим в лысину лбом сразу поскучнело, словно ему смерть как не хочется говорить о случившемся, да вот докучают. Вероятно, чтобы не показаться невежливым, он все же ответил:

— Да тут у нас... бычка прирезали. Не по акту.

И вдруг, оживившись, как будто уже не мне, а кому-

то другому, с кем приходится препираться чуть ли не каждый день, он стал объяснять, что при хорошо развитом животноводстве никак не обойтись, чтобы не прирезать иной раз бычка, свинью, а то и корову.

Или оно съест чего ему не надо, или вред себе какой-нибудь сделает, или другая с ним стряется беда. А резать нельзя... Акт от ветеринара нужен, что животное не способно дальше существовать и поэтому разрешается его забить. Только покамест этот ветеринар приедет, бычок-то возьмет да издохнет. Конечно, лучше бы ему дожидаться, чтобы по всей форме пойти на котлеты,— так ведь глуп! Впрочем, сказать, от этой его глупости никто не в обиде. У ветеринара порядок: составил форменный акт. У председателя тоже не хуже: получил по тому акту страховку да еще чего ни то за шкуру. И у начальства никакого беспокойства: по законной причине пал означенный бычок.

Иван Федосеевич посоветовал мне помножить бычка на количество колхозов и подсчитать, сколько же мяса теряем мы ежегодно, а потом произнес то, что впоследствии, когда мы сошлись поближе, я слышал от него не раз и что было едва ли не самым любимым его выражением:

— Мешает еще канцелярия производителям общественного продукта! — После чего добавил: — Ну, я не дамся!.. Хотя и нет у меня бумажки на бычка, зато кооперация парной убойной торговала.

Затем без какой-либо связи с предыдущим он вдруг сказал:

— У меня ведь как? Куда ни приду — в районное учреждение, в областное ли, у меня везде друзья. Все старые комсомольцы из моей ячейки. И в партию-то они у нас вступали, по нашему поручительству.

Я подумал, что Иван Федосеевич несколько струсил и успокаивает себя тем, что когда его вызовут на бюро, друзья не дадут в обиду. Только много позднее, хорошо узнав Ивана Федосеевича, я понял, что если он и рассчитывал на друзей, то не из боязни выговора, а как солдат, которому легче драться, когда рядом товарищи. Будучи человеком практичным, пожалуй даже осторожным, Иван Федосеевич никогда не употреблял эти свои свойства к тому, чтобы оградить себя от личных неприятностей. Он и должностью-то своей, казалось, не дорожил,

во всяком случае теми материальными благами, какие она давала ему, и на этот счет имел своеобразное суждение. Это было то место, на котором он мог принести наибольшую пользу, и если бы нашелся человек, еще более полезный колхозу, Иван Федосеевич посчитал бы естественным передать ему руководство хозяйством. Конечно, ему было бы трудно это сделать, потому что он очень любит свою работу, полагая, что другой такой не бывает.

Вот и сейчас, когда я ему рассказываю, как рассуждали тут женщины о председателях, он говорит не без гордости:

— Ниже нашей должности не бывает. Но и выше не скоро найдешь. Центральная в государстве должность!

Он сидит, опершись локтями на стол, сцепив пальцами большие огрубелые руки, которыми с детства привык делать любую крестьянскую работу. Сосредоточенность, с какой он смотрит в окно, заставляет предположить, что он увидел на улице нечто интересное, но там, приткнувшись к тротуару, стоят лишь пустые грузовики, шоферы которых, вероятно, любезничают с Раисой Кирилловной. Когда официантка приносит на двух селедочниках жареную свинину, Иван Федосеевич, по своему обыкновению, решает за нас двоих:

— Вина не будем брать! Я к нему смолodu не привык, а теперь и вовсе уж незначем. Давайте лучше какао возьмем. По две порции.

При всей своей редкостной неприхотливости Иван Федосеевич любит сладкое. Я подозреваю, что и в заднюю комнату он забрался отчасти из-за того, чтобы знакомые председатели, которыми в базарный день полна чайная, не потешались над тем, как «миллионщик» и «воротила» Варфоломеев пьет какао. Принимаясь за еду, Иван Федосеевич негромко спрашивает меня:

— Где побывали? Может, поучительное что-нибудь видели?

Мне и самому хотелось рассказать Ивану Федосеевичу о том, что я наблюдал недавно во время своей поездки по одной из центральных областей страны. Мне любопытно было узнать не только его суждение о тех фактах, с которыми я встретился. Я ожидал услышать от него, как поступил бы он, если бы ему пришлось оказаться в обстоятельствах, похожих на те, в каких находился пред-

седатель колхоза, где мне случилось остановиться проездом.

И я рассказал следующее.

3

В начале зимы часу в четвертом пополудни подъезжал я к большому селу, где предполагал заночевать, так как темнеет об эту пору сравнительно рано, а от этого села до следующего оставалось еще километров сорок непроезжей лесной дороги. В районном центре, откуда я выехал утром, на мой вопрос о здешнем колхозе мне ответили, что ничего, крепкий колхоз: электростанцию недавно построили, провели радиофикацию, а председатель там бывший сотрудник райисполкома. Все это сообщили мне в редакции районной газеты, показали даже заметку, в которой говорилось об открытии электростанции, и однакоже, когда впереди в еще не померкшем свете мглистого зимнего дня вспыхнули вдруг неяркие, колеблющиеся электрические огни, я удивился им, — так неожиданны были они в этом болотном и лесистом крае.

Минут двадцать спустя, обогнув высокое, с колоннами здание школы, я ехал меж двух рядов почти новых, срубленных на диво изб, за освещенными окнами которых теснились на подоконниках обернутые в бумагу горшки с цветами. Улица была безлюдной и тихой, как всегда в деревне в эти предвечерние зимние часы, когда хозяева, пока еще не совсем стемнело, задают корм скотине, вносят из сарая дрова, чтобы к утру подсохли в печи. И в этой тишине, как бы переключаясь, с особенной отчетливостью звучал голос диктора, доносившийся из разных концов села.

В правлении колхоза уже никого не было, и я отправился к председателю на квартиру. Встретила меня немолодая женщина. Она сказала с некоторой принужденностью, что председателя нет дома и где он сейчас, она не знает: может, в конторе или еще куда ушел, кто его ведает... Но в конторе я уже был, искать человека зимним вечером в незнакомом селе — дело трудное, и я попросил: если можно, пускай она сама сходит за председателем или же пошлет кого-нибудь.

Тут как раз в избу вошел здоровый, плечистый парень, должно быть сын хозяйки, и охотно вызвался по-

искать председателя. Я заметил, что женщина при этом несколько растерялась, и, грешным делом, подумал, уж не загулял ли где-нибудь председатель по случаю субботнего вечера. Это подозрение еще больше укрепилось во мне, когда парень вернулся и смущенно объяснил, что сколько ни искал, куда ни заходил, нигде, мол, его нет.

Никаких в сущности дел в колхозе у меня не было, задерживаться здесь я не предполагал, и так как о ночлеге успел договориться с самой хозяйкой, то и не стал настаивать на продолжении поисков.

Однако спустя какой-нибудь час, не больше, председатель неожиданно явился сам. Это был молодой, очень скромный с виду человек, молчаливый, как мне показалось — чем-то озабоченный. Разговор у нас сперва не получался, — я все время чувствовал в председателе непонятную мне настороженность. У меня было такое ощущение, будто о моем приезде он узнал сразу и медлил появиться только лишь по тому, что ожидал встретить кого-нибудь вроде уполномоченного. Во всяком случае стоило ему услышать, что человек я приезжий и к начальству не принадлежу, как он стал держать себя много свободнее. Он извинился, что не может меня устроить с должными удобствами, потому что хотя и работает здесь вот уже скоро год, но семьи у него нет, живет он в чужом доме постояльцем.

Мы разговорились, и я спросил председателя, много ли выдал он в нынешнем году на трудодень. Председатель почему-то смешался, некоторое время угрюмо молчал, наконец как бы через силу ответил, что на трудодень нынче ничего не пришлось выдать. Разумеется, я этого не ожидал и заинтересовался узнать, в чем тут причина. И тогда он, словно оправдываясь, стал говорить, что и в прошлом году почти ничего не выдали, и в позапрошлом...

Он как бы сказал этим, что и до него было не лучше, однакож не объяснил, почему. И я продолжал спрашивать об урожае, о продуктивности скота, на что он все так же неохотно отвечал, что ржи они и трех центнеров не собирают с гектара, картофеля — тридцать, а молока коровы дают в год литров шестьсот, не больше. Каждый раз, когда он называл какую-нибудь цифру, я переспрашивал его, полагая, что он оговорился. Но все было именно так, как он говорил, и мне приходилось снова задавать вопросы.

Таким образом я узнал, что всему причина земля, точнее — навоз, которого недостает, чтобы как следует удобрить здешние песчаные почвы. А недостает его только лишь потому, что скотины мало. А мало ее из-за того, что с кормами плохо. А кормов не хватает все по той же причине: без навоза на легких песках ни корнеплодов, ни зерна, ни трав не вырастишь.

Мы снова пришли к тому, с чего начали, и поскольку еще одно перечисление уже известных мне обстоятельств едва ли могло что-либо прибавить, я спросил председателя, как же в таком случае живут колхозники. Он ответил, что неплохо живут. Почти в каждой семье один либо два человека работают в соседнем леспромхозе, а заработки там подходящие. Вот и сын здешней хозяйки, к примеру, всего только год как пришел из армии, однако успел купить и мотоцикл и аккордеон. Да и почему бы не купить, если, кроме крупы, и хлеба, все пепокупное. В селе не найдешь такого двора, где бы не было коровы, а это ведь не только молоко, но и навоз. И хотя на усадьбах у колхозников тот же песок, картошки собирают они изрядно: и сами едят, и свиной откармливают...

В заключение с печальной улыбкой председатель сказал, что село у них «самоедское», и тут же пояснил: сами, мол, едим, а обществу никакого продукта не даем, только землю попусту занимаем.

Оставался еще один вопрос, который я не преминул задать: откуда же взял колхоз деньги на постройку электростанции и радиоузла?

Оказалось, государство выдало ссуду.

Председатель признался, что сейчас как раз подошел срок очередного платежа, а касса пустая. Он и ночей теперь не спит, все думает, как бы вывернуться. Ему бы только отсрочку дали, а там он что-нибудь продаст и заплатит, после чего можно еще просить ссуду. Надо ведь с весны животноводческие помещения строить, потому что так дальше жить нельзя, — того и гляди, за зиму весь скот поморозишь. Осенью, правда, позатыкали кое-какие дыры, но и заплаты-то ставить уже не на что, — шутка сказать, с самой коллективизации ничего не строили! Да вот не дают отсрочки!..

Я уже и не рад был, что затеял этот разговор. Ничего дельного посоветовать я не мог, напрасно лишь растрожил человека, да еще в канун воскресного дня, когда

он, вероятно, собирался отдохнуть. Мне стало понятно, что та принужденность, с какой встретила меня хозяйка, вызвана была ее желанием хоть ненадолго оберечь председателя от неприятных ему расспросов, что и парень-то, конечно, сразу нашел его, а это сам председатель велел сказать, будто его никак не разыщут. И не столько потому, что я и впрямь надеялся получить ответ, сколько из вежливости, я спросил председателя, что же он думает делать.

Вероятно, он все же решил, что я если и не уполномоченный, то какой-либо другой «представитель», и сказал, как привык в подобных случаях говорить докучливому начальству, что он будет бороться за повышение урожайности всех культур и за высокую продуктивность животноводства.

После этого разговаривать как-то стало не о чем, и мы улеглись спать, а утром, едва рассвело, к удовольствию хозяев, приглашавших, правда, дожидаться завтрака, я попрощался с ними и уехал из села.

Я миновал околицу, и долго еще из памяти моей не шел угрюмый председатель, как он стоял, насупившись, у стола, когда мы прощались, а в зеркале, в металлических украшениях аккордеона, занявшего весь подзеркальник, в никелированных шариках кроватей сияли слепящие отражения большой, ничем не прикрытой электрической лампы.

4

— А я думал, вы что-нибудь интересное расскажете, опыт какой-нибудь, — выслушав меня, говорит Иван Федосеевич.

Все же мне хочется знать, как поступил бы Варфоломеев, доведись ему работать в таком колхозе, как тот, о котором я рассказал.

— Никакой тут хитрости нет, — отвечает Иван Федосеевич. — Ошибся, конечно, ваш председатель, а ему не подсказали. Видать, молодой, не знает, что иной раз и хочется мяса, а зарежешь свинью — и всю продашь, только уши оставишь. В хозяйстве иначе нельзя... Ему бы ссуду на свиноводство истратить. С этого и пошел бы жить. А он — электростанцию!.. Кто ж это покупает поддонник вперед коровы?

И он принимается рассуждать о том, что половина успеха в каждом деле зависит от того, с чего начать. Он говорит, что это плохо сложили, будто конец — делу венец. Начатие — всему корень. А конец надо в голове держать и все примерять да прикидывать, угадаешь ли к тому концу.

В связи с этим мне вспоминается, как минувшей весной ехали мы с одним журналистом в Вексу и встретили у выезда из села Ивана Федосеевича, который стоял, придерживая велосипед, — он куда-то собрался ехать, но увидел нас и решил подождать. Журналист сказал Ивану Федосеевичу, что такому, мол, колхозу, у которого пять грузовых машин, пора, давно пора иметь «Победу». Он повел разговор о культуре, о том, что и здание правления в Вексе выглядит неказисто и что надо, дескать, по этой линии подтянуться. Иван Федосеевич промолчал, и я бы забыл об этом случае, но неделю спустя, когда мы шли с ним из Стрельцов, одной из деревень Вексинского колхоза, мое внимание привлекли потемневшие от времени бревна, лежавшие среди поля у дороги. Я спросил о них Ивана Федосеевича, и он сказал, что тут у него запланирована центральная усадьба — правление, амбар и склады, навесы для машин. Дело в том, что сейчас все это в разных местах, главным образом в Вексе, потому что там шоссе рядом — в распутицу из всего колхоза одна только Векса и связана с миром. А село ведь строилось без расчета на колхозное хозяйство, и когда, к примеру, весной приходят тракторы, они стоят прямо на улице, чтоб из окна правления было видать, не балуют ли ребяташки. Да и ставить-то их больше некуда.

— А здесь у нас все вместе будет, — как бы мечтая вслух, говорил Иван Федосеевич. — И опять же не станет этой вредной привычки считать, что колхоз — Вексинский. Имени Ленина он, а в Стрельцах, в Любогостицах, в Николо-Перевозе да в Усолах, как и до укрупнения, кое-кто говорит: у них, мол, в Вексе... Коллективное сознание мы этим строительством воспитаем.

Он шагал несколько впереди меня по раскисшей грунтовой дороге, и как только вытаскивал ногу из грязи, отпечаток сапога тотчас же наливался водой. Вода стояла в канавах вровень с землей. Шумел дробный весенний дождик, грязь хлюпала под ногами. Иван Федосеевич остановился, смерил взглядом расстояние от бревен до

темневшей далеко впереди Вексы, показал на дорогу и, словно отвечая кому-то, проговорил:

— С дороги надо начинать. А там и «Победу» купим.

С такой же точно убежденностью он говорит теперь о свинарнике, с которого, по его мнению, должен был начинать хозяйство неизвестный ему председатель колхоза. Легко заметить, что Иван Федосеевич уже увлекся этим, что ему интересно представить себе, как взялся бы он хозяйствовать в отстающем колхозе, на неродящих песках и гиблых болотах.

Рассуждать о хозяйстве для Ивана Федосеевича истинное наслаждение, самое слово это «хозяйство», которое он выговаривает чуть нажимая на первое «о», воспринимается им, я думаю, как иным человеком поэзия.

Надо было слышать, например, как в поле, где на месте распаханного заболоченного кустарника росли подсолнечник и горох, посеянные на силос, Иван Федосеевич рассказывал, что нынче он придумал сеять с подсолнечником не простой горох, созревающий к осени, а так называемый консервный, который он успеет собрать до того, как начнут косить зеленую массу. Надо было видеть, как он сорвал стручок и, перекатывая на ладони мясистые ядрышки, стал подсчитывать, сколько дополнительного общественного продукта даст эта его счастливая выдумка. Надо было наблюдать председателя в эту минуту, чтобы понять, что хозяйство и поэзия и впрямь для него равнозначны.

Иван Федосеевич берет нож и кончиком его принимается водить по пустой селедочнице слева направо короткими, решительными движениями, будто отбрасывает костяшки на счетах. За перегородкой шумит чайная; слышно, как чей-то пьяный голос, ища сочувствия, слезливо жалуется на Раису Кирилловну, а другой, не менее пьяный, рассудительно поучает: «Терпи! Насколько ты глупее, настолько она умнее...» И еще один голос, певучий женский, принадлежащий, должно быть, базарной спекулянтке, рассказывает об открывшейся недавно комиссионной торговле колхозными продуктами и горько сетует: «Ну, скажи, от груди меня отняли!» Весь этот шум ничуть не мешает Ивану Федосеевичу излагать свои мысли.

— В ихних местах,— говорит он неторопливо,— торф есть. А с торфом и на песке картошка хорошо пойдет. Вот вам и кормовая база для свиноводства. Я бы и вовсе

не стал там сеять зерна. Польза от ихней ржи, по вашим словам судить, как у нас от овечек: только что на бумаге значится. Взял бы кто да подсчитал, во что ихняя рожь обходится при урожае в три центнера, или шерсть с нашей овцефермы, если у меня, что ни год, половина овец дохнет. Не живут они в наших условиях, а зоотехник говорит: «по плану положено...» Как же это с объективными законами согласовать?

Здесь надо пояснить, что почти весь Райгородский район лежит в обширной котловине вокруг древнего озера Пучибожь. Дно озера покрыто илом, озеро мелеет, зарастает тростником и не способно принять в себя всю ту воду, какую несут в него бесчисленные речки и ручейки. Здешние земли, можно сказать, покоятся на воде, здесь много болот и заболоченных вересковых пустошей, а весной и осенью даже в полях стоит вода. От этой постоянной сырости овцы болеют, и чтобы иметь определенное поголовье, колхозам приходится ежегодно покупать овец на стороне.

— Суворова читали когда-нибудь? — неожиданно спрашивает меня Иван Федосеевич. — У нас вот в войну командиром части один майор был, некий Степанов, так он всегда Суворова нам приводил: «Каждый солдат должен знать свой маневр». Что бы и председателю колхоза так говорили: применяйся, дескать, к местности и к обстоятельствам, знай свой маневр! Для чего бы я стал держать тогда овец, если у меня все условия для молочного хозяйства? Или зачем нам пятьдесят гектаров цикория сеять, когда мы их обработать не в силах, а машины еще для этого не придуманы? Лучше уж мы посеем двенадцать, даже десять гектаров, да будут они у нас ухожены как следует, — тогда мы с них столько же соберем, как с пятидесяти. А остальную землю можно еще чем-нибудь занять. Теперь-то она считается под цикорием, на самом же деле цикория-то за сорняками не видать. Сказали бы мне, — мечтательно вздыхает Иван Федосеевич: — сдай такой-то продукции в таком вот количестве, — а где там посеять да сколько — это уж мой маневр.

Однако, продолжает он развивать свою мысль, чтобы председателю колхоза «знать свой маневр», необходимо ему изучить две науки — сельскохозяйственную и экономическую. Но если с первой наукой сейчас вроде бы благополучно — прошли уже те времена, когда он,

Варфоломеев, и семена попусту гноил и не знал, отчего у него клевер не растет,— то про вторую что-то не слышать: либо ее вовсе нет, либо она отстающая.

— И про обработку почвы нам известно,— говорит Иван Федосеевич,— и про удобрения, и про то, как составить правильный рацион. А вот как учесть да подсчитать, чтобы выгода была, этому нас не учат.

Не первый раз слышу я, как Иван Федосеевич рассуждает о выгоде, и невольно задаю себе несколько наивный вопрос: кем бы он был, крестьянин из Вексы, коммунист с двадцатых годов, доведись ему жить в старое время? Такой вот, по-мужицки костистый и крепкий, чуть сутулый, с загорелой, морщинистой шеей в просторном вороте косоворотки, с мечтательным и спокойным взглядом больших серых глаз, он почему-то представляется мне деревенским книжечем, мирским, живущим «по справедливости» человеком, или же, уйдя он в город, рабочим, нашедшим «правду-истину» в подпольном марксистском кружке. Ведь и ухватливым-то он стал, и оборотливым, и копейку научился считать потому только, что хозяйство-то у него не свое, а мирское, коллективное и отвечает он за него перед колхозниками и государством.

— Вот вам задача,— продолжает рассуждать Иван Федосеевич.— У нас в колхозе доход полтора миллиона, и у соседа нашего полтора. Мы выдали, не считая продукции, по четыре рубля на трудодень, а сосед-от — рубль с двугривенным. Спрашивается: почему?

Он смотрит на меня с хитринкой, затем, не дождавсь ответа и весьма довольный этим, рассказывает, что у соседа плотники наемные, тогда как он, Варфоломеев, своими обходится, что сосед за одну лишь пастьбу скота платит сто тысяч в год, тогда как у него, Варфоломеева, пастухи не наняты, за трудодни работают...

— Но здесь еще не вся отгадка,— посмеивается Иван Федосеевич.— Придумали мы госконтроль у себя завести. Специальную девушку посадили в конторе. Сосед-от на учете экономит: накладной, говорит, расход. А нам не жалко, пишем ей за ее работу трудодни. А работа вот в чем: положено, скажем, по производственному плану на такое-то и такое дело столько-то трудодней,—она и контролирует, чтобы перерасходу не было. Очень полезная девушка, хотя и ругают ее иной раз бригадиры: «Бюрократ!» Вы поинтересуйтесь, сколько у соседа в год трудо-

дней выходит да сколько у нас. У него в колхозе так называемая инфляция, а мы лишнего трудодня не выпустим в оборот.

Забота об общественной выгоде, свойственная Ивану Федосеевичу, вступает в противоречие с тем пониманием выгоды, какое имеется еще у иных колхозников, и это доставляет председателю немало неприятностей. Живст, скажем, в Любогостицах ленивый и вздорный мужичонка Афанасий Гунькин. Еще не было случая, чтобы Гунькин больше полугода поработал на какой-либо одной должности: был он и кладовщиком, и молоко возил на сливной пункт, и в пастухах ходил, — все ищет, где прибыльнее. Родня у него большая, так что на общих собраниях, когда решают, например, отчислить двадцать процентов дохода в неделимый фонд или какое-нибудь другое дело, от которого ему, Гунькину, не впоследствии немедленной выгоды, все Афанасьевы родичи голосуют против.

А сколько заявлений и жалоб на Ивана Федосеевича написал Афанасий Гунькин! И в райисполком, и в милицию, и в прокуратуру... Минувшей осенью, когда Гунькин кончил пасти скотину, он потребовал, чтобы ему оставили в личное пользование резиновые сапоги и плащ, выданные колхозом. При этом он ссылаясь на соответствующий пункт правительственного постановления по вопросам развития животноводства. Иван Федосеевич отказал Афанасию, и тот немедленно настроил жалобу прокурору. Пришлось Ивану Федосеевичу ехать в Райгород, объяснять, что в правительственном решении сказано «рекомендовать колхозам», а раз так, то имеет он право действовать по своему усмотрению: хорошим пастухам оставить плащи с сапогами, а Гунькину, у которого теленок в болоте утоп, ничего не давать.

Вот и сегодня, рассказывает мне Иван Федосеевич, вызывали его по жалобе Гунькина в прокуратуру. После снижения налога с приусадебных участков, когда стало выгодно разводить сады и сажать дорогие сорта овощей, Афанасий надумал разделиться со своей одинокой семидесятилетней матерью, чтобы получить еще одну усадьбу. Правление колхоза, разгадав его хитрость, отказалось признать этот раздел, и тогда Гунькин завопил, что Варфоломеев нарушает социалистическую законность.

— Он ведь не какой-нибудь жулик, — усмехается Иван Федосеевич, — украсть не украдет, а на законном

основании ищет свою выгоду, норовит содрать кусок пожирнее...

Удивительно, что это слово «выгода» звучит совсем по-иному, когда Иван Федосеевич произносит его применительно к Гунькину! Оно как бы принадлежит к числу тех слов, которыми определяются низменные, темные понятия. А вот в применении к колхозным делам это же самое слово в устах Ивана Федосеевича теряет свой изначальный торгашеский смысл, становится в ряд с благороднейшими словами.


— Пошли! — прерывает мои размышления Иван Федосеевич.

Расплатившись, мы выходим с ним из задней комнаты, пробираемся к выходу, отделенные друг от друга длинным рядом столиков, за которыми сидят люди, и Иван Федосеевич через их головы громко спрашивает меня, читал ли я такой роман — про семью Журбиных.

— Там дед один есть, — рассказывает он. — Так этого деда ни уволить на пенсию, ничего с ним не сделать — хозяин на заводе. Вот и мечтается мне: как бы это научиться таких людей воспитывать?

Он открывает дверь, и сквозь облако мгновенно остывшего воздуха, хлынувшего вслед за нами, мы выходим на улицу.





Н. Емельянова

Р О Д Н Я

В доме у Стрежневых ждали гостей. Костя об этом догадался еще вчера, когда отец вечером тронул его за плечо и сказал, что они сейчас пойдут забросят сетку. Было уже поздно. К рске они подошли почти в полной темноте, но, как всегда, присмотревшись, Костя увидел сквозь голые ветви тускло блестящую воду и отмель, засыпанную желтым листом. Отец поставил сетку с обласка, и потом уже вместе с Костей они отплыли на большой лодке подальше и начали ботать...

Когда развешивали сеть во дворе, мать поставила на окно лампу, и полоса света легла на темную землю, на белые березовые бревна, сваленные посредине двора и напоминающие о близкой зиме, и на маленькую баню с плоской крышей, по краю которой торчали былинки сухой травы. Мокрая сеть повисла почти до земли, в ней серебряно заблестели рыбы чешуйки. Костя побежал в избу. Там было тепло, младшие братишки спали, и когда он укладывался рядом с ними, запел петух. Голос у этого петуха был звонкий, и тогда, как все петухи в деревне пели «кукареку-у», Костя ясно слышал, что их петух поет: «Ах, хо-ро-шо-о-о!». Костя и сам подумал, что все очень хорошо; петух, красный с зеленым хвостом, гордо прошел мимо него, и Костя крепко заснул.

Он проснулся и увидел склоненное к нему лицо матери. Кружочки в серых глазах ее как будто были обведены темной чертой, и от этого очень чистыми казались белки. В эти минуты пробуждения Костя всегда чувствовал особенную связь с матерью. После, днем, она могла рассер-

даться и крикнуть на него, но по утрам вся она была обращена к сыну.

— Вставай, сынок, пора,— ласково сказала она.— Рыбак мой дорогой!.. Рыба-то у вас вся дельная нынче.

И, конечно, не успел он умыться, мать тут же нашла ему дело: наколоть и принести дров для печки, наносить воды...

В том, что дома ждали гостей, для Кости не было ничего интересного, если бы не одно обстоятельство: старший брат его, Виталий, приехав этим летом в отпуск, женился, и родители долго обсуждали, радоваться им или нет этому событию. Виталий привел в дом молодую жену, а сам вернулся в город, на завод, где после окончания ремесленного училища работал уже два года и остался на третий. Все случилось так неожиданно, что отцы и матери познакомились лишь на свадьбе в доме родителей невесты, новая же родня еще не побывала у Стрежневых, хотя и жила в пятнадцати километрах от них, и в деревне говорили, что все в этой свадьбе делается не по обычаю. И вот теперь предстояла встреча двух породнившихся через детей семейств.

Костя равнодушно встретил переезд к ним в дом молодой учительницы школы, куда сам ходил пятый год. Она так и казалась Косте учительницей Антонинной Филипповной, а не женой брата. Она поселилась в отдельной комнате, поставила свою кровать с кружевным подзором, застелила светлой клеенкой стол — он теперь стал ее столом — и на нем стопочками разложила тетради и книги, среди которых были до сих пор неизвестные Косте «методические пособия». Тут же стояла карточка Виталия.

На карточке брат был снят с парашютной сумкой за плечами, снаряженный для прыжка, и его смелое лицо говорило, что он ничего в жизни не боится. Прыгнет вон с какой высоты и твердо ступит на ноги на родимой своей земле! Кому-кому, а уж Косте был известен характер брата. Виталий был самолюбивый и что задумает, от того век не откажется, сделает.

Мать однажды сказала ему робко: «Что же ты, Виталий, так рано женишься? Я бы тебе ничего не говорила, если бы ты оставался дома: живите себе, нам только радость. А то оба молоденькие, будете врозь жить, дело-то может повернуться не так, как задумано. Или бы ты ее к себе взял...» — «К себе мне еще некуда жену взять,—

ответил Виталий, — да и ей не хочется стаж терять: два года уж учительствует, тут и в комсомол вошла». «Так погодите жениться». — «Нет, мама, поженимся! Я еще с тех пор ее запомнил, как мы в шестом классе с ней учились. Еще год-два проработаю и вернусь в деревню». Уперся — и поставил на своем.

Косте казалось, что брат с карточки смотрит на Тоню, как она, высокая и стройная, собирается в школу, наклоняется над столом в белой чистой блузке, складывает кипу тетрадей и книг и непременно помедлит перед фотографией. Вечерами она подолгу сидела за этим столом, а иногда с книгами и тетрадкой шла в большую комнату, где отец писал отчет за десятидневную работу своей тракторной бригады, и садилась напротив него. Отец спрашивал, почему она так долго работает, и Тоня отвечала, что ей надо еще продумать и составить план урока.

Однажды случилось, что в школу на урок Костя пришел в смешливом настроении, и когда его вызвала Марфа Дмитриевна, он прыснул, закрыв рот рукой, и потом все не мог успокоиться и смеялся, уткнувшись в парту. Тоня вернулась домой, когда все сидели за ужином, посмотрела на Костю серьезными глазами и чуть-чуть качнула головой. «Ну, теперь пожалуется!» — подумал Костя и нахмурился. Но утром Тоня сказала ему, что просила Марфу Дмитриевну извинить его, с тем чтобы это больше не повторялось. Все ребята в классе завидовали, что жена Костиного брата учительница, и говорили, что теперь Косте можно учиться кое-как — все равно переведут! Ему понравилось, что Тоня заступилась за него.

— ...А вот то, что ты скрыл дома двойку за диктант, никуда не годится. Тут я не могу оправдать тебя. И уже сказала все отцу...

— Ой! — закричал Костя. — Он же меня будет ругать!

— Ну что ж делать! — ответила Тоня. — Ты очень виноват, что скрыл. Мы решили с папой, что я буду заниматься с тобой по вечерам...

И хотя Костя обиделся на Тоню, он все же рассмотрел различие между поблажкой и помощью. Теперь, сидя за уроками, он чувствовал, что Тоня наблюдает за ним. Помогая матери управляться с хозяйством, она вдруг говорила:

— Костя, руку держишь неверно, не сжимай так пальцы!

Он все чаще слышал, как мать говорила отцу, что Тоня хорошая для них сноха: и ребят, слышно, хорошо учит, и знает всю колхозную работу, — но отец отвечал загадочно: «Два года — большой срок!» И Костя слышал в его словах неодобрение не то Тоне, не то Виталию. По мнению Кости, опасаться было нечего. Ему уже хотелось, чтобы у брата с Тоней все было хорошо.

...Костя в последний раз сбежал к реке с двумя греющими ведрами в руках, зачерпнул воды и, поставив ведра на глинистый мокрый берег, засмотрелся. Какими легкими и тонкими стали деревья! Летом густые их ветви загораживали весь берег, а сейчас за подсохшими, желтыми листьями виден крутой его склон, покрытый бурой травой, и тропинка, еще недавно тенистая и глухая, сейчас вся как на ладони...

Поднимаясь с полными ведрами мимо огорода, где светлозеленые кочаны капусты рядами сидели на черной земле, Костя увидел, что отец куда-то поехал на велосипеде, наверно, на поля.

Когда Костя вернулся из школы, Тони дома еще не было, а мать домывала крыльцо. В избе все по-праздничному опустело и притихло, половики были гладко постелены на вымытых полах, на прозрачных стеклах выделялись листья бальзаминов и гераней: мать обобрала с них сухие листья и sprыснула водой. Широкая кровать в углу была застелена голубым байковым одеялом, и две подушки в цветастых наволочках взбиты и посажены углами: мать считает, что так красивее.

— Вот уж и вечер, — вздохнула она, входя, — а отца все нет. С полей обещал заехать к сватам, да, видать, загостился. А я и не знаю, то ли приедут, то ли нет. — И стала на всякий случай сдвигать столы.

Первыми приехали из соседнего колхоза брат матери, дядя Паша, с женой, крепкой и румяной теткой Лизой. Два меньших Костиных брата — пятилетний Федюшка и трехлетний Саня — кинулись им навстречу. Тетка Лиза села на скамью около окна и обняла худенькую спинку своего любимца Федюшки.

— Эге! — сказала она. — На эти ребрышки надо бы еще нарастить жирку.

— Да ведь есть-то не дают! — горестно ответил мальчик.

— Неужели? — удивилась тетя Лиза. — А я как ни приеду, ты все у матери выпрашиваешь то молока, то сахарку...

— Не дают! — отчаянно крикнул Федюшка.

Подошла смеющаяся мать.

— Нынче, Лиза, я про них забыла: весь день варила да стряпала. Какая она, новая-то родня? Еще осудят. Дети, говорят, у них все ученые... Чего ж я тебе не даю, сынок?

— Молочка дайте!

Мать налила молока в стакан и положила около стакана большой кусок пшеничного хлеба. Федюшка мигом залез на лавку и занялся едой. Через пять минут он сказал расстроено:

— Мама, глядите, хлеба-то не хватило!

Мать мигнула тете Лизе и отрезала еще кусок хлеба. Прошло немного времени, и Федюшка снова позвал:

— Мама, теперь молока не хватило...

— Вот беда с тобой! — засмеялась мать. — Этак-то мы до ночи не поедим: то одного не хватает, то другого. Беда! — И налила еще стакан молока.

Федюшка посмотрел на мать, допил молоко, сказал:

— Теперь я заправился. Теперь Саньку кормите.

И снова выскочил во двор — бегать большими кругами, по пути перепрыгивая через поросенка. Косте все это было хорошо известно. Мать доила корову, когда в избу, разматывая шаль на голове, легкой походкой вошла высокая женщина. Она отбросила шаль на плечи, и Костя увидел круглое, очень похожее на Тонино, лицо и доверчивый взгляд веселых глаз. Гостья прямо направилась к дяде Павлу, сидевшему на кровати, и протянула ему руку.

— Анисья Степановна, — объяснила она, — Тонина мать, Анисья Степановна. — Потом поздоровалась с теткой Лизой.

— Здравствуй, сватья! — ответил дядя Паша. — Мы с тобой маленько знакомы. А уж свата-то я и побольше знаю.

— Верно, Павел!

Высокий спокойный человек шагнул в избу. Короткая, но чрезвычайно густая светлая борода его разрослась широко на моложавом лице, вылезла даже на крепкие щеки. Волосы на голове его были похожи на плюшевую

шапку. Он тоже протянул Павлу длинную, большую руку с широкой ладонью.

— Вот как бывает! — сказал он. — Сам я конюхом уже пятнадцать лет, а приехать раньше не смогли — телегу искали. Да если бы так коней у меня дожидались, вся езда стала бы.

Вбежала мать, обхватила Анисью за шею и поцеловала ее в губы и в щки. И сразу же быстро заговорила, словно век ее знала:

— А мы, сватья, ведь Егора потеряли. Хожу, гляжу в окошки: накрывать столы или не накрывать? Привезет или не привезет? Ты, верно, сватья, ему стаканчик подала?

— Да не один, сватьяшка, — оглядывая выкрашенные голубоватой краской окна с пышными цветами на них и словно отыскивая что-то, ответила гостья. — Сват-то с нами приехал...

Она как будто хотела сказать: «Сват-то приехал, а вот кого-то недостает!»

— Насилу я дождалась, — сказала мать, — а Тони и до сих пор нет. Как уехала в район...

Вошел отец вместе с братом Тони — высоким серьезным юношей; он учился в десятом классе в своем селе и показался Косте совсем взрослым. Увидев маленького Саню, робко стоявшего у стола, отец тяжеловато опустился перед ним на корточки, обнял обеими руками и, приблизив к нему лицо, долго смотрел, улыбаясь, потом поцеловал и поднялся.

— Вот у нас уже нет в доме маленьких; — с сожалением сказала Анисья Степановна.

— С маленькими весело жить, — ответил отец. — Весь труд нашей жизни, все старания — для них.

— Для них-то уж ладно, отец, — усмехаясь, сказала мать, — а вот для нас поди поколи-ка дровец помельче: рыбу-то вашу я не всю пожарила.

Отец махнул рукой в сторону жены, что должно было означать: «Не дает поговорить по душам с человеком!» Мать засмеялась, глядя ему вслед:

— Пусть просвежится, а то гости соберутся, а хозяин пьянее вина.

По Кестиному мнению, отец вовсе не был пьян, но он знал, что мать любит пошутить на людях, и счел это за шутку.

Анисья Степановна держала себя в избе так, будто много раз бывала тут. Когда мужчины закурили и заговорили о своем, она весело принялась помогать матери и тете Лизе уставлять столы; ее высокая фигура в гладко облегавшем ее синем платье легко двигалась из кухни в комнату. Она и фартук взяла с собой, как будто, еще выходя из дому, намеревалась помогать в семье, куда ушла ее дочь.

— А как же тебя зовут, парень? — спросила она Костю и, узнав имя мальчика, сказала, внимательно глядя на него и как бы прикидывая, какой он. — Здоровый ты, крепкий. С лица-то на брата не походит как будто...

— Вон там, сватья, карточки стоят, погляди, — отозвалась мать, хлопоча у стола.

— Да я Виталия на свадьбе рассмотрела: хороший он... Вот какой он к Тоне будет? — и вздохнула.

«А зачем ей знать? — подумал Костя. — Они сами знают про себя, а то бы не женились».

— Нет, Виталий парень славный, — уверенно отозвался дядя Паша. — Вот только отдельно живут пока: он в городе, она тут... Лишь бы он сам не прозевал, будет у них жизнь.

— То-то и есть, сваток, — отозвалась Анисья Степановна, — все и беды женские от того.

— А бывает, — сказала тетка Лиза, — что в первые годы живут несогласно, а потом, как друг друга узнают, тогда и согласие настанет. Вон как у Егора с Фросей. Ох, сначала приняла она горя, не дай бог!

Анисья Степановна как-то испытующе взглянула на мать, и Костя заметил, как небольшая темноволосая головка матери гордо откинулась назад.

— Что было, то прошло, — спокойно ответила она.

Костя, видевший, как плохо живут отцы и матери в иных семьях, никогда не думал, что и у них в семье могло быть так. Значит, все-таки бывает, что женщина «принимает горе» даже от такого хорошего человека, как отец!

— Эх, Фросенька, — уловив что-то в тоне матери, ласково сказала Анисья Степановна, — ведь у каждой из нас что-нибудь есть, чему бы и быть не надо. Не так легка и моя жизнь... — Она расставляла тарелки на большом столе, и Костя увидел, что она очень похожа на Тонию не только круглым чистым лицом с большими темносерыми глазами, а даже манерой ходить и, наклонясь к столу,

расставлять посуду.— Мне что не любо,— сказала она, выпрямляясь,— хоть год прожили бы вместе, лучше бы свыклись, может, ребенок их крепче связал бы. А то будет жить в городе один, без жены... Придерживать мужа все-таки требуется.

— А жену? — усмехнулся дядя Павел.

— Да и жену тоже... А! — вдруг махнула она рукой, словно отрывая от себя думы.— У них все вышло не так, как у нас, может, и жизнь у них сложится легче! — И спросила у матери, носить ли сразу на столы жареную рыбу или у них после подают.— У кого ведь какой обычай,— прибавила она.

Гости теперь уже шли по двое, по трое. Костя, забрав с собой младшего братишку, чтобы он не мешался под ногами у взрослых, сел у печки и оттуда смотрел, как в избе все больше собиралось людей, знакомых ему. И счетовод Илья Мезенцев, и дядя Силин, и комбайнер Девяткин — все это были совершенно свои, как домашние, люди. Когда они не заставляли дома отца, они садились в избе, свертывали цыгарки, разговаривали с матерью, брали на колени меньших ребят. Но сейчас они проходили мимо Кости, не здороваясь с ним, протягивали руку матери, хотя в обычное время этого не делали, на секунду задерживали ладонь на подвернувшейся головке Федюшки или Саньки; внимание их было сосредоточено на родных Тони, из-за которых они и собрались.

Особенно интересным показалось Косте, когда пришли работавшие все лето около деревни инженеры. Обоих — мужа с женой — Костя встречал на берегу реки, куда постоянно бегал с мальчишками. Там стояла палатка, в ней жили рабочие. Они бурили скважины: может, искали нефть или еще что-нибудь. Инженеры познакомились с отцом в сельсовете, и Марина Фаддеевна иногда приходила к матери за молоком или за квасом.

Она была красивая, с гладко причесанными светлыми волосами и сегодня оделась в пестрое шелковое платье. Марина Фаддеевна таким твердым, уверенным шагом вошла в комнату и стала здороваться с гостями, что Костя подумал: «У нас в деревне таких женщин и нет вовсе». Муж ее, молодой и видный, вошел за нею, поздоровался с отцом и, тряхнув головой, откинул назад густые русые волосы.

Столько набралось народу, как никогда не бывало

раньше. Костя думал, что вот он посидит, посмотрит и, как всегда, заберет братишек и уведет ночевать к соседке, тетке Дарье. Но Федюшка, все время бойко сновавший среди гостей, забрался на кровать и под громкий говор неожиданно уснул крепчайшим сном. Мать отнесла его в Тонину комнату, забрала от Кости полусонного Саньку и уложила рядом с Федюшкой.

— Сынок,— сказала она Косте,— ты никуда не ходи, тут и ляжешь.

И Костя остался.

Гости уселись за стол. Мать торопливо добавила вилок и ложек и передала отцу четверть с вином. Сама она не садилась, а все ходила вдоль стола и угощала. Косте было видно, как поднялись стаканы, как задвигались плечи и головы собравшихся. В избе стало шумно от разговоров и смеха.

Жена инженера в разговоре не отставала от мужчин, она все знала, обо всем могла сказать. Рядом с ней посадили Анисью Степановну. И она все взглядывала на городскую женщину и слушала ее.

Костя знал, что женщины любят осудить другую женщину, но на Марину Фаддеевну все смотрели с уважением: ее не раз видели на работе, когда она задавала рабочим шурфы и записывала образцы пород. Костя с любопытством смотрел, как инженер протягивал жене через стол тарелки с угощением и, привстав, клал ей кусок студня или пирога, а она благодарно кивала ему.

Отец и мать снова разлили вино по стаканам, и мать сказала:

— Ну, сваты, будьте здоровы! — а сама обняла вставшую из-за стола Тонину мать, и они крепко поцеловались, приговаривая:

— Так-то всю жизнь — целоваться да радоваться.

— Теперь надо выпить за здоровье женщин,— сказал инженер, молодежато вставая и обводя глазами лица, обернувшиеся к нему.

Все выпили за женщин, и сами женщины допили стаканы до дна.

Но когда мать снова стала наливать вино, Марина Фаддеевна прикрыла свой стакан маленькой розовой рукой, засмеялась — на щеках ее появились ямочки — и отрицательно покачала головой.

— Нет, нет,— сказала она, — я совсем мало пью. Но

раз за женщины, значит пей до дна! — и взглянула на мужа, который пил, не отказываясь, и все краснел.

— Ох, — сказала Ани́сья Степа́новна, глядя на инженера своим доверчивым, ласкающим взглядом, — верно, верно вы говорите — за женщины нельзя не выпить. Нам делов в жизни положено много. Одни мужья... Что ж? — тряхнула она своей аккуратной головой. — Ведь с ними, идолами, тоже жить нужно уметь. Также, бывает, задача нелегкая. Ты с ним наравне работаешь, а он все себя головой считает! Верно я говорю, бабочки?

Женщины засмеялись, и Костя увидел, как отец потянулся к стакану Ани́сьи Степа́новны, долил доплна, хотя она и хотела отодвинуть.

— А и правда, сват, доливай, — просто сказала она. — Люблю женщины, которые не пьют, такие они самостоятельные! А я люблю же выпить. Вот люблю вино! Все от души скажешь. Верно, Фрося?

Она выпила стаканчик, обтерла губы платочком и наклонилась к Марине Фаддеевне:

— А вот что я скажу вам: вам все легко, вы, может, сами из образованной семьи, вам не удивительно, что вы в школу пошли в самую высшую и сами вы не ниже мужа — инженер. А вот мы с мужем... Он конюх, и я колхозница. А дочери у нас и сын ученые. Старшая — докторша, Тоня — учительница. Легко ли нам было их выводить! Не в том дело, чтобы прокормить, пока учатся, а вот мы говорим бывало с Филиппом. «Как мы детей от родной земли оторвем? Как они на другую работу повернут? Мы всю жизнь руками работали, а дети наши будут головой смекать. Учи-тель-ница! Сколько надо знать, чтобы людей учить! Да не выйдет ли худо...» — «Э, отец, говорю, давай так решим!»

— А, наверно, ты сватья, и то имела в виду, чтобы отвести дочерей от тяжелой деревенской работы, — сказал дядя Павел.

— Люблю правду, думала и об этом. Я же по себе знаю, как женщины порой приходится. Одни мешки с зерном потаскай-ка... Это мужику впору, да и тому не легко. Но главное, хотели мы, чтобы дети у нас были ученые, умные. И вот дети стали на свои ноги, их теперь за умные хвалят...

Она говорила, уже обращаясь к матери, которая присела рядом с ней на скамью:

— ...Вот Тоня и замуж не спросясь пошла. Сердце у матери, сама знаешь, болит. Ну что ж, обижаться нам теперь? Нет, значит, она силу в себе чувствует, не боится с мужем молодым на два года разлучиться. А коли так, и мы ей ничего поперек не скажем, сбивать не будем. Мы тебя хотели вырастить по-новому, так ты и поступай, как тебе виднее в новой-то твоей жизни...

Мать крепко обняла Анисью Степановну, и Костя понял, что это она сделала не по обычаю, как было при встрече, а от всей души. Анисья Степановна раскраснелась. Женщинам, сидящим на этом конце стола, она видно, поправилась, все с одобрением смотрели на нее.

...Чем дальше шел вечер, тем шумнее становилось в избе. Мать подносила в графине вино, но теперь подавала не отцу, чтобы он разливал гостям, а своему брату Павлу. Отец сильно захмелел, но был добр и весел, все шутил с гостями.

Костя сидел и думал о том, хорошо или плохо пить вино. Выходило, что очень хорошо: все развеселились, улыбаются, шутят, разговаривают. Люди отдыхают после большой, долгой работы, и этот отдых хорош тем, что они собрались все вместе. Конечно, отдыхать можно и одному, но от этого нет веселья.

Даже если выпьет один, запоет, какое же это веселье? А вот все вместе — это да!

И вдруг вошла Тоня. Видно было, что она очень спешила, от нее пахло свежим воздухом, темные глаза ее блестели. Войдя, она сначала поклонилась гостям, потом родным и поцеловалась с матерью.

— Пешком от Мартьяновки... Да, да... Только в девять часов кончилось. На семинаре агитаторов была в рай-оне... — говорила она, пробираясь в свою комнату. — Я сейчас выйду.

— Ну, Костенька, что же ты тут уселся? — сразу спросила она. И то, что она, только успев переодеться в светлое тонкое платье, вспомнила о нем, обрадовало Костю.

— Ничего, я лучше тут, — конфузливо сказал он, зная, что за стол с большими ему, мальчику двенадцати лет, садиться не положено.

Но Тоня, смеясь, подхватила его подмышки, и Костя с удивлением почувствовал силу этих маленьких рук с бархатистой, как у детей, кожей.

— Мама,— сказала Тоня, обращаясь к матери Кости, хотя настоящая ее мать сидела тут же рядом,— позвольте, Костя сядет с моим братом за стол?

Но хотя мать позволила и красивая жена инженера приветливо улыбнулась ему, Костя посидел немного перед поставленной Тоней тарелкой, помотал головой, когда она налила в стаканчик смородиновой наливки, и сказал:

— Не хочу. Горькое!

Потом, когда все перестали интересоваться им, вылез из-за стола и пошел на кухню. Не видя нигде матери, он вышел на крыльцо.

Из-за двери чулана он услышал ее голос.

— Да отвяжись ты, Егор! — досадливо говорила она.— Неужели я не знаю, как надо людей угостить? Уйди, уйди отсюда...

Послышался звук шаркающих по полу ног, как будто один человек толкал другого, а тот упирался. Костя отворил дверь и вскочил в чулан. В самых дверях стояла тетка Лиза. Костя налетел на нее, и она отвела его рукой в сторону. В чулане было темно, но Костя по движению тетки понял, что она взяла отца за руку.

— Иди, иди, мы с Фросей без тебя сообразим, чего и когда подавать! — говорила она и тянула его к двери.

— Что я тебе говорю... — сказал отец, порываясь к матери.

Костя не видел, но совершенно точно угадывал в темноте тонкую ее фигуру, склоненную голову с заплаканными глазами и большие руки тетки Лизы между отцом и матерью. Он не первый раз слышал, что когда отец выпьет лишнее, он говорит с задором, приказывает матери, хотя только что с гостями был веселым и добрым. Костя еще плотнее прилип к стене, чтобы отец его не заметил: он не мог оставить мать, сейчас — казалось ему — слабую перед отцом.

— Да не дам я вина,— снова сказала мать.— Разве я совсем его спрячу? — Она уже уговаривала отца, как ребенка: — Я после подам, когда надо будет...

За дверью послышался голос Анисьи Степановны.

— Сватья, куда ты захоронилась? — спрашивала она.

Мать, отстранив отца, вышла, и тетка Лиза за ней. Неожиданно для Кости мать сказала спокойно, даже веселым голосом:

— Мой-то! Требуется: «Подавай еще вина!» Да еще

ругается. Ты-то как думаешь, сватья? По-моему, погодить. Сейчас брагу пьют.

И они пошли к гостям. Костя слышал, как отец вздохнул, потом, шаря по стене рукой, пошел к двери и задел плечо Кости.

— Кто тут? — спросил он.

— Это я... Костя...

— А чего ты тут делаешь?

— Так... зашел.— Косте хотелось сказать: «Зачем ты мамку ругаешь?» Но он был приучен относиться к старшим с уважением и произнести этих слов не мог.

— Ну и иди, не торчи тут,— строго сказал отец и схватил сына за плечо.

У Кости вдруг горячо стало в груди, он рывком вывернулся из-под отцовской руки, почувствовал сильный толчок в спину и злым голосом сквозь слезы выкрикнул:

— Еще будешь тут драться! — и выскочил из чулана.

Он поскользнулся на сырых ступеньках крыльца, перебежал через двор и уселся на толстом березовом бревне.

«Вот и найди меня здесь!» — злорадно подумал он, чувствуя горькую обиду на отца,— может быть, за мать или за себя, за что-то неизвестно откуда свалившееся на него. Он первый раз в своей жизни так дерзко крикнул отцу и сейчас продолжал мысленно этот дерзкий разговор с отцом, испытывая чувство торжества над ним.

«Вот полезешь сюда, а я убегу да на бане схоронюсь. Достань-ка меня!» — подумал он с горькой отвагой.

Он ясно представил, как отец выходит из избы, неверной походкой идет к бревнам и шарит впотьмах рукой по гладкой березовой коре. А Костя сидит уже на бане, и отцу до него не достать. И неожиданно для себя вместо торжества Костя почувствовал такую глубокую, острую жалость к отцу, что горько и безудержно заплакал уже не о том, что отец больно толкнул его в кладовке, а о том, что вот вчера ночью, на реке, отец был такой хороший, а теперь плохой и Костя его не любит. И, вспомнив, как отец обнимал Саньку, подумал, что когда сам Костя был маленький, отец так же обнимал и любил его...

Тут он услышал, как перед утром звонко закричал петух.

— Тебе все хорошо да хорошо! — со злобой сказал Костя.— Вот отрубить тебе годову, чтобы не кричал «хорошо», когда все совсем не хорошо...

— Костя! — позвала мать.

Костя, присмотревшийся в темноте, увидел, что мать, выйдя на крыльцо и наклонившись тонким станом, черпает из большого жбана брагу и наливает в графин. Костя сразу же подбежал к ней.

— Ты куда ушел, сынок? — ласково сказала она. — Папка тебя спрашивал: где да где? А мне времени нет тебя покликать. Иди в горницу.

— Не пойду, — ответил Костя.

— Что так? Обиделся на кого-нибудь?

— Зачем тебя отец ругал?

— А это, сынок, дело наше, взрослое, — строго сказала мать, — ты между нами не суйся. Отец — он тебе отец и есть, судить его не надо. Пойдем, он тебе ничего не скажет.

Когда Костя вслед за матерью вошел в избу, посередине комнаты плясали отец с Анисьей Степановной. Она легко плыла перед ним, а когда он покачивался, заботливо наклонялась и поддерживала его, улыбаясь всем и как бы поясняя: «Как же, надо поддержать человека».

— Эх, жалко, — сказала она, приостанавливаясь, — Филиппушке моему много поднесли, он ведь гармонист необыкновенный. Дали мы промашку. Ну, отдохнет, потом сыграет.

Отец увидел Костю с матерью и сразу же пошел к ним. Остановившись против матери, он поклонился, хотел сделать выходку, но только стоял и ждал, улыбаясь. Мать пошла навстречу.

Но теперь Костя не знал, потому ли улыбается отец, что опять стал добрым к матери, или потому, что он всегда веселый при гостях. И почему у матери, когда она пляшет, локти прижаты к бокам и она только отмахивает в сторону словно скованные руки?

Нет, Косте не хотелось сидеть в избе, где так много было веселых, шумных людей, и он, накинув ватник, опять ушел во двор, но теперь забрался в телегу, на которой приехали Тонины родные. Он лежал на сене, слыша, как конь дергает из-под его головы сено, и, наверное, задремывал.

И вот уже заметно стало светлеть небо и Костя хотел было пойти в дом, как на крыльцо вышла жена инженера и долго стояла, глядя на посветлевшее небо, по которому как будто легкой кистью негустой серой краской были

проведены полосы, а на самом горизонте холодно лежала красноватая полоса.

Инженер отворил дверь и, увидев жену, подошел к ней.

— Ты что же тут одна? — спросил он. Она долго молчала, а он нетерпеливо спрашивал: — Опять чем-нибудь не угодил тебе?

— Нет, — ответила она, — угодил и даже чересчур. Для чего надо столько пить, не понимаю! И плясать с девушками...

— Ну, начинается! — сказал он. — Опять злишься?

Ему, видно, хотелось уйти в теплую избу. Костя чувствовал, как стало холодно перед утром.

— Холодно же, — добавил инженер.

— Зимнее небо... зимнее... — с каким-то непонятным Косте выражением протянула она.

Одно было понятно Косте: речь тут шла совсем не о небе.

— Идем! — позвал инженер.

— Я на плотину сейчас пойду.

— Ну, как хочешь... — и отворил дверь в избу.

Но на плотину она не пошла, а пробралась на огород, и инженер, вместо того чтобы идти в избу, догнал ее и пошел рядом с ней. Они долго о чем-то спорили, и Костя не знал, кому из них приходится нелегко, но ее жалел больше. Потом оба повернули обратно к дому, и лицо у нее было усталое, серое.

Косте почему-то понравилось, что и у «инженеров» бывают ссоры между собой. Он вспомнил, что отец с матерью ссорятся только после того, как съездят в гости или у себя соберут людей. Когда мать работает в колхозе, приезжает с полей, она, веселая, живая, хоть и усталая, кричит: «Отец, подбрось-ка мне дровишек, я сейчас баню затоплю!» Отец идет во двор, и вот уже около бани растет горка белых березовых поленьев, а мать, блестя глазами, перекинув на плечи коромысло с двумя ведрами, бежит к реке по воду...

Вечером у них идет разговор о том, как мать поехала с Дуней Сизовой на дальнее поле и на дороге они увидели сваленное под навесом зерно. Сторожа близко не было, они с Дуней стали его искать; он спит себе в лесочке, а тут кто хочет насыпай зерно и увози! Она рассказывает, как они напали на сторожа Ивана Завертнева и он хотел

все обратить в шутку, хватался за голову, говорил, что от баб ему житья не стало. А мать закричала на него: «Я тебе не баба, а работница тракторной бригады!» И он сбавил тон, а мать с Дуней заявили о его бессовестном поведении на стану.

Ведь она боевая, его мать, не уступит этой инженерше, а вот как иногда отец ею командует... Косте казалось, что в жизни взрослых есть какой-то непорядок, хотя он и не знал, отчего он происходит. Костя вдруг соскучился оттого, что не мог понять сложных отношений взрослых; он быстро пробежал через двор и открыл дверь.

В избе сейчас не плясали — гармонист сказал, что ему неважно больше играть. Придерживаясь за спинку деревянной кровати, Филипп Васильевич, отец Тони, вышел из Тониной комнаты и сел на кровать. Кто-то подал ему принесенную от председателя сельпо гармонику, и он сразу смахнул с себя хмель. Он схватил гармонику, обласкал руками, находя клавиши, развел ее, легко пробуя, прислушиваясь, и, вдруг просияв, оглядел стоящих рядом, нашел среди них дочь и жену.

— Хорошие люди, мать, простые! — радуясь, сказал он. — Не ошиблась, дочка, нет, нет... Я вижу, род хороший...

Большие пальцы его легко пробежали по ладам, и мастерское вступление так и подняло на ноги людей.

Комбайнер Девяткин прошел круг с папироской в руке и поклонился Тоне. Тоня пошла ему навстречу. В легком своем платьице, очерчивающем девические сильные плечи и грудь, она, как на пружинах, шла по кругу, останавливаясь, замысловато перестукивая ногами, отвечая на зазывающую мелодию. Филипп Васильевич взглянул на нее, Тоня подобралась, выжидая... И вдруг гармонь вздохнула и рассыпала такие частые переборы, что казалось, самому замысловатому танцору нельзя было выполнить то, что заказывал ему музыкант. Но Тоня тряхнула головой, улыбнулась отцу, и Тонины ножки побежали, быстро сменяя одна другую, так что казалось, она все время прерывает ритм и начинает новый. Она звонко запела частенькую песенку, и комбайнер, бросив папироску, так и полетел вокруг нее. А Тоня вдруг перебежала через круг и, легко взяв за пояс свою мать, улыбаясь милыми темными глазами, поставила ее против Девяткина, а сама подбежала к отцу и обняла его за плечи.

— Нет, эту легко не возьмешь! — одобрительно заметил женский голос в полном восторге, что ловкая плясунья обставила парня.

И все хвалили новую родню, говоря матери и отцу: «Вот все теперь к вам в дом: и песельники, и плясуны, и музыканты. Веселые люди, хорошие люди!»

— Не выкушаешь ли чайку, сват? — спросила мать.

— Нет, — ответил Филипп Васильевич, — это погода. А теперь я народ повеселю. Неловко вышло. Вечор я быстро охмелел, да ведь и день трудный был. Ветеринарный надзор... Пришлось коней вести. А там побегал, телегу поискал. Вот и сшибло меня сразу.

И он очень хорошо заиграл вальс «На сопках Маньчжурии».

Костя вспомнил, как он, зайдя поглядеть на спящих братишек, увидел, что Филипп Васильевич спит на Тониной кровати, спустив ноги в больших сапогах. Ему это не понравилось. Теперь Косте представилось, что самое правильное дело было бы снять с него, усталого, сапоги — он подобрал бы ноги и спал себе спокойно.

Да, не все еще ему, Косте, понятно в жизни!

В кухне за дверью, обнявшись, сидели Тоня и ее мать. Костя стал около них, и они подвинулись, усаживая его. Потом заговорили, как говорят при детях, думая, что они не поймут.

— А ты не боишься, что муж далеко? — спросила мать.

— Нет, мама, не боюсь, — ответила Тоня, радостно и доверчиво глядя на мать. — Я ничего не боюсь, мама! Он любит меня.

— А может, доченька, бросишь школу, поедешь к нему?

— Нет, мама, не брошу. Я стаж терять не хочу. Потом у нас Марфа Дмитриевна такая опытная, я у нее поучусь... Да ты не бойся — я дождусь, и он дождется. Мы же летом видаться будем.

— Боязно, Тоня. Сколько бывает тяжелого в семьях, а все из-за расставаний этих.

— Не из-за того, мама, бывает тяжело, а потому, что у женщин все еще остается какая-то душевная зависимость, боязнь, что ее могут оставить, обидеть. А мы с Виталием хотим любить хорошо, и мы поборемся за свое счастье.

И мать сказала грустно:

— Тебе, дочка, надо фартук завести большой: в семье живешь, дела много. А теперь провожай, нам ехать пора. И Тоня, обняв мать, заплакала.

Костя слушал и видел теперь, что это совсем не простое дело — жениться. Жизнь решившихся на такое дело людей может стать очень радостной, а может быть, и горькой. Теперь он понимал, что брат и Тоня не легко решили разлучиться на два года, только бы добыть это хорошее и нужное для своей будущей жизни. Они не побоялись этой разлуки потому, что надеялись на себя и друг на друга. И ему очень захотелось, чтобы у Тони и Виталия хватило сил противостоять трудностям той жизни взрослых, когда от хорошего и веселого им так легко перейти к тяжелому и даже обидеть любимого человека.

Когда все вышли провожать новых родных, Костя посмотрел на двор, похорошевший от щедрого сегодня солнца, на пестрого петуха в блестящих перьях, важно шагавшего к огороду, на лошадей дяди Филиппа и дяди Павла: стоя у телеги, они жевали зеленое душистое сено и отрывались, чтобы, как и Костя, взглянуть на двор, где хорошо отдохнули за ночь. На бане, на крыше сарая лежал мягкий иней, и серые с белым гуси, похожие на темную, прикрытую снежком землю, шагали на огород.

Все трудности ночи — и ссора отца с матерью, и ее слезы, и то, как он сам тоже плакал, сидя на бревнах, — казалось, ушли куда-то, но сам он будто немного подрос и чуть-чуть поравнялся с отцом. Когда дядя Филипп, выйдя на крыльцо, сказал: «Ну, Костя, приезжай, на хорошем коне покатаю!», — он вспомнил, с какой душой и удалью Филипп Васильевич играл на гармонике, и сказал:

— Если мамка отпустит, непременно приеду.





Д. м. Еремин

В МЕТЕЛЬ

1

За окном выл ветер. Думалось — это волки воют и тычутся злыми мордами в занесенные снегом стекла. Обшитый тесом деревянный дом вздрагивал и кричал, сдерживал штормовой напор выюги. По комнате проходили холодные ощутимые токи. Они касались рук и лица. Тогда, как и дом, я тоже вздрагивал и побрякивал от озноба.

У висящего на стене телефона топтался директор конного степного завода Иван Корнеевич Чумак. Туго прижимая к покрасневшему уху трубку, он по очереди вызывал начальников конных участков завода, разбросанных по метельной степи, и хрипло, простуженным басом спрашивал:

— Первый участок? Ага, Тимофеев... Ну, как там у вас? Погромче, чойто-почойто! Да не крути ты, рассказывай прямо. Ну?

— Второй участок? Ну, слава те, дозвонился и до тебя! Давай обстановку, Смирнов! Точнее!

— Третий участок? Ты, Адаховский? Ну-ну, ориентируй, чойто-почойто!

Свою поговорку «чойто-почойто», вероятно сложившуюся из «что-то» и «почему-то», директор произносил наполовину с яростью, наполовину с насмешкой. Было видно, что в этих уклончивых, намеренно искаженных словах для него совместились все: трусость и леность работ-

ника, склонного полагаться в большом общественном деле на «как-нибудь» и «авось», стремление прикрыть свои промахи и ошибки невнятными «что-то» и «почему-то». И чем очевиднее было, что собеседник обманывает, юлит или же плохо знает свое основное дело, но хочет скрыть незнание за пустыми длинными фразами, тем чаще и яростнее слышалось в своеобразной казацкой речи директора это «что-то-почойто», тем громче и басовитее становился его хрипловатый, но сильный голос.

Больше всего Чумака беспокоил третий участок. Начальник участка Евгений Андреевич Адаховский был среди прочих помощников Чумака не из самых надежных. Да и участок был наиболее удаленным от главной усадьбы завода, глухим, окраинным, за рекой.

Буран все время разъединял Чумака с Адаховским. Директор нервничал, злился, сердито просил:

— А ну же, Ершова, чойто-почойто, давайте опять его. Ну-ж, попытайте зараз позвонить еще!

Телефонистка завода Настя Ершова, по всей вероятности, делала все, что могла, старалась не меньше, чем сам директор. И было легко представить себе ее подвижные, сильные руки, смуглое, чуть скуластое, широковатое лицо степнячки с карими внимательными глазами, челку русых волос на лбу. Хмуря прямые, сходящиеся на переносице брови, она опять и опять перебирает в пальцах цветные соединительные шнуры аппарата, втыкает контактные «ножки» в круглые металлические гнезда — ищет, требует, отвоевывает у ветра третий участок растянувшегося на десятки километров конного степного завода. Она понимает волнение Чумака. Ей горько и больно, что он торопит ее, готов разругать. Но чем же она в такой сумятице виновата?..

Усталый голос ее, вероятно в десятый раз, наконец произнес:

— Готово. Третий участок...

— А-а, третий участок! — Чумак прижал телефонную трубку к уху. — Рассказывай снова, Евгений Андреич. Нет, не слышу. А кто это? Адаховский, ты? Теперь чуток слышнее. Ну, как с конями? Табунщики все на месте? Не знаешь, чойто-почойто? А ты, Андреич, проверь! На печке сидишь, как видно? Да что ты бормочешь себе в усы! Громче!

Провода за окном неистово перекручивал разгуляв-

шийся ветер, поэтому голоса людей звучали в трубке неясно, будто из-под земли. Морщась не столько от головной боли, сколько от досады на нерадивых помощников, простуженный директор сажился около телефона на стул и на минуту плотно закрывал глаза.

Его лихорадило. Жар путал мысли. Время от времени он туго схватывал суховатой ладонью покрытый испариной лоб и медленно проводил ею по всему лицу вниз. Казалось, так он выжимал из себя головную боль, как воду. Потом опять срывал телефонную трубку и кратко требовал:

— Дайте третий участок... Ну, Адаховский, ты? Я слушаю, Адаховский. Нас, чойто-почойто, прервали: мол, ветер всему виновник... Скажи мне, как табуны?

За глаза табунщики называют директора с гордостью: «Наш Чапаев». И он похож на Чапаева: статный, сухощавый, с волевым красивым лицом, живой, веселый и резкий. Что-то озорное и насмешливое сквозит в его быстрых жестах. Привыкнуть к ним трудно — они всегда неожиданны и по-своему выразительны. Часто они заменяют ему слова, хотя говорит он тоже по-своему, не как все: подчеркивая смысл фразы, он то бьет себя ладонями в грудь, и грудь гудит от удара, то крепко сдавливает ладонями виски или мнет ими мышцы на своих руках так сильно, что кажется, они лопнут, то вдруг, ругая за ротозейство, почему-то вывернет веко или губу или поднимет скрюченный палец и погрозит им кому-то:

— Вот!

Сердясь и упрекая в недоглядке, он не скажет: «Вы тут живете, закрыв глаза» или «смотрите сквозь пальцы». Нет, он скажет иначе: вдруг сердито вспыхнет, крепко прижмет ладони к глазам, секунду помедлит, потом его тонкие, но сильные руки с неожиданной силой разомкнутся и Чумак коротко бросит:

— Вот как вы смотрите!

И станет ясно, что эти люди действительно смотрят сквозь пальцы, живут закрыв глаза, работают плохо.

— Жить и работать нам надо весело, споро, с душой! — говорит он быстро, и руки его прочеркивают неожиданную кривую. — Чего зря в хате лежать да спать, когда можно побывать в степи?!

И сам он не «спит» и не любит «спать». С утра до ночи он в бесконечном заводском деле. Где-нибудь в самой

далекой заводской «точке» скинула молодая кобылка — сейчас же звонят Чумаку. Бугай поранил вола, развозящего воду, — звонят Чумаку. Нашли волчье логово и волчат — звонят Чумаку. И он говорит мне без всякой рисовки, как о деле давно известном и скучном:

— В первые годы, когда мы только налаживали завод, никто не знал, где и когда я сплю: круглые сутки на воле! А я бывало сяду на лошадь — машины в те годы не было, всю заводскую сотню верст мотался на лошади! — так вот, я сяду на лошадь и еду в Енину балку. Слезу в той дальней балке с седла, закрою глаза руками — от усталости качает, не могу стоять! Повалюсь в траву и сплю часа два, как мертвый. Потом в седло — и опять несусь по степи, к табунам да в отары...

Большую часть чистокровных, лучших кобыл он знает по именам. А их на заводе четыре тысячи. Кроме того, здесь много тысяч овец, скота, свиней и домашней птицы. Племенные партии кур и гусей, не говоря уже о скотине, он не доверит чужому глазу. Вспоминая, как приходилось после войны опять собирать завод, он усмехается.

— В этих делах, в скотине да птице, не говоря о конях, я, может, больше профессора маракую. Бывало еще когда батрачил я в экономнях разных хозяев, то приходилось пасти свиней, овечьи сакманы и злую, глупую птицу. С тех пор, от самого детства, мне всякая животина в печенки въелась: вырос в степи!

И я ему верю: о лошадях — прежде всего о них! — об овцах, о птице и «животине» он знает больше, чем главный ветеринар, чем лучший табунщик, чабан или гуртоправ...

Теперь, присматриваясь к нему, стоящему у телефонного аппарата, я представляю себе Адаховского — очень рослого, круглолицего, медлительно-величавого, но фыхлого и ленивого, любящего поспать. Разбуженный Чумаком в метельную ночь, вероятно, он всячески изворачивается, гудит в телефон невнятные отговорки, сваливает на других. Ему не хочется выходить в пургу и холод. А надо бы: там беда! Он мямлит, не хочет признаться в этом впрямую, но под напором быстрых, строгих вопросов в конце концов произносит:

— В одной из точек несчастье. Похоже, табун ушел.

— Ушел?

— Похоже, бурана перепугался...

— А кто табунщик?

— Да этот... старик Данила Фартучный. Ведь вот, по-суду на милость, Иван Корнейч: старик Фартучный у нас и опытный, и надежный, а кони взяли да и ушли!

— А ты теперь что же?

— Кто? Я-то?

— Да, ты-то. Ты дома, я спрашиваю, сидишь? Ты дома?.. Пойдите, не прерывайте, Ершова, чойто-почойто!.. Ага, никого. Я занят. Так, значит, ты, Адаховский, спокойно дома сидишь? Меня дожидаясь? И никуда не звонил?! Ну ладно... сейчас приеду. Я, чойто-почойто, вблизи на тебя взгляну!

В хриловатом голосе Чумака я уже слышу злое, сердитое нетерпение. Похоже, что в эту минуту он ненавидит своего помощника сильнее, чем врага. Он трясет телефонную трубку так, будто схватил ее, как змею, за горло, и требует, спрашивает, кричит:

— А табунщики в такую ночь, ты думаешь, не устали? Выходит, чойто-почойто, ты только один устал?.. Не видно ни зги? В такую-то ночь и надо идти к коням! А как же ты думал? Видишь, что там творится? — Он быстро заглядывает в окно. — Самое страшное для нас время! Теперь-то начальник и проверяется, ты учти...

Его лихорадит. Тянет раздеться и лечь в постель. Но перед ним, вероятно, как только что передо мной, встает Адаховский, заспанный, вялый. Встают, как призраки, мутная степь и одинокие кони в степи, свирепо воющий ветер, волки в оврагах, ночь...

Бросая на аппарат телефонную трубку, он с силой вскакивает со стула. Ходит по комнате и бормочет:

— Дурак...

Потом добавляет глухо и торопливо:

— Придется ехать туда самому. А то Адаховский коней погубит. Беда им в такой буран...

2

По телефону он вызвал свой юркий, маленький вездеход, называемый чаще всего «козлом», и мы поехали к Адаховскому на Заречный участок.

Одетый в дубленый солдатский полушубок шофер Ни-

кита, веселый парень лет двадцати пяти, известный всему заводу «страдатель» Насти Ершовой, был непривычно мрачен и всю дорогу молчал, напряженно клонясь к рулю. Похоже, его беспокоил буран не столько сам по себе, сколько ввиду невозможности встретиться нынче с Настей — побалагурить при ней с девчатами, показать себя, как всегда, говорливым да разбитным. Нет, где уж там! Ну, денек...

Вокруг свистела и шевелилась метельная муть. Она была так густа, что из глубины машины сгорбившийся за рулем Никита почти не был виден. Я только едва-едва, словно из-за стены, слышал иногда, как он сердито причмокивал, притормаживая машину, когда боялся сбиться с дороги. Машина, рыча, пробивалась вперед. Перед ней, с боков и повсюду, словно живая, качалась, летела, крутилась и выла выюжная степь. Но директор, казалось, не замечал ни мрачной молчаливости Никиты, ни того, что творилось вокруг.

— Ему на коней плевать! — время от времени, как бы продолжал свой спор с Адаховским, говорил он сквозь зубы мне и Никите. — Видал, какой преспокойный? Фрукт! А еще в кавалерии был, под Сталинградом участие принимал... У-у, пешка! Ну, погоди у меня, дружок!

Он сидел впереди меня, укутавшись необъятным бараньим тулупом. Лихорадка, видно, еще продолжала мутить его, как отраву, и когда вездеход останавливался, застревая в снегу, и мы втроем выходили искать дорогу, Чумак негромко доканчивал:

— Всех лентяев надо мотать, как тряпку! Дурь из них надо повыбить: глядишь, Никита, иной человеком станет!

Никита шумно вздыхал и оглядывался назад, как будто именно там, откуда мы уезжали, и оставался тот неподатливый некто, кому уже пора бы стать наконец отзывчивым человеком. Нашупав дорогу, Чумак между тем стремительно говорил: «Пошли!» — и опять сѣдлись в машину.

Чумак — уроженец Задонья, степной казак. Это в нем крепко и нерушимо. Пятьдесят три года активной, суровой жизни — ученье, война с ее испытаниями, с ее фронтовыми дорогами от Сальских степей до рейхстага в Берлине — так и не выбили из него своеобразия простецких хваток не очень сдержанного, даже подчас и грубого,

но умного, любящего открытых, ладных людей, энергичного казака. Уклончивый, вялый Адаховский явно не нравится Чумаку. Теперь, и не видя его, я легко представляю себе, как в упрямых серых глазах Чумака вспыхивает искорка злой насмешки.

— Валух он, не казак! Как мыслишь об том, Никита? Взгляни — наша партия да правительство выносят постановления насчет работы животноводов, — объясняет он парню сердито, — а наши лентяи начальнички спят! Они себе спят там с жинками на перинах, а кони гибнут в степи. Табунщикам уж как трудно, а наш Адаховский спит! Ну, я ему дам поспать! Я ему выплюсь в тепле на тех подушках...

Последнее слово он произносит с особым степным нажимом на букву «а» — «подушкáх».

— Уж, чойто-почойто, он у меня не почешется, не поспит! С постели сниму, раз это для дела надо!

Дорога была знакомой, Чумак и Никита знали ее наизусть, как старую песню. Но снежный буран перепутал все. Огромные, похожие на живых животных, сугробы двигались вместе с ветром. Как бесконечное молчаливое стадо, они толпились возле курганов, ложились вдруг на дороге, прямо перед машиной. Сухие шары перекаати-поля чернели в снегу, напоминая округлые клочья шерсти. Ветер злобно тянул, выдирал их из снега и снова гнал и гнал их вперед, пока они не скатывались в провалы степных оврагов и не сцеплялись там в большие бесформенные груды.

Поеживаясь и вздыхая, Чумак бормотал:

— Спит Адаховский тот с жинкой в теплой квартире, чойто-почойто. А в такую ночь разве спят? Подумай ты — разве спят? Коней, может, ветер угнал километров за сорок, тревогу надо поднять, самому шевелиться, а он еще брюки, похоже, не натянул!

Участок, где был начальником Адаховский, открылся внезапно: наш вездеход едва не ткнулся фарой в угол невидимого сарайчика; сразу же хрипло залаяла собака, потом мелькнул огонек и мы въехали в засыпанный снегом двор.

Не раздеваясь, Чумак прошел в личное помещение Адаховского. В соседней комнате мы с мрачным Никитой сели на стулья, пытаясь согреться. Прижатая к печке спина горела, но я не мог побороть в себе упорной лихорадки.

ной дрожи. Она, как противный червяк, проползала где-то внутри — в легких, в брюшине, в затылке. Закрыв глаза, я отчетливо представлял себе кропотливую работу крови: вытесняя из тела скопившийся холод, она осторожно разносила по клеткам свое живительное тепло.

Неясно, словно сквозь сон, я слышал разговор Чумака с Адаховским. Потом Адаховский вышел к нам. Высокий, нескладный, в ночной сорочке и в валенках на босую ногу, заспанный и красный, он сел со мной рядом у заляпанного снегом окна и, косясь на Никиту, обиженно выругался:

Вот какой черт нетактичный, этот «чойто-почойто». Командует, как на фронте!

Голос его был убедительно звучным и мощным, большое тело дышало силой, добротностью, устойчивостью. Но по косому взгляду маленьких глаз, по плаксиво кривящимся пухлым губам было видно, что он трусоват, ленив и директора так же бонтятся, как и не любит, работать ему тут скучно, а ночью, в метель, идти к табунам — тоска...

Мы отчетливо слышали, как Чумака сердито покашливал за стеной и кричал в телефон: «Ершова? Да-да...» — вызывая одну за другой все конные точки участка Адаховского.

— Косенко, — кричал он, — ты? А это я, Чумака. Звоню из квартиры товарища Адаховского. Как с конями? Твои ребята на месте? Ну, молодец! А как у Фартучного? Не слыхал? Ладно, сам позвоню...

Металлический стук рычажков, случайный, робкий звоночек, нетерпеливые вздохи у аппарата, обеспокоенный взгляд Никиты, которому, вероятно, вдруг померещится, что в соседней комнате Чумака не один, а вместе с Настей Ершовой, и снова директорский хриповатый басок:

— Как это «занято»? Нет, товарищ Ершова, уж я прошу!.. Куда?.. Ах, к нам и сам он звонит? Ну, так бы вы и сказали! Умница! Молодец! Давайте его, давайте... Ты что звонишь, товарищ Фартучный? Ну, как дела? Отбились? Ушли? Да что ты... Громче, чойто-почойто! Ну-ну, я слушаю... Понял, понял! Куда же они ушли?.. Ага, уже дозвонился? Послал туда Ильина?.. Ну, знаю я эту балку! Езжай. Да-да, торопись... Давай, говорю. Сейчас и мы туда же поедем. Жди...

Прислушавшись, Адаховский искоса поглядел на меня округлыми голубыми глазами, негромко пробормотал: — У Данилы Фартучного в самом деле табун ушел. В такой буря в степи разбежался... Тут, что ни скажи, а все неприятность! Хотел я ждать до утра, а теперь придется ехать искать. Ох, боже ты мой, несчастье!

Он безнадежно взмахнул рукой, грузно встал, потянулся и неуклюже пошел к Чумаку.

Закрыв глаза, я представил себе метельную степь. Здесь кони пасутся зиму и лето. Они привыкли к любой непогоде, но в эту метель и они испуганно жмутся к разбросанным по степи затишкам — невысоким заборам, сплетенным из ивы и камыша. И я представляю себе, как сейчас, охраняя коней, в разных концах степи, сторбившись, кутаясь в полушубки, подрагивая от холода, тревожно и терпеливо сидят табунщики на своих укрючных — рабочих — кобылах. Сбитые ими в кучи кони стоят у затишков неподвижно. Снег вздувается на их спинах, как белые мохнатые попоны. Все время он разрывается на куски и уносится прочь. На место этого снега метель навивает новый. А вокруг чужая, враждебная пустота. За балками воют волки. Голубые искры звериных глаз угрюмо вспыхивают во мгле. Вспыхивают и гаснут. Потом появляются ближе. Табунщик вскрикивает:

— О-гой!..

Привыкшая ко всему его рабочая лошадь, храпя от страха, шагает во мрак. Зеленая искра гаснет. Снова лишь снег и ветер ревет и пляшет вокруг. Мир за неясным затишком кажется страшной, сплошной, бездонной воронкой...

И вот на конной точке Данилы Фартучного табун ушел от затишка в степь. Кони бешено мчатся во мгле или безвольно, тяжело бредут по ветру и вязнут в снегу, припадая на задние ноги так, будто их кто-то нет-нет, да и ударит палкой по ослабевшим от напряжения бабкам. Растерявшийся, суетливый табунщик напрасно старается повернуть их назад. Он причмокивает и кричит. А табун, редая, бредет и бредет. Свирепая вьюга воет. Земля и небо одноцветно мутны...

Чумак вышел из комнаты, где висел телефон, так же стремительно, как вошел в нее десять минут назад. Распахнув широкий тулуп, смяв в кулаке свою серую офицерскую папаху, он некоторое время тщетно пытался при-

хватить крепкими мелкими зубами кончики своих рыжеватых усов, не то раздумывая о чем-то, не то подавляя горячее раздражение. Сердитыми маленькими глазами он исподлобья проследил за тем, как Адаховский натягивает на себя одежду, обвязывает шею шарфом, расправляет шапку-ушанку белыми, по-женски округлыми руками. Потом с усмешкой сказал:

— Гора!

Адаховский не понял:

— Какая гора? Чего?

— Гора, которая родила мышь. Бывают такие горы. Все же она в машину не уместится. Придется тебе поехать верхом...

— Ну вот! — Адаховский растерянно огляделся. — Как же так — я верхом? И при чем тут гора, ей-богу?

— В машину не влезешь, вот я о чем, — ответил Чумак, опять усмехнувшись. — Седлай-ка ты лошадь. Так, вслед за нами, и доберешься. Седлай...

Во мне шевельнулось невольное возмущение: в такую метель при наличии вездехода велеть человеку седлать коня и ехать... куда? Но я ничего не сказал. Да и директор, казалось, уже забыл о своей насмешке. Поглядывая в окно, за которым выла, скреблась в морозные стекла, стремительно проносилась метель, он торопил Адаховского:

— Поспеши! Давай побыстрее, Андреич! Не время нам тут болтаться...

И вот во дворе заскрипел возок, Адаховский уселся в него позади возницы, и мы поехали дальше — к Ениной балке, куда метель угнала часть табуна из конной точки Данилы Фартучного.

Сквозь гул и вой метели я урывками слышал сердитые выговоры Чумака. Совсем утонув в огромном тулупе, где-то там, в лохматых овчинных недрах, он то бормотал устало и глухо, то вдруг презрительно вскрикивал, с трудом оборачиваясь туда, где в снежной мгле виднелся возок Адаховского:

— Скучно ты тут живешь, Адаховский. Ленив ты, чой-то-почойто! В такую погоду дома сидишь. Нет, хватит: воспитывать надо тебя как следует, без конфет!

Он открывал лицо, распахивал тулуп, и ветер срывал слова его с губ и нес их, как листья, в метельную мглу вместе с запахами овчин и бензина, со скрипом металла,

с мрачными вздохами и однообразным почмокиванием Никиты, с понуканиями старика возницы в санях Адаховского, которые время от времени двигались рядом и тогда было слышно, как старый Власий тонко покрикивал на калмыцкий манер:

— Гия, гия!

И после паузы:

— Давай, родимая, шевели-ись!

3

Машина лезла в буран, как в закрытую снежной завесой пропасть. За ней продирался конь с возком Адаховского. Сколько так продолжалось, не помню, но вот в одной из балок, плутая, мы вдруг наткнулись на табунок укрывшихся от метели коней. Они неподвижно стояли в зарослях сухо скрипящего камыша. Здесь ветер шел поверху, устилая дно балки и спины коней большими охапками относительно спокойного снега. От косяка шел пар—это легко угадывалось по густому запаху конского пота, показавшемуся мне вдруг приметой жилого дома. И по всему было видно, что кони здесь встали надолго: в узкой Ениной балочке по сравнению с тем, что творилось вокруг в степи, было тепло и даже уютно.

Директор первый выскочил из машины. Обернувшись к сопевшему возле саней Адаховскому, он весело крикнул:

— Похоже, табун Фартучного... Молодец!

Не успел я понять, кого Чумак назвал молодцом — Фартучного или этих коней, как из мглы, от стены камыша, отделился всадник. Нагнувшись с коня вперед, он глухо спросил:

— Вы кто?

И тут же счастливо вскрикнул:

— Ай... это вы, товарищ начальник?

Чумак ответил и расспросил:

— Загнал их сюда, Петро? Ну-ну, молодец! Замерз, наверно? Держи...

Он сбросил с себя тулуп, протянул его всаднику:

— Вот, погрейся.

— Не надо, я потерплю.

— А я говорю — держи! Гляди ты: совсем застыл!

Ты не надейся, что молодой: в такую метель и молодому не сладко!

Засыпанный снегом табунщик смущенно одернул лошадь. Слова его, схваченные ветром, донеслись до нас как сонное бормотанье:

— Коней вот хотя и не всех, но собрал я в Енину балку. Здесь в затишке смирно, прочно стоят. И мне тут пока тепло...

— А все же тулуп возьми, — повторил Чумак. — Тебе тут всю ночь сидеть, а я-то, уж будь уверен, доеду и без тулупа. Главное — кони целы! Спасибо тебе, товарищ Ильин... Курить небось хочешь? На!

Табунщик накрылся тулупом. Его неясная и поэтому кажущаяся огромной тень нависла над Чумаком, как гора. Он зябко тер руки, вздыхал и кричал. Потом в глубине тулупа возник огонек. Это табунщик Петро Ильин закурил. Жадно втягивая в себя ароматный, щекочущий ноздри дымок, он рассказал, как собрал эту часть табуна и держал ее здесь, в густом камыше, в десяти километрах от конной точки.

— Пониже-то кони еще там есть. Семнадцать голов, — добавил он огорченно. — Только вот где, не знаю. Искать надо их да сюда вести. Как не разыщем — погибнут. А то уйдут. Ищи их потом по всему степу!..

Голос его звучал напряженно, глухо, и я с трудом улавливал смысл относимых метелью слов. Но в этих срывающихся, негромких словах звучала такая забота о конях, он так огорченно причмокивал и вздыхал, рассказывая о своих пастушьих ошибках и недодумках, что мне хотелось чем-нибудь подбодрить его, успокоить. Видимо, это же чувствовал и Чумак. Он мягко сказал:

— Как ты сделал, так, значит, и верно. А в остальном мы тебе поможем. Глядишь, и ночь с тобой проведем...

Помогая вознице Власию, мы с Никитой и Адаховский поставили сани поближе к машине.

Нетерпеливый Чумак теребил Адаховского за рукав.

— Пойдем скорей лошадей посмотрим. Старик тут справится без тебя. Оставь ему свой тулуп, пусть кости свои погрееет...

— Ан бог с ним, с тулупом, — тонким, мальчишеским голоском отозвался из мглы недовольный поездкой возница Власий. — Чего мне в санях сидеть, как в берлоге? Я тут с Никитой округ «козла» поброжу, сапожками пото-

паю... А то чегой-то гляжу я на парня, а он не-веселый...

— И справедливо! — немедленно согласился Чумак. — Потопать — оно теплее. Слыхал, Никита? Ты, верно, чего-то совсем закис. Адаховский, своим тулупом лошадь укрой: старуха вспотела, теперь прохватит ее, боюсь. Давай с тобой пройдемся чуток по балке: может, кони и остальные где-нибудь здесь же, в чаконе, утро ждут? Кстати, гляди, светать начало...

И в самом деле — метельная мгла становилась светлей, белесей.

«Какой нам смысл, — показалось мне, — бродить сейчас в этой мгле по глухой степи?» Давно уже размышляя об этом, я осторожно спросил:

— К чему шататься по балке в такой буран? Ильин и без нас здесь все осмотрел... Бесцельно!

Чумак кольнул меня быстрым, сердитым взглядом — я почувствовал это по нетерпеливому движению всей его сухощавой фигуры. Он что-то хотел сказать, вероятно, резкое и насмешливое, но сдержался и вместо этого обратился опять к Адаховскому:

— Ну, пошли. Ты иди по этой, а я пойду по той стороне. Как спустимся к речке, там и сойдемся... Ну-ну, давай, мясная гора, давай!

Глубокая узкая балка полого спускалась вниз, в белесую снеговерть метели. Камыши потрескивали под сапогами, как пересохшие сучья. Мы шли по краю этой сухой стены, и Чумак подсвистывал и причмокивал, как бы ласково подзывая коней. Тень его появлялась то справа, то впереди. Несколько раз я неожиданно натыкался на него, и тогда мы осторожно спрашивали друг друга:

— Кто?

Потом он исчез совсем. Я кричал:

— О-го-го!

Адаховский вторил:

— Э-гей!

Но вокруг была одна лишь свирепая муть метели, хотя и светлевшая с каждой минутой все явственнее, все быстрее. В этой белесой мгле под ветром похрустывал сухой чакон, трещали и подламывались под нашими ногами острые болотные кочки.

Тяжело дыша, Адаховский остановился наконец и выругался:

— А-а, черт его побери! Пошли-ка назад. Какие тут поиски ночью? Смешно!

Поймав меня за борт полушубка, он злобно добавил:

— Видали, какой бессмысленный человек? А попробуй скажи ему поперек — у всех на глазах тебя осрамит! Работать с ним силы нету...

Из светлеющей, хотя все еще плотной мглы на нас неожиданно выехали два всадника — более светлые, чем ночь, и более темные, чем снежная бешеная пурга. Лошади их шли медленно и устало. Ног лошадиных не было видно, поэтому нам казалось, что неясные конские головы плывут по ветру сами собой, а за ними горбатой тенью неслышно плывут и людские согнутые фигуры.

Мы расступились. Первый из всадников громко проговорил:

— Ага... товарищ начальник? Доброе здоровьице вам! Адаховский обрадованно ответил:

— Здорово, товарищ Фартучный. Откуда?

Не столько видя, сколько по звуку, я понял, что старый Данила повернулся лицом назад и глянул за гребень балки, в ревшую темноту.

— Спешим к Ильину на смену. Хорошие новости вам везем, — добавил он еще более зычно.

— Какие? Насчет коней?

— Ага. Нашел я и всех остальных коней. По телефону район весь на ноги поднял, а наших коней нашел. Аж до станицы Казачьей прогнал их буран, проклятый вражина! Теперь стоят эти кони в колхозном загоне в сохранности, в целости... хорошо!

Адаховский взмахнул руками.

— Ух, камень с души! — сказал он, довольный. — Сейчас директору доложу... да только вот как доложишь?

— А где товарищ директор?

— Ха... где он и может быть, как не где-нибудь там, в степи? — с явной издевкой спросил Адаховский. — Теперь, считай, до утра его не разыщешь. И сам перемерзнет, и остальным покою не даст...

— А ну-ка, пойду покличу...

Фартучный что-то сказал своему помощнику, ободряюще несколько раз подсвистнул, как это делают табунщики на водопое, и обе лошади послушно шагнули прочь — одна в сторону Ильина, другая вниз по наклону, куда уходила балка.

Мы с Адаховским опять остались одни, всадники растворились в метельной мгле. Затих и треск чакона под копытами их коней. Снова лишь снежный безлюдный мир окружил нас со всех сторон, как непрерывно осыпающаяся и так же непрерывно возникающая живая стена.

Глядя туда, где исчез Фартучный и где, вероятно, совсем недалеко бродил Чумака, Адаховский с вернувшимся к нему благодушием уверенного в себе недалекого человека полувозмущенно, полуюмористически сказал:

— Наш «чойто-почойто» хочет, чтобы мы все тут были такими же сумасшедшими, как и он. С койки меня сорвал... целую ночь таскал нас всех по степи... а кони, как я и думал, целехоньки, в добром месте! Ну не дикарь ли? Не самодур ли?

— А может быть, так и надо?

Адаховский сердито толкнул меня белой от снега рукой в плечо.

— Скажете тоже! Просто неистовый фантазер! И никакой заботы о человеке... Заметили? О конях он заботится больше, чем обо мне и любом из нас! Кончится тем, что я напишу в управление, самому товарищу...

Становилось совсем светло, и Адаховский во-время увидел фигуру Чумака, вынырнувшую из мглы шагах в четырех от нас. Не кончив фразы, он крикнул:

— Эге-ей! Иван Корнейч, хорошая новость есть!..

4

Когда мы вернулись к машине, старенький Власий блаженно спал в набитых сеном санях. Как видно, его желания бойко «потопать» хватило здесь ненадолго. Зато молчаливый Никита стоял, как и прежде, возле «козла». По тому, как пытливо он вглядывался в наши потные, оживленные лица, как напряженно прислушивался к словам, нетрудно было понять, что он старается догадаться: ночуем мы здесь или к утру домой вернемся? Сообразив, что вернемся, он суетливо залез в «козла», прихлопнул дверцу и лихо завел мотор.

Назад мы ехали тем же неведомым мне, но, видимо, хорошо известным ему путем, которым в начале ночи по-

пали к Ениной балке. Только в машине нас было теперь не трое, а четверо: рядом со мной сидел Адаховский — грузный, широкий, по-медвежьи сдавивший меня в углу и без того неудобной машины, веселый и говорливый.

Охваченный дремой, я невнимательно вслушивался в его непрерывные длинные разговоры. Лишь время от времени, словно соринки, застревали в мозгу то бойкое слово, то непонятная короткая фраза. Тогда, на секунду очнувшись, я старался усесться в машине прямее и открывал слипающиеся глаза.

Гораздо больше мой мозг занимала странная формула, четко темневшая на стекле чуть выше лица Никиты. Лишь в результате довольно длительного усилия мне удалось понять, что формула кажется странной только потому, что начертана, видимо, пальцем на наружной стороне стекла и означает не больше, как « N в квадрате равно двум N », а все это вместе равно в свою очередь неизвестно чему.

«Чему же оно равно?» — все безнадежнее вертелось в охваченном дремой, вялом мозгу.

Быть может, я так и не понял бы, что за формула там, на белом фоне стекла, если бы вдруг не услышал в момент одного из своих нечаянных пробуждений:

— Похоже, «равно любви»?

Это спросил Чумак, и голос его, как мне показалось, был непривычно тихим и добрым. Невольно я усмехнулся: «Ну да, любви... и как это я не смог догадаться!» Мысленно махнув рукой на « N в квадрате» и на спутников, а кстати, и на все на свете, я решительно погрузился в сон.

Меня разбудили мягкие, но настойчивые толчки Чумака.

— Вставай, — добродушно приговаривал он, стараясь вытянуть мое обмякшее тело из узкой, набитой снегом машины. — Ложись досыпать в постель. Умаялся с непривычки? То-то вот. Это не мы с Никитой. Вставай. Ну, вставай, дорогой. Не отпихивайся, иди...

«Козел» стоял на центральной усадьбе завода у знакомого мне резного крылечка перед старинным деревянным домом, где жил Чумак.

Этот обшитый тесом, уютный восьмикомнатный дом, окруженный зарослями сирени, совсем недавно был единственным из того, что сохранилось здесь после войны.

Теперь за домом — с боков, перед ним, повсюду — виднелись большие кирпичные корпуса. В центре образованной ими площади, за низкой оградкой, стоял беломраморный обелиск. На вмазанной в его цоколь особой плите были старательно высечены имена героев, погибших здесь во время войны. Железный венок, надетый на угловатую шею высокого обелиска, все время тревожно скрипел и раскачивался под ударами вьюжного ветра.

— А где же Адаховский? — спросил я директора, протирая глаза.

— Эко, хватился! — небрежно сказал Чумак. — Его я ссадил еще на Заречной усадьбе. Велел поехать в станицу, коней посмотреть. Да только, наверно, чойто-почойто, он вместо этого снова спит на мягкой перине. Ты как, Никита, об этом мыслишь?

Я ждал, что Никита немедленно скажет: «Верно!» Однако он промолчал. Мне даже вдруг показалось, что парень за что-то обижен на Чумака. Невольно я поглядел туда, где формула утверждала, что «Н в квадрате равно любви». Но цифр и букв уже не было на стекле. Оно сверкало бесцветно и равнодушно.

Чумак между тем добавил об Адаховском:

— Что говорить, Евгений Андрееч поспать любитель. Теперь пора подошла тебе...

Он мягко толкнул меня локтем в бок.

— Иди ты в дом. Иди. Вон Марья Никифоровна зовет...

В запорошенном снегом окне виднелась фигура жены Чумака.

— А сам?

— Что сам?

Чумак недовольно махнул рукой.

— Не я здесь гость, не мне и в постель идти. Вон, понимаешь, какая новость: на первом участке лошонок в Маныче утонул! Попал, видать, в полынью и сгинул! Не уследили, чойто-почойто... Сейчас мы с Никитой туда поедем, сами на дело взглянем. А потом опять Адаховского потревожу...

Мне стало жалко мрачного, недовольного парня. Подумав, я молча полез обратно в машину.

— Ну-ну, — закричал Чумак, — какой активист нашелся. И без тебя обойдемся. Не в первый раз...

Он с быстрой усмешкой добавил:

— Вот был бы тут Адаховский, его бы я с удовольствием потянул!

— Похоже, зол на него?

— Ух, зол! Не то чтобы зол, — поправился он сердито, — вернее сказать: терпеть таких не могу я, чойто-почойто! Таскал я его нынче ночью во все концы... И ни к чему бы, а так, хотелось в метель его потаскать! Пускай попотеет да поглядит, почем он, фунт лиха, табунщикам в той степи!

Он с силой захлопнул дверцу машины, велел Никите:

— Гони! Про «Н в квадрате» мы вспомним после. Сейчас гони!

И вездеход, чем-то вдруг став действительно очень похожим на быстрого перепуганного козла, отскочил от крылечка и с ходу ринулся в степь.

Я стоял и долго смотрел ему вслед. А метель все мела, мела, и казалось, не было сроку ее стремительной круговерти...



Анатолий Калинин

БРАТЬЯ

1

Каждый вечер агроном Иван Степанович Кольцов шел двенадцать километров из станицы Крутойрской, где он работал пчеловодом, домой, в станицу Тереховскую, где он жил с женой и сыном.

Два конца в день по двенадцати километров было для его возраста многовато. Конечно, проще было продать в Тереховской и купить в Крутойрской дом, но переселяться из родной станицы ему не хотелось. Здесь он прожил свою жизнь, здесь и сын его пошел в школу, привык к учителям, к товарищам. И сама станица — веселая, в абрикосовых садах — нравилась ему больше. Тереховские казачки издавна приучились красить свои домики в яркие цвета — голубой, оранжевый, светлозеленый. Каждая улица имела свой цвет — голубая, оранжевая, зеленая. Это нравилось Ивану Степановичу. И весной в зацветающих абрикосовых садах его пчелы брали хороший взятки.

Втайне он признавался самому себе, что не переселяется еще и потому, что, несмотря на возраст и на появившуюся одышку, привычка много ходить все еще оставалась для него больше в удовольствии, чем в тягость. По роду своих занятий он большую часть времени проводил в дороге, шагая с одной колхозной пасеки на другую, и потребность ходить стала для него такой же естественной, какой была потребность дышать, принимать пищу, прочитывать свежую «Правду». Если ему случалось

день-другой просидеть за своим столом в отделе, он уже начинал испытывать беспокойство, похожее на чувство человека, который боится опоздать на поезд. Он невпопад отвечал на вопросы и сидел на своем стуле, на краешке, так, будто пришел в гости. В отделе уже знали, что скоро Иван Степанович запросится в командировку.

Ходил он не быстрым, широким шагом, слегка наклонив крупную, с загорелым лбом и седеющими висками голову. В дороге хорошо думалось. Если бы мысли человека тоже исчислялись в километрах, то оказалось бы, что он за свою жизнь уже совершил в миллионы раз больший мысленный путь, чем прошел ногами. Летом, неторопливо шагая, он уходил с утра по степи вглубь района на двадцать — тридцать километров. Люди научились издали узнавать его фигуру по старенькому, порыжевшему под степным солнцем портфелю и по торчавшей за спиной двустволке. Иван Степанович уже не помнил, когда подстрелил из двустволки последнего зайца. А в портфеле он носил свою переписку с областной пчеловодной конторой, с которой он вел нескончаемую войну из-за своего нового улья. В дороге он обдумывал и отсылал свои ответы главному пчеловоду области.

Стоял конец мая. Сокращая путь, Иван Степанович пошел не по верхней, степной дороге, а по берегу реки, низом. Солнце уходило за волнистую линию курганов, молчаливыми стражами тянувшихся вдоль реки по окраине степи. По склонам их, ближе к подошве, цвел татарник — будто чья-то древняя конница в красных шапках собиралась перед приступом у подножий курганов.

Дорога извилисто спускалась из станицы и, прижимаясь к реке, сворачивала вправо. Начинаясь у станицы, ей сопутствовал посередине реки Вербный остров. Длинным стругом с осаженной кормой и с круто поднявшейся из воды белой песчаной грудью он резал речное стремя. Раньше в это время остров всегда был затоплен паводковыми водами. Они не спадали до июня, когда на заливных лугах начинали косить сено. По острову ездили среди деревьев на лодках. Но после того, как выше по реке построили плотину, разливов не стало. Зато река поднялась, затопила прибрежные талы и понесла на себе большие пароходы. Звук своих гудков они распугали тишину, издревле висевшую здесь над берегами.

Иван Степанович любил вслушиваться в этот далеко расстилающийся по воде вибрирующий звук, слышав который ему почему-то всегда хотелось прибавить шаг. Он любил родную реку — и не так за ее спокойствие, за тихий нрав, как за ее трудолюбие и неутомимость. Она представлялась ему великим грузчиком. Сколько уже этот грузчик переносил на своей широкой спине и сколько еще перенесет кулей с зерном, тюков книг, ящиков с частями машин, строительных бревен!

2

Взглянув на солнце, Иван Степанович подумал, что до темноты он еще успеет завернуть по дороге к брату. Брат жил на полпути между станицами, в хуторе Вербном. Как и острову, хутору дали это название густо растущие по берегам реки вербы. Два года назад брат приехал сюда из города с женой и с матерью жены — больной старухой. Всего хозяйства у них было старый, рассохшийся комод и две козы, белая и черная. До этого брат жил в разных городах, его, как осенним ветром траву перекатиху, гоняло с места на место. Унаследованную от отца фамильную специальность кузнеца он бросил по слабости здоровья и к сорока пяти годам переменял до десятка профессий: работал нормировщиком на заводе, кладовщиком в доме отдыха, был председателем местного комитета, заведовал билльярдной. Как-то получилось у брата, что он нигде не сумел задержаться. При встречах он говорил Ивану Степановичу, что не любят начальники правду.

— Ну и вот, — добавлял он, поднимая худое плечо и склоняя к плечу голову. Надо было понимать, что он тоже терпит за правду, — это тебе не колхоз, Иван, а город. Понимаешь, го-род! И люди совсем другие. Да никакого сравнения. Ну и вот, — опять склонял он на плечо голову.

С молодых лет брат не мог говорить без ужимок и подмигиваний, поэтому всегда казалось, что он шутит, даже когда он говорил о серьезном.

Встречались они редко, только когда Ивану Степановичу надо было приехать в город поругаться с пчеловодной конторой. Всю жизнь он презирал людей, кото-

рые болтаются по течению от берега к берегу, как лодка без весел: никто не виноват, когда вокруг столько несделанного, столько всякой работы, выбирай, какая мила сердцу, если у тебя не равнодушные руки. Но объяснение, которое подходило к другим людям, оказалось нелегко было применить к брату. Это был брат. Может быть, и в самом деле где-то на кривых тропинках ему чаще приходилось сталкиваться с неважными людьми, а настоящих, которые идут по широкой, прямой дороге, он не встретил? Разве мало еще прощелыг и себялюбцев?

Не сложилась у брата и семейная жизнь. Недавно он женился в третий раз. С первой женой он прожил двадцать лет, выучили сына, а на другой день после того, как проводили сына в армию, она ушла от брата. Иван Степанович хогел примирить их, но она сказала: «Никто, Иван Степанович, на меня не укажет, что я была плохая ему жена, а теперь я хочу отдохнуть от его прибауток». Больше она ничего не добила.

Из эвакуации брат привез молодую жену. Жили они как-то странно, как живут транзитные пассажиры на вокзале: каждый хранил свои вещи и харчи под замком, в чемодане. Так и разошлись — купили билеты в разные концы и разъехались полюбовно. В том же году брат женился на сорокалетней женщине с тихими и ласковыми, как вода под береговыми вербами, глазами.

Как-то Иван Степанович, приехав в город, из пчеловодной конторы зашел к ним на квартиру. Брат уволился из бильярдной и второй месяц сидел дома. Кормились от коз Белки и Галки. Старуха, мать жены, настригла с коз шерсти, а Елена, жена брата, вязала носки и детские рукавички и сбывала их на толкучем рынке. Брат жил на иждивении у этих двух женщин.

— Личные счета... Ну и вот, — встретил он Ивана Степановича. — Ты там, Иван, среди пчел и цветов, райская жизнь, а это го-род. В городе — не в колхозе.

Он все так же подмигивал, быстро шагая на полусогнутых ногах по комнате, круто поворачивался на месте и шел обратно, бодрился. Но Иван Степанович всмотрелся в его осунувшееся лицо, обежал глазами пустые углы комнаты с единственным, оставшимся из всей мебели комодом и впервые остро почувствовал, что брат катится вниз, гибнет.

— Поедем, Степан, в колхоз,— сказал Иван Степанович брату.

— Куда мне! — испугался брат. — Какой из меня землепашец?

— Зачем землю пахать? Поставим тебя к пчелам.

— Я не сумею, Иван. К этому интерес надо иметь. А у меня весь интерес — с медом чаю напиток.

— Подучишься. Вспомнишь, как отец ульи имел. И я тебе помогу,— уговаривал Иван Степанович.

Неожиданно он нашел поддержку у невестки Елены.

— Поедем, Степа. Построимся. Свое хозяйство заведем.— И при слове «хозяйство» она даже просияла. Должно быть, и ей уже успела надоеть их неопределенная семейная жизнь, кочевье с места на место.

— Вот она, женская приверженность к собственности,— махнул рукой брат, сдаваясь.

3

Иван Степанович решил зайти по дороге к брату, несмотря на то, что последнее время каждая их новая встреча неизменно заканчивалась ссорой. Третий год брат работал в хуторе Вербном на колхозной пасеке. За это время он и жена построили дом, купили корову, завели свиней и кур. Белка и Галка наплодили им целое стадо коз, из-за которых у Елены были постоянные неприятности с соседями. Козы забредали во дворы, объедали виноградные лозы и капусту на грядках. Брат обжился на новом месте и уже говорил при встречах Ивану Степановичу, что с такими людьми, как в колхозе, никогда не будет порядка. Один в горячее время тяпает у себя на огороде, другая поехала на базар, а председатель запойно пьет горькую.

— Совсем другое дело в городе,— говорил брат,— там народ сознательный, организованный.

Он уже забыл, как его жена торговала в городе на базаре детскими рукавичками. Колхоз действительно был не из крепких, и те болезни, о которых говорил брат, у колхоза были, но почему-то Ивану Степановичу было неприятно слышать об этом из уст брата. Пора бы ему уже перестать чувствовать себя в колхозе гостем. Иван Степанович никогда не решился бы упрекнуть других

в том, что у них нехорошо, если бы знал, что у самого плохо.

У брата на пасеке было не все благополучно. Два года подряд пчелы не приносили колхозу ни капли меда и даже уходили в зиму с подкормкой. Правда, так совпало, что оба последние года были для пчеловодства неурожайные. Или все лето стояла сушь и цветы почти не выделяли нектар, или из-за дождей нельзя было летать пчелам. Но можно было понять и тех людей в колхозе, которые начинали относиться к брату с колючей презрительностью, если не враждебно.

Как бы ни шли дела на пасеке, трудодни брату записывались аккуратно, и вот уже две осени он получал на них зерно из кладовой колхоза. Но самое плохое было не в этом. В конце концов может быть и так, что сегодня больше повезло одному, а завтра другому. Плохое было в том, что брата это нисколько не смущало, он, видимо, считал, что так и должно быть, и продолжал ругать и громко называть бездельниками тех самых людей, которые работали для него зерно и деньги, чтобы он мог построить себе хату и купить корову.

Иван Степанович старался теперь реже бывать у брата еще и потому, что не мог закрыть глаза на его семейную жизнь. Ивану Степановичу казалось, что с такой женщиной, как Елена, можно ладить, но они все время ссорились. Первое время они жили дружно. Они жили дружно, пока у них ничего не было и брат находился на иждивении у жены с матерью. Теперь же, когда они построились и обзавелись своим хозяйством, у них пошли раздоры. Иван Степанович замечал, что они неделями не разговаривали друг с другом, и два или три раза заставлял Елену с заплаканными глазами.

— Ты, Степан, не обижаешь ее? — как-то попробовал он осторожно спросить у брата.

— Она тебе пожаловалась? — подозрительно посмотрел на него брат.

— Я, Степан, сам замечаю что-то между вами такое...

— Издали они все как овечки! — не слушая, перебил его брат. — Жаловаться — это они все умеют!

— Не жаловалась она мне, — заступился Иван Степанович за Елену.

Но брат уже не верил.

— Частная собственность! — разгорячась, закричал он и провел ребром ладони по горлу. — Через край уже — и все мало. Заела она их с матерью! Козы, телята, поросята... И меня в это же болото тянут. Хотят, чтобы и я копался, как жук в навозе.

У Елены были чуть затуманенные и как бы чем-то удивленные глаза. После первого знакомства Иван Степанович решил, что характера она молчаливого и даже замкнутого: сидит бывало где-нибудь в углу, слова не вставит в разговор братьев и только смотрит. Казалось, в глазах ее застыл какой-то вопрос. Какой?

Но потом Иван Степанович убедился, что такая она только дома. Бывая в колхозе по служебным делам, он нечаянно подсмотрел и подслушал, что среди людей Елена совсем другая. Оказывается, она была разговорчивой и расторопной, бралась за любую работу и даже пела песни. Елена и местных женщин научила своим кубанским песням — она была родом с Кубани.

Последнее время Елена работала в детских яслях. Своих детей у нее не было, и теперь она все, что долгие годы дремало в ее женской душе, спешила отдать чужим. Она их купала, причесывала, укладывала в кровати, а самым маленьким пела песни. К вечеру приходила домой уставшая, с еще не потухшим в глазах каким-то новым, молодым светом. Наскоро поужинав, ложилась в постель и спала, как убитая, чтобы на рассвете, в четыре часа, проснуться и бежать в ясли, все приготовить, помыть и сварить к тому времени, когда матери начнут приносить детишек.

Брат говорил, что она совсем стала пустодомка и ради чьих-то детей забросила семью, мужа. Некому за ним досмотреть, вон и пуговицы на всех рубашках поотрывались, и не только на рубашках, скоро и штаны придется держать руками. Некому и сготовить, а у него паховая грыжа, ему нельзя есть что попало.

— Я, Степа, в яслях почти одна, — отвечала Елена. — Я же и уборщица, и кухарка, и воспитательница. Мама все время дома, она за тобой поухаживает и сготовит. Ты только скажи ей, что ты любишь.

— Не нужно мне ее ухода, — сердито говорил брат, — у меня жена есть. Зачем я тогда женился? И как готовит мамаша, я тоже знаю. Заладит на неделю борщ — и радуйся. У меня от ее борща колики. А белье после ее

стирки, как сентябрьский лист, желтое. Старая, глазами не видит и руками елозит еле-еле...

— Хорошо, Степа, я сама буду,— соглашалась Елена.

И она вставала по ночам, обстирывала его, варила ему бульон из курицы. А рано утром с глазами, будто засыпанными песком, шла в ясли. Она никогда не высыпалась. У нее стали отекают ноги.

Чаще прежнего между ними вспыхивали ссоры. Доходило уже до развода. Соседи уже несколько раз видели через забор и потом рассказывали Ивану Степановичу, как они делятся. Брат оставлял себе хату и двух кабанов, а Елене с матерью отдавал корову с телушкой и старых коз. Козлят он оставлял себе — на племя.

Но каждый раз, когда им надо было уже разъезжаться, они начинали мириться. И тогда виноватой оставалась мать Елены, старуха. Та самая сухонькая семидесятилетняя старуха, у которой на руках было все их хозяйство. Если же ей случалось заболеть и слечь на день-другой в постель, все расстраивалось. Свиньи оставались голодными, корову некому было встретить из стада, и козы начинали лазить по соседским садам, объедать виноградные лозы.

Старухи не было слышно в доме. И только по ночам она вставала и, сгибаясь, обхватив руками живот, ходила по комнате, захлебываясь кашлем. Брат по ночам много курил в доме, и старуха задыхалась. Она страдала астмой.

Брат говорил, что если бы старуха жила не с ними, они жили бы лучше. Это она развела всякую живность и в этом же духе настраиает свою дочь. Так незаметно можно обрасти и единоличной коростой.

— Ты не знаешь, какая это агрессивная старуха,— рассказывал он Ивану Степановичу.— С ними с двумя мне никак невозможно справиться, а с одной Еленой я бы как-нибудь сладил. Мне их блок разбить нужно.

Не оправдались надежды Ивана Степановича и на то, что брат поживет в колхозе, освоится на пасеке, а потом и ему поможет в его деле. Это касалось того самого нового улья, о котором Иван Степанович переписывался с главным пчеловодом области. Со временем переписка вы-

лилась в настоящую войну между ними. До сих пор она не принесла Ивану Степановичу ничего, кроме неприятностей, так как последнее слово неизменно оставалось за главным пчеловодом и у него каждый раз находился новый предлог, чтобы отвергнуть улей. Вначале он отвергал его просто потому, что не допускал самой мысли, что районный пчеловод Кольцов, которого он знал десять лет, может поправлять пчеловодов с мировым именем — Дадана, Лаянса и других. Потом главный пчеловод стал отвергать улей из-за того, что он якобы громоздок и неудобен для транспортировки. Теперь же, не отрицая достоинств улья, он писал Ивану Степановичу, что он в сущности не предлагает ничего нового — еще тридцать лет назад такая же в принципе конструкция улья уже была предложена другим пчеловодом.

При воспоминании об этой последней уловке главного пчеловода области Иван Степанович ощутил сердцебиение и перекинул портфель из руки в руку. Неужели этот хитрый бордатый человек всерьез думает, будто Иван Степанович заинтересован в том, чтобы получить патент, а не в том, чтобы распространить на колхозных пасеках улей с сильной семьей, приспособленной к местным условиям содержания и медосборов?! Тем лучше, если у Ивана Степановича оказался союзник, о котором он не подозревал и который за тридцать лет до него думал о том же самом. Ничто никогда не выросло на голом месте. Кто-то обязательно вспашет почву, кто-то бросит в нее семена. До Маяковского жил Пушкин, до Мичурина — Дарвин. Без Ленина не стал бы тем, кем он был для людей, Сталин.

Главный пчеловод или притворяется, или не понимает самого простого. Их расхождения зашли настолько далеко, что они уже не терпели друг друга. Иван Степанович считал, что главному пчеловоду помогает удерживаться на месте только его борода, а главный пчеловод не упускал теперь случая придрататься к Ивану Степановичу и прозрачно намекал, что незаменимых работников, как известно, не бывает. Надо было считаться с тем, что он может исполнить свою угрозу. Но от того, останется Иван Степанович в районе или нет, дело не должно заглохнуть. У него созрел план. Он решил исподволь завести на всех пасеках новые ульи. Если в одном колхозе начнут водить в этих ульях пчел, в другом и в третьем,

и если дело само скажет за себя, пусть главный пчеловод попробует их разломать! Да ему люди выдержат бороду!

Иван Степанович рассчитывал, что ему серьезно поможет в этом брат, который мог бы перевести у себя на пасеке в новые ульи сразу двадцать—тридцать пчелосемей, а это уже сила. Брат обещал, но за два года не построил ни одного улья. Иван Степанович терпеливо ждал, а потом почувствовал, что здесь что-то кроется. Когда он читал брату свои письма в областную контору и ответы главного пчеловода, брат загадочно помалкивал, пускал ртом кольца табачного дыма и смотрел куда-то вкось, в сторону.

Последнее время Иван Степанович уже перестал думать о том, чтобы ему помог брат, и думал только о том, как поправить дела на пасеке у брата. Нестерпимо неловко становилось перед людьми, которые уважали Ивана Степановича и ни слова не сказали против, когда он привез в их колхоз пасечником своего брата. Выходило, что Иван Степанович воспользовался их уважением им же во вред. Как это было нехорошо и стыдно!

И с каждым разом ему все труднее было заставить себя зайти по дороге к брату. Но сегодня этого нельзя было избежать. Надо было проверить, перебросил ли брат пасеку за реку, на луг. Брат обещал сделать это еще неделю назад, но Иван Степанович не мог поручиться, что он сдержал свое слово. Когда они жили далеко друг от друга — один в городе, а другой в станице, у Ивана Степановича меньше было оснований не доверять словам брата.

5

Дорога втягивалась под зеленый свод деревьев, росших по берегу, не прерываясь до самого хутора. Солнце редким дождем проливалось сквозь зеленую крышу, отпечатывая на земле шевелящийся узор листьев. Над головой, в листве, перепархивали птицы.

День был сухой, жаркий, а к вечеру духота еще больше сгустилась. Здесь же, под лиственным сводом, она была особенно отстоявшейся, плотной. Пропахший травами воздух был терпким и вязким. Даже близость реки почти не ощущалась.

Справа от дороги белой стенкой росли тополи, слева,

у воды и в самой воде,— вербы. Где дорога, круто поворачивая, огибала бугор, из белой стенки выступал большой тополь. Сколько ни ходил мимо Иван Степанович, он никогда не пропускал его взглядом — и не только потому, что тополь стоял ровно на полпути между станицей и хутором, а больше потому, что ему нравилось это молодое, веселое дерево. И при самом легком ветре тополь лопотал так, будто шел густой летний дождь. А в тихую, безветренную погоду он сверкал чеканными яркозелеными сверху и светлыми снизу листьями и все равно звучал, струился.

Иван Степанович так и не смог бы объяснить, почему при взгляде на тополь ему думалось и о водопаде, и о расстилающемся по степи цокоте конницы, и о рокочущих звуках, доносящихся с Красной площади в полночь, когда диктор московского радио включает куранты.

Что-то было в тополе юное, неугасимое, совсем другое, чем, например, в этих понуро стоявших слева от дороги у воды и по колено в воде белолиственных вербах. На них взгляд Ивана Степановича никогда долго не задерживался, хотя вербы были по-своему красивы, с длинными прядями свисающей к воде серебряной листвы. Даже когда над рекой поднимался ветер, они не шевелились. Все так же свисали с ветвей их серебристо-седые космы. С этими космами они напоминали красивых бездетных женщин, у которых, кроме их красоты, не было в жизни никакой другой радости. Это была не греющая никого и навевающая только уныние красота. О чем они плачут?

Он сознавал, что несправедлив: верба дерево как дерево,— но избавиться от своего чувства не мог.

Дорога уходила вперед, под деревья, как в зеленый тоннель. Здесь и днем всегда стоял зыбкий сумрак, а сейчас, перед вечером, стало почти совсем темно. В листве и в придорожной траве трубили комары. Иван Степанович сломал верхушку дикой конопли и стал ею обмахиваться.

Потянулись отгороженные от дороги черноталовыми плетнями виноградные сады. До родников шли крутоярские сады, дальше — тереховские. Через плетень на дорогу свешивались чубуки. Осенью, когда созревает виноград, здесь прямо над головой висят желтые и черные гроздья.

В стороне, на склоне, женщины садовой бригады пели песню об огоньке, светившем солдату сквозь мрак войны из окна подруги. Запевал грубовато-сильный и чистый голос, ему вторили другие. Внезапно что-то перехватило горло Ивану Степановичу. Запевала Дарья. Та самая Дарья, у которой муж погиб перед концом войны в австрийских Альпах. С тех пор ее голоса не было слышно в садах. Тогда, девять лет назад, Дарья была совсем молодая и голос у нее был девически звонкий, а теперь он отяжелел и как бы налился. Но осталась в нем все та же берущая за сердце простота, которая заставляла тотчас же поверить песне. Спускаясь после рабочего дня из садов по склону, женщины несли песню с собой. Выше дороги, в междурядьях винограда, мелькали их платки и платья. Ниже дороги, серединой реки, летел под серебряными парусами остров.

6

У родника, стекавшего со склона и перерезавшего дорогу, Иван Степанович опустился на колени напиться. Долго и жадно ловил губами тонкую ледяную струю, скачущую по зеленым камням.

— Что, Иван Степанович, хороша наша ключевая водица? — услышал он насмешливый женский голос.

Он поднял голову и посмотрел удивленными, вопрошающими глазами. Голос был знакомый — певучий, грудной голос, — но разве можно было узнать кого-нибудь в этой стоявшей над ним, подбоченясь и чуть отставив в сторону ногу, женщине с лицом, сплошь оклеенным листьями, забрызганными крапинами синего раствора, которым опрыскивают в садах виноградные лозы? Чтобы едучий раствор не портил кожу лица, работавшие в садах женщины обмазывали лицо сметаной и оклеивали листьями.

Простая парусиновая кофта и такая же юбка женщины, сильные смуглые ноги и рабочие ботинки тоже были в синих крапинах. На лице одни глаза в узкой щели вызывающе смеялись. За плечами у нее висел жестяной бачок с раствором.

— А теперь угадываешь? — смеющимся голосом спрашивала она, отдирая от лица и бросая на землю листья,

синие с той стороны, где они были забрызганы раствором, и белые с той, где они были намазаны сметаной. И все лицо женщины с темными, будто бархатными, полосками бровей было белым от сметаны.

— Так это же ты, Дарья? — рассмеялся Иван Степанович.

— Ну да, я, — глядя на него, улыбалась женщина серыми глазами и яркими красными губами на белом лице. — Ты, Иван Степанович, не всю воду из ключа выпил? — говорила она, скидывая с плеч лямки бачка с раствором. — Тяжелый, чертяка, ну-ка поноси целый день почти два луда!

Она стала на колени, как стоял до этого Иван Степанович, и, нагнувшись, долго пила прозрачную и холодную, журчавшую по камешкам воду. Потом умылась той же водой и вытерлась обратной, не забрызганной раствором стороной полы парусиновой кофты. Сметана смылась с ее лица, и оно стало румяно-смуглым и свежим. Удивительное, насмешливое и стремительное выражение придавали ему эти бархатные полоски бровей, высоко и широко размахнувшиеся в стороны над серыми глазами.

Есть вино — пью его,
Нет вина — пью воду,
Ни за что я не отдам
Казацкую моду, —

уперев руку в бок и притопывая ногой, пропела Дарья. Иван Степанович смотрел на нее, улыбаясь. Ему стало весело.

— А то не правда? — вызывающе спросила Дарья. — Вот срежем осенью виноград и тогда пить вино будем.

— Правда, Даша, правда, — охотно согласился Иван Степанович.

— Ну, а если правда, то помоги мне этого чертяку до хутора донести, — не растерялась Дарья. — Он мне за день все плечи оттянул. Почитай, как эта самая выкладка у солдата.

Иван Степанович вскинул на спину бачок с раствором, и они пошли рядом по дороге к хутору. Впереди и сзади них выходили из садов на дорогу женщины с тляками. Все они были знакомы Ивану Степановичу и сейчас с ним здоровались.

Солнце скрылось за буграми, край неба горел над

степью и уже тускнел, будто пепелился. Теплый майский туман сползал из степи по склонам на воду. Тихо было в воздухе, в садах и на реке. С левого берега колхозники луговой бригады возвращались домой на лодках. Две лодки, только что отчалившие оттуда, неслышно скользили через реку. Только чуть-чуть — «скрип-скрип» — ходили в гнездах весла.

Ехавшие на лодках женищины запели песню. Раствор переливался в бачке за плечами у Ивана Степановича. Дарья шагала медленными, усталыми шагами. На темно-русой прядке, выбившейся у нее из-под платка, остались капельки воды, замочившей ей волосы, когда она наклонялась над родником.

Слушая песню, они разговаривали друг с другом.

— Все, Иван Степанович, за пчелами гоняешься?

— Все за ними, Даша.

— Думаешь все же догнать эту самую золотую пчелу? — спрашивала она дружелюбно.

— Думаю догнать, — отвечал он со вздохом.

— Мой отец говорил: «Ветер в спину», — серьезно сказала Дарья.

— Спасибо, Даша.

Но тут же она заставила его помрачнеть:

— А вот твой братец ожидает, когда она сама к нему в руки прилетит.

— Ты же знаешь, Даша, какие это были годы, — не-твердо возразил Иван Степанович.

— С ним и при хорошем годе не попробуешь меду, — жестко сказала Дарья. — В других колхозах пасеки ко-чуют, а наша с весны стоит на бугре. Мы уже не меч-таем — на трудодни, хоть бы для детских яслей... Ты, Иван Степанович, рассердился на меня? — спросила она мягче.

— За что?

— За брата.

— Мне, Даша, на себя сердиться нужно, — сказал Иван Степанович.

— От одной матери вы, а разные, — заключила Дарья.

Идущие берегом женщины сначала только прислуши-вались к песне, а потом и сами запели. И те, что шли по берегу, и те, что плыли в лодках, пели одну и ту же песню. Но песня на реке чуть отставала и потому казалась эхом

песни. И опять Иван Степанович почувствовал, будто кто-то горячими пальцами сжал ему горло.

— Что, берет? — внимательными глазами посмотрела на него Дарья.

— Берет, — признался Иван Степанович.

— Вот и я такая же, — помолчав, негромко сказала Дарья. — Тут родилась и выросла, сама эти песни пою, а как услышу, так сердце и повернется.

Они уже приближались к первым домикам хутора. Когда проходили мимо крайнего домика, возле которого стоял столб — полосатая вежа, Иван Степанович снял фуражку и понес ее в руке. Дарья взглянула на него, и они поняли друг друга.

В домике, у которого стояла полосатая вежа, раньше жил бакенщик Акимыч, старик с тремя сыновьями. Старшего сына его, первого председателя хуторского колхоза, убили в тридцатом году кулаки; второго, директора МТС, утопили в проруби фашисты; младший, разведчик, погиб на войне. Получив известие о гибели третьего сына, старик слег и больше уже не вставал. Бакены ездила на лодке зажигать и тушить его внучка Ольга. Но однажды в конце дня Акимыч встал и сказал, что сам засветит бакены. Вечером с проходившего парохода у горевшего перед островом бакена увидели лодку, с которой свесился в воду вниз лицом человек. Когда подтянули лодку к пароходу и перевернули Акимыча на спину, увидели, что он мертв. Открывая путь пароходам, он успел зажечь бакен, и тут же, в круге падавшего на воду красного света, остановилось его сердце.

— Хорошо жил человек и хорошо умер, — сказала Дарья.

В хуторе они расстались. Дарье нужно было идти домой по верхней улице, а Ивану Степановичу по нижней.

— К брату небось зайдешь? — спросила Дарья.

— Зайду, — сказал Иван Степанович.

— Зайди, зайди, может, помиришь их с Еленой. Вчера они опять делились.

— Делились? — потускневшим голосом переспросил Иван Степанович.

— Весь хутор собрали. Жалко мне Елену. По мне, чем такая жизнь, горшки врозь — и до свидания... До свидания, — повторила она уже Ивану Степановичу и, повернувшись, стала подниматься по улице в гору.

У дома брата Иван Степанович встретил старуху, мать Елены.

— Куда вы, Семеновна, в это время? — удивился он, заметив, что она держит в руке узелок и одета не по-летнему — в стеганую кофту, теплые чулки с калошами и полушалок.

— На луг, улы сторожить, — ответила она неохотно.

Иван Степанович увидел, что лицо у нее сумрачное и глаза укоряющие. Она хотела тут же пройти мимо, но он задержал ее в калитке.

— Опять, Семеновна, плохо? — спросил он, показывая глазами на окна дома и понижая голос.

— Нет, уже помирились, — сказала она и вдруг всхлипнула. — Теперь опять я буду виновата...

И, оглядываясь на окна, в которых горел свет, она рассказала Ивану Степановичу, что на этот раз Елена совсем было разошлась с мужем. Она уже наняла на стороне и квартиру, а потом они полезли делить ссыпанную на полатах пшеницу, вспомнили там, как все это вместе наживали, и там же, на куче зерна, помирились. Слезли с полатей притихшие, и теперь в доме все пока спокойно, до нового скандала.

— Вы, Иван Степанович, только ему не скажите, а то мне совсем... — Старуха снова всхлипнула и, не договорив, пошла вниз по улице, к переправе.

Брат в синей новой косоворотке с белыми пуговицами лежал на кровати. На грудь ему вспрыгнул черный, с кудым белым хвостиком козленок. Приподнимая голову от подушки, брат учил козленка бодаться. Должно быть, старые козы Белка и Галка недавно окотились — в доме было четверо или пятеро белых и черных козлят. Отовсюду мерцали их зеленые, бесовские глаза.

Елена сидела в углу на сундуке, взяла мужу носки из козьей шерсти.

— Ага, пришел! — встретил брат Ивана Степановича. И, спуская козленка на пол, встал с кровати. — Здравствуй. А у нас на ферме опять свиноматка пала.

— Ты говоришь это так, будто для меня приберегал эту новость, — сказал Иван Степанович.

Они взглянули друг на друга, и между ними, как между двумя электрическими полюсами, с первой же се-

кунды проскочила искра неприязни, которая могла потом дать всышку. Но, зная себя, Иван Степанович решил на этот раз сдержаться и поговорить с братом по-хорошему.

Елена собрала на стол, достала из шкафа бутылку с виноградным вином и снова ушла к себе в угол, склонилась над вязаньем, поглядывая оттуда на братьев своими наивными, чем-то удивленными глазами. Иван Степанович и раньше заметил, что она в дни раздоров в семье как-то жалко хорошела. В такие дни ему чудился в ее глазах скрытый упрек, и он ощущал какую-то и свою вину перед Еленой.

Братья сели за стол друг против друга, выпили по стакану вина. Кисленькое и совсем слабое, оно слегка отдавало уксусом.

— Что-то я во дворе не заметил твоих ульев? — спросил Иван Степанович у брата.

— Они там, — брат махнул рукой.

— На лугу?

— Уже две недели, как мы их с Еленой перевезли. У Золотого озера поставили. Старуха сторожует.

— Маму там комары заели, — вставила из своего угла Елена.

— Не съедят, — не оборачиваясь, бросил через плечо брат. — У старых кожа не то, что у нас.

— Как-то странно, — закипая глухим раздражением, но сдерживаясь, сказал Иван Степанович, — свои ты перевез, а колхозные на бугре стоят. Пчелы должны за семь верст за взятком летать?

— Ничего странного не вижу, — сухо ответил брат, и глаза у него блеснули. — Шесть ульев и шестьдесят — большая разница. Не наприсишься машины их с места на место перевозить... Это же колхоз!

— Скажи, Степан, за что тебя не любят люди в колхозе? — устало спросил Иван Степанович.

Он почувствовал, как при этом вопросе Елена вдруг сверкнула на них из угла острым, пронзительным взглядом и опять низко склонила над вязаньем голову.

— Каждому не будешь хорош. Ты скажи: кто? — брат прищурился.

— Каждому — это да, — согласился Иван Степанович.

Он и сам знал, что в жизни нельзя быть со всеми хорошим. И не это он имел в виду, спрашивая брата.

— Ты точно скажи: кто? — настаивал брат.

— Например, Дарья.

— Дарья? — поднял плечо брат, и на секунду на его лице отразилось искреннее недоумение. Но он тут же нашелся: — Дарья пусть лучше меньше перед председателем юбкой машет.

— Ты же знаешь, Степан, что это брехня, — тихо сказал Иван Степанович.

— Все знаю! — ожесточаясь, подхватил брат. — Я знаю, почему и ты зачастил к ней в бригаду.

— Степан! — еще тише сказал Иван Степанович.

Но брата уже нельзя было остановить.

— Все они тут бездельники и жулики, — говорил он, перегибаясь через стол и приближая лицо к Ивану Степановичу. — Одним словом, колхоз. Ты понимаешь русский язык: кол-хоз!

Это слово он произносил теперь презрительно и так же чуть в нос, как в свое время слово «го-род». И о людях брат отзывался так, будто до него они здесь ничего не сделали. Будто это не они построили здесь колхоз, засадили эти бугры виноградными лозами, а потом, когда их пожгли и потоптали фашистские танки, подняли сады из золы, отходили и опять стали жить в колхозе.

Иван Степанович вспомнил убитого кулаками старшего сына Акимыча, вспомнил женщин, устало идущих по берегу из садов с тяпками на плечах, Дарью, которая вырастила без мужа четверых детей и опять в садах поет песни. В том, как брат говорил о колхозе, Ивану Степановичу слышалось надругательство и над ними. Он уже не мог больше сдерживаться.

— Я тебя, Степан, отстраняю от пасеки, — сказал Иван Степанович.

— Ты? — с недоверием посмотрел на него брат.

— Я, — подтвердил Иван Степанович.

Они оба встали из-за стола и смотрели друг на друга тяжелым взглядом.

— Ну, это мы еще посмотрим, — приходя в себя после первой растерянности и поднимая вверх правое плечо, сказал брат. — Я к тебе в работники не нанимался. Как общее собрание решит. Это колхоз.

Вот когда он вспомнил о колхозе не так, как он вспоминал всегда, и выговорил это слово не врасстяжку, а

твердо и четко! И от этого он стал еще более неприятен Ивану Степановичу.

— Сдашь пасеку, а собрание потом утвердит. Ну и вот,— неожиданно заключил он так, как обычно говорил брат.

— А-а! — вдруг взвизгнул брат.— Так вот ты какой мне брат! Тебе чужие люди роднее?!

8

Их разделял стол. Елена смотрела на них из угла испуганными глазами и невольно отмечала, что, несмотря на то, что они были совсем разные — Иван Степанович приземистый, широкий, с большой, лобастой головой, а Степан, ее муж, худой, остролицый и весь какой-то вихляющийся,— сразу можно было определить, что у них одна мать. Это вдруг выступило в их тяжело сверкающих, углисто-черных у одного и другого глазах, в ожесточенно обозначившихся резких чертах их лиц и в беспощадном выборе слов, которым они могли научиться только в одной семье и которыми теперь осыпали друг друга.

— Ты на себя посмотри,— бросал Иван Степанович в лицо брату.— Людей ругаешь, а сам?

— Грыжа у меня! Ты понимаешь русский язык? Грыжа! — кричал брат.

— Давно бы на операцию лег. Она тебе нужна. Ты ею закрываешься!

— Ты что мне, судья? — спрашивал брат.— Порядки свои устанавливаешь?!

— Женщины сдадут детишек в ясли — и в степь, на луг, в сады. А ты тут с козлятами!

— Это ты ей скажи,— оглядывался брат на Елену.— Им с матерью корова да козы белый свет затмили!

— Хорошо, Степа, давай их продадим,— дрогнувшим голосом сказала Елена.

Она и в самом деле любила своих коз и корову до беспамятства, называла их уменьшительными именами — Розочка, Белочка, Галочка. Но теперь она была согласна и продать их, лишь бы это помогло установиться миру в их доме.

Но ее слова только больше подогрели мужа.

— Ты их наживала? — как на пружине, повернулся

он к Елене.— Ты забыла, как я вас с матерью на Кубани в чем были подобрал?

Иван Степанович уже не помнил, что он говорил брату. Но говорил он то, что когда-то думал.

— Больного человека ни во что поставил. Чадишь по ночам, из дома выкуриваешь.

— Ага! — кричал брат.— Я же говорил, что они тебе жалуются! Одна порода. Вот брошу и уйду! Оставайся тут с ними!

— Не уйдешь! — выкрикивал ему в лицо Иван Степанович.— Ты без них пропадешь, они на тебя батрачат!

— Ха-ха, но-ва-тор! — вихлялся и дергал плечом брат.— С чужого улья слямзил, а умные люди за руку схватили!

Этого Иван Степанович уже не мог вынести. Он не помнил, как схватил брата за воротник косоворотки и рванул к себе. Захрустели и посыпались на пол перламутровые пуговицы.

Испуганно вскрикнула Елена. Иван Степанович взглянул на нее незрячими глазами, выпустил воротник брата и, повернувшись, бросился к двери. По дороге он отшвырнул ногой что-то мягкое. Жалобно мемекнул козленок.

У калитки он услышал за собой торопливые шаги. Его догоняла Елена.

— Иван Степанович! — позвала она задыхающимся голосом. — Иван Степанович, как же это так?! Что же это такое?!

Он обернулся и увидел ее глаза под страдальчески изломавшимися бровями.

— Уходи ты от него, Елена,— сказал Иван Степанович.

— А как же, Иван Степанович, хозяйство? — спросила Елена. В ее глазах стояли слезы.

— Бросай все и уходи,— повторил Иван Степанович.— Он только одного себя любит.

Чтобы выйти на дорогу, ведущую в свою станицу, Ивану Степановичу надо было подняться и потом опять спуститься по горбатой улице, на которой жила Дарья. Ее дом стоял на углу. В струе света, лившейся из окна, ку-

палась чеканная бархатная листва белого тополя. Он был как родной брат тому веселому и шумному тополю, мимо которого шел сегодня Иван Степанович по дороге к хутору.

Он остановился под деревом, увидев в освещенном квадрате Дарьиного окна ее склоненную над столом голову с гладко причесанными и уложенными на затылке в узел русыми волосами. На Дарье была не парусиновая, забрызганная раствором кофта, а розовая крапчатая кофточка, заколотая на груди белой брошкой. И в лице ее было теперь не стремительно-насмешливое выражение, а задумчивое и немного грустное. Склонившись над столом, Дарья шевелила губами и бровями, должно быть, записывая в бригадную ведомость трудодни работавшим сегодня вместе с нею в садах женщинам.

Но вот она подняла лицо, брови ее разлетелись вверх и в стороны, а глаза сузились и глянули сквозь окно настороженно и ждуще. У Ивана Степановича сердце забилось в груди, точно он взошел на крутую горку. Он отступил в темноту и стал спускаться по улице к реке, на дорогу.

Уже за хутором он услышал впереди тот глуховатый звон и пенящийся шум, который разносится по реке от идущего парохода. Потом из-за поворота скользнул по воде и заплясал на гребешках небольших волн луч прожектора. Пароход, как большой, плывущий по воде завод, прошел мимо Ивана Степановича и вскоре поравнялся с бакеном, у которого окончил свою жизнь Акимыч.

И вот до Ивана Степановича донесся звук, густой и вибрирующий, как полет шмеля, услышав который он почему-то, как всегда, прибавил шаг.



Вадим Кожевников

ЛОДОЧНИЦЫ ЖЕМЧУЖНОЙ РЕКИ

Выгрузив бутовый камень, арматурное железо, кирпич, цемент и гравий, джонки сгрудились у причалов строительной площадки текстильного комбината в ожидании прилива.

Опустившаяся в илистых берегах река мчалась сейчас к океану с такой поспешностью, что казалось, она чувствует: вот-вот наступит минута и могучий прилив отбросит ее вспять.

Сотни лет здесь, на берегу, в глинобитных хижинах, ютились плетельщики цыновок, корзин и легкой обуви из рисовой соломы. А теперь на этом месте поднялись голубые колонны будущих цехов текстильного комбината и в трехэтажных корпусах с красными черепичными кровлями уже живут будущие рабочие; там они учатся на курсах, чтобы к окончанию строительства стать ткачами и прядильщиками.

Древняя пагода с бронзовыми колокольчиками, подвешенными к карнизам остроконечной кровли, совсем недавно была самым высоким сооружением на всем побережье. А теперь она оказалась ниже новой водонапорной башни. Пагоду древние китайские мастера строили больше сорока лет, а водонапорная башня была возведена в течение месяца. На крыше башни и на кровле пагоды стояли большие прожекторы. Они освещали по ночам строительную площадку, на которой шли круглосуточные работы.

Бамбуковые деревья, растущие вдоль берега, не дава-

ли тени. Знойный воздух блестел и жег, как расплавленное стекло.

На палубе джонки, принадлежавшей вдове Сян, под навесом из тонких камышовых планок сидели четыре женщины-лодочницы и, держа на коленях пиалы с рисом, обедали. Приправой к рису служили квашенные вместе с красным перцем овощи, кусочки засахаренной тушеной свинины и облитые коричневым соевым соусом тонкие листья морской капусты.

У вдовы Сян суровое костистое лицо, одна щека пересечена глубоким шрамом. Одета она в черную куртку и короткие парусиновые штаны с двумя большими карманами сзади. У нее длинные жилистые ноги, и при каждом едва заметном движении на них сразу выпукло обозначаются все мускулы.

Если б не волосы, уложенные пучком в сетку, и серьги с позеленевшей от древности бирюзой, в ней не было бы ничего женского. Говорит она сипло, на жаргоне, принятом среди речников и непонятном людям, живущим на суше.

Наклоняясь с палочками в руке к миске, где плавали в масле крохотные стручки жгучего зеленого перца, вдова сказала, подмигивая морщинистым веком и кивая головой в сторону берега:

— Раньше бывало за связку тухлых крабов люди снесут все грузы и после вымоют джонку почище, чем собственные рожи. А теперь им фанзу построили для жрания. — Вдова почесала голову палочками и задумчиво продолжала: — Вы думаете, я не знаю? Не сегодня-завтра сбросите свои шкуры и уползете, как голубые змейки, за счастьем. А я, речная черепаха, если пойду куда, так вместе со своей посудинной.

Взгляд ее остановился на коренастой, плечистой, с низким лбом и широким, приплюснутым носом лодочнице, которая в этот момент накладывала себе в пиалу рис из медного котла.

— Давай, давай, Лян, набивай себе побольше брюхо! — не скрывая своего раздражения, сказала вдова. — Еще пожалеешь. Походишь за сохой — заскучаешь о веслах.

Лодочница поставила пиалу на палубу, вытерла полотенцем, висевшим у нее на шее, толстые губы и руки и произнесла низким спокойным голосом:

— Я вас, хозяйка, почитаю, как свою мать. И если вы на воде отсыреете, на моем кане вам самое теплое место.

— Тоже помещица нашлась! — И вдова Сян грубо расхохоталась, но глаза у нее остались грустными.

Подняв на вдову большие, яркие, красивые глаза, лодчица Сю Ин, тонкая, стройная и подвижная, горячо заступилась за Лян:

— Народное правительство дает крестьянам землю, а вы хотите плюнуть на солнце за то, что оно ярко светит!

Лицо Сян стало серым от гнева. Она вытянула перед собой жилистые руки, сжатые в кулаки, и, задышавшись, произнесла:

— А я, ты думаешь, кто? Я этими руками не меньше потрудилась, чем все вы или крестьяне на поле!

Маленькая, худенькая лодчица с миловидным лицом, покрытым татуировкой, сказала примирительно:

— Это правда. Мы вас очень уважаем, хозяйка.

Весь гнев вдовы Сян вдруг обрушился на эту маленькую лодчицу:

— Ах, ты меня еще уважаешь, Чи? Значит, ты не забыла, откуда я тебя выкупила?

И вдова Сян стала выкрикивать бранные слова. Потом она, все так же ругаясь, бросила к ногам женщины свертки, на которых до этого сидела.

Лодчицы развернули их и стали кланяться и благодарить вдову. А вдова, глядя, как женщины со счастливыми лицами раскладывают у себя на коленях куски яркой ткани и любуются большими пластмассовыми гребешками, печально говорила:

— Ладно, не пропаду я без вас. Счастливого вам ветра. А я еще похожу по реке под худой рогожкой. На реке я родилась и сойду только в псе.

Мать вдовы Сян была лодчицей и, как все лодчицы, когда становилась к веслу, привязывала ребенка себе на спину. С шести лет Сян помогала матери грести. Девятилетней она уже самостоятельно управлялась с веслом. Потом ее взял в жены владелец морской джонки, и с четырнадцати лет она стала ходить в океан на утлом суденышке и работала наравне с тремя матросами, не уступая им ни в смелости, ни в споровке.

Крупные феодалы господствовали не только на земле, но и на море. Они владели целыми флотилиями джонок

и забирали половину улова у рыбаков, заставляя всех джоночников платить налоги в свою пользу. Грабили и убивали лодочников, если обнаруживали у них ценные грузы. Заключали соглашения с американскими и английскими судовладельческими компаниями, — тайно возили с их судов на берег кипы опиума и доставляли эмигрантов для плантаторов в южноамериканские страны. Только самые смелые джоночники пытались уклоняться от их власти и брали самостоятельные подряды у мелких купцов. Для этого приходилось ходить в море в бурную погоду, когда флотилии феодалов отстаивались в бухтах, но купцы очень скудно платили таким лодочникам, потому что очень много гибло их в море, а вместе с ними гибли и грузы.

Шесть лет Сян ходила на морской джонке к берегам Индонезии, Бирмы, Малайи, и хотя муж был старше ее на сорок лет и обращался с ней в море с такой же жестокостью, как и со своими матросами — беглыми крестьянами, она любила этого человека.

Однажды они везли ценный груз — растительное сало, добытое в провинции Хубэй с дерева уцзюшу, — и когда уже уходили из реки в океан, их стали настигать джонки, на парусах которых было написано черными иероглифами имя феодала У. Им не удалось уйти от преследования. Когда муж и матросы были убиты, Сян, держа в руках секач, которым рубят кокосовые орехи, еще продолжала отбиваться. Но ее свалили на палубу ударом багра по голове. Потом ее продали в один из портовых домов в Гонконге только за пять серебряных долларов, так как лицо у нее было испорчено ударом багра.

Через несколько лет она снова появилась в Кантоне. Ей удалось продать стоянку у пристани, принадлежавшую мужу, и на эти деньги она приобрела старую речную джонку.

Лян она купила у старшинки текстильной фабрики, который скупал у помещиков детей должников-крестьян.

Чи выкупила у владельца притона.

Сю Ин подобрала у портового склада, где та лежала, ослабев от голода.

С тех пор вдова Сян стала самостоятельно промышленлять извозом на Жемчужной реке.

Она обращалась со своими лодчицами так же сурово, как и ее муж с матросами. Но она ела ту же еду, что

и они, и работала с ними наравне. И никто на берегу не рисковал приставать к лодочницам вдовы Сян, потому что все знали — вдова носит в подкладке куртки тонкий и острый, как бритва, малайский нож и не задумываясь пускает его в ход в случае нужды. Это же знали торговцы. Нанимая лодку вдовы Сян, они платили очень немного, но всегда ту цену, о которой договаривались.

Как-то скупщик хлопка, на которого Сян работала много месяцев, не захотел расплатиться с нею. Потом ему долго пришлось пролежать в больнице, несмотря на то, что его всегда сопровождал телохранитель.

Заработка от извоза хватало только на уплату владельцу пристани за стоянку и на рис.

Когда однажды паровой катер проломил борт джонки, вдова Сян ушла на ртутные рудники, чтобы заработать деньги на ремонт, и трудилась там больше года. Вернулась она покрытая язвами, зубы шатались, десны вспухли и кровоточили. Так же выглядела Лян, покорно следовавшая за хозяйкой. Сю Ин и Чи остались сторожить джонку.

Грузы приходилось возить несколько сот километров вверх по реке.

Приставать к пустынному берегу было опасно. Любой помещик мог напасть на джонку со своими вооруженными слугами и отнять грузы. А за стоянку у пристани нужно было платить большие деньги. Поэтому шли без остатков.

Лодочницы гребли большими, тяжелыми веслами, делая вперед и назад несколько быстрых и мелких шагов по палубе при каждом взмахе весла.

Если измерить путь, который они пробегали таким образом по палубе, то он оказался бы намного больше расстояния, сделанного джонкой. А если к тяжести весла прибавить усилия, затрачиваемые при каждом его взмахе, то можно было бы сравнить их труд только с трудом шахтеров, отправленных после восстания в горах Юннани на свинцовые рудники и посаженных по приказу иностранных колонизаторов в огромные полые деревянные колеса от шахтной лебедки, которую они приводили в движение, карабкаясь внутри по перекладинам круглой лестницы.

Прибыв на место назначения, лодочницы должны были разгружать джонку. Случалось, им приходилось тас-

кать на плечах тяжести на расстояние в десять ли и такой же путь с такими же тяжестями проделывать снова, чтобы нагрузить джонку.

Так работали сотни тысяч лодочников, но еще хуже было тем, кто не имел ни лодки, ни тачки. Миллионы носильщиков перетаскивали на своих плечах тяжелые вьюки на огромное расстояние и зарабатывали только на то, чтобы поесть один раз в день.

Зимой с океана налетали тайфуны. Ураган разбрасывал по реке и топил много сотен судов и лодок. Не раз лодку вдовы Сян выкидывало на отмель. Чтобы сняться с мели, женщины копали в отмели канал, по которому потом оттаскивали джонку в реку.

Но не только шторм и непогода угрожали лодочникам. По реке плавало немало всякого сброда, женщинам приходилось опасаться не только за свой груз. Недаром на палубе джонки на глиняной жаровне всегда стоял большой медный котел с кипящей водой, чтобы в случае опасности было чем защищаться от речных бандитов.

Однажды их застиг шторм. Они шли с грузом хлопка, волны накатывались на палубу, и часть хлопка оказалась залитой водой. Купец, которому принадлежал товар, был добрый человек, и он не отобрал лодку в уплату за испорченный груз, а только приказал наказать лодочниц на базарной площади палками, а потом обмывать их лица навозом.

И все же их жестокая, суровая жизнь, лишения, невзгоды, тяжкий труд были лучше того существования, которое влачили тысячи бездомных женщин, ютившихся вдоль берега реки в шалашах или в ямах, выкопанных в земле.

Выходя на берег, лодочницы держали себя гордо и независимо, хотя одеты они были в лохмотьях и их руки и ноги оплетали синие вены, раздувшиеся от чрезмерного труда. Плоскогрудые, с хриплыми голосами, покрытые иссиня-черным загаром, они шли по земле вразвалку, потому что привыкли упираться босыми ногами о шатающуюся палубу, привыкли к вечному качанию у весла. На сухих, мускулистых шеях лодочниц, на пропотевших веревках болтались связки амулетов, которые должны были предохранить их от ревматизма, от смерти в воде, от козней водяных духов.

Они шли вслед за вдовой Сян в харчевню и там после

удачной поездки ели суп из хорька, вареного осьминога в соусе из красного перца, но только вдова Сян позволяла себе выпить несколько чашек теплой желтой рисовой водки. Потом она сидела, развалилась, на циновке, поглядывая свысока на владельцев других джонок. А ее лодочницы, купив у мальчишки-лоточника синие стебли сахарного тростника, зачистив их ножами, похожими на кривые бритвы, молча жевали тростник и сплевывали изжеванную древесину на пол.

Потом они снова возвращались на джонку.

Посещения харчевни имели одну цель — показать портовым старшинкам, что дела на джонке идут неплохо и что за бросовую цену они не подрядятся. Правда, потом много дней лодочницы ели один раз в день, и то отвар из рисовых очистков, а иногда и хлопковые жмыхи.

На юге Китая женщины брались за самую тяжелую работу. Крестьянки пахали землю, крутили ногами поливные колеса, носили за сотни ли землю в корзинах на каменистые или песчаные поля, работали лесорубами. В городах тысячи женщин ходили в упряжках, таская двухколесные телеги с грузами. Собирались в артели и носили клади из одного города в другой. Нередко женщины уходили в горы и там копали в ямах свинцовую руду и потом продавали ее перекупщикам. Эти женщины-труженицы, как ни была тяжка их жизнь, отличались независимым характером и умели постоять за себя. Во время освободительной войны многие из них сражались в партизанских отрядах, и были отряды партизан, которые возглавляли женщины.

Таких лодочниц, как вдова Сян, ходило много по Жемчужной реке. На фабриках, принадлежавших иностранным колонизаторам, женщине платили половину того, что за равный труд получал мужчина. Купцы, нанимая на работу женщин, придерживались того же правила. Некоторые лодочницы отдавали двадцать процентов своего заработка какому-нибудь портовому старшинке за то, что тот выдавал себя за хозяина джонки. Вдова Сян тоже нашла себе такого старшинку. Сначала он брал обычные проценты, но потом потребовал половину всего дохода. Вдова Сян отказалась. Ее схватили агенты речной полиции и целый месяц продержали в пловучей тюрьме. И когда она вышла на свободу, оказалось, что она уже не владелица джонки. Нашлось много свидетелей, готовых

подтвердить, что лодка принадлежит старшинке. Вдова Сян стала работать вместе со своими лодочницами на старшинку.

И хотя лодочницы попрежнему называли ее хозяйкой и не жаловались на то, что стали теперь жить впроголодь, вдова Сян сломилась от обрушившегося на нее бедствия, волосы ее поседели, и она стала курить конопляное семя, дурманящее, как опиум.

Несколько лет назад, когда Сян, еще будучи хозяйкой джонки, уходила на заработки на рудники, один из плотников, который чинил джонку, подарил Сю Ин стеклянные голубые бусы. Она стеснялась носить их и спрятала где-то в трюме. А потом Сю Ин родила девочку. Эти дни были самыми радостными в жизни лодочниц.

Коренастая, массивная, с толстой, как у грузчика, шеей, Лян держала ребенка в мускулистых руках, вся багровая от напряжения. Так она никогда не багровела, даже таская на спине тяжелые мешки с рисом или полномерные тюки хлопка. Сияя всем своим плоским лицом, она шептала:

— Лягушка, лягушоночек!

Крохотная Чи становилась на носки, стараясь заглянуть в лицо ребенку, пела песенку, грубые слова которой теряли свое значение в той нежности, с какой они произносились.

Вдова Сян, стоя на корме, гребла рулевым веслом, сохраняя на лице каменно-неподвижное выражение. Она ни разу не взглянула на ребенка, но и ни разу после его рождения не кричала на лодочниц и не била их. И только молча работала у весла, словно стараясь подавить в себе чувства, обычно пробуждающиеся у всякой женщины при виде маленького ребенка.

Сю Ин, бледная и истомленная, еще более похудевшая, огромными тоскливыми глазами смотрела без улыбки, как Лян на согнутых руках неловко держит ребенка.

Сю Ин страдала от того, что у нее не было молока. В отчаянии она даже надсекла ножом сосок, думая, что после этого молоко появится. Но молоко не появилось. Новорожденную кормили рисовым отваром. Ребенок оказался слабым и вскоре умер. Сю Ин бросилась в реку. Вдова Сян вытащила ее, зацепив багром за куртку, побила по щекам и сказала сурово:

— Мы работаем, как мужчины, и у нас все давно

иссохло. Ты захотела стать матерью и погубить нас всех. Мы давно забыли, что мы женщины, поэтому не издохли от голода на пристани, а зарабатываем себе на рис, как мужчины. И чем скорее ты забудешь, что ты женщина, тем легче тебе будет переносить нашу жизнь, если ты не хочешь сдохнуть. Забудь о ребенке, как я забыла о том, что я женщина.

Никто не видел, как в эту ночь вдова Сян бросила за борт узелок с яркой детской одеждой, которую она купила тайком на рынке, и никто из лодочниц не слышал, как она в трюме лающе рыдала, уткнувшись лицом в большие мешки с сушеными креветками.

После смерти ребенка Сю Ин тайком стала курить опиум. Вдова Сян несколько раз так сильно напивалась, что, стоя у руля, чуть было не разбила однажды джонку о встречное судно. Лян громко плакала даже в то время, когда гребла. Потом несколько месяцев, видно душевно заболев, баюкала сверток из тряпок, и лицо ее при этом обретало хитрое и счастливое выражение. Выздоровев, она уже больше никогда не смеялась, и если раньше она не была охотницей до разговоров, то теперь и вовсе замолчала и старалась не встречаться взглядами с Сю Ин.

Когда владельцем джонки стал старшинка, лодочницы потеряли последнее в своей жизни — свободу. Если не было подрядов, он заставлял их вместе с портовыми кули носить грузы. Потом он купил телегу, и женщины, запрягшись в лямки, возили тростник на сахарный завод, а потом стали возить камень на строительство английского банка.

Во время японской оккупации старшинка привел на джонку трех солдат японцев, показал им на лодочниц и велел вдове Сян катать солдат по реке и делать то, что они скажут. Сам он остался на берегу. Но когда джонка вернулась к пристани, на пей не было японских солдат. Палуба была чисто вымыта, и только фонарь на носу был пробит пулей.

Старшинка понял, что произошло. Хотел бежать за полицией, но вдова Сян остановила его:

— Ты думаешь, нам одним отрубят голову? Мы скажем, что это ты велел их убить.

Старшинка долго не показывался в порту, а потом на джонку пришли рабочие, сняли парус, положили его на палубу и написали на нем черной краской имя госпо-

дина У. Сян поняла, что с этого дня джонка принадлежит транспортной компании. Теперь они возили день и ночь грузы на иностранные корабли и были обязаны делать в сутки не меньше четырех рейсов. На сон и на еду у них почти не оставалось времени.

Больше трехсот джонок принадлежало транспортной компании господина У. Она захватила много пристаней, договорилась с речной полицией, и все грузы стали поступать через транспортную компанию. Тысячи лодочников лишились заработка, в провинции начал свирепствовать голод. Речная полиция заставляла лодочников даром возить военные грузы и камень для строительства оборонительных сооружений. На реке объявились партизаны-лодочники, которые стали нападать на военные японские катеры. После капитуляции Японии гоминдановские власти открыли против речных партизан широкие военные действия, но скоро целые районы реки оказались во власти повстанцев.

Иногда на джонку приходила лодчица Вэй. Вдова Сян очень уважала ее. Некогда Вэй тоже ходила на морской джонке. Но муж ее был связан с коммунистами-подпольщиками, он попытался вывезти на джонке бежавших из тюрьмы заключенных, и речная полиция настигла его. Вэй просидела в тюрьме три года и вышла оттуда вдовой. Теперь она работала лодчицей на речной джонке, принадлежавшей транспортной компании.

Несмотря на все несчастья, Вэй осталась веселой, жизнерадостной женщиной, носила в черной косе розовый бантик, была очень общительной и знала почти всех лодочников на реке.

Про нее ходили слухи, что, когда в одной из прибрежных деревень началось восстание крестьян, она уговорила лодочников высадиться на берег и помочь крестьянам расправиться с помещиком и его охраной. Потом повстанцев увезли в район реки, где находилась партизанская база. В разговоре Вэй часто произносила слово «мы», и многие лодочники понимали, что заключено в этом слове.

На одном японском транспортном судне вспыхнул пожар, портовые кули очень хорошо знали, почему так случилось, и, встречаясь с Вэй, подмигивали ей, а она, улыбаясь, говорила:

— Добрые духи не дали коротконогим увезти наш

рис. Служите этим духам, и они не оставят вас в своей благосклонности в будущей вашей жизни.

После разгрома Квантунской армии японцы капитулировали, но гоминдановцы запретили праздновать эту победу советских войск.

Вэй обошла все пристани и сказала людям, что нужно устроить праздничное шествие в честь голубого дракона — покровителя речников.

Лодочники и портовые кули вышли на улицу города, неся в руках изображение дракона, и он очень красиво выглядел на фоне красных флагов; в открытой зубастой пасти его висел бумажный фонарь в виде красной пятиконечной звезды.

Солдаты американской морской пехоты открыли огонь по демонстрантам. После похорон жертв расстрела кули и лодочники прекратили работу, но забастовка их была сломлена голодом.

Как-то Вэй привела на пристань уличного писца и устроила ему постоянное место возле хлопкового склада.

Это был тощий молчаливый человек с бритой головой, шея его была обмотана шарфом, он сильно кашлял и плевался кровью. Все считали его чудаком, потому что он не брал денег за написание письма, а только вместо платы просил разрешения добавить от себя несколько слов. Портовики охотно соглашались, потому что слова, которые он вписывал в их письма, были совсем неплохими и он писал их красивой красной тушью. Например: «Каждому пахарю свое поле», «Коммунисты хотят, чтоб Китай был свободным», «Гоминдановцы продали страну заморским дьяволам».

Когда забастовали рабочие на судовых верфях, отказавшись ремонтировать американские военные катеры, Вэй сказала лодочникам, чтобы каждый из них дал по одной горсти риса для приношения богу тружеников. Хотя лодочники никогда не слышали о таком боге, а некоторые даже говорили, что такого бога совсем нет, Вэй собрала больше ста мешков риса и передала их в забастовочный комитет.

И с тех пор, когда Вэй обращалась с какой-нибудь просьбой к лодочникам, люди говорили, улыбаясь:

— Мы знаем, какому богу ты служишь!

И редко кто отказывал ей в просьбе.

Вэй появлялась со своими розовыми бантиками и в портовых трущобах, куда не только женщины, но и мужчины не решались показываться, зная, что, кто не принадлежит к этим отверженным людям, тот рискует там очень многим.

Уличный писец, к которому речная полиция уже не раз подсылала своих агентов, переселился жить в портовые трущобы. И не только в порту, но и в городе стали ходить по рукам листовки, и многие узнавали по красивому почерку кисть уличного писца.

Вэй принесла в подарок вдове Сян пол-ляна ханчхоуского чая, и лодочницы с благоговением пили его из глиняных чашечек.

Вэй рассказывала о том, как кули, которые грузили на американские суда медную руду, сначала набирали в корзину песок, а потом только сверху засыпали его рудой. И она произносила насмешливо:

— Заморские дьяволы хотят захватить всю нашу землю. Ну вот мы и дали им ее попробовать. Пускай потаскают за океан и покажут своим детям!

Вдова Сян, чтобы быть вежливой и понравиться Вэй, сказала учтиво:

— Я слышала, вы недавно отказали Чжу. Вы с достоинством носите нефритовый пояс благочестия вдовы.

Вэй звонко рассмеялась и заявила, поправляя в волосах розовый бантик:

— Вы ошибаетесь, почтенная сестра, приписывая мне те достоинства, которых у меня нет. Просто я не захотела терять свое лицо, став женой человека, который храбро хотел жениться на вдове, но не имел смелости для того, чтобы участвовать в нашей забастовке.

Вдова Сян уклончиво заметила:

— Следовать законам добродетелей можно различными путями.

— Вот я тоже так думаю,— оживленно подхватила Вэй.— И поэтому пришла вас просить отвезти одного человека туда, куда он укажет.

Вдова Сян озабоченно пожевала сухие, лиловые губы, потом спросила, напряженно глядя в глаза Вэй:

— Я могу напомнить своим девкам о том, что вашего почтенного мужа удавили во дворе тюрьмы за нечто подобное?

— Да,— твердо сказала Вэй,— пусть они подумают об этом!

Ночью Вэй привела на джонку человека в крестьянской одежде.

Дул сильный ветер, и по реке метались тяжелые, черные волны.

Когда они прибыли к указанному месту, джонку сильно потрепало штормом, одно весло было поломано, другое унесено волнами. Чтобы к утру вернуться на пристань, лодочницы должны были покинуть партизанскую базу почти немедленно. Но даже короткая встреча с партизанами запомнилась им надолго.

Вдова Сян говорила с гордостью:

— Начальник начинал разговор со мной только после слова «почтенная». И он отказался взять мои серьги, хотя новые весла стоили не меньше двух серебряных долларов.

Лян громко хохотала и произносила сиплым, грубым голосом:

— А когда он спросил меня, откуда я, я согнула руку и велела пощупать, какое у меня твердое мясо. И он сказал: «Э, да ты крестьянка». А я ему: «Какая же я крестьянка, когда у отца столько земли, что шило некуда воткнуть!» А он посмеялся и сказал: «Погоди, сестра, скоро у каждого пахаря будет свое поле».

Чи радостно подхватывала:

— Он меня тоже назвал сестрой, хотя у меня на роже наколото, кто я такая. Я спросила его: «Ты что, не уважаешь своих предков, если такую, как я, называешь сестрой?» А он ответил: «Все бедные люди между собой братья и сестры».

Широко раскрыв черные блестящие глаза, Сю Ин признавалась:

— Там был один парень, очень вежливый. Он сказал: «Ты похожа на вишневое дерево».

Несколько месяцев лодочницы жили впечатлениями этой встречи.

Речная полиция заставляла лодочников по ночам вывозить из города трупы умерших от голода и казненных политических заключенных. Среди трупов они увидели тело уличного писца, вытянутая тощая шея его была перетянута веревкой.

Последнее время никто из лодочников не видел Вэй.

Но от нее приходили посланцы. Так дошел до них совет Вэй уйти из района города, чтобы гоминдановцы не могли воспользоваться лодками для бегства и вывоза ценностей, когда Народная армия подойдет к Кантону.

Лодочники, скрытые туманом, прошли мимо полицейских катеров, спустились вниз по реке, заплыли в гущу болотных зарослей и прятались там несколько недель, питаясь молодыми побегами бамбука и рыбой, которую они вялили на палубе и ели без соли.

Вдова Сян, с трудом разжевывая вываренные в пресной воде стебли бамбука, говорила лодочницам, отошавшим так, что даже шея Лян стала тоньше ручки весла:

— Я не из тех, чтобы разжалобиться, глядя на ваши сухие рожи.

— На то вы и хозяйка, — соглашалась Чи.

Сю Ин, отбросив с лица волосы, которые она расчесывала большим деревянным гребнем, робко произнесла:

— А если город уже освобожден?

Лян ее поддерживала:

— А если нет, в тюрьме хуже не кормят.

Вдова Сян презрительно оглядела своих лодочниц.

— Если у вас пупки приросли к костям, тогда едем.— И печально добавила: — Вэй говорила мне, что народная власть даст крестьянам землю. Тогда я спросила ее: «А лодка, которую украли у меня сначала старшинка, потом транспортная компания, кому она будет принадлежать?» — «Тому, кто на ней будет работать», — сказала Вэй. Теперь вам понятно? Я не шкуру свою берегу, а нашу джонку. Поняли? Нашу, если Вэй не соврала.

Прошло еще несколько дней, пока лодочницы решились покинуть болотные заросли. Всю ночь они ходили вдоль берега вверх и вниз по реке, не решаясь подойти к пристани.

Но к ним подплыл на сампане парень с красной повязкой на рукаве и спросил, почему они шатаются по реке взад и вперед.

Вдова Сян осторожно сказала:

— Высокоchtимый! У нас нет денег, чтобы уплатить за стоянку. — Вынув из ушей свои бирюзовые серьги, она протянула их парню и спросила: — Может, почтенный начальник примет подарок, а то у нас уже нет больше сил, — и она показала ладони, стертые до крови веслами.

Парень сурово сказал:

— Тех, кто берет теперь такие подарки, сажают в тюрьму. Я могу поставить вашу джонку к кооперативному причалу. И, если хотите, потом могу вас всех взять на учет.

— Ладно, — устало сказала Сян, — бери, что хочешь. Но у нас нет больше сил ходить по реке без отдыха.

На кооперативной пристани были совсем новые порядки. Там всем распоряжался уполномоченный лодочников. Он договаривался с торговцами о перевозке грузов, и он же устанавливал очередь на работу и цену за нее.

На пристань приходили чтецы, лекторы. Они проводили здесь беседы о народной власти, рассказывали о правах людей труда.

Несколько раз лодочницы получали бесплатные билеты в кинотеатр. Когда Лян впервые увидела на экране людей и дома, она с визгом опустилась на пол и, закрыв лицо руками, просидела так на полу, пока картина не кончилась, все время вздрагивая от громких человеческих слов и от громкой музыки.

Частенько на лодке появлялся парень с красной повязкой, который первым встретил лодочниц на реке.

— Ну как, достопочтенная вдова Сян, — осведомлялся он, улыбаясь во весь свой большой рот, — не хотите ли поступить на курсы шкиперов? Или у вас есть какое-нибудь другое желание, чтобы в новой жизни иметь свой путь?

Вдова Сян садилась на корточки, вынимала из-под полы куртки тонкий и острый нож, долго задумчиво стругала щепку, отчего у ее ног образовывался пук тонкой, как рисовая бумага, стружки. Потом глухо говорила:

— Я свою жизнь прожила на реке и кончу ее на реке. Ты вот их спрашивай. Видишь? Даже волосы начали мыть и мазать маслом, и рожи у них стали толстые, как у утопленников, — и она кивала головой на своих лодочниц.

Действительно, за последнее время их внешность очень изменилась.

Лян раздобрела, ее маленькие глазки стали еще меньше, а короткие руки походили на окорока. Она послала письмо в деревню, узнав, что беднякам раздают землю помещиков, и ждала ответа.

Чи покупала на базаре сырое мясо и ночью обкладывала им лицо, чтобы свести татуировку.

Сю Ин — это о ней говорила Сян — каждую неделю теперь мыла голову и мазала волосы маслом. По воскресеньям она ходила на пристань и занималась там в кружке по ликвидации неграмотности.

Вдова Сян видела все это, но гордо молчала, не упрекая ни в чем своих лодочниц, и только с затаенной тоской ждала того дня, когда они уйдут от нее.

Вэй стала членом городского Народного правительства. Несколько раз она приходила на джонку к вдове Сян. Вэй почти не изменилась. Только она срезала свои косы, и вместе с ними исчезли розовые бантики, и у глаз появились морщинки, а в волосах седина.

Последние месяцы лодочницы возили песок и камень на строительство текстильного комбината. Это была выгодная, хорошо оплачиваемая работа.

Но после того, как джонка разгружалась, приходили представители Профсоюза текстильщиков и вели беседы, которые раздирали сердце вдовы Сян.

Вдова знала, что Сю Ин и Чи уже дали согласие поступить в вечернюю рабочую школу, где готовят будущих ткачей для комбината. Лян получила письмо из деревни и копила деньги на дорогу и на подарки родственникам. Новая жизнь уничтожала то, что казалось Сян неизменным, вечным, и создавала новое, хорошее. Это Сян могла понять, оценить. Но полностью воспользоваться этим новым и хорошим она уже была не в силах.

И вот сейчас, после обеда, четыре лодочницы сидели на палубе джонки под тентом из тростниковых циновок и дожидались прилива.

Вдова Сян курила табак из бамбукового полена, наполненного водой наподобие кальяна.

Чи разглядывала в круглом зеркале свое воспаленное от примочек лицо, на котором уже почти исчезли следы татуировки.

Лян завязывала подарки для родственников в циновку, и на ее коротких толстых руках округло надувались мускулы.

Сю Ин, низко склонившись к листку бумаги, мазала по нему кистью, пробуя выписать иероглифы своего имени.

На строительной площадке стучали камнедробилки,

звенело арматурное железо, на стрелках кранов в голубое блеклое небо взлетали бады с бетоном.

Начался прилив. Река, посветлев от океанской воды, вздулась, нехотя пошла вспять, потом под могучим напором океана она послушно быстро побежала в обратную сторону.

Джонка отошла от берега и поплыла вверх по реке.

На корме стояла вдова Сян. Широко расставив свои мускулистые ноги, она крутила весло и зычно покрикивала на лодочниц.

Плечистая, коренастая Лян гребла короткими сильными рывками.

Сю Ин и Чи стояли у другого весла.

Вся река была покрыта судами, спешившими использовать время прилива, чтобы успеть как можно выше подняться по реке.

В жарком небе показалась тонкая, белая, тающая луна. Ночью не стало прохладнее. Воздух почти не остывал на воде. Руки и лица лодочниц были покрыты каплями пота, и они утирались полотенцами, болтавшимися на шее.

У склада строительных материалов, по новым правилам, не лодочницы, а специальные грузчики стали нагружать джонки.

Вдова Сян, полулежа на кормовом весле, сказала грустно:

— Вам открылись ворота счастья. А я жила на реке и останусь на ней. Пожалуй, продам джонку и куплю сампан. Буду одна работать. Не хочу я привыкать к другим людям. Да и кто сейчас из молодых пойдет на такую работу?

Дул мягкий ветер, терпко пахнувший океаном. По воде бежали косые волны, которые оставляли после себя буксирные катеры, тащившие против течения вереницы тяжело нагруженных джонок.

В этом году в Кантоне на совещании отличников труда я познакомился с одной из лучших ткачих провинции — Сю Ин. Положив перед собой руки на стол, она рассказывала о своей жизни на реке. Я смотрел на ее лицо. Самым удивительным на нем были глаза, большие, черные, почти светящиеся и удлиненные к вискам. В них

мерцала затаенная где-то в глубине грусть и одновременно теплилась нежная, радостная улыбка.

Я спросил Сю Ин, где находится сейчас вдова Сян.


— Вы можете ее найти у хлопковой пристани. Иногда она катает на своем сампане моих детей. Иногда приходит в гости ко мне или к Чи, мы живем с ней в одном общежитии.

— А что делает Лян?

Сю Ин улыбнулась и сказала:

— Лян приезжала к нам на фабрику с крестьянской делегацией, чтобы посмотреть, как мы работаем на их хлопке. Она еще больше растолстела. У нее трое детей. Муж тощий, маленький, с седыми усами. Она относится к нему так же почтительно, как прежде к нашей почтенной хозяйке, вдове Сян.





Вадим Кожевников

НАРОДНЫЙ СОЛДАТ

Фу Чу-шань восемь лет работал на Таншаньских рудниках забойщиком, пять лет партизанил.

В Юньнань он пришел в 1949 году с Народно-освободительной армией и в боях с гоминдановцами был тяжело ранен. В госпитале он изучил южный диалект. Поднявшись на ноги, стал обучать военному делу молодежь окрестных деревень, так как вернуться в армию по состоянию здоровья уже не мог.

Его избрали начальником отряда народного ополчения и членом бюро волостного комитета партии.

Могучего телосложения, с рябым скуластым лицом, низким робким голосом и кроткой, застенчивой улыбкой, на первый взгляд, Фу Чу-шань производил впечатление человека мягкого, добродушного, нерешительного. На заседаниях бюро волостного комитета держался перед секретарем как солдат перед офицером. И каждый раз, когда секретарь спрашивал его мнение, Фу Чу-шань вставал и смущенно говорил:

— Я еще недостаточно изучил мирную обстановку. Разрешите мне, пока я ученик, держать рот закрытым, а уши открытыми.

В волкоме сложилось о нем мнение как о человеке ограниченном.

Когда в уезде начали проводить аграрную реформу, крупный феодал-помещик У Цин-нань сколотил банду. После налетов бандиты уходили в горы и скрывались в буддистском храме — крепости, окруженной высокими гранитными стенами.

Волостной комитет партии решил уничтожить банду и дал указание Фу Чу-шаню готовить отряд народного ополчения для штурма крепости. Но Фу Чу-шань неожиданно для всех заявил:

— Я считаю, что среди бандитов могут быть люди темные, заблуждающиеся.

— Что же ты предлагаешь, предварительно послать им анкеты? — резко спросил секретарь.

— Нужно провести с ними работу, выявить среди врагов союзников из колеблющихся, а потом начинать наступление.

И с такой непоколебимой уверенностью Фу Чу-шань стоял на своем, что бюро решило поддержать его.

Фу Чу-шань и начальник волостного отделения Народной безопасности Пен Хуа пробрались в крепость под видом носильщиков воды.

Пен Хуа, будучи человеком решительным, обратил все свои помыслы на то, как бы быстрее разделаться с бандитами. Он заметил во дворе храма оставшийся еще со времен японской оккупации бетонный дзот, в котором бандиты хранили продукты, и думал только о том, как бы забраться в этот дзот с пулеметом, чтобы взять под контроль всю территорию обширного внутреннего двора крепости.

Фу Чу-шань уже на четвертый день нашел среди крестьян-носильщиков смелых людей, которым поручил связаться с отрядом народного ополчения. А сам с бесстрашной откровенностью стал вступать в разговоры с бандитами, выбирая из них в первую очередь бывших солдат разгромленной гоминдановской армии. И нередко эти разговоры кончались тем, что Фу Чу-шань вдруг, сурово насунив брови, говорил:

— Ну вот что, сын суки, ты заслуживаешь расстрела, но я убедился, ты честно раскаиваешься и не хочешь больше быть бандитом. Я разрешаю тебе засучить рукава на левой руке, чтобы в тот час, когда Народная армия возьмет эту крепость, наши люди знали, что ты раскаялся.

Около десятка бывших солдат засучили рукава на левой руке.

На пятнадцатый день бандиты собрались на внутреннем дворе крепости. Главарь банды, помещик У Циньнань, сидя посреди двора в кресле, давал указания, как провести очередной налет.

Но вдруг из амбразуры бетонного дзота прозвучал спокойный, медлительный голос Фу Чу-шаня:

— Руки в небо, иначе почтенное собрание отправится туда! Голорукие, направо! — скомандовал Фу Чу-шань. — Остальные, не двигаться! Кто хочет жить — к ногам оружию!

Каждое приказание Фу Чу-шаня сопровождалось угрожающим движением ствола пулемета, принесенного сюда Пен Хуа в мешке с рисом.

— Солдат Пын, открой ворота ипусти народных ополченцев. Господин У Цинь, не опускай рук, иначе твое брюхо набьют свинцом раньше, чем ты успеешь икнуть.

Иногда Пен Хуа все-таки был вынужден прерывать Фу Чу-шаня короткими очередями.

К концу дня под охраной крестьян и прибывшего отряда народного ополчения бандитов загнали в помещение храма «бога земли», где Фу Чу-шань устроил судебное заседание и где обвинителями бандитов были сами бандиты.

Бывший гоминдановский солдат Фын, потрясая тощим кулаком перед лицом главаря банды, кричал высоким, пронзительным голосом:

— Ты говорил, коммунисты рубят голову каждому, кто воевал против них, и этим держал нас в страхе! Ты говорил, что коммунисты отнимают землю у всех крестьян, а они отнимают ее только у таких рисоглотов, как ты! Ты кровавый пес, напаяливший шкуру тигра! Я плюю в твою пасть! И если я получу смерть, я все-таки преисполнен радости, что сказал тебе, помету черепахи, слова, которые давно рвались из моего сердца!

Слушая выступления обвинителей, Фу Чу-шань, счастливо улыбаясь, застенчиво говорил Пен Хуа:

— Может, моя речь перед открытием суда напоминала бег хромого старика за золотой птицей, но все-таки я помог людям вынуть стрелы врагов из своих глаз. Вот что значит проводить всюду правильную классовую линию.

После суда над главарями банды Фу Чу-шань отобрал восемнадцать человек бывших бандитов, обвинительные речи которых ему больше всех понравились, и приказал им идти по деревням и там повторять свои слова раскаяния.

После ликвидации банды Фу Чу-шань прославился на весь уезд. Уком предложил ему стать заместителем начальника уездного отделения Народной безопасности, но Фу Чу-шань попросил послать его учиться. Он окончил курсы кадровых работников, прочел много книг по агрономическим вопросам. Четыре месяца работал в деревне как батрак, для того чтобы, как он говорил, «изучить труд крестьянина». Потом он написал «Памятку крестьянина», которую размножал по ночам под копирку и раздавал крестьянам. В памятке имелось примечание о том, что автор нижайше и почтительно просит вернуть ее с критическими замечаниями и новыми драгоценными советами.

В результате памятка выросла в толстую книжку, в ней был собран драгоценный опыт крестьянского труда. И когда приезжий из Кантона агроном просмотрел эту памятку, он сказал:

— По-моему, в ней положено начало крестьянской энциклопедии. Мне даже трудно поверить, что собирателем ее был бывший рабочий и солдат, а не человек с агрономическими познаниями.

Слушая похвалы агронома, Фу Чу-шань заявил с искренностью, которая была ему свойственна:

— Я думал, партия меня после войны спустит обратно в шахту, где я все знаю, а она меня на землю поставила. На бюро волкома ведут такие разговоры: «Нужно теперь рис сажать так, чтобы доступ воздуха был к каждому стеблю». Вот если бы вентиляцию в шахтах обсуждали, я бы мог высказаться, а тут я молчал всегда, как буйвол. Но что такое народный солдат? Это человек, который умеет у народа учиться. Вот я и учился.

Фу Чу-шань жил в собственноручно построенном глинобитном домике. Стены единственной комнаты были оклеены новогодними картинками, на них запечатлены победоносные сражения Народно-освободительной армии и портреты воинов-героев. На этажерке ряды книг. Каждая книга бережно завернута в промасленную бумагу для предохранения от тропической сырости. В углу умывальный таз, в котором Фу Чу-шань также стирал белье. На столе термос, алюминиевая кастрюлька с решеткой для варки пампушек на пару. У изголовья гамака, подвешенного к стойкам, подпирающим соломенную кровлю,

телефонная трубка, присоединенная к самодельному детекторному приемнику.

На кане, который Фу Чу-шань сложил своими руками, единственном кане не только в волости, но и уезде и даже, пожалуй, во всей провинции (только северянину может прийти в упрямую голову почти в тропиках завести кан), лежало толстое ватное одеяло и женская жесткая подушка-валик из лакированной кожи.

Фу Чу-шань жил в домике вместе со своей матерью. У матери Фу Чу-шаня были парализованы ноги в результате истязаний, которым подвергли ее гоминдановцы, пытаясь узнать, где скрывается ее сын-коммунист. И нередко жители уездного городка «Небесные ворота» видели Фу Чу-шаня, везущего по улицам коляску рикши, где сидела опрятно одетая старая женщина с суровым скуластым лицом.

Когда товарищи спрашивали Фу Чу-шаня, почему он не женится, Фу Чу-шань со вздохом говорил:

— А где я найду девушку, которая могла бы с таким уважением ухаживать за моей матерью, как это делаю я?

У матери Фу Чу-шаня было восемь сыновей и две дочери, но в живых остался только один сын. Все дети погибли, сражаясь в партизанских отрядах, а потом в рядах Народно-освободительной армии. Муж был повешен реакционерами в двадцать седьмом году.

До сорока пяти лет она работала в шахтах носильщицей. Во время японской оккупации партизанила в горах, не зная страха и жалости к врагу. Ее старший сын был участником Четвертого съезда китайского комсомола в 1927 году в Ухане и признанным вожакom шахтеров.

Суровая, строгая, властная, она бесцеремонно бранила Фу Чу-шаня за каждый промах. И Фу Чу-шань покорно принимал гнев матери не только из чувства глубокой сыновней почтительности, но зная также, что она всегда думает о том, как бы поступил в таком случае ее старший сын, замечательную речь которого перед казнью помнят до сих пор все шахтеры Таншаня.

В 1952 году в волости был организован первый производственный сельскохозяйственный кооператив.

Выступив на торжественном собрании членов кооператива, Фу Чу-шань сказал:

— Дорогие, почтенные друзья! Вы создали производ-

ственный кооператив для того, чтобы нам жилось лучше, работалось легче, чтобы получать всегда богатые урожаи. Вы стали на путь коллективизма, указанный Лениным. Вы открыли большие ворота в счастье. Но отныне каждый цзинь риса, который вы будете снимать с ваших объединенных полей, — не только мера веса зерна. Для многих тысяч крестьян нашего уезда урожаи наших полей будет теперь мерой той правды, которую говорит крестьянам наша партия, призывая их к объединению, к коллективизму...

Несколько дней Фу Чу-шань старательно готовился к этой речи. Но секретарь волостного комитета товарищ Чжоу Вань-мин после митинга заметил наедине Фу Чу-шаню, что он напрасно установил столь прямую зависимость между правильностью учения партии и будущими производственными показателями кооператива. Поясняя свой упрек, Чжоу Вань-мин говорил:

— Ты должен был искать не возвышенной формы для выражения своей мысли, а простых, ясных слов и фактов. Учение о кооперации правильно, оно проверено жизнью в великой Советской стране. Это первое. Второе: в самом Китае есть на севере колхозы, которые насчитывают уже много лет существования. С 1939 года существует колхоз «Тай-бай» в уезде Мэй-сянь, провинции Шеньси, председателем там Люй Фан-тин.

Когда в 1938 году гоминдановцы взорвали дамбу, на реке Хуайхе погибли посевы многих тысяч крестьянских семей. И вот несколько сот крестьян-беженцев собрались у реки Вэйхе в разрушенном храме. Они умирали с голоду. В сумке Люй Фан-тина лежала книжка Гэ Гунчжана «Из северо-востока Китая в Советский Союз». В книге был описан советский колхоз. Люй Фан-тин прочел книгу беженцам, и они решили коллективно возделывать пустынные земли у реки Вэйхе. Голодные люди копали целину палками, обожженными в кострах, и ели траву. Спустя несколько лет на месте пустыни цвели поля и вырос поселок в тридцать пять дворов. Люди жили в довольстве и снимали такие богатые урожаи, каких не знал ни один крестьянин провинции в самые лучшие годы. Много лет этот колхоз существовал тайно, но теперь его успехи ни для кого не являются секретом.

И Чжоу Вань-мин сухо заключил:

— У нас есть очень хорошие учителя, и весь вопрос

в том, какими мы окажемся учениками. Говорить же о том, что правда учения партии о кооперации лежит на чаше весов будущего урожая нашего кооператива, легкомысленно. Но для тебя и для меня, для всех коммунистов нашей волости будущий урожай кооператива будет мерой нашей политической и деловой зрелости, с этим я согласен, так и нужно было сказать.

Бюро волостного комитета партии не выносило специального решения и не поручало Фу Чу-шаню персонально наблюдать за работой кооператива. Но получилось так, что ни одно заседание правления кооператива не проходило без участия Фу Чу-шаня. А на каждом заседании бюро Фу Чу-шань говорил о нуждах кооператива.

Вечерами мать поучала Фу Чу-шаня:

— Твой дед, достопочтеннейший Фу, был крестьянином. В горах он разровнял площадку и натаскал туда из долины землю. Каждую весну эту землю смывала вода, и дед снова таскал землю из долины. Мы сеяли хлеб не из горсти, а сажали каждое зерно отдельно, беря его тремя пальцами. Отец знал, сколько по счету растет колосьев на его земле. Он уходил на недели в горы и собирал помет горных диких коз для удобрения. Потом он продал помещику мою младшую сестру и купил на эти деньги еще одну му горы. Он очищал почву от камней, разбивал камни молотом или обкладывал камни горящим хворостом и потом поливал водой, пока раскаленный камень не давал трещины. Так работал твой дед на клочке своей земли. Но ни он, ни его дети никогда в своей жизни не съели даже горсти риса с этой земли. Он ел, как и все бедняки, только шелуху от риса. А теперь все крестьяне едят рис. Рабочие тоже едят рис. Да и самих рабочих стало больше. Только из нашей волости шестьсот мужчин ушли на стройку сахарного завода. И я хотела бы, чтобы твой старший брат увидел, как народ стал есть рис. Ведь он отдал свою жизнь за это! Ты его младший брат, но у тебя нет бесстрашия, какое было у него...

Фу Чу-шань догадывался, на что намекает мать.

Производственный кооператив мог снимать вместо одного два урожая риса в год, если бы все его земли стали поливными. Но где взять воды для этого?

Когда Фу Чу-шань партизанил в горах, командир от-

ряда поручил ему пробраться в тыл врага и раздобыть там соль. Больше двух лет партизаны ели пресную еду, пытаясь восполнить отсутствие соли сухим красным перцем.

Фу Чу-шань выполнил приказание. Он поступил рабочим на солеварню и скоро организовал тайную транспортировку соли в освобожденные районы.

Солеварня принадлежала крупному феодалу. Она существовала несколько сот лет и была построена древними китайскими мастерами с большим инженерным искусством.

Морская вода шла по полым бамбуковым трубам вглубь материка, где имелись свободные выходы нефтяных газов. В огромных котлах, поставленных над газовыми факелами, соль выпаривалась из воды.

Фу Чу-шаню приходилось ремонтировать бамбуковые трубы древнего водопровода, и он хорошо изучил его устройство.

На правлении кооператива он предложил построить водопровод, подобный тому, который он видел на солеварне. Для этого нужно было купить четыре больших пласта бамбуковых бревен, выжечь внутри деревянные спайки и потом проложить трубы к «Горе серебряных облаков», чтобы забрать оттуда воду из потока, называемого «Слеза почтенной вдовы Чан».

Если даже не считать стоимости труда по сооружению водопровода, кооперативу пришлось бы уплатить за бамбуковые бревна денег больше, чем их имелось в кассе. Правда, можно было получить ссуду у государства, но она нужна для покупки удобрений. Крестьяне, которые вошли в кооператив, прежде не имели скота, и земля их была крайне истощенной, а без удобрений даже на плодливой земле какой может быть урожай!

Поставили вопрос на правлении, обсуждали, долго спорили, горячились, а решения все не находили. Наконец парторг Сань сказал:

— Я думаю так. Это будет первый водопровод не только у нас в волости, но и в уезде. Значит, строительство его имеет политическое значение. Поэтому с покупкой удобрений мы подождем. А пока можем использовать ил из озера «Трех кумирен». Ил — очень хорошее удобрение. Правда, придется носить его за несколько ли. Это тяжелый труд, но другого выхода у нас пока нет.

Кооператив купил четыре плота бамбуковых бревен. Одиннадцать деревенских кузнецов прожигали раскаленным железом спайки внутри бревен. Сто восемьдесят членов кооператива днем строили деревянную эстакаду, на которую должны были лечь трубы, а ночью вместе со стариками и детьми таскали в корзинах на коромыслах ил из озера «Трех кумирен».

Фу Чу-шань соединял стыки труб, бинтуя их рогожами из пальмового волокна, пропитанными соком каучукового дерева и сосновой смолой, потом обмазывал глиной.

Он сделал модель деревянной эстакады, и по ней строили настоящую эстакаду.

Усталый и радостный Фу Чу-шань приходил домой, и здесь старуха мать, приподнимаясь на кане, говорила ему:

— Моим глазам больно смотреть, как люди каждую ночь носят ил из озера. Я вспоминаю деда: он также носил землю на свое каменное поле. А ты говорил людям красивые слова, что в кооперативе они станут работать меньше, а труд их будет давать больше. Моим глазам горько смотреть, как зажиточные крестьяне везут на тачках с маслобойни жернова бобовых жмыхов для удобрения своих полей, и без того удобренных навозом.

— Даже солнцу нужно сначала подняться, чтобы осветить всю землю, — кротко отвечал Фу Чу-шань и, приготовив матери чай и ужин, уходил на улицу, чтобы при свете луны почитать уездную крестьянскую газету.

И вот однажды он читал в крестьянской газете статью о строительстве в СССР Куйбышевской ГЭС и делал выписки, чтобы упомянуть в каком-нибудь выступлении о великих достижениях Советской страны.

Записав цифры производительности мощного земснаряда, перемещающего целые острова суши в разжиженном грунте, он размышлял: «С чем можно сравнить этот земснаряд, чтобы людям стало сразу понятно его устройство?»

И вдруг перед его глазами возникло озеро «Трех кумирен», откуда сейчас крестьяне носили в корзинах жидкий ил, и эстакада, где укладывались деревянные трубы водопровода. И он почти увидел, как из широкой бамбуковой трубы хлещет толстая, густая струя ила, подобная

пульпе, вырывающейся из стального трубопровода советской машины.

Он сидел, оцепенев, потрясенный, даже испуганный мыслью, значение которой столь неожиданно открылось ему.

Фу Чу-шань шел в волостной комитет крадучись, боясь встретить на пути какого-нибудь человека: случайный разговор мог бы нарушить ход его мыслей.

Он сказал секретарю волкома, страдальчески улыбаясь:

— Берите бумагу, кисть и записывайте, что я буду сейчас говорить. Я очень взволнован, поэтому не задавайте мне вопросов, пока я не кончу.

— Ты натворил что-нибудь неладное? — спросил тревожно секретарь. — Может, вызвать членов бюро?

— Пиши! — умоляюще произнес Фу Чу-шань. — Пиши!

Секретарь волостного комитета никогда не говорил громко. Он всегда сохранял на своем лице суровое выражение и произносил слова нарочито медленно, словно учитель, диктующий урок ученику.

Маленького роста, тощий, седой, в больших очках на сухом, морщинистом лице, он очень заботился о том, чтобы даже во внешнем облике его всегда чувствовалось спокойствие и выдержанность старого кадрового работника. Даже в шестидесятиградусную жару он не расстегивал верхней пуговицы на воротнике своего кителя.

Но в эту ночь секретарь впервые в жизни нарушил те правила приличия, которых он никогда не нарушал. В расстегнутом кителе и со взъерошенными волосами он бегал по своему кабинету, хохотал, хлопал в ладоши, словно деревенский мальчишка, внезапно очутившийся на площади уездного города в день праздника фонарей.

Вытирая сухоньким кулачком влажные от умиления глаза, он кричал высоким фальцетом:

— Старик Фу, ты еще не понимаешь, как значительно твое предложение! Мы не только одновременно дадим воду и удобрение землям кооператива, но мы покажем всему крестьянству уезда, что в основе кооперативного труда — техника.

Фу Чу-шань сиял от похвал и, изменяя своей обычной скромности, бормотал:

— На фронте я считался неплохим оружейным масте-

ром и как-то отремонтировал японское орудие, приспособив к нему замок от разбитой американской пушки, за что был награжден званием отличного солдата.

— Нет, нет, — отмахивался секретарь, — это совсем другое! Твоя мысль прекрасна тем, что в ней соединяется принцип древнего китайского инженерного сооружения с принципом самой современной в мире советской машины. В этом факте, если хочешь знать, заключен глубокий философский смысл.

— Да, но меня беспокоит то, что озеро лежит на востоке, а водопровод строится сейчас на запад.

— Будем прокладывать его заново на восток.

— Но ведь половина работы уже сделана.

— А разве удобрение не половина задачи, которую мы должны решить? Ты что, начинаешь колебаться?

— Нет, я взвешиваю трудности. Вода с горного потока пойдет сама по наклонной эстакаде, для того же, чтобы по равнине шел ил, нужен насос.

— Будем просить у правительства новую ссуду. Я думаю, уком нас поддержит.

В четыре часа ночи собралось экстренное заседание бюро волостного комитета партии, и продолжалось оно весь день.

Вечером секретарь волостного комитета уехал на велосипед в уезд.

Фу Чу-шань бродил по улицам деревни, залитым белым светом луны. Гигантские кокосовые пальмы роняли на землю черные полосатые тени. В зарослях птичьими пронзительными голосами кричали обезьяны. Возле хижин со стенами, сплетенными из полос расщепленного бамбука, и кровлями из бурых пальмовых листьев, сидя на гранитных катках для молотбы риса, ужинали крестьяне, вернувшиеся с поля.

После возбуждения, радости, восторга Фу Чу-шань испытывал усталость и щемящую тревогу. Как отнесутся к его словам члены правления кооператива, если он предложит заново строить трубопровод?

Когда председатель кооператива Цзи Лян-нэ представил слово Фу Чу-шаню, тот встал, чувствуя, как дрожат его ноги и пот покрывает лицо словно слезами.

Первые слова он произнес сиплым и, как казалось ему, грубым голосом:

— Мы строим водопровод на запад, а ил для удоб-

рения таскаем с востока, — говорил Фу Чу-шань, напряженно глядя в одну точку. — Если проложить трубы к озеру и установить насос, мы сможем перекачивать ил из озера для удобрения и воду для орошения. Но для этого надо начать работу заново и купить насос, хотя мы уже взяли у правительства большую ссуду на покупку бамбуковых бревен. Но если мы достанем денег на покупку насоса, поверьте мне, все тогда будет правильно и очень хорошо, и мы получим и воду и удобрения.

Так не очень складно закончил свою речь Фу Чу-шань и сел рядом с председателем, чувствуя тяжесть во всем теле и горечь во рту, где лежал горячий, опухший язык, мешавший дышать. В голове был такой шум, словно уши заложены воском. Фу Чу-шань хорошо знал эти признаки начинающегося приступа малярии. Его мутило от тяжелого, густого запаха орхидей и тубероз, который шел из болотных зарослей, перед глазами плыли багряные пятна. Но он, пересиливая себя, продолжал сидеть за столом, упершись подбородком в кулак, и смотрел плохо видящими глазами в одну точку.

Откуда-то издали доносился до него дребезжащий, полный ехидной почтительности голос старика Чжу:

— Я хочу положить свой ничтожный вопрос к ногам достопочтенного Фу. Почему наши предки, которые в древние времена умели проводить воду по трубам, никогда не смешивали ее с илом? Может, они были глупыми людьми?

— Не нужно утруждать товарища Фу такими загадками, — повелительным голосом произнесла вдова Ван. — Я на них отвечаю, я, женщина. Но сначала пусть почтенный Чжу скажет, почему его предки смешивали глину с травой и ели ее в неурожайные годы. Неужели потому, что они были глупыми?

Оглядев торжествующим взглядом съездившегося Чжу, она заявила громко:

— Нам нужен ил, и нам нужна вода. Зачем заводить отдельные ведра, когда все это можно принести в одном! Теперь о покупке насоса. Раньше, когда мои дети голодали, я шла к ростовщику и закладывала последнее за горсть зерна. А теперь нам не надо ходить к ростовщику. Мы можем занять деньги в уезде и кредитном кооперативе.

Потом вдова Ван подошла к столу, сняла у себя с руки истертое серебряное кольцо, вынула из волос белый гребень слоновой кости и сказала председателю с гордой усмешкой:

— Возьми и отвези в «Небесные ворота», там у тебя купит любая модница. И если ты прибавишь сюда твои часы, наше уважение к тебе не станет меньше.

— Я даю ватное одеяло, — подняв руку, заявил кузнец Сяо Чжоу. — И если собиратель растений, почтенный Чао Шэнь, положит на мое одеяло десять пучков корня жизни, всем будет ясно, что он достопочтенный человек.

— Он может сложить их в мой сундук из сандалового дерева, — прошамкал старик Чжу, — все знают, я люблю пошутить, но я никогда не был отсталым человеком, — и он с торжеством посмотрел на вдову Ван.

Слушая эти слова, Фу Чу-шань испытывал радость, и она была больше той, которая окрыляла его, когда он набрел на мысль строить трубопровод для перекачки ила из озера. Ведь старик Чжу совсем недавно бросался с палкой на вдову Ван за то, что деревья, растущие на ее земле, роняли свои тени на его участок. Он кричал: «Это моя земля, и тень от твоих деревьев мешает расти моей капусте! Если ты не срубишь деревья, я перегороджу канаву, идущую по моей земле, откуда ты получаешь воду на свои поля!»

Чао Шэнь собирал в горах много лет лекарственные травы. Два раза его рвал тигр, кусали ядовитые змеи. Он несколько раз срывался с неприступных скал. Он собрал два цзиня драгоценных лекарственных растений, чтобы купить на них буйвола, плуг и построить себе дом. Когда жена его заболела, он лечил ее, давая настой из испорченных корешков, сохраняя хорошие корни для продажи. А сейчас он дал согласие отдать все, что собрал.

Кузнец Сяо Чжоу добывал руду в горах, приносил ее в корзине и потом в самодельной печи плавил из руды железо. У него не было даже фанзы. Он жил в шалаше. Первое имущество, которое он купил после освобождения, были два ватных одеяла, под которыми спала его семья, и он отдавал одно из них.

Тысячи воинов-коммунистов отдали свою жизнь за освобождение народа. Не боялся отдать ее и Фу Чу-шань. Но никогда с такой ясностью не сознавал он, что такое народ, в чем его сила.

Он сидел за столом, смотрел на взволнованные гордые лица крестьян, и ему казалось, что он снова находится в армии, могучей и сильной армии, которой предстоит решающее сражение, и он — солдат этой армии, готовый отдать жизнь за этих людей, за их победу, за их счастье.

Тяжелый ливень стучал о пальмовую листву кровли сарая, где заседало правление кооператива. Теплая вода растекалась по глиняному полу, и влажные испарения, пахнувшие болотом, клубами сизого пара врывались в открытые двери. Блестя осклизлой кожей, в сарай лениво вполз старый питон, чтобы полакомиться голубиными яйцами. Но никто не поднялся с места, чтобы выбросить змею на улицу.

Ночью к Фу Чу-шаню пришел секретарь волостного комитета. Выжав мокрую одежду, он снова надел ее, застегнул китель на все пуговицы, причесал мокрые, взъерошенные волосы и после этого сказал:

— Может, у тебя есть желание пойти со мной к озеру посмотреть, где будут строить насосную станцию? Завтра сюда приедут рабочие из города.

Фу Чу-шань пошел вслед за Чжоу Вань-мином по узкой меже, пересекающей рисовое поле, отодвигая руками огромные, тяжеловесные листья банановых деревьев, растущих на меже. В темной воде мерцали звезды. Еще не был убран урожай водяных каштанов, и поверхность оросительного канала казалась огромным зеленым, бесконечно вытянутым полем.

На холме стоял замок, сооруженный из гранита, с высокой, крылатоизогнутой черепичной кровлей. Четыре четырехгранные высокие башни с узкими бойницами, заделанными чугунными решетками, стояли по углам этой крепости. Отсюда род феодалов У несколько столетий управлял всей округой. Фу Чу-шань штурмовал эту крепость в 1949 году, и здесь, у подножия этой крепости, он был ранен.

А как голодал тогда народ! Люди ели зеленую плесень, плавающую на поверхности болота, серую глину и белые личинки саранчи. На митинги, которые созывали в селах после их освобождения, приходили только одни мужчины, похожие на скелеты, а женщины не могли выйти днем из хижин, потому что у них не было одежды. Солдаты Народной армии отдавали крестьянам свою

одежду, еду, а сами, полуодетые и полуголодные, шли снова в бой, очищая юг страны от врагов.

Чжоу Вань-мина они нашли тогда в подземелье усадьбы феодалов У, где он сидел с деревянной колодкой на шее.

Он был сельским учителем и призывал крестьян на борьбу с феодалами.

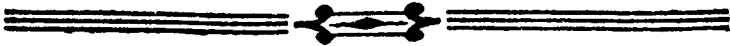
И вот сейчас они идут рядом, два коммуниста, бывший солдат Фу Чу-шань и бывший учитель Чжоу Вань-мин. Они идут по узкой меже, пересекающей рисовое поле, идут к озеру «Трех кумирен», где будет построена первая в уезде насосная станция, и Чжоу Вань-мин протягивает руку в ту сторону, где виднеются сквозь пальмовые листья желтые огоньки деревни, и с обычной своей внушительной манерой, медленно произнося каждое слово, говорит:

— Взгляни, старик Фу! Ты видишь огни в деревне? Раньше крестьяне никогда не жгли масло в светильниках. Если оно было у них, они ели его. А теперь, ты видишь, горят светильники. Они горят в тех хижинах, где люди после работы в поле не спят, а учатся. Видишь, как много огней?

И, остановившись, они оба долго вглядываются в крохотные желтые огоньки, просвечивающие сквозь бумажные окна крестьянских хижин.

Светящееся белой луной небо лежит на черном зеркале рисовых полей. А на далекой темносиней горной вершине вырисовываются зубцы башни храма «Бога земли», и там тоже слабо мерцают желтые огоньки. В храме помещаются уездные курсы рисоводов, и то, что там поздно ночью люди учатся, никого уже не удивляет.





Николай Коляструк

В Ъ Ю Г А

Удивительная выдалась в этом году зима. Уже начало декабря, а не выпало еще ни единой снежинки. Дни стоят морозные и ясные. Черная земля растрескалась и стучит под ногами, словно идешь по железу.

Мои односельчане с тревогой посматривают в бездонную и безотрадную глубину неба, и в глазах их блуждает неотвязный вопрос: «Когда же пойдет снег?»

В ведренную, засушливую пору с такой же тревогой и ноющим сердцем ожидают люди дождя.

В эти декабрьские дни правление нашего колхоза решило приступить к очистке семян. Амбары с семенным зерном стояли на полевом стане, в четырех километрах от села.

Зимой на полевом стане жили сторож Матвей и кладовщик Федор. Матвею было лет пятьдесят, Федору — двадцать три года. Матвей был здоровьем слаб, страдал одышкой; в легких у него постоянно хрипело и свистело, как в испорченном приемнике. Это, однако, не мешало Матвею смотреть на жизнь легко и весело, с усмешечкой. Он частенько любил говорить так:

— Жили и жить будем.

Или:

— Было и будет.

Федор недавно пришел из армии и в нем еще сказывалась военная выучка — в походке, в манере разговаривать, в строгом и деловом отношении к своим и чужим поступкам. Он любил читать и складывать песни. Песни

он всегда почему-то складывал любовные и рассказывал о них только мне, каждый раз предупредительно напоминая:

— Главное — Матвею не скажи.

Почему именно Матвею? Когда я спрашивал его об этом, он отвечал уклончиво и неясно:

— Понятие понятию рознь.

Вот с этими двумя односельчанами, Матвеем и Федором, немалое время пришлось мне прожить на полевом стане. Я был председателем ревизионной комиссии колхоза, и правление обязало меня контролировать работу по очистке семян. Мы с Матвеем и Федором жили в старой бане, которую осенью этого года приспособили под сторожку. Она была тесна и низка, я почти упирался головой в потолок. Единственное окошечко величиной с блюдец давало ровно столько света, сколько нужно было для того, чтобы не пронести мимо рта ложку. Зато на нарах, расположенных между передней стеной и печкой, было вдоволь духовитой, мягкой соломы.

На ночь мы располагались на нарах, погружаясь в соломку, как в перину. С вечера Матвей ложился вместе с нами, непременно у печки, отдыхал часа два, потом вставал и садился у окошка. Потушив коптилку, он посматривал сквозь мутное стекло в сторону крытого тока, где лежало зерно. За дверями сторожки дремал кудлатый и рыжий сторожевой пес, которого так и звали Рыжий.

Иногда мне не спалось. Я вставал и садился около Матвея у окошка и тоже посматривал в безлунную, черную ночь. Все вокруг было темно и безмолвно, только крытый ток да амбар напротив смутной тенью маячили в ночи. Матвей по обыкновению молчал, о чем-то сосредоточенно думал и вдруг неожиданно изрекал:

— Жили и... жить будем...

Впрочем, иногда он становился разговорчив. В такие минуты он охотно говорил обо всем: о колхозе, о Федоре, о международной политике, о болезнях, лекарственных травах, колхозных баянистах, лошадях, семенах, — словом, обо всем, что вольно или невольно приходило на ум. И только об одном неохотно говорил Матвей — о своей дочери Насте.

Она работала на очистке семян.

Суровая на вид и горделивая, с глазами черными, как ночь, стройная, как молодая сосна в нашем бору, Настя

каждое утро появлялась в сторожке, приносила Матвею домашние дары — холодные блинцы, молоко, жареную рыбу. При ее появлении Федор подтягивался, будто снова превращался в солдата, а глаза его были смущены и очарованы. Настя часто приносила еду и ему и всегда поясняла при этом:

— Мать ваша наказывала передать. Вот, получайте — хлеб и жареное мясо.

Иногда добавляла:

— Спрашивают: не нужно ли еще чего?

Федор застенчиво улыбался и говорил, что ему больше ничего не нужно.

Однажды, сидя перед тусклым окошечком, я сказал разболтавшемуся Матвею:

— Скажи-ка ты мне, Матвей, отчего это Настя твоя такая суровая и неласковая? Она и с тобой, с отцом, неласковая.

— Именно, что со мной... — сказал Матвей, и замолчал и тут же поднялся, пояснив: — Обойду вокруг тока... из окошка ни зги не видать, как в погребке.

Он вышел, хлопнув дверью.

— Дипломат... — услышал я за спиной тихий и странный по тону голос Федора.

Зашуршала солома. Федор поднялся, сел на край нар. По шорохам я понял, что Федор нашупывает в карманах табак и спички.

— Не спишь? — спросил я.

— Где там! — неопределенно ответил он. — Сначала вроде было заснул, а как он разговорился, проснулся.

— Слышал?

— Слышал. Я тебе говорю — дипломат. Ты еще не знаешь Матвея... Я тоже его еще не полностью знаю, а вот Настя-то такая девка, что от нее никакая ложь и несправедливость не укроются. Ты думаешь, почему она с Матвеем неласковая? От гордого характера? Нет. Нету у Насти гордости. Это она только с виду такая. Настину душу если понять... Э, да чего тут говорить! Поживешь вот, сам увидишь.

Я почему-то вспомнил, как преображался, как становился иным Федор, когда приходила в сторожку Настя. У меня мелькнула смутная догадка.

— А как, Федор, — сказал я, ухватившись за эту догадку, — как... нравится тебе Настя?

Федор ответил не сразу; помолчал, потом сказал:

— В упор спрашиваешь. Тогда и я тебя спрошу: может такая девушка нравиться?

— Конечно.

— То-то... Зачем же спрашиваешь?

Мне показалось, что я вижу в темноте его улыбку, застенчивую и простодушную. Федор курил, часто и взволнованно затягиваясь.

— И вообще,— продолжал он, гася папироску,— вообще это дело тонкое и не сразу его можно понять. Мне-то Настя, конечно, нравится, да вот нравлюсь ли я Насте?

Я ничего не успел ответить. Распахнулась дверь, наполнив сторожку дыханием ночного мороза; вошел, горбясь в дверях, Матвей.

— Такая проклятая зима,— сказал он, ставя в угол ружье и потирая озябшие руки. — По виду — октябрь месяц, а по морозу — новый год, а не то крещение. Хоть бы тебе на смех снежком посорило. Не спишь? — обратился он к Федору. — Может, ты часика два взбодришься, а я тем разом придремну? А?

— Валяй,— сказал Федор,— придремывай.

Минуты через три Матвей уже лежал на нарах у печки и напевно всхрапывал.

Я тоже уснул, а когда проснулся, было уже светло и за стенами сторожки слышны были голоса женщин. Матвей спал. Федора в сторожке не было. Я встал и пошел к току, где уже готовились к работе. Федор открыл амбар и отпущал по весу семенную пшеницу. Ее насыпали в большие деревянные ящики, установленные на телегах, и отвозили на ток. Среди женщин, возивших зерно, была и Настя.

— Товарищ предревкомиссии,— очень официально и деловито сказал Федор, когда я подошел к амбару,— обнаружено, что пол в амбаре с семенным материалом проточен крысами. Имеется утечка семенного материала. Необходимо составить акт.

Настя мельком взглянула на Федора: губы ее дрогнули в улыбке. Когда мы полезли с Федором под амбар, чтобы определить количество «утечки», она сказала:

— Вы не застряньте там, а то придется вытаскивать вас за ноги.

Должно быть, для того, чтобы доказать ей, что застрять

мы никак не можем, Федор нарочно полез дальше, чем следовало. Он полз и пыхтел. Я полз за ним и тоже пыхтел и воображал почему-то мысленно себя и Федора пластунами. Потом я видел, как Федор остановился и запрокинулся на спину. Около него лежала рассыпанная пшеница. Федор уперся руками в доски пола и что-то нащупывал там. Он нащупывал долго и не отвечал на мои вопросы. Наконец он снова повернулся лицом вниз и молча пополз назад.

— Ну? — спросил я его. — Большая дыра?

— Ничего себе, — ответил он, выползая из-под амбара, — дыра аккуратная.

Больше он ничего не сказал и пошел отвешивать пшеницу. Когда Настя шутя спросила его, хорошо ли ему ползалось под амбаром, он посмотрел на нее долгим и печальным взглядом, застенчиво улыбнулся и ничего не ответил, только сказал мне:

— Акт мы, товарищ предревкомиссии, составим после по поводу крыс. А сейчас пойдемте завешивать отходы.

Он отпустил последнюю подводу с зерном и закрыл амбар.

На току равномерно и бесперебойно перестукивали сортировки. Работа шла оживленно и весело. Стая осмелевших, обжившихся на току голубей сидела на крыше соседнего амбара и посматривала на пшеничные вороха. Под крышей тока легонько клубилась пыль, покрывая лица женщин и девушек, работавших у сортировок, темнокоричневым налетом.

Настя засыпала в сортировку зерно, а около нее стоял, привалившись спиной к столбу и заложив руки в карманы, сын лесника Сашка Бублик — долговязый, с остреньким, лисьим лицом парень. Лесничий кордон стоял у опушки леса, за большой дорогой, в километре от нашего полевого стана. И сам лесник Кузьма Прохорович Бублик и Сашка были частыми гостями на нашем стане, особенно во время хлебоуборки, когда большинство колхозников работало в поле.

— Чего он сюда повадился? — недовольно сказал Федор, неприязненно поглядывая на Сашку. — Будто на гулянку, каждый раз приходит сюда. Эй ты, Сушка Бублик! — крикнул он вдруг в сторону Сашки. — Охота тебе тут нос морозить?

Сашка, не меняя позы, покосился на Федора. Вид у

него был независимый и вызывающий. Настя вдруг громко засмеялась и сказала:

— А вот мы его за погляденьки заставим веялку крутить. Сразу нагреется, и нос у него отмякнет.

Вокруг весело засмеялись. Сашка переступил с ноги на ногу, как застоявшаяся лошадь, недобрый взглядом скользнул по Федору.

— Нам мороз не страшен, мы не по сторожкам отсиживаемся,— сказал он.— Мы, ежели хочешь знать, в сорокаградусные морозы голыми руками можем у саней завертки закручивать.

— О! — изумился Федор.— Ты при таком морозе и топор облизать можешь?

— Лизать мы еще никого не лизали,— с достоинством ответил Сашка.

— Не лизал? А можешь? — не отставал Федор.

Я наблюдал за Федором и видел, что он явно вызывает Сашку на ссору.

— Тоже мне всякие тут крендели! — зло пробурчал Федор, когда Сашка, ничего не ответив ему, заговорил о чем-то с Настей.

Поговорив с Настей, Сашка ушел в сторожку к Матвею, а мы продолжали завешивать отходы, чистые семена, и все время, пока шла на току шумная работа, Федор хмурился, отрывисто отвечал на вопросы и старался не встречаться взглядом с Настей.

Вечером, уезжая домой, Настя сказала, спокойно глядя ему в глаза:

— Матери передать чего?

— Ничего не нужно,— ответил Федор и отвернулся.

Когда мы возвратились в сторожку, увидели то, чего раньше видеть не приходилось. Матвей сидел перед жарко натопленной печью прямо на полу. Рядом с ним стояла начатая бутылка водки и пустой стакан. Закусывал Матвей воздухом.

— Федя-а!..— завопил Матвей и проворно вскочил на ноги, не забыв пол-литра и стакан.— Федька, друг! Эх, мила-ай!.. Жили и жить будем. Ну-ка, Федя, божественной!

— Ты чего? — тихо сказал Федор.— Ну-ка, сядь вот тут...

Он притиснул Матвея к столу и усадил его на скамью.

— Где взял водки? — еще тише спросил Федор.

— Скажет же тоже: «Где взял водки?» — пьяно улыбаясь, произнес Матвей.— Али я не имею права водки выпить?

— На сторожа надо обратить внимание,— каким-то не своим, казенным голосом сказал Федор.— Особенно вам, как председателю ревкомиссии. Пьянство на посту! У нас в армии за такие дела... Да что говорить!

Матвей проспал часов до одиннадцати, а когда проснулся, то долго и бессмысленно осматривался вокруг. Потом, видимо, вспоминая все, поспешно вскочил с нар, оделся, схватил ружье и вышел из сторожки. Федор не спал и наблюдал за ним, но когда я обратился к нему с вопросом, он притворился спящим.

Наконец-то пришла настоящая зима. Она пришла тихо, ночью, крадучись, точно белая кошка. Она засыпала снегом поля, леса, крыши амбаров и крытых токов. Проснулись утром и увидели ослепительно белый мир. Как все вокруг сверкало! И так чист, и тих, и прозрачен был воздух, что далеко-далеко, за лесными поворотами, видны были избы соседней деревни, и струйки дыма тянулись от них прямо вверх, в бледносинюю зимнюю высоту.

Матвей взял ружье и ушел к крытому току. По морозу звучно и сочно поскрипывали его шаги. Когда Матвей вышел из сторожки, громко хлопнув дверью, над крытым током шумно поднялась стая сизых голубей, отлетела в степь, но тут же вернулась и снова села на крышу. Федор растапливал печь и рассказывал мне о том, как он служил в армии, какие у него были товарищи, как хорошо относились к нему командиры, потом замолчал, подумал о чем-то и сказал совершенно другое:

— Очень это странно, когда получается такое несоответствие.

— Что именно? — спросил я.

— Как же, вы подумайте сами. С одной стороны, такой человек, как Матвей, с другой — дочь его Настя. Люди противоположных натур. Настю я вполне понимаю, а вот Матвей для меня математическая загадка. Вы понимаете, о чем я рассуждаю?

Он сидел на полу и, говоря со мною, не смотрел на меня, а был весь поглощен делом: переламаывал тонкие

щепки, совал их в печь, под березовые дрова, зажигал, дул, от чего в лицо летел сизый пепел и Федору приходилось закрывать глаза и морщить лицо. Однако он дул еще сильнее, пока не вспыхнули дрова и в печной трубе не заговорило пламя.

— Я так понимаю, что, конечно, в одной семье люди могут быть разных направлений. На что возьмите армию — там тысячи людей, и у каждого человека свой характер. Всякие бывают. А все-таки, мне думается, Насте трудно с отцом. Между прочим, как вы смотрите на посещение нашего стана Сашкой Бубликом?

Я не успел ему ответить. Где-то за крытым током раздался выстрел, другой. Голуби поднялись над амбарами и, описав в воздухе большой круг, улетели к деревне.

— Это он опять, наверное, охотится... — озабоченно и недовольно сказал Федор. — Сколько раз я ему говорил, чтобы не стрелял он этих голубей.

Скрипнула дверь, вошел Матвей.

— У-ух, едят тебя мухи! — игриво и весело проговорил он, стряхивая с коротеньких усов сосульки. — Знатный морозец! Должно, градусов на тридцать. По такому морозу, поди, и бабы наши не приедут нынче...

Говоря это, он отвернул на груди полушубок, вытащил из-за пазухи двух мертвых голубей и небрежно бросил их на стол.

— Опять охотился? — угрюмо спросил Федор.

— А почему бы и не охотиться? Они, эти полевые голуби, жирные, как поросята. Сейчас такую похлебку сварганю!

— А я бы, пожалуй, голубей не стал стрелять...

— Почему? — спросил я Федора.

— Красивая птица. Жалко. Я ведь мальчишкой заядлым голубятником был. Ну? Чего стал? — вдруг неожиданно зло крикнул он Матвею. — Потроши, что ли! Я тут для тебя и печку растопил...

Он поднялся с пола, подошел к столу и взял птицу. Голубь смотрел на него своим мертвым глазом.

— Эх, ты... — тихо сказал Федор, оборачиваясь к Матвею. — И поднялась у тебя рука?

— Дурак ты, я вижу, — ответил Матвей. — А еще в армии был! Да всякая тварь человеку в пищу дана, это понимать надо!

— Красота не дана...— задумчиво, словно самому себе, произнес Федор и безнадежно махнул рукой.— Да ведь ты этого не поймешь.

За стеной избушки заскрипели полозья саней, послышался людской говор, смех, а через минуту в сторожку вошли женщины и впереди всех Настя. Лицо ее наполовину было закутано теплой шалью, телогрейка опоясана веревочкой, из-под юбки выглядывали теплые, ватные штаны.

Женщины обогрелись и отправились на ток.

В полдень, когда работа на току была в разгаре, снова пришел Сашка Бублик и стоял, привалившись к столбу, около Насти, и что-то говорил ей. Федор выглядывал из амбара, и взгляд его был сердит. Через некоторое время Сашка ушел в сторожку к Матвею и долго не выходил оттуда.

— Сошлись два сапога пара,— проворчал Федор. Потом без всякой видимой связи с предыдущим добавил: — А ведь, поди, зьюга будет.

— Почему так думаешь? — спросил я.

— Из-за леса хмурит. Видишь, будто черный дым поднимается? Непременно будет зьюга.

Низкая, тяжелая мгла ползла над лесом, и все ясное до сих пор, зимнее солнечное небо стало тускнеть, сереть. Солнце скрылось; подул ветерок, поднимая легкую поземку. Полоса леса уходила в мгlistый туман; мельница на бугре лениво, в раздумье, пошевелила крыльями и вдруг замахала ими часто-часто.

В этот день работу кончили раньше обычного. Перед отъездом женщины загородили входы под крытый ток соломенными матами, прикрепленными к шестам, чтобы снег не задувал на пшеничные вороха.

Мельком увидел я, как Федор, прощаясь с Настей, пожал ей руку и как она, отходя от него к подводе, махнула ему рукой. Она уже уехала, прикрикивая на лошадь, а Федор все стоял у крытого тока и смотрел ей вслед. Ветер нес ему в лицо мелкие холодные снежинки, но он не замечал этого и все смотрел и смотрел...

Рыжего пустили в сторожку. Он стряхнул с себя снег, прошел в угол и лег, протянув вперед лапы и глядя на нас умными глазами.

— Что, брат, завьюжило? — спросил Федор.

Рыжий встряхнул ушами и постучал по полу хвостом.

— Уж такая природа, — философски изрек Матвей. — То тебе снегу до самого нового года нет, то тебе задует так, что ни зги не видать. Это теперь, гляди, дня на два, на три задует.

Оконце наше покрылось слоем льда, и за ним ничего не было видно. Но и так каждый из нас чувствовал, что за стенами сторожки творится несусветная канитель.

Время уже за полночь, но мы не ложимся спать. Вой вьюги за стенами сторожки, нелепые ее голоса создают какое-то особое, ни с чем несравнимое настроение чуткой настороженности.

— Слушай-ка, Матвей, — сказал Федор, словно пробуждаясь от сна, — надо бы посмотреть на току. Ты сегодня и не вышел ни разу.

— Незачем и выходить... — лениво ответил Матвей и зевнул. — В такую погоду никого не заставишь носа из избы высунуть.

— Люди разные, — ответил Федор. — Есть такие, которым такая погода на руку. Помнишь, как в сорок пятом году амбар у нас взломали и семенную пшеницу утащили? Такая же вот погодка была.

— Так то в сорок пятом. Тогда, по военному времени, всякие элементы были. А сейчас другое дело...

— Сейчас, может быть, по-твоему, и сторожей не надо?

— Для положения формы почему не надо? Если по нормативу такая должность предусмотрена, значит надо.

— Ну, коли надо, так иди. Или ждешь, что я пойду? Рыжий! — крикнул Федор и, быстро поднявшись из-за стола, стал зло, торопливо одеваться. — Фьють, Рыжий!

— Стой, стой! Не больно! — засуетился Матвей и тоже стал одеваться. — Меня этим не закоришь. Мы тоже понимаем, почему фунт орехов.

Но Федор, хлопнув дверью, уже вышел из сторожки, пропустив впереди себя Рыжего.

— Ну, и... ч-черт, — сказал Матвей, но, поглядев на меня, осекся, замялся и уже несколько спокойнее добавил, точно оправдываясь в своей горячности: — Неспокойной души человек. Вот у меня Настя такая. А он еще, догады-

ваюсь, шуры-муры с ней. Да ему Насти-то не видать, как ушей своих. Для Насти почище найдется... Ежели правду говорить...

Спохватившись, что наболтал лишнего, он замолчал и рывком выскочил за дверь.

Я тоже вышел. Откуда-то издали донесся лай Рыжего и приглушенный вьюгой голос Федора. Ему отвечал Матвей, но слов сначала нельзя было разобрать.

— Держи-и, че-ерт!..— донеслось до меня вместе с порывом ветра.

Я поспешил к крытому току. Там, где стояли прикрывавшие вход в него соломенные маты, мельтешили фигуры Матвея и Федора. Они двигались суетливо, поспешно, и слышны были отрывистые возгласы Федора:

— Держи, подпирай! Э-эх, ты...

Я понял, что маты, преграждавшие путь снегу к ворохам пшеницы, упали и теперь Федор и Матвей вновь устанавливают и укрепляют их.

— Помогите...— сказал Федор, когда я подошел к ним.— Вот недоглядел бы — к утру всю пшеницу засыпало бы снегом.

— Действительно...— бормотал Матвей.— Да кто ж это знал? Надо было загодя крепче ставить. А теперь нечего с больной головы на здоровую валить. Я за это не ответчик.

— Ты ни за что не ответчик, — прервал его Федор. — Держи-ка, держи маты!

Когда все было устроено и мы возвратились в сторожку, Федор с сожалением покачал головой и, усаживаясь за стол, сказал, обращаясь ко мне:

— Так оно всегда бывает: этому до одного дела нет, другому до другого, а в результате страдает колхоз.

— Черт ее, что ли, ждал, эту вьюгу! — молвил Матвей.— Кабы не вьюга...— И тут же повторил: — Я за такие дела не ответчик.

— Посмотрим, за что ты отвечать будешь, — неспределенно сказал Федор.

Через полчаса мы улеглись с Федором на нары, а Матвей сидел у окна и, приблизив к нему лицо, дул на лед, продувал глазок. Он так погрузился в это нелегкое занятие, что не обращал внимания ни на что. Дышать ему было трудно, но он все дул — упорно, до синевы.

...Проснулся я от резкого толчка в плечо. Федор, оде-

тый, стоял около нар и почему-то говорил приглушенным, прерывистым полупшепотом:

— Вставайте... беда... Да вы скорее!

Не понимая еще, что значит этот тревожный голос Федора, я быстро поднялся и успел заметить, что Матвея в сторожке не было, что тусклая коптилка на столе чуть мигала,— должно быть, нарочно была привернута. Гул вьюги за стенами был тише,— наверное, она перебесилась и стала утихать.

— Ты что, Федор?

— Пойдемте. На току нехорошо.

— Где Матвей?

— Пойдемте — узнаете...

Он не сказал больше ни слова и вышел. Я оделся и вышел за ним.

Вьюга утихла. Над лесом прояснило небо, и в этом мгlistом предутреннем просвете мигали яркие звезды. Но поземка еще мела.

Федор быстро шел к крытому току. Один мат, прикрывавший вход в него, был откинут и лежал на току, припорошенный снегом. Откуда-то выскочил Рыжий и стал бегать вокруг Федора.

Потом все произошло быстро и страшно. Федор рванулся в черную зияющую дыру входа под крытый ток, и в ту же минуту по другую сторону тока всхрапнула лошадь, резко хлопнул кнут, закрипели сани и частый-частый топот лошадиных ног стал удаляться во мглу, сливаясь со свистом ветра.

Я вбежал под крытый ток и сначала не мог понять, что тут происходит. Потом я увидел Федора и Матвея. Федор сидел верхом на Матвее, привалив его к вороху пшеницы, и хрипел:

— Не-ет, не уйдешь!.. Ах ты... сапа!

— Пусти-и! — мычал Матвей.— Феденька, пусти-и...

— Сапа! Ах ты, сапа!..— все повторял Федор это странное слово.

Матвей барахтался молча. Подбежал Рыжий и, не понимая, что происходит, стоял, подняв уши и недоуменно смотря на Матвея и Федора.

Когда я подошел к ним, Федор слез с Матвея, тяжело вздохнул и сказал:

— Вот вам и факт. Понимаете?

Я, конечно, понимал.

— А кто был на подводе?

— Дружок,— криво усмехнулся Федор,— Сашка Бублик. Как же, даровое, не купленное... А ну, поднимайся! — крикнул он Матвею, все еще лежавшему боком на ворохе пшеницы.— Что? Не удалось, брат? Вон и мешочки-то валяются, и насыпать не успели. Эх ты, сапа! Продажная душа... И еще доверили ему, черту! Под шумок хотели. Буран, мол, все покроет. Ну, айда, что ли, в сторожку!

Матвей, трудно дыша, молча поднялся с вороха и так же молча, сгорбившись сильнее обычного, пошел к выходу. Рядом с ним несколько шагов прошел Рыжий, потом остановился и посмотрел на Федора. Рыжий тоже, должно быть, стал догадываться, что в мире происходит что-то неладное. Федор незлобиво дернул его за кудлатое ухо и сказал:

— Тоже доверился, брат? И тебя обошли? То-то!

...Копилка в сторожке чуть мигала. Федор вывернул фитиль и сел на нары, не спуская глаз с Матвея. Тот, не глядя на нас, пробрался в угол за стол и, опустив руки на колени, нагнул голову и смотрел куда-то под стол, и желваки на его худых, небритых скулах лихорадочно передергивались.

Наступило молчание, тягостное и долгое.

И вот в угрюмой, настороженной тишине раздался хриплый голос Матвея:

— Федя, а Федя...

— Ну, чего тебе? — хмуро ответил Федор.

— Прости ты, брат, меня...

Федор молчал.

— Ей-богу, прости, брат! Внукам своим закажу... И как это оно получилось, сам не понимаю.

— Понимаешь,— сказал Федор.

— Ей-богу, не понимаю! Убей меня на месте, коли я что понимаю. Ведь теперь как? Все пропади пропадом? Так ведь?

— Раньше думал бы. Я за тобой, Матвей, давно следил, давно понимал, каким ты духом дышишь... И этого твоего Сашку Бублика тоже понимал. И какие крысы в семенном амбаре дыр в полу наделали — тоже. Это мы теперь все учтем.

— Как же теперь Настя? — тихо спросил Матвей.

Федор посмотрел на него долгим взглядом и промолчал. Снова наступила тишина, и так тоскливо был в этой

тишине шорох поземки за стеной. Я прислушивался, и в воображении моем почему-то возникла Настя, ее черные большие глаза, горделивые и смелые. Мне чудился даже ее голос — **высокий** и **сильный**.

Давно отшумели над землей вьюги, давно уже забыта невеселая история той вьюжной зимней ночи, когда решилась судьба Матвея.

Жизнь идет своим чередом и по-своему, по своим законам, устраивает судьбы людей.

На полевом стане стало шумнее и оживленнее, потому что у порога весна и всем прибавилось работы. Федор попрежнему ведает зерновыми складами. Внешне он все такой же, только в глазах прибавилось раздумья, сосредоточенности и какой-то подтянутости. Он деятелен и строг к себе и к людям, но попрежнему тайно складывает любовные песни и говорит о них только мне, смущаясь и заранее признавая, что складывать песни, особенно любовные, очень трудно. И он никогда не говорит о своей любви...

И, как всегда, приезжает на стан Настя, и я вижу ее, все такую же стройную и гордую, и никто и никогда, наверное, не заметит в ее глазах высокой скорби и большой любви. Только иногда можно видеть, как признательно и глубоко заглядывает она в душу Федора, когда говорит ему:

— Вот мать прислала пирожки и бутылку молока. Может, что-нибудь передать матери?

— Ничего,— отвечает Федор.— Все хорошо. Ничего не надо.





Юрий Лаптев

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

Уже первые слова Ильи Горбылева всем слушавшим его показались странными. А слушали Илью Петровича люди сплошь уважаемые — прокурор товарищ Младенцев и заведующий конторой «Заготзерно» Успеваев, пожилая учительница Ястребкова и молодой агроном Павел Крутых, два председателя колхозов и еще несколько товарищей, занимающих ответственные посты в учреждениях районного центра.

— Вы небось рассчитываете, что Илья Горбылев опять начнет каяться: простите, дескать, товарищи, за то, что не оправдал высокого доверия, а я, дескать, со своей стороны, приложу все силы, чтобы загладить... Так, что ли, полагается?

Почти на всех лицах выразилось недоумение. Но прежде чем кто-либо успел ответить Горбылеву на такой как будто бы неподходящий вопрос, он заговорил вновь и тем же наступательным тоном:

— Кто в сорок шестом году поставил меня председателем колхоза имени Буденного?.. Не кто иной, как общее собрание колхозников. И единогласно, заметьте, все руки вскинули! Это я не для хвастовства говорю, а для заходу...

Учительница Нина Петровна Ястребкова не могла сдержать улыбки: Илью Горбылева она знала еще с довоенных лет, и он ей нравился. Рослый, крутоплечий, статью в отца-гренадера задался. Глаза и волосы тоже отцовские: глаза голубые, но неласковые, и волосы светлые, вьются, а тронь рукой — неподатливые, словно сосновая стружка.

От матери же Илья Петрович унаследовал, пожалуй, только цвет лица, очень смуглый.

Прихрамывает еще Илья Петрович на левую ногу — таким демобилизовался. А воевал честно: орден Красного Знамени, два ордена Славы на груди принес и медалей аж четыре — «За отвагу», «За Ленинград», «За Кенигсберг» и за окончательную победу над фашистской Германией.

Да и после войны поначалу Илья Петрович повел себя на людях совсем не плохо. Видно, не только по домашнему теплу да по жениной ласке стосковался солдат. Поэтому и избрали односельчане Горбылева председателем колхоза вместо хорошей, но пожилой, перетрудившейся за войну женщины Евдокии Степановны, по фамилии тоже Горбылевой. А всего Горбылевых в колхозе насчитывалось без двух тридцать семей — явление для русского села довольно обычное.

В сорок шестом году избрали, а в декабре сорок восьмого на отчетном собрании постановили: снять. «Вот и умный человек Илья Петрович и большим хозяйством руководить способен, но поскольку стал свыше меры баловаться вином, то не председатель!»

— Я это число — шестнадцатое декабря тысяча девятьсот сорок восьмого года — помню тверже, чем день своего рождения! Мне не поверите — жену спросите: сколько ночей она глаз не сомкнула, за мной присматривала! Я и на курсы-то полеводческие тогда подал заявление потому больше, что по селу ходить было совестно! Но зла в ту пору ни на кого не держал. Правильно поступили: раз не оправдал доверия — коси под корень! А вот сейчас...

Илья Горбылев обвел настороженным взглядом находящихся в комнате людей. Все молча ждали его дальнейших слов.

— Сейчас я хочу задать своим колхозникам такой вопрос: а за каким чертом вы, уважаемые товарищи, в пятьдесят первом году меня вторично в председатели колхоза запятели? Между прочим, и из вас кое-кого касается это непонятное происшествие.

— Глупые слова! Запятить можно мерина в оглобли, а человек определяет свой путь самостоятельно. На то и разум ему дан! — возразил Горбылеву секретарь райкома Андрей Степанович Норцов.

— А кроме того, Илья Петрович, ты вот в этой самой комнате дал нам торжественное обещание покончить с пьянством раз и навсегда! И года три, наверно, слово свое держал честно,— попыталась смягчить строгую реплику секретаря учительница Ястребкова.

— Вот и главное. Да если бы не вино, с такого человека, как ты, Илья, хоть картину рисуй! — тоже с сочувствием пробасил председатель колхоза «Светлый путь» Роман Иванович Чернохвват.

«Могутный человек! От такого и года, словно горошины, отскакивают»,— говорили про своего председателя колхозники «Светлого пути». И действительно, хотя Чернохвату было уже за шестьдесят, мало кто из молодых мог потягаться с ним силой и неутомимостью в работе; за то и звание высокое заслужил — Герой Социалистического Труда.

— Ну, хорошо, тогда о другом спрошу: а почему, интересно, у нас за два прошедших года шесть председателей колхоза сняли за интерес к вину?..

— Да, шалят люди! — сказал Чернохвват и озабоченно качнул головой.

— А в Куцах вместе с председателем колхоза и начальник милиции под суд пошел по той же линии. И из сельпо двое,— добавил инструктор райкома Девяткин, которого колхозницы неизвестно почему прозвали «Неотложным вопросом». Так и говорили: «Сегодня у нас в бригаде «Неотложный вопрос» выступал».

— Ну, а ты, Илья Петрович, не задумывался над тем... чем же сам-то ты объясняешь это ненормальное явление? — спросил секретарь райкома, заинтересованный оборотом, который приняло обсуждение вопроса.— Говори начистоту!

— А я с тем и на бюро райкома шел, чтобы честно объяснить вам свое поведение. Ну, за других председателей я, конечно, ручаться не могу, но моя беда-причина заключается в том... Вот ответьте мне на такой вопрос: имеет право любой колхозник пригласить своего председателя в гости?.. Непонятно? Хорошо, иначе подступим: скажем, свадьба у вас или дитё, бывает, народилось, и желательно родителям, чтобы на семейном торжестве присутствовал председатель колхоза, могу я отказать человеку в таком уважении?

— Ни в каком случае! — не задумываясь, отозвался

Чернохват и для убедительности пристукнул по столу ребром тяжелой, будто откованной ладони. И тут же, повернувшись к секретарю райкома, пояснил: — «Зазнался председатель,— скажут колхозники,— выше людей себя ставит!» Это уж, Андрей Степанович, вещь, полтыщи раз проверенная.

— Да, случается такое частенько: и в гости идти неохота, и отказать нельзя. Народ у нас на этот счет обидчивый,— подтвердил и третий из прибывших на бюро председателей колхоза, Анна Гавриловна Ложкина.

Круглолицая, улыбчивая и на первый взгляд простовато-добродушная женщина, Ложкина к тридцати двум годам столько успела повидать, узнать и совершить, что, как говорила ее мать, «твоих, Анюта, делов на три старушечьих века хватило бы».

— Вы, Анна Гавриловна, с нашим братом себя не равняйте! — сказал, поворачиваясь к Ложкиной, Горбылев.— Ваше женское дело не в пример легче: если и забежала в гости на часок-другой, ну, для уважения пропустила лафитник, не без того, а за сим и до свиданья: дескать, дома детишки ждут, не дождутся мамашу, или муж приказал не засиживаться — причина! А меня уж если поместили за стол... И не сесть нельзя! Живой пример. Не далее как третьего дня прихожу домой, в обед дело было, а жена: «К тебе, говорит, Илья, Василиса Лагутина три раза навевалась. Сын у нее, видишь ли, черноморский моряк, приехал на побывку, и очень желательно ему тебя повидать». А я не пошел: как раз в тот день мы семена в третьей бригаде перевешивали, а вечером... ну да, а вечером директор нашей МТС Дудников привел ко мне нового агронома, того, что из Киева прибыл. Должен я с таким человеком побеседовать, как полагается? Ну и засиделись. Так эта самая Василиса Лагутина на другой день славил меня по всему селу: «Со всеми, говорит, наш прекрасный председатель выпить рад-радешенек, а моего Петра, старшину первой статьи, уважить не захотел! Ну, не придира баба?.. Или не понимают такие люди, что ихто четыре сотни хозяйств, а председатель на весь колхоз один! Арифметика простая: да если только третья часть моих колхозников и только по одному разу в год пожелает меня попотчевать — это ведь получается чуть ли не по три захода в неделю! Мыслимо? Тут и товарищ Младенцев переложил бы, при таком уважении. А то п вове

некрасиво получается: скажем, поможет колхоз колхознику крышу перекрыть или поставить сарай, да что там сарай — подводу выделишь человеку на личные нужды, а он... на много, поверите ли, даже зло возьмет: да кто я тебе — председатель колхоза или господский приказчик?!

— Ну, уж это, товарищ Горбылев, такой нелепый пережиток, о котором, по-моему, нам на бюро райкома и говорить стыдно! — возмущенно перебил Илью Петровича Девяткин.

— Нестоящий разговор? — нацеливаясь сердитым взглядом в инструктора райкома, спросил Горбылев.

— Говори, говори, Илья Петрович, все, что есть на душе, выкладывай! — сказал секретарь райкома и тоже недовольно покосился на Девяткина.

— Да, в бытовых вопросах нам да-авно следовало бы навести надлежащий порядок! — многозначительно пробасил прокурор Младенцев и записал что-то в свой объемистый блокнот.

— Правильно, Андрей Степанович, это и я хотел сказать,— обращаясь к Норцову, снова заговорил Горбылев.— Иногда уж очень высоко забираетесь вы с агитацией, так спешите, что многие наши колхозники, просто сказать, не поспевают за вами. А не поспевают потому, что в этих самых пережитках, на которые товарищ Девяткин обижается, у них ноги вязнут!

Да вот не далее как в прошедшее воскресенье направили вы к нам профессора Затворницкого. Ничего не скажешь, человек он начитанный и очень толково объяснил, каким будет труд при коммунизме. Замечательная картина — вроде как для украшения своей жизни люди будут трудиться. Ну, и сознательность, конечно, у каждого человека к тому времени поднимется на самый высокий уровень. Пройдешь по всей стране насквозь — и ни лодыря, ни жулика не обнаружишь, как к примеру в настоящее время купца или кабатчика. Красивая жизнь!.. Потом об этой лекции наша областная газета даже статью напечатала под названием «Профессора едут в колхозы».

И все бы хорошо-чинно, да вот незадача: думается, больше половины моих колхозников не пришло на эту замечательную лекцию. Почему, спросите?.. А причина та, что на воскресенье у нас пришелся козырный день, иначе сказать — престольный праздник, и народ гулял по домам. Может, и об этом стыдно здесь разговаривать?..

А попробуйте вы такой пережиток искоренить! Да, хотите знать, эти отсталые люди даже наш советский лозунг подвели под свою церковную канитель. Ведь село наше называется Семеновка потому, что в нем была церковь какого-то Симеона-столпника. А колхоз наш, как вам известно, имени Буденного. Вот старухи и смекнули: «Мы, говорят, теперь не какого-то столпника чтим, а нашего уважаемого Семена Михайловича Буденного!» Во, брат, как! Комар носу не подточит! И самого профессора Затворницкого эти ловкие старушки угостили после лекции так, что у человека сердцебиение образовалось.

— Черт знает, что такое! — возмутился прокурор, с интересом слушавший Горбылева. — Не-ет, давно пора взяться за оздоровление быта! Назрело!

— Это еще не все, товарищ Младенцев; если мы начнем считать, сколько перебивало хотя бы за нынешнее лето в нашем колхозе всевозможных представителей, заготовителей и уполномоченных, — пальцев на руках не хватит не только у нас с вами, а и у всего бюро! Сами понимаете, колхоз у нас богатый: сад на полторы тысячи корней, фермы, сепараторная станция, пасека знаменитая, — ну и едут и едут кто за чем, как говорится, у каждого чина своя причина! Ну, а кто всех этих товарищей принять должен, питанием обеспечить и тому подобное?.. Опять же председатель колхоза — он вроде хозяин. А ведь у нас как заведено: раз я хозяин, а вы у меня в доме гость... Короче сказать, именно через этих уважаемых гостей я и зарок свой нарушил! А помог мне в этом деле не кто иной, как сам Андрей Степанович.

— Вот тебе и раз! — искренне изумился секретарь райкома. — А мне казалось, что мы с тобой, Илья Петрович, никогда и четвертинки совместно не раскупили.

— Дело тут не в четвертинке. Вспомни-ка, кто мне рекомендовал поставить в Козьей балке запруду и соорудить культурный водоем?.. Не ты случаем? А мальков зеркального карпа нам прислали аж из Ростовской области по чьему ходатайству?

— Ничего не понимаю... При чем тут мальки?

— А при том, что если человеку предназначено упасть, так он за собственное голенище зацепится! Мне это заведение боком вышло потому, что, наверное, половина области заинтересовалась этой чертовой рыбиной!

Оно и понятно: культурное рыбоводство — дело по на-

шей местности новое, а рыбку уважают все руководители. Вот и получилось: за прошедший год в нашем колхозе побывало, сказать не соврать, свыше сотни любителей рыбки. И из колхозов приезжали и из района, все начальство перебивало, а райзо приезжал всей семьей, и с удочками, и даже из центрального института какого-то весной аж целая комиссия прикатила — ученая женщина Антонина Николаевна и три помощника при ней. Вот с этой комиссией-то я и начал опять закладывать. Правда, сама Антонина Николаевна женщина серьезная, но уж помощники у нее подобрались — все трое как сосунки от одной матки. Или профессия у них располагающая: недаром ведь говорится, что рыба идет на червяка, а пьяница на рыбку! А я скажу, что не только пьяница, кто бы ни приехал, первым делом интересуется: «А как ростовский карп, акклиматизировался в нашей воде?..» Да разве при такой заинтересованности акклиматизируешься? Было запущено около тысячи мальков, а сейчас если валандается полсотни рыбин по всему пруду, скажите спасибо!

— Неужели? — вяло поинтересовался прокурор товарищ Младенцев, утерявший вдруг вкус к разговору.

— Зато каждая рыбина небось потянет фунта на два,— пошутил Роман Чернохват. Однако на его шутку никто не отозвался.

— После такого доклада, — насмешливо заговорил инструктор райкома Девяткин, — не пришлось бы нам вместо резолюции спеть частушку:

Мой миленок чем-то болен —
Всю неделю недоволен,
Все ему не глянется.
А доктор пишет: пьяница!

Нет, серьезно, товарищи, сказать, что наши колхозники сами спаивают своих председателей, — это... Выходит, что, если на яблоне завелся паразит, виновата яблоня! Так, что ли?.. Ведь и ты, Роман Иванович, председатель колхоза, и народ тебя уважает не меньше, чем Горбылева, и гостей к вам в колхоз приезжает даже больше, чем к буденновцам, однако никому и в голову не придет назвать тебя пьяницей. Смешно!

— Смешного тут мало, потому что человек человеку

розны! — возразил инструктору райкома Чернохват. — Ты вон с тридцати лет лысиной светишь, а Коржев и в сорок пять кудрявый, как жених. Разница?.. Значит, должны мы людей разбирать не только, скажем, по росту или по голосу — кто поет красивее, а оценивать каждого человека по всем его качествам. Вот ты, товарищ Девяткин, осердившись на Илью Петровича, даже к яблоневому паразиту его приравнял — уместно ли?.. А главное, себя ты такой притчей случаем не подремизил?.. Да заведись у меня в колхозном саду плодоярка, я в первую очередь взгрею садоводов: куда глядели? Так и тут: наш товарищ Илья Петрович Горбылев, оказывается, всех карпов из колхозного пруда выловил на закуску, а мы до сих пор и внимания не обращали на это безобразие!.. Оно и получается: сруб поставили хороший, и железом покрыли наш колхозный дом, а такой промашки, что иногда в щели начинает поддувать, не замечаем, пока чихать не начнем!

— Верно! — поддержал слова Романа Чернохвата секретарь райкома Норцов. — Дело не в том, что кто-то из нас хочет оправдать пьяницу, нет! Я первый буду голосовать за суровое взыскание! Но мы не можем пройти мимо того, что Горбылев по нашему району является седьмым председателем колхоза, который не оправдал доверия колхозников!.. Над этим давно пора призадуматься: значит, не перевелись еще по нашим селам явления, способствующие разложению руководителей колхозов. Так или нет?.. А если так, надо, чтобы над своим поведением призадумались не только любители всяческих угощений и подношений, а и люди, которые таким руководящим пьянчужкам потворствуют!





В. Лукашевич

ПЕРЕПЕЛОВСКИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

1

Он сидел у раскрытого окна и слушал дождь. Смеркалось. Дождь возился в кустах сирени, словно укладывался на ночь в опавших листьях, чмокал и всхлипывал.

В комнату заглянула Марфа Васильевна, спросила: «Ну, как собрание?» Не дождавшись ответа, жена вздохнула, ушла в кухню.

Никита Андреевич был председателем уже восьмой год и каждое утро летом объезжал колхозные поля. Он ехал верхом на лошади через пашни, через низкие молодые лески, где листва начиналась от самой земли, травянистыми овражками, кое-где поросшими кустарником, по пустырям с пнями от сведенных рощ, через деревни с темными, ветхими избами в тени рябин и берез. Никита Андреевич останавливал встречных и, не слезая с лошади, расспрашивал, откуда и зачем они идут, где нынче работали и что нового в их семье. По весне поля бывали синевато-зелеными от выходящих из земли хлебов, потом хлеба поднимались и клонились под ветром широкими волнами, колосились, цвели, пыля золотистой пылью, постепенно желтели, и председатель, нагнувшись с седла, срывал колос и долго мял в пальцах, пробуя крепость зерна. И вот в полях становилось шумно:

сдержанно гудел самоходный комбайн, судорожно махали деревянными крыльями и стрекотали жнейки, под соломенными свесами стучали и пылили молотилки, и возчики шли, держась за длинные вожжи, рядом с телегами, заваленными снопами. Позже остриженные под гребенку поля пустели, и только трактор рычал, подымая зябь; зато оживали другие поля, картофельные... В жару лошадь допекали оводы, она не стояла на месте, била ногой и, звеня уздечкой, вскидывала голову. В ненастье под копытами чавкала грязь, и от мокрой лошади сильно пахло. С холмов открывались просторные дали, было видно, как за Волгой льются темные дожди, как ярким пятном бродит солнечный свет, выхватывая то лесную поляну, то луг со стогами сена.

Никита Андреевич всегда знал, где появились сорняки, где недоглядели пастухи и скот потравил хлеба, кто в каждой из четырнадцати деревень не выходит па работу, потому что болеет или поругался с бригадиром. И оттого, что он знал о каждом разные мелочи, ему казалось, что он всех видит насквозь.

Как говорят в деревне, Никита Андреевич разменял наполовину шестой десяток лет и, хотя питался творогом да молоком, а горячее ел по воскресеньям, был грузен, обрюзг и на лошади ездил неторопливо, шагом.

Колхоз считался одним из лучших в районе, и председатель чувствовал себя уверенно. Он любил вспоминать, как «еще до той войны» служил на Апраксином дворе в Питере, у меховщика Бурдакова, в должности мальчика. В Питере Никита сначала читал жития Ефрема Сирина и Серафима Саровского да пел на клиросе. Читал и думал, что не так это трудно — жить в лесу. Лет пятьдесят всего потерпеть, главное — чтоб не прешить, а потом-то как хорошо — рай! Яблочки райские, сливы... Ну, а если раньше времени с голоду помрешь, еще лучше! Если медведь задавит, тоже хорошо: в рай! Так было до одного случая.

Рассказывал Никита Андреевич смешно, и многое повторялось людьми.

— Вот помер Бурдаков-сын. Болел он сифилисом, чахоткой, белой горячкой. Однажды болезни собрались в кучку и задавили его. Повезли хоронить. На гробу риза, или, как там его, покров, вышитый золотом, а по сторонам идут четыре этих, как их, горюна в черном и

с факелами; только у них не факелы, а фонари на палках, и в фонарях свечи горят... А на Варсонофьевском кладбище седенький священник в золотом облачении, слышу, обещает этому похабнику и пропойце рай «в месте злачне, где несть печали, ни въздыхания».

С того случая Никита Андреевич и перестал верить, а вернувшись в деревню, снес иконы на подволоку: «Там их мухи и засидели, как все одно императора Франца-Иосифа у солдата Швейка...» Стал Никита читать другие книги, прочел всего Льва Толстого, все пятьдесят два тома; читал и этого... как его... Роберта Оуэна, а квартировал у толстовца из парфюмерного магазина... Из рассказов Никиты Андреевича само собой заключалось, что вот из ничтожного магазинного мальчишки, которых у Бурдакова было девятнадцать, стал он теперь уважаемым человеком, руководителем, его и в области знают! А все оттого, что не дал в свое время себя обмануть ни Серафимом Саровским, ни Робертом Оуэном, ни вегетарианством, ни позже «землей и волей»; главное — был недоверчив. Еще выходило из рассказов, что колхозникам надо бы ликовать да радоваться.

— Кабы мне из той поры да сразу в наш колхоз, — говорил председатель, — я б не то что ругаться, я б земли под собой не чуял, ходил бы как по облаку. А почему? Потому, что не потерял бы перспективу жизни, как иные наши колхозницы, которые за бородой не видят человека. Вот так!

Смеясь и вздыхая, говаривали деревенские женщины, что их председатель кого хочешь улестит, что на председательских словах — как на перине, и тепло и мягко, да на деле иной раз выходит ой как жестко: сверху перина, да снизу камушки.

Но сегодня председатель улещать не стал, ушел мрачный.

Сначала шло по-хорошему. Урожай собрали богаче прошлогоднего и говорили о том, кто и как поработал на уборке и почему в одних бригадах урожай лучше, у других хуже. Больше всех и, как ему казалось, умнее всех говорил сам Никита Андреевич. Но попросил слова Иван Степанович, бригадир огородников, за ним Архипова, заведующая свинофермой. Заговорили обычно молчавшие доярки, свинарки, садовод Татьяна Павловна, и председатель с удивлением понял, что многие им

недовольны. От непривычки выступать говорили резко, с ожесточением; говорили, что фермы обветшали, не держат тепла и тесны по теперешнему стаду; что молотилки давнишние и хоть работают электричеством, да маломощны: целый день толчешься, чтоб намолотить четыре тонны зерна; что негоден клуб, переделанный из церкви, — всякое слово отзывается эхом, как в бору: обедню служить да аукаться, а не пьесы играть, да еще кирпичи падают из свода; что колхозную баню председатель переделал в телятник, лишь бы не строиться, а люди лезят мыться в печки: старикам, может, в привычку, а молодым срам. А Татьяна Павловна, чуть не плача, объявила, что не могут семь старух обиходить такой сад, да еще стоит сад разгороженный, забредают и скот и прохожие; о новых посадках председатель слышать не хочет, а есть деревья, которые выпали по старости да с морозов, и сад теперь с плешинами... Словно сговорясь, заканчивали: «Был бы колхоз слабый, мы помолчали бы. То и беда, что колхоз сильный, работаем старательно, а не видим никакого движения жизни, живем в старье и в гнилье. Может, сразу все нам и не по средствам, но что-нибудь делать надобно».

Темнело, когда пришел Чугунков, заведующий животноводством. Никита Андреевич слышал, как он отскребывал грязь на крыльце, свалил в сених пустое ведро и, открыв дверь, спросил:

— Дома?

— Сидит, — отозвалась из кухни Марфа Васильевна.

Чугунков вошел, но председатель, казалось, не заметил. Ссутулясь, он глядел за окно, где попрежнему шуршал и возился неторопливый дождь.

Долго молчали.

— Слабая в человеке память! — вздохнул председатель. — Голодной Маланье дали оладьи, а она — «тесто кислое»! Так и у нас.

Внезапно Чугунков захохотал.

— Тише ты! — сказал, морщась, председатель. — Мебель поломаешь...

— Клавка-то! — ответил, мотая головой, Чугунков. — «Сквознячки, говорит, на ферме. Свинки, говорит, простуживаются». А?! Когда это мужик боялся сквозняку?

— Что не боялись, верно. А помирать помирали.

— От сквозняка?!

— Ты вот что, Владимир Захарович,— возразил председатель,— на свиноферме вторые ворота заделай и засыпь землей, чтоб не дуло. Это правильно!

— Я считаю, Андреич,— сказал в темноте Чугунков,— с новой фермой можно годить. А племенного быка надобно.

— Поглядим...

С темнотою дождь прекратился. С деревьев, с крыши капало, но реже и реже. В окно дохнуло холодной сыростью.

2

Утро выдалось солнечное, и председатель поехал в город. На дороге лежали голубые лужи, мягко чавкала темная грязь, комья земли стучали в крылья машины. Никита Андреевич любил родные места. От дороги шел крутой спуск с пнями, с порыжелой травой, потом густая теснота молодых деревьев, и за ними виднелась Волга. За деревьями вода была искрасна-синяя, дальше понемногу голубела, и в голубом плавали сияющие отражения снежных облаков, и поверх отражений шла темная рябь — на середине пятнами, вразброд, у того берега широкой полосой. На той стороне вливалась узкая речонка; с трудом, извиваясь, пробивалась она в высоких берегах. А дальше, посторонясь от Волги и от речонки, вправо и влево стояли леса, дружные, сомкнутые. Высоко над лесами кружил беркут.

А в городе было сухо, светло, и на площади возле базара валялись клочья соломы.

Поднимаясь в райсельхозотдел, на лестнице председатель встретил лесничего.

— Ба! Кого вижу! — закричал лесничий. — Кончил, что ли, уборку?

— Зерновые кончили. Роем картофель.

— В сорочке ты родился, Никита Андреевич!

— Ты про что?

— Надо бы с тебя магарыч, да уж ладно, давай папироску!

— Еще не покупал. Я ж только приехал... — проворчал председатель, но папиросы достал.

— Видишь, какое дело,— сказал лесничий, закури-
вая.— Через наши леса ведут высоковольтную линию.
Понял?

— Ну?

— Не понукай, я не лошадь! — засмеялся лесничий.—
Приказано в две недели прорубить просеку.

— У меня людей нету! Говорю — картошку рою.
И молотба не закончена.

Он пошел дальше, но лесничий удержал за рукав.

— Да погоди, чудак! Лес-то приказано отдать колхо-
зам, которые станут рубить.

— Как? Как?

— Вот тебе и «как»! Отдаем по казенной цене без
нарядов, да еще вычтем стоимость работы и питания.
Считай, что даром.

— Ты с кем говорил?

— С заведующим,— лесничий кивнул наверх.— Обе-
щался звонить по колхозам, где управились с зерном...

— Звонить не надобно!

Никита Андреевич потащил лесничего наверх. А когда
договорились, все-таки вздохнул.

— Сорвешь ты нам уборку картофеля! Чувствую...
Лесничий захохотал.

— А ты откажись! Вот человек — жареный петух в
рот лезет, а он морщится...

Папирос Никита Андреевич не купил. Вернулся в
Перепеловку и всю дорогу торопил шофера. Вечером
первая партия колхозников с пилами, с топорами, с про-
довольствием уехала в лесничество.

— В лесу воздух целительный, подышишь — жизни
прибавится, — весело уговаривал председатель. — Что за
радость в грязи копать — рыть картошку?! А там
и харч колхозный, и трудодни идут, и работа опрятная.
Теперь не зима!

Уговаривать помогали члены правления и счетовод,
который говорил, поглаживая пышные пехотные усы,
что это, мол, все равно как получить путевку на курорт.

К ночи Никита Андреевич созвал членов правления,
велел счетоводу принести книги.

— Ну вот, значит, что... — сказал председатель.—
Будет лес лежать зря — заставят делиться. Выйдет, что
мы работали, а другие на даровщинку... Теперь нам не
миновать строиться!

— Об том и на собрании говорили, Никита Андреевич! — сказал счетовод.

— Вот, значит, мы и выполним указание масс! — усмехнулся председатель. — Ну-ка, раскрой книги: сколько там свободных денег?

Строительство начали поспешно: еще не кончили рубить просеку, еще возили лес, а в колхозе закладывали молочную ферму, сенной сарай, новый клуб и дом для приезжих. Когда позвонил секретарь райкома и спросил, куда денет Никита Андреевич такую уйму леса и неужели ему не стыдно не поделиться, председатель весело ответил:

— Да мы ж, Павел Михайлович, строимся! Помнишь, на собрании нас бранили, что тесно живем? Вот и выполняем. Приезжай да посмотри, Павел Михайлович.

Секретарь приехал, походил по начатым стройкам, где рыли ямы, клали кирпичные столбы для фундамента, стругали свежие бревна, и только присвистнул.

— Хитрый ты мужик, Никита Андреевич! — сказал он на прощанье.

Председатель усмехнулся.

— Я что? Слуга народа! Они приказали, — он кивнул на колхозников, — а я исполняю...

На самом же деле он привык считать себя полным хозяином и говорил только, чтобы отвести упреки.

Строительство обходилось дешево. Колхозные плотники работали за трудодни, и хотя предвиделся значительный перерасход трудодней, председатель не беспокоился: общее собрание утвердит, а в распределение все равно пойдет столько же. Просто трудодень станет дешевле: прежде разделили бы на сто пятьдесят тысяч трудодней, а теперь разделят на сто шестьдесят тысяч.

Хуже было, что своих плотников не хватало, приходилось нанимать. Пришлось нанимать и кровельщиков, печников, столяров. Никита Андреевич торговался, как другие играют в карты, волнуясь и горячась. Он спорил, льстил, возмущался, шутил, убеждал, ругался, уходил из правления и возвращался вновь.

— Поимей совесть, Никита Андреевич! — возражал старый печник. — Разве это цена — полтораста за печь?!

— Настоящая цена! — убежденно говорил председа-

тель. — Нам требуется двенадцать печей. Выходит, тысяча восемьсот целковых! А работы на месяц.

— Да разве это мысленно, чтоб за два дня — печь?! — ужасался печник. — Клади не меньше как шестьдесят ден. И то по-каторжному, без отдыху... Скуписься, Никита Андреевич!

— Скупой свой кошелек соблюдает, а я колхозный! Колхозные деньги — они нелегкие, сам знаешь.

— Не ценишь моего труда, председатель! — обижался старик.

— Тысяча восемьсот рублей — это ли не цена?! Латавать старые печи, в саже мараться может и Михаил. А ты мастер! Тут кто ни придет, подивится да спросит: «Кто это, спросит, строил такие славные печи?» — «Потапыч!» — «Ай да Потапыч! — скажут. — Вот это, скажут, мастер!» Тебе и любо! Небось сам в клуб придешь — посмотреть кино, станцевать...

Председатель подмигивал.

— Я свое оттанцевал, — ухмылялся печник.

— Значит, внучка твоя придет... Подумай да завтра и начинай: кирпич приготовлен. Дам в помощь двух шустрых пареньков — комсомольцев. Только приказывай да показывай: сложат хоть дому!

Когда печник уходил, счетовод спрашивал:

— А вдруг откажется?

— Не откажется! — весело отвечал председатель.

В сущности, Никита Андреевич не был скупым, но с детства привык, что копейка рубль бережет и надо всякую копейку, как говорится, приколачивать гвоздем. Однако и клуб и ферму он поставил добротные, на годы, а комнату для приезжих велел внутри покрасить по бревнам веселой зеленой краской, которая осталась от крыши, и купил три кровати с сетками. Но простынь и наволочек завел по одному комплекту на постель. «Это ничего, — сказал он счетоводу, — уедет командировочный, белье постирают да застелют обратно». И велел брать за ночлег пять рублей в сутки, как в городском Доме колхозника.

Клуб был уже достроен, и женщины выметали мусор, когда комсомольцы пришли просить денег на декорации, парики, костюмы и грим, потому что «теперь можно ставить настоящие спектакли».

— Ишь, чего захотели! — сказал в сердцах претседатель. — Продавайте билеты: вот и деньги.

— Всего надо полтыщи...

— И полтинника не дам. Вот так!

Он даже ушел из кабинета, чтобы кончить разговор.

3

Весна была робкая: днем таяло, ночью подмерзало, и вода плохо стекала. Паводок получился невысокий, тихий, а земля раскисла, и пришлось ждать, пока просохнет. Агроном Нина Петровна Галактионова нервничала. Прошлым летом она окончила Тимирязевскую академию и впервые проводила сев самостоятельно. Никита Андреевич ходил мрачный.

Отсеялись в пять дней: спешили. Галактионова похудела, почти не спала и всех замучила. Трактористы ворчали, а сеяльщики даже скандалили. Но хлеба поднялись дружные, и народ повеселел.

Отношения с Ниной Петровной складывались странные. Председатель видел, что она целые дни проводит в поле, а все-таки был недоволен. Время от времени она входила в председательский кабинет, здоровалась и начинала спорить.

— Пора подкормить хлеба, Никита Андреевич, — тихо говорила Галактионова, садясь к столу и вздыхая.

— Подкормите, — соглашался председатель, глядя, как Нина Петровна поправляет растрепанные полевым ветром волосы.

— Минеральных удобрений мало...

— Уж сколько есть, — недовольно отвечал председатель.

— Придется еще купить, Никита Андреевич.

— Еще?! Откуда я вам возьму еще?

— В городе есть, я звонила...

— Мало ли что есть в городе! Только даром не дают...

— Нельзя экономить на удобрениях, Никита Андреевич. Агротехника требует...

Председатель прерывал, не дослушав:

— Наука требует, чтоб человек жил сто пятьдесят годов. А пока не получается... Как говорится, по одежке протягивай ножки!

— Полно, Никита Андреевич! Колхоз богатый...

— Богатый, богатый! Оттого и богатый, что себя ограничиваем. Коли сразу сделать все, что надобно, так и будем нищие... Вам надобно, Чугункову надобно, Ивану Степановичу надобно, садовод Татьяна Павловна всякий день приходит ругаться... Всем надобно!

Никита Андреевич сердился, Нина Петровна улыбалась, но не уходила, и наконец председатель вызывал счетовода.

— Как там? — спрашивал он с надеждой. — Наскребем денег на тонну суперфосфату или, может, не наскребем? Только помни: не из последних! Еще надобно купить садовых ядов и перечислить за бензин и покрышки. Кстати, напомни механику, чтобы завтра послал за покрышками...

— Мало, Никита Андреевич, одну тонну! — возразила Нина Петровна.

— Хватит! Ну́ как?

— Наберем, Никита Андреевич! — весело отвечал счетовод.

— Ладно. Вот так!

После председатель выговаривал счетоводу:

— Из тебя бухгалтер — что из коровы рысак! Сколько ни спроси, сразу: «наберем», «найдется», «пожалуйста»! Легкомысленный ты человек...

— Так на дело же, Никита Андреевич! — оправдывался счетовод.

— На все дела не напасешься...

Учился Никита Андреевич мало. В детстве окончил три класса, а революция застала взрослым и сразу принесла неотложные и хлопотливые дела в кооперации, в комитетах бедноты, в сельсоветах, где он работал. Теперь Никита Андреевич читал по вечерам «Капитал» Маркса, «Диалектику природы» Энгельса, сочинения Вильямса и Мичурина. И хотя говорил, что все для него понятно и, например, главу о прибавочной стоимости он «понял очень легко», на самом деле понимал по-своему, не всегда верно, но об этом не знал, потому что ни с кем не советовался. Он привык до всего доходить сам... Теперь Никита Андреевич был доверчивее, но при новшествах старался не вылезать вперед — пусть попытаются соседи! Он сразу согласился только увеличить норму высева, сообразив, что «чем больше колосьев, тем больше зерна».

А хозяйство росло, и возникали десятки нужд. Иван Степанович хотел построить теплицу или, на самую крайность, довести до тысячи парниковые рамы, чтобы выгонять ранние овощи, и обещался за то «завалить колхоз деньгами»; кроме того, огородникам позарез нужен небольшой культиватор; Татьяне Павловне требовались малый садовый трактор с плужком, механические опрыскиватели, яды, саженцы, известь для побелки стволов, корзины, инструменты; птичницы просили новую ферму; Чугунков собирался приобретать племенного быка костромской породы, и, кроме того, не хватало кормов, каждый год приходилось прикупать; поизносились и обветшали жнейки, шоферы требовали запасных частей к автомашинам...

А тут еще стал докучать Валентин Мазуров, бывший тракторист, который теперь учился в областной школе руководящих колхозных кадров. Хорошо, что приезжал он только в воскресенье — проведать семью. Этот все волновался, что почвы в колхозе кислые и надо их ошелачивать: известковать.

Легче других было с Чугунковым: тот сам нигде не учился, тридцать лет ходил в пастухах и понимал, что «выше головы не прыгнешь», что «скоро только сказка сказывается», и не пытался ловить журавлей в небе. Почти год на складе лежали автопоилки и электродоильный аппарат: их купили впопыхах, когда строили новую ферму; теперь надо было рыть колодцы, доставать водопроводные трубы, покупать насос, делать электропроводку, а на это требовались деньги, деньги и деньги. Чугунков напоминал, но изредка, не приставал с ножом к горлу.

— Сам знаю! — говорил Никита Андреевич. — Вот погоди, ужо...

И Чугунков годил.

Председатель знал, что Чугункова не любят: он пренебрегает советами и делает всегда по-своему. «Что ему сказать, что бревну — все едино!» — говорили в колхозе. Про себя председатель считал, что заведующий животноводством поступает правильно, но слишком грубо, в открытую... Был бы поумнее, не стал бы зря обижать людей. Вот он, Никита Андреевич, тоже поступает по-своему и не понимает, как можно поступать наперекор себе, но готов выслушать, готов и поспорить, и доказать,

и будто бы согласиться. На теплое слово и змея из норы вылезает. Вот так!

— Ты, Владимир, все-таки полегче! — говорил он с упреком. — Послушал бы, сказал, что подумаешь...

— И слушать не хочу! — ворчал Чугунков. — Их только послушай — уши прожужжат. Скотина — та хоть молчит.

— Эх ты, медвежий племянничек! — вздыхал председатель. — А дуги, брат, с терпением гнут, не вдруг...

К осени в колхоз приехал зоотехник Ухтин. Был он совсем юный, но держался солидно, говорил неторопливо и курил душистый табак в трубке.

— Большое современное хозяйство, товарищ председатель, возможно вести лишь на научной основе, — заявил зоотехник. — Надеюсь, вы со мной согласны? Нельзя в каждом колхозе заново изобретать самовар...

— Так, так! — председатель улыбнулся. — Какой же это ученый изобрел самовар? Я что-то не слышал...

— Ну, не самовар... Ну, например, велосипед... Я говорю иносказательно.

— Так. Выходит, не знаете, кто? Вот и я не знаю. Сдается, что придумал не ученый: тот сразу бы написал книгу про самовар. А придумал, наверное, мастеровитый русский человек. Среди простого народа, товарищ зоотехник, до черта мозговитых людей! Вот так.

— Против этого невозможно спорить, — подумав, сказал Ухтин.

— Куда ж спорить! — засмеялся Никита Андреевич. — И еще не забывайте слова Иосифа Виссарионовича, что теория без практики мертвая... Об остальном договоритесь с Чугунковым, с ним будете работать. Не пугайтесь, что он такой мрачный. Он практику шибко знает.

— Я и не пугаюсь, — обиделся Ухтин. — Мне пугаться нечего.

— Оно и хорошо! Коли б вас с Чугунковым смешать да поделить пополам, вышло б два золотых животновода. Вот так!

Вскоре председателю рассказали, что Ухтин шумел в свинарнике, куда привезли на прикорм гречишную ботву. Зоотехник накричал на свинарок, а ботву выкинул. Все же две свинки поели и болеют.

Вечером Никита Андреевич встретил Чугункова.

— Чего там у тебя? — строго спросил председатель. — Обкормили свиней?

— Угу.

— Подохнут?

— Да они, Андреич, уже здоровые.

— А ведь ты пастух, Владимир Захарович! — горько сказал председатель. — Тридцать лет у скотины, да пустяка не знал...

Помолчали.

— Зря не читаешь книжек...

— Читаю! Нынче нарочно прочитал... Написано, что после пречихи белых свиней нельзя допускать на солнце, а то солнце как-то там соединяется с гречихой и получаются волдыри, вроде бы ожоги, а бурым свиньям и вовсе ни о чем! Всего пустяков-то...

Опять помолчали.

— А ведь ты обиделся! — председатель глядел на Чугункова.

— Поднял трезвон: «Свиней обкормили!» Мальчишка...

— Не беда, будет и стариком, куда не денется. А ты, Владимир, с виду медведь, а простой, как дите, насквозь видно. Обиделся!

— Чего ж обижаться...

— А теперь врешь! Будь Ухтин постарше, сделал бы тихо, по-умному... Ну ладно! Только предупреждаю, Владимир Захарович: ты мальчишку не прижимай. Слышишь? Обтерпится — потише станет. Вот так!

Хлеба спели сразу на большом массиве. Комбайн одиноко гудел в полях и не успевал убирать. К тому же он не заладился; комбайнер, чертыхаясь, лез то в молотильный барабан, то в мотор и жаловался на высокий травостой. Никита Андреевич часами крутил телефонную ручку, ругался с директором МТС, требовал, чтобы прислали второй комбайн, «хоть какой-никакой», жаловался в райсельхозотдел и в райком партии. Старенькие колхозные жатки ломались на дню раз десять. Никита Андреевич приказал выслать косилки, но и косилки работали плохо: то ли поизносились еще на сенокосе и не были за недосугом исправлены, то ли и впрямь мешал высокий травостой.

И в один из этих дней, когда председатель, потный и пыльный, голодный так, что в животе собаки рычали,

ненадолго забежал в кабинет, явились Ухтин с Чугунковым.

— Не поладили? — с упреком спросил Чугункова председатель.

Тот не ответил.

— Так невозможно работать! — горячо начал Ухтин. — Что я ни сделаю, Владимир Захарович все отменяет...

Никита Андреевич устало опустился на стул.

— Чего там у вас?

Зоотехник подал исписанный лист.

— Я составил рационы для скота. Вот, поглядите, товарищ председатель! На основании последних научных исследований для рационального питания фуражной коровы полагается...

— Говорят, хорошо корову кормить рафинадом, — равнодушным голосом сказал Чугунков, глядя в окно. Ухтин вспыхнул:

— Все шутите, Владимир Захарович! А дело серьезное. Последние исследования...

— Постой, постой! — перебил председатель. — В коровьи пайки я мешаться не буду, вам виднее. Сколько всего-то надобно?

— Вот, пожалуйста. Тут написано.

— Что-о?! — Никита Андреевич поверх очков взглянул на зоотехника: не шутит ли? — Да откуда ж мы столько возьмем кормов?

— Придется, наверное, купить! — возразил Ухтин.

— И так покупаем.

— Расходы окупятся повышением продуктивности.

— Знаю, что окупятся. Только когда? А деньги сейчас выкладывай...

— Ничего не поделаешь, нужно, товарищ председатель!

— Когда б могли делать все, что нужно, был бы коммунизм, товарищ Ухтин! — возразил председатель. — А то его надобно еще строить.

Чугунков молчал.

— Как же так?! — растерянно сказал Ухтин. — К чему вам зоотехник, если вы не хотите считаться с наукой?

— Хотим! — ответил Никита Андреевич. — Очень да же хотим! Да не можем пока... вот в чем беда.

Он посмотрел на исписанный лист.

— Не скажу — половину: куда там! Четверть этого, может, сумели бы... И то надобно подумать.

Когда расстроенный Ухтин ушел, Чугунков сказал:

— Высоко грач летает, да туда ж садится — на землю. Теперь сам видишь, Андреич.

Только наладилась уборка, как прекратилась подача тока и колхозные молотилки замолкли. Вот когда Никита Андреевич помянул в сердцах недобрым словом слабосильные молотилки. Были б эти самые «М-1001», тогда и простоять не страшно, наверстали бы. А тут еще прикатила на своем подростковом велосипеде Мария Пименовна, редактор районной газеты «Колхозный путь» и член бюро райкома партии.

— Как же теперь будет, Никита Андреевич?! — заговорила она, вкатывая велосипедик в кабинет.

Только прислонив его к стене, она сказала «здравствуй» и протянула руку. На велосипеде висел школьный портфель: перекинули крышку через раму и застегнули.

— Ловко ты портфельик-то! — сказал, здороваясь, Никита Андреевич.

— Не в зубах же его держать!.. Ну как, сыскали повреждение?

— Второй день ищем. До города четырнадцать километров, а надобно просмотреть всю линию... Вот договорился,— председатель показал на телефон,— сегодня городские монтеры вышли навстречу нашим.

— Молотилки-то стоят?

Председатель пожал плечами.

— Как же будет, Никита Андреевич?

— Вот так! Цепов в деревне, Мария Пименовна, не осталось, больше молотить нечем.

— Взял бы в МТС тракторную молотилку...

— Свободных нету; у другого колхоза придется отнимать. Еще и не дадут...

— Как же с обязательством, Никита Андреевич?

Председатель усмехнулся. Месяц назад вот так же она вкатила велосипед, шумела, шутила, смеялась и настояла, чтоб он обратился ко всем колхозам с призывом закончить хлебопоставки к 25 августа. Потом об этом было напечатано в «Колхозном пути».

— Может, поспеет. Время еще есть.

Мария Пименовна даже всплеснула руками.

— Где же время? Всего десять дней!

Председатель молчал. Мария Пименовна покачала головой.

— Какой-то ты беззаботный, Никита Андреевич! Как хочешь, обязательство надо выполнить. Твоя подпись — твоя и ответственность.

Председатель снова усмехнулся.

— Знаю! Дорога ль худая, поклажа ль грузная, телега ль плохая, а за все лошадь в ответе — ее секут!

— А что ж! — засмеялась Мария Пименовна. — Надо ж довести по назначению! — И, посерьезнев, спросила: — Организовать бы вам круглосуточную молотьбу, а? Я поговорю с ребятами... Эх, Никита Андреевич, жалко, нет у тебя новых молотилок! Старье... В краеведческий музей, чтоб народ дивовался.

— Если бы да кабы да на столе росли грибы, так и в лес ходить не надобно, — пробормотал председатель и громко сказал: — А ты, Мария Пименовна, все, я гляжу, на велосипедике трудишься? Пора б тебе мотоцикл...

— Да ну его! Еще разобьешься... И не по деньгам, Никита Андреевич.

— Зато, глядишь, за день весь район облетала бы... Выходит, и ты, редактор, старое не бросаешь, пока годится?

Мария Пименовна захохотала.

— Укусил! А ведь, ей-богу, укусил!

Председатель посмеивался.

— Собаки кусаются да комары. А я что ж, сказал к слову.

— А как молотилка, которую дали на испытание?

— Проверяем... Ничего работала, подходяще.

— Говорят, из Москвы инженер приехал, интересуется?

— Приехал... Все ты знаешь, Мария Пименовна!

— Должность такая... А и пройдоха ты мужик, Никита Андреевич! Небось как задаром, так и новенькую взял.

— Задаром только воробьи кричат. Мы аренду платим.

— Копейки платишь.

Вечером повеселевшая Мария Пименовна снова зашла в правление.

— Говори спасибо, председатель! — сказала она. — Помогла.

— Повреждение сыскали?!

— Договорилась с комсомольцами. Хорошие ребята! Будут молотить ночью...

— Зря...

— Почему это «зря»?!

— Ошиблись вы... — с досадой отвечал Никита Андреевич. — Народ и так приустал на уборке, зачем ночью-то его томить? А тем больше молодежь... Ведь они как? День проработают, а ночью гулять. Спят не каждые сутки...

— Ну, как знаешь! — обиделась Мария Пименовна. — Вам виднее. Прощай!

И повела велосипед из комнаты.

— Куда ты на ночь глядя?! — удивился председатель. — Ночевала бы...

— Дома ждут... И так даром потеряла день.

Выйдя из правления, она осмотрелась. Ночная тьма лежала вокруг. Была последняя четверть, и от луны оставался узкий серп. Слабые тени едва виднелись возле домов.

— Ох, как я затемнилась! — с тревогой сказала Мария Пименовна, но все-таки уехала.

4

Третий день не было тока. Колхозные и городские монтеры ходили, задрав головы, от столба к столбу и ругались. В деревнях говорили, что, наверное, стая грачей села где-нибудь на провисший провод и получилось замыкание, или, может, ребячий змей повис на проводах, или — тоже вполне может быть — какой-нибудь озорник швырнул камнем в птицу, а разбил изолятор... На мальчишек глядели с подозрением и гнали подальше от проводов, бранясь и вспоминая все провинности за последние годы. Мальчишки оправдывались и негодовали.

С утра парторг Седельников предупредил Никиту Андреевича, что вечером соберется бюро парторганизации.

— Хорошо! — хмуро сказал председатель.

Прежний парторг, учительница и беспокойный человек, в конце прошлого года уехала к дочери не то в Са-

марканд, не то в Чимкент, а секретарем выбрали Седельникова, кладовщика. Этот был мужик спокойный, в руководство колхозом мешался мало и всегда советовался с председателем. Никита Андреевич к новому парторгу относился снисходительно и думал, что, наверное, Седельников понимает — нельзя кладовщику ссориться с председателем. Их, парторгов, было пятеро за эти годы, а Никита Андреевич один, и коли дойдет до ссоры, районные организации таким человеком, как Никита Андреевич, не поступятся. Парторга-то найти легко! Раза два Седельников пытался поспорить, но ничего не добился...

Бюро собралось в сельсовете, чтобы Никиту Андреевича не беспокоили: в правлении звонили по телефону, прибегали люди с докуками, а сельсовет вечером не работал.

В просторном кабинете, где на окнах, как в избе, были наставлены горшки с цветами и висели белые занавески-переднички, на письменном столе горела семилинейная лампа. С непривычки казалось полутемно, по стенам шевелились гигантские человеческие тени. С неприязнью увидел здесь председатель Чугункова, Ухтина, приезжего инженера. «Этому-то что надобно?» — подумал председатель. Он знал, что Ухтин ходил в райсельхозотдел, в райком партии и жаловался, что ему не дают работать, даже просился в другой колхоз. «Все-таки Володька болван, — зло думал председатель, присаживаясь сбоку у письменного стола, — разодрался с мальчишкой из-за какой-то — тьфу! — телушки...»

Керосиновая лампа мешала Седельникову видеть людей, и он то заслонялся ладонью, то закидывал голову, чтобы глаза его были в тени. Прежде всего стали говорить про обязательство, напечатанное в газете.

— Мария Пименовна накрутила, — усмехнулся председатель и, досадуя, рассказал, как идет уборка и сколько вывезено зерна. — Время есть, поспеем! — хмуро заключил он.

Седельников, против обыкновения, стал спорить и, наверное потому, что не привык спорить с председателем и боялся, говорил раздраженно и даже намекнул на «многократные упущения» и «недостаточную заботу по развитию нашего хозяйства». По настоянию парторга в резолюции рекомендовали правлению, если завтра не исправят повреждения сети, добиться в МТС тракторной

молотилки, организовать ночной обмолот. «С редакторского голоса поет!» — подумал Никита Андреевич и перестал возражать: пусть пишут, он обойдется по-своему.

Потом партторг дал слово Ухтину. Молодой зоотехник, волнуясь, шагнул к лампе, и его тень закрыла половину комнаты. Сбиваясь и оттого сердясь, зоотехник говорил о Мичурине и Лысенко, о менделистах-морганистах, которые не признают среды и воспитания, а верят только в наследственность. Получалось, что Чугунков вроде бы тоже морганист: не хочет воспитывать стадо, надеется только на племенного быка и потому определил на мясопоставки телку Сиреньку, которую он, зоотехник Ухтин, отобрал на племя...

— Про Мичурина мы знаем, читали! — прервал Никита Андреевич. — Говорите про дело...

Тогда Ухтин, поблдевав от гнева, сказал, что Чугунков ведет неправильную линию в хозяйстве, а председатель колхоза поддерживает Чугункова и все распоряжения его, ученого зоотехника, отменяются и он не понимает, зачем в таком случае им нужен зоотехник... Кончив говорить, он отступил к стене и сел куда пришлось — на сельсоветский несгораемый ящик, загремев замком. Чугунков возражал. Никита Андреевич слушал, морщась, и думал, что все-таки Чугунков дурак, довел мальчишку до бешенства, теперь тот на рожон полезет, а сам вот опять говорит, что тридцать лет был пастухом, как будто в этом геройство: значит, на другое не годился.

— Давайте кончать, поздно! — сказал Никита Андреевич. — Из-за телки теряем время.

И когда стали писать резолюцию, добавил, что черт с ней, с телкой, пускай остается, на мясопоставки сдадут другую, и не возражал, когда Чугункова обязали советоваться с зоотехником, совместно разработать план развития животноводства и доложить на бюро. Но когда Никита Андреевич увидел, как по-детски просияло лицо «ученого мальчишки», как заулыбался и встал московский инженер, видно готовясь поздравить зоотехника с победой, он не сдержался и, уходя, сказал Ухтину:

— Вас не было — и склоки не было. Не ко двору вы нам пришли...

А наутро монтеры исправили повреждение, и разом загудели на всех токах молотилки, засуетились, загомонили люди и возникли десятки новых забот: там бригадир

во-время не назначил возчиков и теперь не поспевали подвозить снопы; там порвался приводной ремень и его сшивали, браня и бригадира и председателя, что не припасли новых ремней. Шофер Егор пропорол шину, когда возил зерно в город, и добрый час простоял, пока сменил. Трижды ломалась жнейка в пятой бригаде. Звонила Мария Пименовна и спрашивала, будут ли молотить ночью... В этой суматохе счетовод передал заявление Ухтина об уходе и, неодобрительно глядя, ждал, что скажет председатель.

— Да ну вас всех! — крикнул в сердцах Никита Андреевич.— Вот плюну и откажусь, выбирайте другого! Сил моих нету, чтобы с каждым нянчиться да титьку совать в рот. Идите вы к лешему!

В гневе Никита Андреевич наливался старческим си-зым румянцем и руки у него начинали дрожать.

— Какое же будет решение? — все-таки спросил счетовод, и его пышные пехотные усы враждебно встопор-зились.

— Решение, решение! — визгливо прокричал предсе-датель.— Выдай ему деньги, какие заработал, пусть едет на все четыре стороны. Вот и «решение»!

После он поостыл, выпил воды и хотел уже вернуть счетовода, но вспомнил, что придется, пожалуй, изви-няться и уговаривать гордого мальчишку, и махнул ру-кой: черт с ним, пускай уезжает.

Дня через два, когда Никита Андреевич ругался по телефону с заведующим «Заготзерно», который не хотел принимать грузовик с хлебом, в дверях что-то завози-лось. Кончив говорить, председатель повесил трубку, покрутил для отбоя телефонную ручку и обернулся. Перед столом стояла Поленька, школьница из девятого класса, которая летом помогала своей матери, стряпухе Аграфене Никитичне, в колхозной столовой. Поленька стояла бледная, глаза были испуганно расширены, а бе-лые косички торчали в разные стороны.

— Чего тебе? — все еще раздраженно спросил предсе-датель и вдруг встревожился: — Никитична заболела? Да говори ж наконец...

Поленька покачала головой.

— Маменька стряпают,— сказала она с трудом тон-ким, дрожащим голосом.— Я совсем по другому делу к вам пришла...

Никита Андреевич удивленно поднял брови:

— По другому? Слушаю.

— Верно ли... — Поленька быстро облизнула губы, — верно ли... Вот я слышала... будто Павел Николаевич от нас уезжают?

— Какой Павел Николаевич?

— Павел Николаевич, зоотехник...

— Ах, вот кто! — председатель нахмурился. — Верно. Не хочет работать у нас, подал заявление.

— Как же это можно?! — с ужасом сказала Поленька. — Такой специалист — и чтобы уехал!

Председатель молчал.

— Он же рассказывал, какое он хочет, чтобы у нас было замечательное стадо...

— Что ж, он с тобой советовался, что ли?

Поленька поглядела на председателя с укоризной и внезапно покраснела почти до слез.

— Станет он со мной, с девчонкой, советоваться! — горько сказала она. — Зачем ему? — И вдруг, гневно блеснув глазами, добавила: — Это все Чугунков, я знаю... Он Павлу Николаевичу работать не дает, завистничает... Это он за свинок обозлился на него...

— Ну, вот что, Поля, — сказал председатель, хмурясь и улыбаясь, — я занят... Тебя что, мамаша прислала?

— Маменька не знают... Я сама пришла, я тоже колхозница... И, значит, вправе...

— Твоего права не отнимаю. Только не пойму: чего ты хочешь?

— Нельзя, Никита Андреевич! — страстно сказала Поленька и прижала к груди сжатые, дрожащие кулачки. — Нельзя, чтобы Павел Николаевич уезжали.

— Не ко двору он нам, — сумрачно сказал председатель и опустил глаза. — Что за работа, когда они с Чугунковым как собака с кошкой? А у меня нету времени мирить да разнимать. Не работа!

— Так прогоните Чугункова! — горячо воскликнула Поленька.

Председатель удивился:

— Сказала! Он тридцать лет у скотины, ему народ доверяет, награжденный орденом, а ты — «прогоните»! Это тебе не мальчишка.

— Его все терпеть ненавидят! Кого хотите спросите... Его народ не любит, он все рывком да толчком и... И раз-

не ж такие могут быть у нас успехи, если б не он?! Вы б только послушали, что Павел Николаевич говорил, как все замечательно можно сделать! — Поленька перевела дыхание. — Чугунков только вами и держится, Никита Андреевич!

Председатель начинал сердиться.

— Вот что, колхозница! — сказал он сурово. — Коли захочешь, можешь сказать на отчетном собрании — твое право. А мне некогда лить из пустого в порожнее. Поняла?

— Думаете, не скажу?! — с обидой и вызовом ответила Поленька, и слезы заблестели у нее на глазах.

— И скажи на здоровье! А теперь ступай...

Поленька выбежала.

— Ишь ты, — недоумевая, сказал самому себе председатель, — от горшка два вершка, а туда же... «Прогони-те!» А?.. Смотрела б за своей кашей...

Уже через полчаса, разговаривая с шофером Егором, он неожиданно проворчал:

— До чего у меня проклятая должность: всякому щенку подавай отчет!

Егор не понял.

— Должность у вас ответственная, Никита Андреевич! — ответил он почтительно и снова заговорил, что надо бы на машине сменить скаты — поизносились.

— Спятил, парены! — возмутился председатель. — Самая уборка, зерно сдаем! Ох, и голова — два уха!

Все-таки обошлись без ночной молотьбы. В «Колхозном пути» появилась заметка о передовиках, выполнивших обязательства перед государством, но Мария Пименовна, встречаясь, разговаривала хмуро.

Казалось, все складывается хорошо. Урожай снова был богатый, даже малость лучше прошлогоднего, но председателя томило смутное беспокойство. Почему-то он не мог забыть то бледного, то вспыхивающего лица Поленьки и ее смешных белобрысых косичек. Может быть, она вспоминалась оттого, что в ее страстной защите молодого зоотехника Никита Андреевич не мог найти никакой корысти, а он привык думать, что каждым руководит корысть: или заботится о своей выгоде, или хочет спихнуть недруга, или, наконец, просто выхвывается. Тут же он окончательно не видел никакой корысти для Поленьки. Однажды, сидя вечером дома у раскрытого

окна, он подумал, что недовольных почему-то становится все больше... И Валька Мазуров, и агроном Нина Петровна, и уехавший Ухтин, и счетовод, который тогда, на бюро, обвинял Чугункова, и парторг Седельников, и огородник Иван Степанович, и теперь вдруг еще эта девчонка... Проворчал было вслух старую поговорку о голодной Маланье, которой не нравятся поданные ей оладьи, но тут же подумал, что не дело умному человеку утешаться поговоркой, а надобно понять, отчего все эти люди, известные ему с пеленок, вдруг стали недовольными и нет ли на то серьезной причины. Думал он долго, до темноты, но ни в чем себя не осудил. В конце концов урожаи у них лучше, чем у соседей, а это главное. Правда, в газетах пишут, что есть колхозы, где урожаи вдвое богаче. Так ведь это не у них в районе! Да и надо бы еще проверить... Никита Андреевич знает редакторов: Мария Пименовна впопыхах, пожалуй, и ошибется. Есть недоделки: надо бы наладить электродойку, автопоилки. Ну, да не все сразу! Успокоился Никита Андреевич на том, что все недовольные просто нетерпеливцы, торопыги, которым свербит при виде разных недостатков жизни, а жизнь, он-то, старый, знает, не бывает без недостатков. И еще зависит от того, откуда посмотреть на жизнь. Вон хоть бы Валька Мазуров: работал трактористом и мало чего видел, а теперь, рассказывают бригадиры, рта не закрывает, критикует... Просто не терпится людям поскорее попасть в коммунизм, бегом бежать хотят, а того не понимают, что бегом-то быстро запыхаешься, да еще и ногу свернешь... Потихе — оно вернее. Прежде бывало всяких бегунов возвращали «по месту жительства». А теперь не мешало б их возвращать «по времени жительства».

Тут Никита Андреевич усмехнулся и промко спросил:
— Ужинать мы сегодня будем, мать?

Марфа Васильевна откликнулась из кухни:

— Сейчас соберу! Я думала, ты работаешь...

5

Вечером в воскресенье к Никите Андреевичу явился негодующий Маслюков, крикливый и тощий бригадир из Грачевки. Едва переступив порог, он заговорил обиженным, злым голосом:

— Вот как хочешь, Никита Андреевич, а мы все, бригадыры, откажемся, коли Вальку Мазурова поставят в правление. Вот как хочешь!

— Поругался? — спросил председатель.

— Житья ж от него нету! Точит, как тля! И то не так, и это не эдак... И навоз, видишь, мы сохранять не умеем, и торфу не берем на удобрение, и суперфосфату кладем мало, и не известкуем... Мы с Пеньковым ему, значит, тихо-мирно объясняем, что к чему, значит; а он слышать не хочет, орет, руками машет, народ собирает круг себя! Придумал, чтоб, значит, бригадыр бегал с косою и, где вырос под забором али у дороги, в лесу ли сорняк, так скашивал. Мы с Пеньковым ему, значит, тихо-мирно разъясняем, что, мол, сдурел ты, парень: где у бригадыра время бегать по пустырям?! Куда там! Орет: «Заелись вы, отяжелели! Вас бы, орет, в поле отправить на работу, а новых — в бригадыры! Вот тогда, орет, порастрясли бы жиры». А какой, например, во мне жир? Одни кости...

Маслюков понизил голос:

— Главное — другие повторяют за ним!

— Про сорняки я хотел сказать, да позабыл, — возразил председатель. — Конечно, не бригадыру бегать, а надобно послать девчонку с серпом, чтоб прикосила на пустырях, пока не обсеменились сорняки-то.

— Весь колхоз Валька бесславит! — продолжал, не слушая, Маслюков. — Вечером жужжал московскому инженеру: какие, мол, у нас беспорядки! Генка Пухов, на что тихий парень, не стерпел да и говорит: «Ты, говорит, погоди, Валька, а то люди подумают, что наш колхоз вовсе негодный!» Ты думаешь, что он на это сказал? «А что ж, говорит, если не по науке, так и выходит, что негодный». Вон как!

— Гляжу я на тебя, Кузьма, — мрачно сказал председатель, — и вижу — сукин ты сын!

На мгновение бригадыр опешил.

— Вот и вы теперь ругаетесь, — обиженно отозвался он. — А я разве что? Хоть нынче снимайте с бригадырства, ставьте куда хотите...

— Куда ни поставь, тем же будешь.

— Да ведь он под тебя роется, Андрейч! Вот честное мое слово, под тебя. Чтоб, значит, самому сесть председателем...

— И дурак к тому же! — зло возразил Никита Андреевич. — Валька хоть и заучился, хоть и подурел, а все поумнее тебя. Небось понимает, что не справится ему с людьми... Вот с такими, как ты!

— Так он дальше глядит, чем ты, Андреич! Ей-ей, дальше... Не сейчас, понятно, а после. Окончит, значит, школу-то, годик поработает твоим заместителем и спихнет. Вот помяни мое слово, спихнет!

— Ступай! — сурово сказал председатель. — Да скажи своей Марье, чтоб тебе голову примачивала — помогает.

— Вот ты не веришь, Андреич! — продолжал, шагнув к двери, Маслюков. — А ведь он и тебя славит. «Остарел, говорит, наш Андреич; ни черта, говорит, не видит в свои окуляры; ему, говорит, давно на печь пора — сушить, говорит, старые кости да плешивую его голову, говорит...»

— Пошел вон! — рассердился председатель.

— Мне что! Я и пойду! Мое дело — сказать, а там как хочешь...

Но у порога Маслюков снова обернулся.

— А по-нашему, Андреич, надобно отказаться от Вальки. Пускай посылают в другую деревню, в Дубовицы, коли уж он такой герой!

— Я сказал — пошел вон! — крикнул председатель.

Маслюкова он выгнал, но почувствовал недригизнь и к Валентину. В самом деле, худо, что Валька всякое воскресенье орет колхозникам про недостатки. Может, он и от доброй души орет, не со зла, а просто выхваляется, — да ведь что лбом в дышло, что дышлом в лоб — какая тут разница?

С ноября началась агротехучеба, и утром, придя с фермы, Никита Андреевич увидел, что его кабинет занят: посреди комнаты на скамьях сидели бригадиры, а за письменным столом стоял и что-то говорил участковый агроном Тарасов.

Увидя председателя, он громко сказал:

— Вы извините, Никита Андреевич, мы скоро кончим. Но можем и перейти в другое место...

— Ничего, Николай Петрович, — ответил председатель. — Я обожду. Нынче не к спеху.

И стал у печки греть посиневшие старческие руки.

Тарасов был немногим моложе председателя, густые волосы казались серыми от седины, но обожженное холодом и солнцем лицо оставалось веселым, а говорил он громко и радостно, словно рассказывал занимательную историю о чем-то, что всем знакомо и всех волнует.

Никита Андреевич пошевелил пальцами, подул на руки — пальцы начинало ломить — и стал слушать.

— ...Пошехоно-володарский клевер, — говорил агроном, — может расти на одном месте до четырнадцати лет. Для обновления семян в результате естественного отбора некоторые колхозы оставляют небольшие площадки клевера на пять-шесть лет. Что такое естественный отбор, знаете?

— Знаем! Понятно! — отозвались бригадиры.

— А все-таки я поясню. Вот стали у нас рязанцевцы сеять пшеницу сандомирку. В первую зиму она почти вся вымерзла. Однако рязанцевцы не угомонились: они там любители пшеничного хлеба! Посеяли вновь уже своими семенами. И так из года в год. И стали понемногу замечать, что сандомирка привыкла, не вымерзает. Выжили самые крепкие растения, которые, как говорится, прошли огонь, и воду, и медные трубы. И уже дали такие семена, что не боятся холода...

Никита Андреевич слушал и с завистью думал: откуда у этого немолодого человека столько подвижности и радости и отчего он говорит так уверенно-громко? Председатель искоса глядел на бригадиров и видел, что Маслоков сидит, опустив голову, и не слушает, а думает свое, что Пеньков рассеянно смотрит в окно, Грачева, как пришла, повязав платком рот, чтоб не наглотаться холоду, так и сидит повязанная, только раскраснелась в тепле. Записывает один Виктор Ветелкин, старается парень!

— ...Клевер растет лучше всего, — продолжал Тарасов, — на таких землях, какие есть в вашем колхозе, — на суглинистой почве, которая лежит... На чем? Вот если снять почву, что будет дальше, внизу?

— Глина! — звонко сказал Ветелкин, подняв голову от блокнота.

— Верно! Валунная глина. Она водонепроницаемая... У вас большинство почв на полях закислено, а клевер

такой почвы не любит, надо известковать... Вот, например, на Деболовском лугу будет расти клевер? Если мы его не осушим и не окультурируем эти земли культурными растениями, там клевера не будет. Там много закиси железа, которую надо выщелочить...

Когда Тарасов закончил занятия, а бригадиры шумно встали и, толкая друг друга, стали выносить скамейки, Никита Андреевич сказал:

— До чего ж занимательно рассказываете, Николай Петрович! И даже про нашу землю все знаете... Откуда бы?

Тарасов засмеялся.

— Я же старый травопольщик! — сказал он на всю комнату. — Сколько я дрался за эти самые многолетние травы в нашем районе!

— Вы от драки вроде бы только моложе становитесь...

— Драка — она, Никита Андреевич, всегда молодит, потому что плошать не дает! Оплошаешь — накладывают по первое число. Отчего люди стареют? От робости... Как оробел — так кончено: полезли недуги, болячки, страхи... Вот и старость!

— Прямо зависть берет, на вас глядя...

— Что нам, молодежи! — захохотал Тарасов. — Это один писатель сказал: «Человеку столько лет, сколько он сам чувствует». Вот я и чувствую, что мне двадцать пять, ну, от силы тридцать.

— А как же зеркало?

— Я в зеркало не смотрю. Зачем? Красотой я, батенька, и в юности не отличался, теперь и подавно. Чего доброго, испугаешься? А мне расстраиваться некогда — дел по горло... Вы мне дадите, Никита Андреевич, лошадку добратся в Петушково?

— Придется! — вздохнул Никита Андреевич и сказал Грачевой, чтоб она по дороге зашла на конный двор и велела запрячь Свирепого.

— Ишь ты! — засмеялся Тарасов. — Кличка какая у него сердитая!

— Был свирепый, а теперь мерин, — ответил председатель, садясь за стол. — Полукровка. Куда ж его в производители?

И заговорил с участковым агрономом о клеверных семенах.

Январь был месяцем бухгалтерской страды — готовили годовой отчет. Каждый день работали допоздна. Счетовод осунулся, пожелтел, а правый ус у него обвис и как будто бы поредел; была у счетовода привычка в расстройстве дергать его и теребить. А тут еще на дню много раз председатель спрашивает, скоро ли будет готов отчет.

— Будто мы в городки играем! — ворчал счетовод, гремя счетами. — Это же бух-гал-те-ри-я. А, черт! Опять не туда положил... Тьфу!

В начале февраля Никита Андреевич созвал правление, на этот раз без актива, и, дождавшись, когда все расселись в кабинете и замолчали, строго сказал:

— Товарищи правление! Отчет — не мой, а наш общий. Прошу слушать и делать поправки.

Слушали долго. Первым не вытерпел Иван Степанович.

— Цифра не та! — сказал он придирчиво. — От раннего овоща больше было дохода. Напутали...

Счетовод, обиженно шевеля усами, принес книги, счета, накладные, стал показывать, споря и сердясь. Но Иван Степанович успокоился не сразу, все придирался и требовал проверки. Потом заволновались Архипова, Татьяна Павловна, бригадиры... Один Чугунков, как всегда, сидел неподвижно и только моргал. Но и он наконец не стерпел и, к великому негодованию счетовода, потребовал проверки.

Дошло до объявления общего дохода и денежной наличности на текущем счету. Гордясь, усмехаясь, председатель назвал цифру.

— Как?! Сколько?! — вскричал пораженный Иван Степанович.

Шум прошел по кабинету.

— Немногим поменьше миллиона! — торжествуя, повторил председатель.

— Батюшки! — Архипова всплеснула руками, уронив платок.

— Миллиона?! Как же так?! — оторопело спрашивал Иван Степанович.

— Вот так! — председатель улыбался.

— Да что ж это, братцы?! — закричал, негодуя и обижаясь, Иван Степанович. — Миллион денег, а мы как

все одно нищие. Парниковой рамы — тьфу! — допроситься не могу... Теплицы!

Все говорили разом. Иван Степанович перекричал всех:

— Да на собрании со всех нас штаны спустят! И правильно! Буржуи мы, что ли, копить деньги да получать проценты?! Нам деньги надобны в хозяйство. Ты ж после этого, Никита Андреевич, просто говоря, Кашей! Вот ты кто! Кашей!

Председатель не сразу понял, что члены правления недовольны. А когда понял, побледнел.

— Тратить и дурак может! — сказал он с презрением. — А вы попробуйте соберите.

— Разве ж у нас такое хозяйство было бы?! — пронзительно кричала Архипова. — Да мы бы...

И она захлебнулась негодованием.

— Коли так, — зло сказал Никита Андреевич, — выбирайте другого. Отказываюсь! Стар я, чтобы ночей не спать, да бегать, да ругаться со всеми. Хватит!

Наступило глубокое молчание. В тишине негромко, но внятно проворчал огородник:

— Видно, что придется...

Дома Никита Андреевич не стал ужинать, только выпил чаю и потом долго болтал ложкой в пустом стакане. Марфа Васильевна, бойкая у печки и в огороде, за столом сидела истуканом, тревожно поглядывала на мужа.

— Откажусь я, маты! — сказал Никита Андреевич и посмотрел на жену. — Что я за холуй каждому угождать? Пусть выбирают помоложе...

— Каждый год так-то! — усмехнулась жена. — Отказываешься, как пьяница от рюмки!

— А теперь все!

Жена помолчала, не веря. Осторожно спросила:

— А что делать-то будешь?

— Увидим... Хоть бы и ничего.

И пошел, тяжелый, сутулый, старый, ложиться спать. Марфа Васильевна покачала головой и, разом ожив, стала быстро перемывать посуду.

Впрочем, наутро Никита Андреевич передумал. Когда в правление забежал встревоженный Маслюков и, как будто между прочим, спросил, верно ли говорят, что председатель решил отказаться, Никита Андреевич загадочно усмехнулся.

— Там видно будет! Как собрание...

Уже собирался в клуб народ, громко переговариваясь и смеясь; бегали и кричали под окнами взволнованные ребяташки. В комнате за сценой Никита Андреевич последний раз прочитывал доклад. Неловко толкаясь в дверях, вошли парторг и члены правления: Грачева, Иван Степанович, Архипова и другие. В комнате стало тесно. Председатель покосился поверх очков.

— Так как же, значит, Никита Андреевич? — спросил Седельников.

— Чего «как»?

Председатель недоумевал.

— Отказываешься, что ли? — громко спросил Иван Степанович.

— Как собрание...

— Нет, Никита Андреевич, так дело не делается! — возразил парторг. — Надо же другого кандидата приготовить, договориться...

— Ну и договаривайтесь на здоровье.

— А мы и договорились! — звонко сказала Архипова.

— Вон уже как? И кого же, коли не секрет?

— Тарасова, участкового агронома! — ответил парторг. — Потому что нужен нам специалист.

— А он знает?

— Дал согласие...

— Вот, значит, как?! — Председатель помолчал. — А в райком звонили?

— Звонили. Павел Михайлович говорит, что он против Тарасова не возражает, а там наше дело. Так как же, Никита Андреевич?

— А чего «как»? Договорились — так делайте...

— Ты-то отказываешься?

— А это уж как народ...

— Да что ты народу-то скажешь? — спросил, теряя терпение, огородник.

— Чего вам от меня надобно? — рассердился председатель. — Хотите, чтоб сам себя выгнал в шею? Эх какие!.. Не ваше слово последнее, народ решит...

— Народ-то решит, Никита Андреевич, — спокойно сказал парторг, — а только народ понимает, что ты кохозу уже не вожак, а помеха.

— Ну, об том на собрании потолкуем!

— Тебе же лучше, Никита Андреевич, — тихо сказал парторг. — Уйдешь по своей воле...

— Да что ты уперся, чудак, словно мы тебя помереть уговариваем?! — усмехнулся огородник.

— Помереть не помереть, а около того... — мрачно отозвался председатель.

Наступило неловкое молчание.

— Да живи ты себе на здоровье, Никита Андреевич! — горячо воскликнула Архипова. — Разве ж мы зла тебе желаем? Об одном просим — отступишь сам! Чтоб не пришлось спихивать силком. Неохота обижать, вместе ж работали...

— Да ладно! — сказал огородник... — Не хочет — пусть на себя пеняет. Не кланяться же...

И пошел к двери.

Председатель вышел на сцену, задев боковую кулису, отчего нарисованная на ней березка пошатнулась и пошла складками. Вскоре напряженная тишина водворилась в зале: председатель читал доклад, не поднимая головы, и не раз его просили с мест: «Громче, Андреич! Не слышать...» Было слышно, как на воле перекликались ребяташки. Когда председатель назвал общую сумму дохода, зал отозвался глухим ропотом. На этот раз Никита Андреевич услышал в нем осуждение и заторопился.

Кончив докладывать, Никита Андреевич сел с краю за покрытый кумачом стол. В зале все еще стояла гнетущая тишина: даже вопросов не задавали.

— Кто просит слова? — уже в третий раз спрашивал парторг.

— Можно мне? — выкрикнул детский голос, и в зале поднялась бледная, трепещущая Поленька.

— Пожалуйста! — с облегчением сказал парторг.

Поленька быстро подошла к сцене, но подниматься не стала, а повернулась лицом к собранию и высоким, срывающимся голосом крикнула:

— Товарищи колхозницы!

Казалось, она не видела, что здесь сидят и мужчины. Легкий смешок прошел по залу.

— Что же это такое? — кричала Поленька, и оконные стекла отзывались на ее нестерпимо звонкий голос. — Что в нашем колхозе делается? Как можно, чтоб таким специалистам приходилось уезжать от нас?!

После вспоминали, что на Поленькином лице были

ужас, отчаяние и решимость. Счетовод даже сказал, что с таким лицом, наверное, бросаются под поезд, а дядя Николай, пастух, задумчиво добавил:

— Оно просто, коли раз со сто, а в первый раз — и помереть легче!

И все-таки Поленька говорила. Она упрекала председателя, что Чугунков им одним держится, а на деле Чугунков народу не нужен, потому что с народом самовластный и грубый, и вообще Чугунков «лег на пути колхозного животноводства вроде бы дубовой колоды» (на «дубовую колоду» отозвались одобрителем смехом). Еще говорила Поленька, что председатель «только деньги считает, бережет копейки, а на людей разве что не плюет, и ее, простую колхозницу, вроде как выгнал, когда она приходила в правление по колхозному делу»; что надобно не озиаться на соседей, а жить по науке и она по сию пору не понимает, как это у них хватило совести отпустить зоотехника. Маслюков крикнул было ей: «Тоже нашла профессора!», но Поленька живо обернулась на голос и звонко ответила:

— А его профессора обучали, не пастухи!

За отчаянность и страх, за ее правду зал грянул такими аплодисментами, что Поленька совсем потерялась, закрылась руками и будто провалилась сквозь пол. Только Никита Андреевич видел краем глаза, как, не помня себя, Поленька промчалась за кулисами в заднюю комнату, где он недавно готовился к докладу. Парторг тщательно стучал по графину и подымал руку, унимая шум. Члены правления взволнованно переговаривались. Чугунков побледнел, и рябое его лицо стало похожим на сыр. Он двигал челюстями, будто жевал. А зал бушевал. Топали ногами, хлопали, орали:

— Правильно! Молодец девчонка!

И словно прорвался паводок: парторг едва успевал давать слово. Люди перебивали друг друга, злыми, бранчливыми голосами кричали о том, что председатель «молодец против овец», герой против Дубовиц, а «на деле и сам овца», что «на Чугункова он голоса не имеет»; говорили, что скотина ходит тощая, нет от нее по-настоящему ни шерсти, ни молока, ни мяса — «одно брюхо на копытцах». Мазуров объявил, что на кислой почве только бы чай разводить да чай у них не растет и без известкования они вечно будут собирать «одну пригоршню зерна», а зем-

ля может давать и не счесть сколько, вон Вильямс писал по сто центнеров с гектара, а не по четырнадцати. Припомнили и ветхие, тесные фермы, где «в ростепель сквозь крышу льется», новая же ферма одна, а «в одном сапоге далеко не уйдешь», припомнили и лежащие на складе автопоилки и доильный аппарат, и поредевший разгороженный сад, где «за яблонью ухаживают зайцы», и падеж птицы, и обветшавшие избы, которые «нипочем не поправить без колхозной помощи»... Когда же взял слово Маслоков и прокричал, что, мол, хороший хозяин всегда бережлив, а все дыры не заштопаешь разом, Никита Андреевич даже глаза закрыл и подумал, что плохи его дела, если защищает такая дрянь! Но хоть и был грачевский бригадир криклив от рождения, ему не дали говорить — повскакали, зашумели, замахали платками грачевские колхозницы, на самого Маслокова посыпались упреки и обвинения, и он, огрызаясь и вертя головой во все стороны, ушел на место.

Понемногу возбуждение улеглось.

Работу правления признали все же удовлетворительной, но голосовали так вяло, так неохотно, что Никита Андреевич понял: все кончено.

Стали называть кандидатов. Кто-то выкрикнул имя председателя. Никита Андреевич поднялся и, глядя на графин, хмуро сказал, что он отказывается: стар, последнее время хворает, и надобно ему отдохнуть да полечиться.

— А там видно будет! — сказал все-таки Никита Андреевич, садясь. И все увидели, что он в самом деле старый.

— Просим, просим! — крикнуло все же несколько голосов. Но встал парторг, сказал, что просить не надобно, что за прежнее Никите Андреевичу спасибо, а дальше он не может подымать колхоз, потому что «потерял перспективу жизни и разошелся с наукой».

Выступали и в защиту Никиты Андреевича, но у защитников выходило, что, мол, новый председатель — журавль в небе, еще неизвестно каким будет, а тут хоть синица, да в руках. Слушая, председатель все ниже опускал голову. «Привыкли, как к старой болячке», — думал он, горько усмехаясь.

Было за полночь, когда выбрали Тарасова.

— Вот и отказался, мать! — сказал Никита Андреевич жене и тяжело сел на обычном месте у окна.

Сквозь двойные обмерзшие рамы было слышно, как скрипит снег и гомонят, расходясь, колхозники.

Следом пришел Чугунков; казалось, он стал меньше ростом.

— Что ж это будет, Андреич? — жалобно спросил он, присаживаясь к столу.

— Как веревочке ни виться, а быть концу... — негромко отозвался Никита Андреевич. — Все!

Чугунков подумал и вытащил пол-литра.

— Не надобно... — сказал Никита Андреевич. — Я и вкуса ее позабыл...

— Прежде должность не позволяла, — возразил Чугунков. — Теперь можно!

Молча глядел Никита Андреевич, как наполнялись стопки. Испуганная Марфа Васильевна принесла в миске соленые огурцы, порезала хлеб. Огурцы были в инее, как в седине.

Выпив, Никита Андреевич задохнулся, стал поспешно перебирать холодные огурцы — искал покрепче.

— И горька же, проклятая! — произнес он с трудом.

— Горькое на горькое, а человеку легче! — отозвался Чугунков и непривычным, плачущим голосом начал жаловаться, что народ теперь только звезды не требует снимать с неба, прежних заслуг не уважает, уж больно спешат к счастливой жизни, хоть и теперь живут в достатке, и не поймешь, какого рожна им сегодня надобно, Андреич правильно говорил насчет Маланьи...

С непривычки Никита Андреевич захмелел. Он вдруг услышал тишину за домом, спокойный стук ходиков, нежное дыхание спящего на лежанке кота. Вокруг была мирная, славная жизнь, и только ему было худо. Он слушал жалобы Чугункова, и оттого, что этот человек, которого он считал глупым, говорит то же, что не раз думал он сам, Никита Андреевич рассердился.

— И все ты врешь! — крикнул он, наливаясь сизым румянцем. — И правильно делают: не спеша только покойников возят на кладбище. А живым и надобно поспешить. Жизнь — она короткая... Выгнали — и правильно! Еще Ленин писал про то, что нам нужны специалисты своего дела... Эх ты, ду-бо-ва-я колода!

И вдруг сказал с ехидной лаской:

— Считай, что нынче и тебя сняли, Володька! Просто должность у тебя не такая... выпуклая. Твоя очередь завтра. Вот так!

Ошеломленный Чугунков только обиженно моргал. После третьей стопки Никита Андреевич заговорил вновь.

— Урок! — говорил он. — А кому урок? Я старый, мне исправляться поздно... А ты глупый! Глупый, потому что гордый... «Тридцать лет у скотины...» Глупости! Нынче и пастухи учатся. Понял? Ни черта ты не понял!

И, помолчав, добавил:

— Вот разве Валька Мазуров на мне научится... Или еще кто из молодых. Для них, верно, урок! Вот так.

7

Прошел год. Никита Андреевич продал дом и купил другой в Петушкове, где теперь и живет. Дом тоже старый, почерневший, половицы скрипят, двери стонут, а у крыльца растут древние березы с грачиными гнездами. Никита Андреевич заведует сельмагом, но у прилавка работает Марфа Васильевна, попрежнему то быстрая, то каменно неподвижная. Сам Никита Андреевич только составляет отчетность да ездит за товарами в город. Он постарел, шаркает ногами и по неделям не бреется, обрастает седой колючей щетиной, как старый еж.

Недавно было собрание пайщиков сельпо, и сварливый старичок Никитушкин, председатель ревизионной комиссии, рассказывал, как он «еще с одним старичком» ездил в Петушково на ревизию. Был понедельник, выходной день для торговли, и завмаг неохотно вышел из дому.

— Ну, делаем мы ревизию, проверяем, а завмаг стоит скучный, как осенний дождь. Стоял, стоял да и говорит: «Хватит, говорит, кончайте канитель». Посоветовался я со старичком и возражаю: «В таком разе, говорю, придется составить акт, что вы срываете ревизию!» А он усмехнулся и заявляет: «Акт составите? Ладно! Вот я сейчас уйду, а вас здесь запру... У меня, говорит, недостача две тысячи, потом оправдывайтесь, что не вы взяли! Вот так!» И что вы думаете? Ушел и запер!

Никитушкин с негодованием посмотрел в зал.

— Он запер, а мы сидим и не знаем, что делать. Стучать в дверь, скликать народ — вроде бы неудобно.

«А как вы сюда попали?» — спросят. Сидим полчаса, сидим час, прибегает его жена, значит, Марфа Васильевна. Отпирает, прощения просит: вы, мол, не обижайтесь, он у меня в старости сделался сердитый. И вроде бы просит «уходить подобру-поздорову». «Э, нет, матушка! — говорю. — Теперь мы так просто отсюда не пойдем! Уж ты запри нас, значит, обратно на ключик да позови кого-нибудь из сельсовета: пускай обыщут, что мы ничего не взяли». Она, конечно, нас заперла...

Собрание смеялось.

— Бегала, бегала, приходит и говорит: никто, говорит, не желает путаться в такое дело... А уже начинает, значит, смеркаться... Что ты будешь делать?! — продолжал Никитушкин. — Рядом с лавкой там есть квартира, мы и давай барабанить в стену. Приходит, значит, хозяйка, серьезная такая, пожилая. «Чего, спрашивает, вы стену ломаете? Вином обожрались, что ли?» А я только в ножки ей не кланяюсь: «Будь такая добрая, матушка, побудь в свидетелях, пока вот она, его жена Марфа Васильевна, нас обыщет...»

— Ой, не могу! — застонал кто-то в зале, изнемогая от смеха.

— И что вы думаете? — с обидой закончил Никитушкин. — Завмаг наврал, не было у него недостачи! Я после встретил, говорю: «Что ж это ты делаешь?!» А он отвечает: «Другой раз, говорит, не приезжай в выходной день».

Никто не знал, что в тот самый понедельник Никита Андреевич разговаривал с проезжими возчиками. И возчики рассказали, что в Перепеловке, где прежде он был председателем, собрали небывалый по здешним местам урожай. Случись это не там, Никита Андреевич и сам порадовался бы такой удаче. А тут он почувствовал острую боль и догадался, что была у него смутная надежда: вот не справится Тарасов, пошатнется хозяйство, и коли не позовут обратно, так хоть вспомнят: «Разве так, скажут, бывало при Никите Андреевиче...»



Сергей Львов

РИСУНОК КАРАНДАШОМ

Было это ранней осенью во время войны. Я стоял в очереди к воинской кассе речного вокзала. Когда появится пароход, никто не знал. В зале ожидания, во всех проходах и на нижней палубе, на грузах, накрытых брезентом и рогожами, сидели и лежали люди. Около кипяtilьника, от которого по-домашнему веяло теплом, немолодые солдаты степенно делили паек; женщина с исплаканным лицом перепеленывала ребенка; рядом, с грохотом выбрасывая костяшки, играли в козла...

В помещении, которое раньше было буфетом, мы долго разглядывали стеклянный щит с довоенным расписанием. На нем был изображен немислимо красивый белоснежный пароход и выведена надпись: «Поездка по реке — лучший отдых». Мы вышли на узкую палубу, опоясывающую дебаркадер пристани, и молча глядели на воду, докуривая последнюю махорку. Широкая река с потушенными бакенами казалась пустынной. Неожиданно где-то раздался гудок. Мы бросились к кассе; там уже выстраивалась очередь. Все волновались, теснились к окошечку, разворачивали предписания и литера.

— Внимание, товарищи офицеры! — объявил комендант, напрягая сорванный голос. — Размещаться придется, невзирая на звания, на барже.

Очередь загудела.

— Тихо! — поднял руку комендант. — На пароходе дети и раненые из гражданского населения... Больше вопросов нет?

Больше вопросов не было. В трюм баржи, которую буксировал пароход, вела крутая лестница. Мы спускались, пригибая головы и нащупывая ногой ступеньки. Кто-то, чертыхаясь, оступился... Внизу была крошечная тьма.

Свет карманного фонарика выхватил из темноты ряд двухэтажных нар, стол, сколоченный из досок, бачок для воды с кружкой на цепочке, обошел по кругу весь трюм, скользнул по краю какого-то плаката и снова вернулся к нарам.

Можно было наконец лечь, подложив под голову вешевой мешок, подстелив одну полу шинели и накрывшись другой. Но мне не спалось. Я слышал, как шлепают по воде плицы паровых колес, как рядом кто-то вздыхает и ворочается, и не мог уснуть. Похоже было, что вновь начиналась бессонница, измучившая меня в госпитале... Подняться наверх? Сноп света опять закружил по трюму, отыскивая выход, и снова высветил плакат на стене.

На этот раз целиком.

Сколько лет прошло с той ночи, но плакат, который я увидел тогда в круге света, помню до сих пор: изрытое поле, вздыбленная земля; небо в тяжелых тучах; по этому полю, под этим небом идет девушка в шинели; она без шапки, ветер развеивает ее волосы, отбрасывает назад полы шинели, а она идет вперед, идет упрямо. Вот и все.

Всего удивительнее было то, что я знал и девушку, нарисованную на плакате, и того, кто ее нарисовал.

Но как рисунок карандашом моего товарища Александра Токарева, изображающий студентку нашего института Лиду Кондратьеву, превратился в плакат? Как попал этот плакат сюда?

Я вышел на палубу и сел на скамейку около бочки с водой. За спиной была бревенчатая стена и в ней темное окно с задернутой занавеской — домик команды. Где-то на корме спросонья закудахтали курица. Было так, словно вышел я ночью в незнакомой деревне посидеть перед домом, только деревня сорвалась с места и плывет по темной реке...

И покуда пароход медленно и трудно тащил баржу вверх по течению, я вспоминал, как мы впервые увидели рисунок, ставший теперь плакатом.

До войны мы занимались в художественной студии нашего студенческого клуба. Точнее, это был обыкновенный кружок любителей, но нам приятно было считать кружок студией, а себя — студийцами.

Работал с нами Дмитриевский — художник безвестный, пожалуй, даже неудачник, но преданный искусству безмерной преданностью. На этюдах он кричал на нас, что природу мы видим, как дачники. Потом отнимал у кого-нибудь кисть, тыкал ею в холст, показывал, как надо. В Третьяковке, когда объяснял любимую картину, его руки летали около полотна, будто он пишет его заново.

Хотел Дмитриевский прочитать нам систематический курс истории живописи, но не смог: помешали симпатии и антипатии, распределенные у него в душе, как свет и тень. О давно умерших и давно признанных мастерах он говорил с такой нежностью или с такой обидной язвительностью, словно те впервые представили свои работы на его суд.

Пока мы рисовали с гипсов, Дмитриевский томился неимоверно. Его мучило нетерпение. Он привел откуда-то древнего натурщика, который самому Серову позировал, когда Дмитриевский учился в знаменитом серовском классе, повспоминал со стариком былые времена, показал ему наши работы, договорился о сеансах, пошел провожать гостя, а когда вернулся, от него пахло водочкой.

Однажды Дмитриевский удивил нас неожиданным заданием. Каждый должен был написать или нарисовать на вольную тему все, что угодно, — пейзаж, портрет, жанр — и в какой угодно технике: маслом, карандашом, акварелью, чертом, дьяволом... Эти работы мы должны будем выставить в клубе, чтобы каждый показал, что он может, чего хочет, зачем занимается живописью.

— Школьники, — сердито сказал Дмитриевский, когда кто-то выразил осторожное сомнение, — школьники, и те пишут сочинение на вольные темы. Молодой актер на выходах репетирует дома роль Чацкого — дерзает. Техником вы меня не удивите. Этого не жду. Но мыслей своих, мыслей и чувств вправе я от вас потребовать?

О нашем странном соревновании узнали в институте и стали дожидаться его исхода.

И вот, наконец, подошло время, назначенное для открытия выставки. В воскресенье утром мы начали разве-

шивать свои работы. В спортивном зале клуба запахло непросохшим маслом и скипидаром. И только второкурсник Токарев ничего не выставил, а когда его спрашивали, отнекивался, говорил, что не успел...

В два часа должны были прийти приглашенные: институтское начальство, комитет комсомола, студенты, друзья, знакомые. Обычно Дмитриевский не терпел никакой шумихи, а тут и сам назвал гостей и нам позволил.

Дмитриевский появился, как и предупредил накануне, ровно в двенадцать. На нем был черный парадный костюм, которого мы раньше никогда на нем не видели. Он церемонно пожал каждому из нас руку и начал неторопливый обход, двигаясь так, словно перед ним открывалась анфилада залов с полотнами мастеров в тяжелых рамах... А мы? Мы шли за ним, притихшие, зараженные его настроением. Мы почувствовали вдруг, какие надежды, не сбывшиеся в собственной жизни, связывает Дмитриевский с нами...

Он рассматривал каждую вещь подолгу, молча, и было трудно понять, что ему нравится, что нет. Мы стали расспрашивать его.

— Обсуждать будем после, — ответил Дмитриевский. — Я не вижу вашей работы, Токарев. (Обычно он называл нас просто по именам.)

— Я не закончил, — сказал Саша.

— Вы пришли к этому дню с пустыми руками? — вздохнул Дмитриевский. — Вы огорчили меня.

— Не с пустыми. Только я не готов еще, — сказал Токарев и нерешительно протянул Дмитриевскому свою папку.

Дмитриевский раскрыл ее и стал вынимать листы с рисунками.

Здесь были карандашные наброски, по несколько на одном листе, торопливые, резкие... Некоторые были едва тронуты акварелью.

Но все это я разглядел потом, а сейчас мы увидели другое. Рисунки — все до одного — изображали одну и ту же девушку — студентку нашего курса Лиду Кондратьеву. Вот она прислушивается, вот задумалась, вот перегнулась через перила лестницы и жестом зовет догнать ее, вот поправляет волосы перед зеркалом.

Нарисовал он ее и торжественно-сосредоточенной на концерте в консерватории. А Юрия Попова, который был

там с Лидой, он рисовать не стал. Он нарисовал только его руку, только ленивую и уверенную руку, которая лежит на лодлокотнике рядом с чутко настроженной, прислушивающейся к музыке рукой Лиды, и, честное слово, ясно видно, что рука Юрия — это рука человека, вытасченного на концерт насильно, и на это соседство рук обидно смотреть.

Дмитриевский перебирает листы, а мы смотрим на них через его плечо и видим: вот Токарев хочет передать выражение глаз; пробует, у него не получается, пробует снова. И вот наконец поймал: лицо едва намечено, но глаза уже живут.

На рисунках Лида была такая, какой мы видели ее каждый день, и не такая.

Саша пришел в институт каких-нибудь полтора года назад, когда мы все давно уже знали Лиду и многие были тайне влюблены в нее. Но он увидел в ней что-то, заставившее его снова и снова изображать ее лицо, ее движения, ее улыбку... Он сумел увидеть то особенное выражение, которое мы видели и любили, но не умели о нем сказать. Да нам бы и в голову не пришло сказать о нем словами или изобразить его. Как объяснить мне это? Хорошенькая? Хорошеньких у нас было много... Красивая? Не знаю!.. Такая, что нельзя пройти и не заметить.

— Посадите Лиду в первый ряд, — сказал один из факультетских мудрецов перед волейбольными соревнованиями, — тогда ребята будут играть, как звери...

И все это было на рисунках Токарева. Я смотрел на них и чувствовал, что присутствую при безмолвном и необычном признании в любви.

Последний лист. Тот самый рисунок, на котором она идет по полю. Дмитриевский вынул его из папки, долго разглядывал, потом вздохнул, обнял Токарева, поцеловал в лоб и, не замечая, как тот смутился, закричал на нас:

— Что вы стоите? Это надо развесить!

— Как, все это? — удивленно и недовольно спросил наш староста.

— Что вы имеете возразить? — набросился на него Дмитриевский. Гневаясь, он прибежал к церемонным оборотам.

— Чуть не двадцать портретов одной и той же студентки! — Староста пожал плечами. — Странно! Демонстрация какая-то получается...

— Вот именно — демонстрация! Удачно изволили подметить. Демонстрация таланта, такого таланта, который не нам с вами чета! — закричал старик и сам, обламывая кнопки, начал развешивать листы.

По-своему старик был прав. Он нашел то, ради чего все эти долгие годы возился с начинающими, — настоящее дарование. И, конечно, он не мог думать, в какое тяжелое испытание превратится этот день для Саши.

Когда собрались приглашенные, ни вступительное слово Дмитриевского, ни работы других кружковцев — ничто уж не могло отвлечь внимание от рисунков Токарева.

Девушки, перешептываясь, смотрели на Александра такими глазами, будто встретили его впервые. Эти перешептывания и реплика редактора факультетской стенной газеты: «Сенсационно!» — выражали общее настроение.

Наш декан, человек сухой и официальный, усомнился, насколько педагогично предпочтение, оказанное руководителем студии одному художнику и одному, как он осторожно выразился, сюжету. Дмитриевский ужасно разволновался и сказал о Токареве такие слова, что если бы они были сказаны обо мне, я задохнулся бы от счастья и гордости.

Но самое трудное для Токарева было впереди. Когда закончился осмотр и обсуждение и мы уже принялись разбирать выставку, в зал вернулся редактор стенгазеты. Он подошел к Токареву, хлопнул его по плечу и поощрительно сказал:

— Старик, мужайся. Идет твоя муза. Ей девчата позвонили. Да подождите вы снимать. И давай-ка, братцы, все отсюда... Сам пусть комментирует.

Приговаривая какие-то глупости, вроде: «Не робей, Шурка!», мы направились к выходу, но в самых дверях столкнулись с Лидой. Выдержки обойти всю выставку у нее не хватило, да и не в ее характере было хитрить. Она прошла прямо к рисункам Токарева — удивленная, разгневанная, стремительная...

— Похожа, — сказал кто-то, и мы увидели: действительно похожа, необыкновенно похожа.

А теперь представьте себе Сашу Токарева, робкого, неприметного, застенчивого. Среди нас он казался школьником. Если бы он вошел в самую большую аудиторию института и объявил во всеуслышание: «Знайте все, что я люблю Лиду Кондратьеву!» — это было бы неожидан-

ностью не большей, чем его рисунки. И представьте себе Лиду. Ей только что позвонили подруги. Перебивая друг друга, они сказали, что в клубе целая стена занята ее портретами; художник, который ведет занятия с кружком, произнес по этому поводу длинную речь и даже сказал, что один из рисунков — тот, где Лида почему-то идет по распаханному полю и в шинели, — да, да, в шинели! — передает героический порыв и что он навеян образом богини победы... (Тут они, наверное, фыркнули в телефон. Они были подругами Лиды, но смутить ее им было все-таки приятно.) И пусть она немедленно приезжает: выставку скоро закроют, и она ничего не увидит, если не поспешит в клуб...

И вот Лида смотрит рисунки. Как и всех, ее прежде всего поразила, конечно, не их талантливость. Главное для нее было в другом: как объяснить это себе и как объяснить окружающим! «Мальчишка—я едва знаю его— изо дня в день втихомолку вглядывается в меня, рисует меня... Как он смел угадать, о чем я думала тогда, когда ушла с лекций и сидела на скамеечке в саду? А если не угадал, откуда появилось на рисунке это выражение лица? Откуда он может знать мои мысли? А он знает! Если бы не знал, не нарисовал бы этот рисунок так... А если знает, то как смеет показывать, что знает? Кто позволил ему вывесить эти листы для всеобщего обозрения?»

Конечно, поэты и художники прославляют любимых стихами и кистью. Это известно. Но то великие поэты, великие музыканты, великие художники. И любовь их великая. Ее запоминают на века. О ней пишут книги. О ней говорят на экзаменах, когда сдают литературу. Но это и есть необыкновенная любовь. И женщины, сумевшие внушить ее, тоже были необыкновенными. А тут речь идет о ней... О ней и о мальчике в суконной куртке с молнией. Эту куртку ему, наверное, сшили, еще когда он ходил в школу. Вот он стоит рядом, едва осмеливаясь поднять на нее глаза, глаза, которыми он увидел все: даже то, о чем она сама едва догадывается.

«Неужели я действительно такая красивая?» — подумала Лида, но, обернувшись к Токареву, строго спросила:

— Зачем вы это сделали?

Это очень по-женски. Девушки иногда спрашивают так даже в ответ на поцелуй.

Токарев протянул ей лист с рисунком, на котором она идет по полю.

— Вот, — сказал он. Но даже и это «вот» он выговорил с трудом. — Я хотел написать картину... Это этюд... По памяти очень трудно — картину. Но я напишу.

Наверное, он хотел объяснить, как важно для него рисовать ее не таясь, как хорошо будет, если она согласится позировать иногда для картины, но не решился.

Лида взглянула мельком на рисунок, увидела поле, по которому никогда не шла, и шинель, которой никогда не носила.

— Где я? И почему в шинели? — спросила она.

Но потом стала вглядываться в рисунок и примолкла. Мы вышли из зала. В эту минуту даже самые бесшабашные остряки поняли, что нужно уйти, уйти молча и не оглядываясь.

Я не знаю, о чем говорили Лида и Токарев, не узнал и после, когда подружился с Сашей. Но я хорошо помню, как трудно ему пришлось в институте.

О его рисунках было много разговоров. Ходили по институту и недобрые шутки. Потом я узнал, что придумывал их Юрий Попов — мелким оказался он человеком. Хуже шуток были неумные похвалы. Все это делало сложными отношения Токарева с Лидой, да и со всеми, кто ее окружал. Он уже не мог, как прежде, сидя где-нибудь на собрании или забравшись в угол аудитории, незаметно вытащить свой альбом, он даже вообще не мог появиться с альбомом в институте без того, чтобы ему не задали глупого вопроса, не сострили бы...

Никто не хотел специально его обидеть, разве только Попов. Просто ребята не понимали, что подшучивание и розыгрыши были тут неуместны.

Лида, казалось, не обращала внимания на пересуды, но в тех редких случаях, когда ее сводили с Токаревым какие-нибудь институтские дела, говорила с ним холодно. И уж, конечно, и речи не могло быть, чтобы она позировала Токареву. А без этого нельзя было приниматься за картину. Дмитриевский потребовал от меня:

— Поговорите вы с этой девушкой. Вразумительно объясните ей все, так сказать, не с позиции личных

чувств, а от имени высших интересов искусства. Вам ясна моя мысль?

Но я отказался наотрез.

Токарев не мог работать над картиной и мучился, а тут ко всем сложностям прибавился экзамен, сданный всего на тройку.

— Побольше бы сидел в читальне, поменьше бы занимался живописью... И лирикой, — раздраженно ответил мне декан факультета, когда я от имени нашего кружка явился ходатайствовать, чтобы Токареву разрешили пересдать экзамен. Декан, читавший у нас психологию, считал себя знатоком всех движений человеческой души.

Я пришел к Саше, чтобы сообщить ему о неудаче. В тот год мест в общежитии не хватало, и институт снимал комнаты на тихих Парковых улицах. Токарев и двое его однокурсников жили в мансарде деревянного двухэтажного дома. В мансарде было полукруглое окно и скошенный потолок. Все это казалось нам необыкновенно романтическим. Но летом эта романтика дьявольски накалялась, а зимой комнату было невыносимо как следует натопить. Зато взамен других удобств на стене висел допотопный телефон с красными перекрещивающимися молниями. Он остался от какого-то учреждения.

Соседи Токарева уехали в библиотеку, а он, лежа на койке, с отвращением читал проваленный курс. Несколько подрамников были от соблазна повернуты холстом к стене. Когда я сказал, что пересдавать сейчас не придется, Саша с облегчением бросил учебник под кровать.

Мы поговорили о том, как он перебьется без стипендии, какую временную работу взять ему на вечерние часы, потом перешли на наш кружок, вспомнили выставку и расстались с чувством, что будем дружить.

Чем ближе я узнавал Токарева, тем яснее становилось мне то, чего я не понял на выставке, когда увидел его рисунки впервые.

Вот мы идем с ним по городу. То и дело приходится сходить с тротуара на мостовую: с крыш сбрасывают снег. Сосульки летят вниз и разбиваются со стеклянным звоном. Ребята в промокших варежках гоняют лопатами мутную воду. На сквере из-под снега проглядывает прошлогодняя трава. Около парапета набережной лежат доски. Капли смолы блестят на солнце. Доски привезли, чтобы отремонтировать причал для речных трамваев.

Александр смотрит так, будто втягивает в себя, впитывает, всасывает глазами: рыжие капли смолы, и бурюю воду, и синюю проталину в снегу, и черные отчетливые ветви в голубом мартовском воздухе.

А потом, спустя день, а может и неделю, он вдруг неожиданно скажет:

— Когда строили первые стены Москвы, они были земляными. Землю таскали в мешках. Такие были мешки из лыка, сплетенные, знаешь, как что? Как лапоть. Землю утаптывали и обкладывали дерном. Летом на валу начинали цвести цветы...

И не поймешь, то ли он представил себе все это, уцепившись за строчку, набранную в учебнике мелкими буквами внизу страницы, то ли наша прогулка так вот у него отложилась, а скорее всего — все вместе. Все, что он встречал, о чем читал, о чем узнавал, — он видел в контурах, в красках, в движении и светотени. История была для него заполнена не только датами, именами и объяснениями событий, но картинами...

Я много раз слышал и сам употреблял слова про изображение художника, но, только слушая его, понял, что это значит.

...Все, о чем думали мы, когда вспоминали комсомольцев гражданской войны, когда пели песню про девушку нашу в походной шинели, когда размышляли о будущем нашего поколения, о дорогах, которые предстояло пройти, — все это сливалось в представлении Токарева с образом любимой. Поэтому он и нарисовал Лиду так, словно она идет не просто навстречу ветру, а навстречу грозным испытаниям... Вот что искал он, вот что хотел выразить в своей картине.

Но картина еще не была написана, и Лида была от него дальше, чем тогда, когда он только начинал делать первые наброски.

Стояла июньская жара. В переулках летал тополиный пух, над дачными платформами звенели пионерские горны, в скверах старшеклассники готовились к экзаменам, а мы еще сидели в душных аудиториях и в пол-уха слушали заключительные лекции.

Однажды ко мне подошла Лида. Хотя мы виделись почти каждый день, я снова подумал, что тот, кто встре-

тит ее в первый раз, будет долго потом вспоминать, что необыкновенное случилось в этот день.

Мы поговорили о факультетских делах и уже попрощались было, но она вдруг остановилась и спросила:

— Как у Александра?

Что ответить ей? Однокурсники Токарева уже закончили занятия, а он безвыходно сидел в своей мансарде, зубрил, готовился к экзаменам, корпел над чертежами для заработка, иногда брался за альбом, думал о своей неначатой картине и о ней — о Лиде.

— Попрежнему, — ответил я. Мне казалось, что это все объясняет.

— Где он живет, ты знаешь?

Оказалось, что я знаю, как идти к нему, а дать точный адрес не могу: не помню номера дома.

— У них есть телефон, — спохватился я.

Только через год, когда мы перед отъездом Токарева ходили по затемненным московским улицам, он рассказал мне о том, что произошло в этот день.

Лида позвонила после занятий. Сказала, что хочет зайти за конспектами по древней истории.

— Когда вы приедете? — спросил Токарев. Ему казалось, что стук его сердца передается через телефонную трубку по проводам.

— Часов в пять, если можно, — ответила Лида.

Тетради Александр отдал товарищу, который жил в Алексеевском студенческом городке. Но он не сказал этого Лиде, продиктовал адрес, выгреб деньги из всех карманов и выскочил на улицу. Часы показывали половину четвертого. Две остановки он проехал на трамвае и соскочил на ходу, когда заметил свободное такси. Шофер такси, услышав адрес Алексеевского студгородка, недоверчиво присвистнул, глядя на Шуркину детскую курточку. Токарев вытащил из кармана деньги, смятые в комок, и они поехали.

В общежитие Саша ворвался, задыхаясь, потребовал тетради и, если можно, денег в долг на обратную дорогу. Узнав, что Шурку ждет такси, приятель, к которому он приехал, повалился на койку от изумления.

— Посмотрите на этого пижона!.. Ты что, перезанимался, старик, или хватил лишнего?

Но тетради отдал и даже денег у соседей набрал рублей двадцать.

Минут за десять до назначенного срока Токарев был дома. Когда он входил в комнату, ветер захлопнул открытое настежь окно. На пол посыпались стекла. Хлынул внезапный июньский ливень, и Саша понял, что Лида не придет. На столе лежали тетради, за которыми он ездил на другой конец города. Дождевые струи, срываясь с крыши, стучали по подоконнику.

Но она пришла.

— Какой дождь! Я едва добежала... Что это с вашим окном?

Не из-за конспектов она пришла и не ради того, чтобы узнать, как он относится к ней. Это она знала и так. И потому, что знала, не сразу решилась позвонить ему. А когда позвонила и теперь, когда стояла в дверях с растрепанными и мокрыми волосами, говорила быстро, легко, веселым, чуть небрежным товарищеским тоном, каким она привыкла говорить с мальчишками. Но она не сказала и трех фраз, как почувствовала, что ей трудно так говорить с Токаревым и что в этом тоне она не сможет сказать ему, зачем пришла.

Чем больше времени проходило после выставки, тем больше она думала о себе, такой, какой она была на рисунках Токарева, особенно на последнем. Это были мысли о будущем, неясные мысли о большой судьбе, о большой любви, о подвиге, может быть... Ведь у каждого из нас в молодости есть такие мысли, и очень важно, взрослея, не растерять их, не отмахнуться от них, как от романтической блажи...

— Я хочу посмотреть ваши рисунки, Саша, — решительно и очень серьезно сказала она и, понимая, что лукавит, добавила: — Конечно, если вы не заняты...

Он достал свою папку и положил перед Лидой. А себе он не мог найти места: оставить ее одну? Сесть поодаль?

— Что же вы, Саша? Я думала, вы сами мне все покажете, — сказала она именно то, чего он боялся и чего так хотел.

Они сидели рядом, Токарев переворачивал листы, а Лида рассматривала рисунки. Они молчали. Он бы никогда не решился сказать словами то, о чем говорили его рисунки.

Пришли соседи Токарева и ухитрились сделать вид, что не удивляются ни разбитому окну, ни даже появле-

нию Лиды. Она выпила со всеми чай, а потом стала прощаться...

— Провожать меня не надо, — сказала она Саше, который вышел с ней на улицу. — Я доеду сама...

Но он посмотрел на нее такими отчаянными, такими молящими глазами, что она согласилась немного пройти пешком. Они шли по узенькому тротуару переулка, потом свернули в аллею, тянущуюся вдоль ограды парка. Аллея была полна свежей темнотой, запахом мокрой листвы, колдовским светом луны и шепотом влюбленных пар на скамейках. А Токарев даже не решился взять ее под руку.

У станции метро была обычная вечерняя суতোлка. Лида, поколебавшись, согласилась и дальше пойти пешком.

Они шли по широкой окраинной улице мимо тихих и темных больничных садов, мимо здания клуба, которому архитектор-конструктивист придал форму огромной шестерни. (Саша, да и никто из нас не мог знать тогда, что скоро в нем будет наш призывной участок и что отсюда мы разъедемся по запасным полкам и военным училищам...)

И всю эту долгую дорогу, после того как он понял, что дорога эта еще продлится, что Лида не уйдет сразу, Саша рассказывал, рассказывал, как никогда прежде. Теперь, когда самое трудное за него сказали рисунки, и это было позади, говорить было легко. Он говорил о своей работе. Он рассказывал, как он впервые был в Третьяковской галерее, когда приехал в Москву. Вышел оттуда оглушенный, растерянный. Долго плутал по переулкам Замоскворечья, забыл, куда ему идти... Он рассказывал о своей работе. О том, как трудно, когда знаешь, что хочешь, когда глаза видят, а рука не слушается — она налита тяжелым свинцом неумения. И о том, как к нему домой приезжал Дмитриевский, вспоминал свою жизнь и с горечью признавался, что для того, чтобы стать настоящим художником, ему не хватило немногого — воли... И о том, что после разговора с Дмитриевским его самого все сильнее мучает одно чувство: время уходит, а ты еще ничего не сделал, ты не успеешь, торопись!.. А большая его картина так и не начата.

Перед воротами ее дома кончилась самая счастливая в жизни Токарева дорога. Он отдал Лиде тетрадь с конспектами, которую нес всю дорогу, и ушел.

В тетрадь он еще дома вложил свой рисунок. Тот, где она идет по полю...

Возвращался Саша пешком, вспоминая все, что было сказано и что осталось недосказанным. Когда она протянула ему руку на прощанье, он почувствовал ее спокойное, дружеское пожатие и понял вдруг, — не в двух годах разницы было тут дело, — какой он еще рядом с ней мальчишка! И ощущение счастья сменилось вдруг ясным пониманием — будто он со стороны увидел и ее и себя, — ясным пониманием, что она никогда его не полюбит, никогда...

Конечно, в ту ночь на барже я вспоминал все это иначе: не так подряд и не так подробно...

Ближе к утру мне пришлось снова спуститься в трюм: наверху стало отчаянно холодно. Согревшись в духоте трюма и вроде бы начиная дремать, я вдруг вспомнил, как мы провожали Токарева в августе 1941 года.

...Я был уже в форме, к которой еще не совсем привык, а Саша, только накануне получивший предписание явиться в военно-учебный лагерь, — в штатском.

Мы стояли у вагона втроем: он, Дмитриевский и я. Дмитриевский смотрел на Токарева так же, как смотрят на своих уезжающих сыновей отцы и матери, справлялся, все ли у него есть, так же порывался что-то купить ему на дорогу, а когда закуривал, у него дрожали руки.

До отхода поезда оставалось несколько минут. Рядом с первым вагоном заголосила женщина. Ее плач, подхваченный стеклянными сводами вокзала, тут же оборвался. Заговорило радио. В хвосте состава заиграла музыка.

Мы обнялись. Александр уже хотел войти в вагон, но в это время в конце перрона я увидел Лиду.

Она подбежала к нам и еще на ходу крикнула:

— Саша, Токарев!

Он оглянулся. Его лицо просияло.

— Успела все-таки... Боялась, что опоздаю, — сказала Лида.

Но тут объявили отправление. Лида протянула Токареву руку, а потом обняла его и поцеловала.

...Поезд трогается. Мы, ускоряя шаг, идем по плат-

форме рядом с вагоном, на площадке которого стоит Александр. Вагон обгоняет нас. Все быстрее и быстрее проходят мимо другие вагоны, мелькает проводник со свернутым желтым флажком в руке, и состав, раскачиваясь, уходит через выходную стрелку...

— Вот и уехал, — сказал Дмитриевский.

На площади мы постояли несколько минут.

— Буду теперь ждать Сашу, — проговорил Дмитриевский.

Мне было обидно за Токарева, что Лида прибежала в последнюю минуту. Я молчал. Хотелось, чтобы она заговорила первой. Но она тоже молчала.

— Ты куда? — спросил я ее наконец.

— В райком надо заехать...

Если бы я внимательно прислушался к тому, как она сказала это, я бы, наверное, понял, что она приняла важное решение. Но я думал о Токареве и ни о чем у нее не спросил.

Мы простились. Лида пошла к трамвайной остановке, оглянувшись, как будто хотела что-то сказать, а потом, помахав нам рукой, скрылась в толпе.

Мы молча шли по Садовому кольцу мимо витрин, заложённых мешками с песком. Темнело. Раньше в это время уже зажигались фонари.

Дмитриевский неожиданно сказал:

— Это слабые выдумали, что неразделенная любовь — несчастье. А он не слабый.

И я подумал, что Дмитриевский отвечает своим собственным мыслям. Ведь его отношение к искусству было тоже чем-то вроде неразделенной любви.

Месяца через два, когда я уже был в военном училище, друзья написали мне, что Лида закончила краткосрочные курсы медсестер и уехала на фронт...

Утром мой сосед-артиллерист, с которым мы накануне познакомились в очереди в кассу, пожаловался:

— Ну и беспокойный же у тебя, лейтенант, сон! Ворочался, курил, вставал... Ты что, после контузии, что ли?

Я промолчал. И этот артиллерист с горькими складками на молодом лице и каждый из моих спутников столько уже повидал и столько нам всем еще предстояло увидеть, что было невозможно сказать: не спал, по-

тому что институт вспомнил... Я снова подошел к плакату и вдруг заметил то, чего не разглядел ночью: надпись. Несколько строк было оборвано: наверное, зацепили вещевым мешком или прикладом во время торопливой выгрузки, а может, просто не из чего было свернуть самокрутку.

Но и тех строк, которые остались, было достаточно, чтобы понять, что Лида совершила подвиг и погибла. Оставшаяся часть текста начиналась с обещания, которое дали солдаты над ее могилой...

Был ли похож ее подвиг на то, что представлял себе Токарев?

Встала ли она первой и пошла вперед, когда командир был убит, а рота залегла под огнем, или она вытаскивала раненых из-под обстрела, или, может быть, была в разведке? Не знаю... Но я знаю другое... Она хотела быть такой, какой она увидела себя глазами Токарева, глазами его любви.

Я представил себе, как весть о том, что сделала Лида, дошла до командования, как ее подвиг признали достойным посмертной награды, как у Лидиных подруг в перерыве между боями спрашивали корреспонденты, нет ли ее карточки. Наверное, девушки искали в вещевом мешке и вместо карточки среди писем нашли рисунок Токарева, заплакали над ним и отдали, и он превратился в плакат: изрытое поле, вздыбленная земля; небо в тяжелых тучах; по этому полю, под этим небом девушка в шинели; она без шапки, ветер развеивает ее волосы, отбрасывает назад полы шинели, а она идет вперед, идет упрямо, идет, увлекая за собой своим порывом...



О. Маркова

ШЕСТ У ДВОРА

1

Сколько помнит себя Любка Смолякова, всегда, начиная с весны и кончая осенью, шест ходил по улице от двора к двору.

Каждый год его выстрагивали из молодой сосенки, оставляя на вершине несколько веток. Ветки топорщились в разные стороны, словно хватали неуклюжими лапами знойное солнце, и солнце капля по капле просачивалось сквозь обнаженное тело шеста.

В колхозе построили пожарный сарай с каланчой. Там вначале дежурил глухой дед Ипатов Степан. Он начистил до блеска единственную каску, смотал в кольцо брезентовые шланги и повесил их на стене, выставил у каланчи огромную водовозную бочку, наполнил ее водой. Но делать больше было нечего. Старик замкнул сарай на ключ и больше там не показывался. Каска вновь почернела от времени, шланги покрылись пылью, а у бочки ежедневно плескались ребятишки, да иной раз нерадивая хозяйка брала из нее ведро воды, не желая спустаться к пруду.

А шест все гулял и гулял от двора к двору, напоминая хозяевам, что стоит зной, что могут возникнуть пожары и что двор, отмеченный смолянистым шестом, отвечает в этот день за сохранность строений на улице.

Любка увидела шест рано утром, когда собралась на поле. Она вернулась в дом и крикнула с порога:

— Шест у двора! Сегодня дежури́м!

Мать удивленно и осуждающе развела руками:

— Как о радости возвести́ла! Шест у двора — значи́т бессонная ночь.

Мать ворчала:

— День-деньской в поле накачаешься, а тут еще — ночь! Зной стоит с самого первого мая, земля в трещинах, а тут еще на улице зернохранилище поставили... Говори́ла я тогда: не надо на нашу улицу зернохранилище — ребятишки за ним с папиросками прячутся... Шест! И когда ты, Любка, у меня поумнеешь!

— Не одни мы! Завтра вон шест перейдет к Трофимовым... Они постарше тебя, да дежурят! А зернохранилище правильно у нас поставили: ближе к пруду. Склад уж не сгорит!

— И тут ты ничего не понимаешь! Да от пруда-то зерно сыреет... Хозяйка! Сколько тогда в правлении ругались! Иди уж, опоздаешь!

От берега отчаливала большая лодка, когда Любка спустилась к пруду.

Девчата махали из лодки руками, кричали что-то. Любка до боли закусилa с досады губы: она опять опоздала! Теперь придется ждать, когда лодочник вернется и будет долго возиться на берегу. Любка знает, что возиться он будет только для того, чтобы позлить ее. Однако ей ничего не оставалось делать, как сесть на камень и следить за лодкой, которая, как ей казалось, совсем остановилась.

На крутом берегу пруда с одной стороны стояли хмурые сосны, с другой — широким полукружием раскинулось село, огибая пруд, а прямо чернела пойма. К ней и направлялась лодка, к их полю, где нынче впервые посеяли турнепс.

Из-за темного сосняка вставало большое солнце, и сразу же каждый его луч разбивался на мелкие осколки и нырял в воду.

«Интересно, кто будет сегодня на тракторе?» — подумала Любка, вздохнула и с силой бросила попавшуюся под руку гальку. На тихой воде пошли круги, как золотые обручи.

«Хорошо бы Тошка... — подумала еще девушка и передразнила себя: — Хорошо бы, хорошо бы! А что хорошего оттого, что Тошка? Ну, Тошка! Будешь опять

глаза на него пялить! Второй год пялишь, а он взял да и женился!»

Любка швыряла в пруд гладкие, обглоданные волной гальки одну за другой. Швыряла сердито, злясь на все: на то, что тракторист Антон Пьянков женился, что опоздала на работу, что лодка, заплыв на середину пруда, казалось, застряла на воде, как во льдах.

— Хватит! — сказала она себе. — Весь берег в воду с горя не опрокинешь! — и поднялась. — Эй, вы! Примерзли! — крикнула она плывущим к полю девчатам.

— Что, Люба, отстала? — раздался сзади мужской голос. С горы спускался Антон с веслами на плече. — Попроси меня, я тебя живо на своем дредноуте на поле доставлю!

Парень улыбался. Светлый кудрявый чуб свисал на лоб из-под козырька фуражки, ворот клетчатой голубой ковбойки был расстегнут, открывая косячок смуглой сильной груди. И весь Антон показался Любке светлым, будто солнечные осколки играют теперь на его лице, в волосах, на груди, на темных от загара руках.

Она сердито отвернулась:

— Вот еще, просить тебя буду!

Антон закинул в лодку весла, отвязал ее от причала и уже без улыбки сказал:

— Ну, садись, что ли!

Любка вошла в лодку и, сердясь на то, что уступила, что не могла не уступить, проворчала:

— Молодая-то приревнует...

— К тебе?! — удивился парень и, глядя на Любку во все глаза, с силой ударил веслами. Лодка рванулась вперед и замерла. С поднятых весел звонко посыпались в воду капли.

— Гребь, что остановился! — прикрикнула оскорбленная девушка. — Этак с тобой до Покрова на поле не попадем. Что же, я такая, что и приревновать ко мне нельзя?

Антон все еще ошалело смотрел на нее, словно увидел впервые.

Высокая и гибкая, с мелкими черными колечками вокруг лба, как в венце, Любка была красива. Синие глаза ее смотрели сердито, почти со злобой.

Антон растерянно прошептал:

— Да когда же ты... Как же это?..

Еще недавно она бегала по улице босиком, неуклюжая, длиннорукая и большеротая, как птенец. Он и не заметил, как она выросла, как все стало в ней осмысленным, как длинные руки превратились в сильные и ловкие, с ямочками на локтях, а губы налились, и рот уже не казался большим.

— Гребни! Лодку-то у тебя приколотили к одной волне, что ли? — напомнила Любка.

Антон отвел от нее глаза и взмахнул веслами.

Девушка могла теперь смотреть на него сколько угодно. «Ах, Тошка, Тошка! — думала она. — Зачем ты только поехал на эти курсы трактористов? Работал бы, как раньше, прицепщиком! А то вот вывез из города свою крадю на посмешище всего колхоза!»

— Что же ты Клавдию-то нашей работе не обучаешь? — спросила она тихо.

Антон бегло взглянул на девушку и отвернулся снова.

— Не хочет она... — помедлив, ответил он. — Она на машинке в городе печатала... Та-ак чеканила, только стукоток шел! А у нас машинки в колхозе нет... ну, и сидит... А на поле не хочет... Думал я корову покупать, и корову не хочет... В город меня тянет... На машинке она чеканит, как из пулемета, сам видел!

Любка притихла. «Может, и лучше, если уедет Тошка из колхоза, не будет мучить мои глаза...» — подумала она и, опять не овладев собой, спросила сердито:

— И как, думаешь ехать?

— Не знаю... может, так, а может, этак...

— Хорош ответ! — рассмеялась Любка. А хотелось ей сказать ему, чтобы не уезжал, что давно, еще когда девчонкой за мячом по улице бегала, заметила она его себе на погибель.

Продолжая тихонько смеяться, сказала:

— А мне сегодня и ночь не спать: шест у двора... Повеселимся хоть с девчонками...

Подумала: «Может, придешь?» — и вслух добавила:

— Ну и ребята, конечно, придут, это уж как водится!

Антон не сказал, что придет. Он рассеянно переспросил:

— Шест у двора? Вон как, уже шест пошел, а мы еще букетировку не кончили...

«Букетировка! Слово-то какое! Дадут же люди!» — подумала Любка и внимательно посмотрела на Антона.

Это он первый придумал — пахать пойменную землю под турнепс, он высеял семена вместе с песком очень рано, чтобы до появления земляной блохи растения развились и окрепли, он придумал и эту «букетировку» — поперечное рыхление тракторным культиватором, а девчата вот теперь пропалывают. И опять с болью в сердце подумала: «А такую жену себе подобрал! Чеканила бы она в городе на машинке! Не стало тебе девушек в колхозе!»

— Стоп! Приехали! — сказала она, первая выскочила из лодки и побежала за девчатами, которые тоже только что причалили к глинистому топкому берегу.

— Ну и тащились же вы! — кричала им Любка.

Лодочник, старик с прокуренной рыжей острой бородкой, проворчал:

— Попробовала бы моих теток везти! Ты вон какая легонькая, Антону хорошо тебя такую плавить!

— Плавить! Он не солнышко, а я не свеча! — ответила Любка и оглянулась.

Антон шел сзади, потупя голову, словно подсчитывал на илистой тропе следы девичьих ног.

2

Дежурить с Любкой Антон не пришел.

Еще в сумерки она вышла на улицу с колотушкой в руках, закутавшись в длинный овчинный тулуп: так уж повелось исстари, что на дежурство «под шест» все выходили, на всякий случай, в шубах: вдруг падет ночью заморозок, не будить же домашних, чтобы выбросили в окошко что-нибудь теплое.

Одна за другой к Любке подошли девчата, тоже одетые по-зимнему, кое-кто в валенках, и тут же скидывали шубы с плеч, сваливали их в кучу, на бугорок, усаживались в ряд. Разговоры были обычные, девичьи.

— Интересно, принесет Васька гармошку или нет?

— А поработали мы сегодня на «отлично!» Еще денек — и клин-то ведь прополем!

— Заметили, девчонки, как сегодня Тошка Пьянков раз пять домой с поля уплывал?

Любка одна сидела в шубе, обняв колени, в разговор не вступала. Смешные девчата! Да как же ей не заметить, что Тошка уплывал домой?! Она заметила и то,

что раз он осторожно вытянул из земли несколько турнепсин, завернул их в мокрый платок и бережно унес в лодку.

Весь день ломала голову Любка: для чего ему эти хилые еще растения с неразвернутыми синеватыми листьями, да так и не придумала ничего.

— Интересно, принесет Васька гармошку или нет?— все твердила Фроська Самойлова, вглядываясь в вечернюю улицу.

Любка насмешливо обернулась к подружке:

— Ты спроси лучше, сам-то придет ли?

— Что ты! Да как не придет! — замахала та руками. — Обязательно даже придет!

Была Фроська маленькая, беспокойная, с белыми, как кудель, волосами, которые одни сейчас и светлели на ее голове, над темным задубевшим лицом.

— Зря ты, Фроська, с городским связалась! Вон смотри на Тошку Пьянкова и казись: городская-то его как изъедает! — сквозь зубы, но совершенно отчетливо произнесла в тишине Любка.

— Не наговаривай на городских! — вскипела Фроська. Белые волосы ее разметались. Девушка приподнялась и была заметна только по ее голове, которая походила на сноп разбитой кудели, готовой к прялке. — По Клавдии город мерить нельзя: она и там — урод! Смотри, сколь городских к нам понаехало, помогают, работают вместе, а где и подучивают... и нет среди них Клавдии подобной... Мой Васька совсем не такой!

И верно: слесарь Василий Федотов, приехавший в МТС из города, был иной. Когда не было ремонта в мастерской, он шел на поле, к Фросе, помогал ей, иногда выпалывал синеватые турнепсинки вместе с сорняками, но Фрося следила за ним и шепотом учила:

— Смотри, ты опять изъян колхозу наносишь!

— А бог их знает, что тут турнепс, что лебеда... Ты, Фрося, говоришь, что это турнепс? Теперь я, кажется, начинаю понимать... Буду стараться...

Он старался. Девушки это видели и помогали ему, как могли.

Темнота усилилась.

Фроська поднялась во весь рост и, прижав руки к груди, громко и гордо сказала:

— Идет!

Из-за угла показались ребята, среди которых только Фросе дано было увидеть в темноте сухонькую фигурку Васьки Федотова, городского слесаря, гармониста и весельчака.

И сразу же затянули девчата свои песни.

— Крепок ли караул?

— Эй, дежурные, у Степана Ипатова баня горит!

— Вы хоть в колотушку постучите, а то мы в темноте не видим, девушки на бугре сидят или овечки траву щиплют, — смеялись ребята.

Кто-то из девчат забарабанил колотушкой.

Федотов, присев около Фроси, тихонько подыгрывал песне на гармошке, а потом отставил гармошку в сторону, лег на спину, раскинувшись на чьей-то шубе, и молча слушал.

Фрося подтолкнула Любку:

— Пой! — без густого низкого голоса подружки песня не получалась.

Любка не пела. Она сидела, попрежнему обняв колени, глядя на воду через пустырь, заросший крапивой.

Пруд качался в крутых берегах, черный и беспокойный, ставший ночью загадочным.

— Кого ты ждешь? Пой!

Любка не отвечала. Она вздрагивала, поднимала голову и прислушивалась всякий раз, как только слышала на улице чьи-то шаги, но снова оборачивалась к воде.

— Кого ты ждешь, Люба? — спрашивали девчата.

— Жду, когда луна взойдет... — ответила та. — Невесело в темноте...

— С лампой надо было на улицу выйти, если в темноте тоскливо...

— Это как же, с нами невесело? — возмутились ребята. — А ну, Вась, перебери лады!

Федотов быстро поднялся, рванул гармошку. Девушки запели. На этот раз песня взметнулась высоко, стройно, поплыла по пруду, затерялась в сосняке и оттуда снова примчалась обратно десятками трепещущих звуков.

— Эх, и поют у вас! — вырвалось у Васьки. — Нам бы в заводской клуб, в город, ваши песни!

Любка сумрачно произнесла:

— Вот тебе, Фроська, и городской слесарь! Все бы хорошее в город взял... А мы здесь и без песен раде-хоньки!

— Да я не про то, что ты! — смирился гармонист. — Говорю, хорошо поете... куда-то сядете! — Он и тут не мог обойтись без шутки.

Ребята захохотали. Любка поднялась с травы.

— Никуда не сядем: пора с обходом... Ну-ка, где у меня колокол-то? — Как и все, она сбросила с плеч тулуп, уложила его в общую кучу и, вооружившись колотушкой, направилась в улицу.

Хорошо идти, обнявшись с подругами, по ночной дороге, на которой тебе известен каждый бугорок, каждый поворот! Хорошо под гармошку петь дорогие песни, которыми с рождения убаюкивала тебя мать.

Огни в домах были погашены. Острые крыши, как сплошной частокол, выделялись на фоне бездонного неба.

Спит Любкин дом. Спят и старики Трофимовы, а рядом притих дом Антона Пьянкова. Белые переплеты рам чуть видны. За ними — полная тьма.

«Спят молодожены!» — подумала Любка, отчаянно забила колотушкой и запела во весь голос:

Однажды в рощице гулял я,
Где птички порхают везде...

Только Любка могла так начать песню, что каждому легко ее подхватить, легко поднять, вскинуть слова в беззвездное небо и заставить их трепетать, как трепещут звезды.

С шумом распахнулось окно в доме Трофимовых, и вслед молодежи раздался высокий дряблый голос старика:

— Эй, караульные, дайте спать!

— Принесите письменное заявление, — тут же нашелся Васька, но Любка так цыкнула, что его шутке никто не рассмеялся. Девушка отделилась от всех, вернулась к распахнутому окну Трофимовых и смиренно произнесла:

— Не будем больше, Яков Никитич, уж извините... спите спокойно... И верно, завтра у всех работа, а мы гремим!

Трудно и скучно идти по улице без шума.

Федотов с Фросей отстали и, о чем-то шепчась, шли поодаль.

Любка размеренно била колотушкой. Девчата нет-нет да и запоют, но тут же оборвут песню.

Вот и конец улицы. В темноте и не видно, как она, обогнув пруд, ткнулась на горе в пожарный сарай. Здесь ночные владения караульного «под шестом» кончаются.

Справа, под горой, замер пруд, слева стоит высокая пожарная каланча. Между нею и домами лег пустырь, и ни песня, ни пляска здесь никого не потревожат.

Любка громко запела:

Посеяли девки лен! Посеяли девки лен!

Ее немедленно окружили и, приплясывая, подхватили песню:

Девки лен, девки лен,
То ли, сё ли, ну так что ли,
Говорят, что девки лен!

Кто-то из ребят наткнулся на водовозную бочку у каланчи, пошуровал в ней веткой тополя и начал обрызгивать девушек водой. А они себе плясали, притаптывая поляну.

— Дождь, что ли? — первый встревожился Васька.

— Ну, а чего ты испугался, если дождь? Сейчас дождь хорошо бы! Земля пить просит.

Когда поняли, что окропляют плясунов из пожарной бочки, девушки притихли, некоторые, перегнувшись через край бочки, пытались достать в ладони воды. Васька сердито говорил:

— Чудно мне у вас все в колхозе... Пожарный сарай построили, а лошадей при нем нет; пожарнику трудодни идут, а сам он никуда не идет, дома сидит... Случись пожар, Ипатов Степан последний о нем узнает... Ни лопат в сарае, ни ведер... Вы-то что смотрите?

Василию никто не возражал: он говорил правду.

— Пожарника надо молодого — раз! Пару лошадей надо в конюшне иметь — два! Бочки надо около каждого дома поставить, здесь они без пользы, — три!

Федотов пнул бочку. Она неожиданно опрокинулась. Остатки воды залили кому-то из девчат ноги, поднялся визг и смех. Земля с шипением всасывала воду. А бочка, полежав на боку, вдруг шелохнулась и покатила под гору, к пруду. Ребята с гиканьем побежали за ней, поймали, вкатили обратно, но кто-то из девушек слегка подтолкнул ее, и снова бочка с грохотом покатила, теперь уже в другую сторону, к поселку.

Ее догнал Васька, вспрыгнул на нее и, стоя, мелко перебирая ногами, поехал. Девушки со смехом бежали за ним.

Около дома пожарника Степана Ипатова Васька спрыгнул, остановил бочку и поставил ее вверх дном перед окнами.

— Пусть она ему с утра завтра на глазах мозоли набьет... Может, хоть к вечеру за работу примется...

Возвращались к дому Любки уставшие, однако нет-нет, да снова кто-нибудь начинал смеяться: уж очень громыхала бочка, а завтра старик Ипатов обязательно поднимет в колхозе переполох.

— Но, ребята, держаться одного: лошадей! И сменить пожарника! — уж который раз убеждал Федотов.

— Эх, надо бы в бочку какой-нибудь цветок посадить...

— К воротам бы Ипатова пожарный шест приковать!

— Подождите, а где у нас полушубки?

Полушубков на пригорке не оказалось.

Ребята обшарили весь берег, заглянули в палисадник у Любкиного двора, сожгли все спички, какие были по карманам, — пропажи не нашли.

Притихшие девушки сели, прижавшись друг к другу: каждую ожидала из-за шубы неприятность в семье.

Ночь была попрежнему темная. Начинался ветерок. Слышно было, как волны тихо плещутся у берега.

— Не верю! Не бывало у нас такого, чтобы шубы у караульного стащили... подшутил кто-нибудь... — решительно объявила Любка и сбежала на берег сама. Согнувшись, руками обшарила камни, заглянула под лодку Антона, опрокинутую навзничь, перевернула ее. Под широким дном заскрежетали гальки.

Любка села на ту самую скамью, на которой утром сидел Антон, и прошептала:

— Узнаю я все-таки, для чего ты турнепс домой возил...

— Эй, караульная! — закричали с горы девчата. — Не ищи! В крапиве они!

Захватило дыхание: Антон! Кто мог, кроме него, выкинуть такую шутку: спрятать тулупы в крапиву? Конечно, он!

Счастливая сознанием, что Антон думает о ней, что хоть и не мог выйти на дежурство, но был здесь, оставил

свой знак внимания, а может быть, и любви, девушка поднялась на гору.

— Ой, и перепугалась же я! — сказала она и рассмехалась.

Фроська, уже одетая в шубу, обхватила ее, закутала в длинные полы, закружила и, играя, шепнула:

— Не о том ты думаешь, дорогая!

— А о чем это? — сразу стала та серьезной.

— Ой, не хитри! Примечаю...

Любка свалила подружку на траву, не дав ей доскочить. Они барахтались и взвизгивали, подминая друг друга. Кто-то крикнул:

— Куча мала!

Девчата навалились на них, образуя большой овчинный живой ком.

Выбравшись вверх, Любка кричала:

— У нас на бугре завтра лен вырастет от Фроськиных волос: я ей все космы выдрала!

Уходя вместе со всеми, задохнувшаяся и разгоряченная, Фрося успела-таки шепнуть:

— Ладно... Я тебе первой обо всем говорю, а ты — таишь!

— Не знаю, о чем ты...

Любка не увидела, как подруга погрозила ей пальцем.

Ночь под утро стала еще теплее. В лесу, за прудом, громко прокричала какая-то птица. У правления ударили часы: один, второй раз. Мягкий гул колокола донесся как из-под земли.

«Не придет... Уже два часа... Ни за что не придет...» — подумала Любка и запела, чтобы не заплакать. Но тут же смолкла: ей показалось, кто-то идет по дороге. Шаги приближались. Девушка вскочила и вся подалась вперед, навстречу.

— Любушка, — раздался в темноте голос матери, — где ты тут?

Любка вновь села на траву, закутавшись в тулуп.

— Любушка, иди, мила дочь, сосни хоть немножко, я подежурю.

— Нет, мама, нет! — испугавшись, зашептала Любка. — Что сама-то не спишь?

— Я поспала... — Мать присела на сухую примятую траву, погладила дочери плечо. — Ты хоть часика два отдохнула бы, а то как завтра работать-то будешь?

— Я буду работать, мама... Я, когда озлюсь, ох и работаю!

— А на что это ты опять у меня озлилась? — печально спросила мать.

Любка помолчала, прислушиваясь. Никто не шел. У избы стучали ставни да поскрипывала скворешня.

— Скажи, на что? — нежно настаивала мать.

— А знаешь, все-таки много еще у нас в колхозе беспорядков, мама... Вот смотри, пожарный сарай выстроили, старик Ипатов трудодни получает, а пожары не караулит... Случись беда — ни лошадей готовых нет, ни лопат! Ну ничего! Надо обязательно перед каждым двором бочку с водой...

Неожиданно громко Любка загремела колотушкой. Мать вздрогнула, отшатнулась.

— Ты хоть бы потише, люди спят...

— Пусть не спят! Пусть знают! А ты... иди, мама, спи... Я сама... Я вот обход еще сделаю... а ты иди...

Обходя еще раз улицу, Любка снова поглядела на окна пьянковского дома. Темнота так сгустилась, что белых переплетов рам было не видно. Любка прошла мимо, честно покружила вокруг зернохранилища (не прячутся ли за ним ребятишки с табаком), вытягивая шею, заглядывала в огороды (не горит ли, в самом деле, у кого-нибудь баня).

У пожарной каланчи девушка нашла место, где стояла водовозная бочка. Земля под днищем осталась гладкой, обрамленная ровным кругом густой травы. Вода, вылитая из бочки, уже испарилась, трава была вялая от жажды.

Так же внимательно озираясь, Любка направилась обратно, погремела колотушкой у дома Ипатова, стукнула черенком о пустую огромную бочку и удивилась тяжелому гулу, какой пошел от нее.

Около дома Антона Пьянкова она также остановилась и подняла колотушку, чтобы постучать, но, взглядевшись в окна, опустила руку: в темном провале одного из них был виден яркий красный огонек от папироски.

Закрыв лицо ладонью, Любка быстро отошла от окна и села на пригорок, обняв колени и опустив голову на руки.

«Не спит!» — думала она, не понимая сама, чем это радуется ее.

Ветер уже шумел в полный голос — в верхушках то-

полей в палисаднике, в зарослях крапивы на пустыре. Волны хлестали о берег, шумя галькой.

«Вот сейчас бы и пришел... — думала Любка.— Ведь и тебе поговорить со мной хочется...»

Сколько сидела так, спрятав лицо в колени, она не знает, но, подняв голову, увидела за темной кромкой леса, на небе, голубую нежную полоску. Полоска ширилась и светлела. Вот и верхушки сосен порозовели, и на при-
смиривший пруд легла широкая зорька.

Любка поднялась, поглядела вдоль улицы, утонувшей еще в сизых сумерках, и сказала:

— Не пришел! Не спал, а не пришел! Так я к тебе приду, подежурим вместе! Ведь к женатому парни не ходят...

Можно было уже идти спать, осталось только перенести шест к соседям.

«А что, если...» — вдруг подумала Любка. Ей стало весело. Она так и сделала: взяла смолянистый шест, пронесла его, минуя соседей, и поставила к воротам дома Антона.

— Не к чему откладывать: дежурь завтра!

Ладони прилипли к шесту, на них осталась смола. Любка вытерла руки о траву и направилась было к дому, но у Трофимовых в окно высунулась Анна, сухая старуха, и закричала:

— А чего шест мимо нас пронесла? Мы заразные, что ли?

Вспомнив, как с вечера в это окно отругал дежурных за песни сам Трофимов, Любка проворчала про себя: «Не спится им!» Вслух сказала:

— Я старость вашу пожалела.

И сразу же поняла, что не должна была этого говорить: старуха высунулась из окна еще больше, побледнев от негодования.

— Ставь шест по закону! Придумала — старость! Сама такой будешь!

Девушка, не глядя в окна пьянковского дома, взяла шест, отнесла его обратно, к дому Трофимовых. Старуха следила за ней злыми глазами.

— Дежурьте! Для вас лучше хотела сделать, а вы...

— Это ты нас спроси, что нам лучше! — проворчала старуха и захлопнула окно.

Любке хотелось заплакать, но, посмотрев на пруд,

она увидела, что заря охватила всю воду, только у берегов оставила прозрачную стеклянную зелень, играла на мелкой ряби, золотила примятую на пригорке траву и крапиву на пустыре.

Кусты крапивы казались Любке невиданно красивыми. Жгучие беловатые побеги вились, как кружево, сплетали длинные колосья цветов и стебли. Любка поглядела на тихий дом Антона Пьянкова, на эти недвижимые, словно заколдованные заросли и, громко рассмеявшись, открыла калитку своего двора.

3

Смола с ладоней не смывалась. На следующий день она еще больше почернела от приставшей земли. Мать советовала Любке вымыть руки горячей водой и удивилась: та отказалась, то и дело поднося руки к лицу и вдыхая запах сосны, а горячая вода в умывальнике остывала. Мать не в силах была понять, что делается с дочерью.

Вот Любка отодвинула от себя ужин, убежала во двор, забрякала ведрами. Мать вздохнула:

— Измотается девка. День на поле, вечером — не поест как следует, бежит поливать огород... А воду в гору носить — не веники вязать, тяжело... Но и то верно: всякая работа Любке будто праздник!

Девушка полила огурцы, полила морковь и капусту и снова несет воды, теперь уже в палисадник, для цветов.

Анна Трофимова вышла дежурить «под шест», одетая в белый тулуп, села на пригорок. Вот к ней подошел и Яков Никитич, тоже в полушубке и валенках, и сидят они, привалившись друг к другу, как два березовых обветшалых пня.

Каждый раз, когда Любка поднимается с водой в гору, ее встречают две пары глаз, одинаково обесцвеченных и слезящихся.

— Работенка! — говорит старая Анна. — Воду на комысле несешь — ни капли не обронишь! Устинье с такой дочерью радость: смотри, вся поливка лето-летенско на тебе... Не убили бы в войну нашего Николая, другой бы жены ему не искать!

Какой девушке похвала не приятна?! Любка улы-

бается, слушая болтовню старухи, и думает: «Видать! Только для меня и женихов, что ваш Николай... Ему сейчас, наверное, уже под сорок будет!» — и посмотрела на острую крышу пьянковского дома. Вода в ведрах заколыхалась, заплескалась. Девушка оглянулась на стариков: не увидели бы.

Не успела она донести воду до палисадника, как ее остановил теперь сам Трофимов:

— Нашли ночесь полушубки-то? — спросил он и, подтолкнув жену, сообщил с озорным смешком: — Это я ведь у них вчера полушубки-то в крапиву забросил! Было у них страху-то! — и дробно, с видимым удовольствием захохотал.

Любка почти с ненавистью глянула в розовое, похожее на детское, лицо старика и прошла мимо.

Дома она разогрела воды и тщательно, до боли, отмывала от ладоней вросшую, казалось, смолу.

Взошла луна. Из-за косяка окна прокрался в избу зеленоватый луч и лег на пол, у Любкиных ног.

Девушка поглядела в окно, на прижавшихся друг к другу дежурных и сказала матери:

— Такая ночь нелюдям досталась!

— Ой, девка, высоко паришь! — с укоризной сказала Устинья.

Любка долго молчала, сидя у окна. Ей был виден весь светящийся пруд, точно затянутый измятой фольгой. Заросли крапивы стояли на пустыре, не шевелясь, и казались отлитыми из стекла.

Неожиданно девушка попросила:

— Дай мне вачеги, мама...

— Это зачем еще?

— Надо.

Мать не спорила. Пошарив на печи, подала огромные овчинные рукавицы.

— Не ознобись только...

Через минуту Любка летела уже мимо окон, к пустырю, с косой на плече. Лезвие косы тускло поблескивало.

Устинья, довольная, проводила дочь взглядом:

— Никак крапиву косить пошла, умница, а я-то и не догадываюсь, о чем она заподумывала...

Любка косила крапиву со злобой. Толстые затвердевшие стебли с хрустом ломались и падали вряд.

К старикам Трофимовым уже собирались колхозники с улицы. Любка приостановилась и, опираясь на косу, передохнула.

Говорили о создании лучшей кормовой базы, о необходимости увеличить площадь под корнеплоды. То и дело слышался голос Трофимова:

— Увеличить площадь хорошо бы... да ведь это труда стоит... а на работу-то у нас не все легко набрасываются... Вон Ипатов Степан жизнь прожил, а так ни разу и не вспотел!

Любка улыбнулась про себя: они с девушками и на прежней площади дадут урожай — все руками разведут! Земля под турнепс была подготовлена по всем правилам. Только новое правление не смогло вовремя закупить суперфосфата и фосфоритной муки, а это задержало работу бригады. Она хотела было отставить косу, подойти к дежурным, но на пригорке начал говорить Антон Пьянков, и Любка остановилась.

— А вот отдельные члены правления поймы под сенокос берегут, это совершенно напрасно. Отвели один пойменный участок под турнепс, а на остальных камыш косить будут да резун: то-то ли не корм! Копен по десять снимем — спасемся! А вспахать бы все поймы под корнеплоды — была бы польза! Коров да свиней подкупаем, пусть камыш едят! Ручаюсь, вот с той поймы нынче мы пятьсот центнеров турнепса возьмем.... Вот и смотрите, что выгоднее!

Председатель колхоза также зашел к караульным посумерничать.

— Готовьте пойменные земли под пашню... отдадим... — услышала Любка его голос и подумала:

«Ко мне на дежурство так никто из взрослых не свернет... Ладно, вот дойдет шест до нас, я всю ночь песнями спать никому не дам!»

Она скосила все сорняки. Надев рукавицы, охалками стаскала их под гору и начала выпалывать корни крапивы и сбрасывать туда же на берег.

Колхозники расходились. Ушел и Антон. Любка проследила исподлобья, как он дошел до дома, постоял у ворот и, словно нехотя, открыл калитку.

Ее неожиданно окликнул председатель:

— На пару бы слов мне тебя, Смолякова...

Девушка выпрямилась. Высоко поднимая ноги, пере-

шагивая через кучи вырванных корней, председатель близко подошел к ней.

— Это ты хорошо придумала, пустырь-то почистить! Тут можно картошку посадить...

Любка проворчала:

— Нет чтобы сказать: тополей насадим да скамейки вроем, а то вот дежурные «под шестом» на земле сидят!

Председатель рассмеялся. В темной окладистой борде блеснули крепкие зубы.

— Можно и скамейки, спору не будет...

Любка ждала, что он скажет еще: не для похвалы же позвал ее, и насторожилась, когда он тихо начал:

— Ты, девушка, что озоруюешь?

— Это что я опять сделала?

Председатель погрозил ей пальцем:

— Знаешь сама! Вечор бочку водовозную к Ипатову под окна скатили для чего?

— Кто это скатил бочку?

— Знаешь кто! А Ипатов обижается: над старостью, говорит, моей смеются!

— Больно рано он в старость-то уходит! Пожарником работать и ребенок может! — начала Любка. — И вообще много у нас еще в колхозе беспорядков, Илья Назарыч!

— Говори...

— А что говорить! Зернохранилище поставили у воды: зерно сыреет... Это еще старого правления грешки!

— Знаю. Зернохранилище к осени решено перенести. А еще?

— Сарай пожарный построили... Ипатову трудодни дали, чтобы пожары караулил... А он караулит? И правильно ему под окна бочку скатили: пусть помнит! Тоже мне! Воду у каланчи держит! Случись пожар, что он с этой водой делать станет? Бочки надо у каждого двора... и пожарника молодого... Вон, поставьте Антона Пьянкова: он любой пожар притушит!

— Об Антоне Пьянкове у меня с тобой другая речь будет...

Любка притихла и хмуро посмотрела председателю в глаза. Он оглянулся на Трофимовых и приглушенно спросил:

— Ты у него, девушка, для чего семейную жизнь разрушаешь?

— Вида-ать! — удивленно протянула та. — И разру-

шать-то нечего: подуй ветерок, она и без меня разрушится! И откуда на меня такая напраслина? — Любка задыхнулась от обиды.

— Напраслина, говоришь? А вот колхозницы говорят, что и на лодке ты с ним частенько плаваешь... Для чего тебе это?

— Ах, Илья Назарыч, Илья Назарыч! — Любка укоризненно покачала головой. — Напраслину про девушку сказать легко! Редкая у нас без худой славы поднимется! Особенно, если сам председатель колхоза худую славу пустит — ветер подхватит и разнесет... Да чтобы я у них жизнь разрушала! Я на него и смотреть-то не хочу! Я вон сегодня даже прозвище ему дала... Ох, вовек не забудет!

— Какое опять прозвище? — встревожился Илья Назарович.

— А вот такое! Да что вы, право: как два часа пройдет, так он и с поля долой, как два пройдет — так и долой! Все к своей городской плавает! Ну, как кормящая мать в ясли! Вот я и сказала: «Не тракторист, говорю, а кормящая мать!» Было у нас смеху-то!

Любка лгала: прозвище Антону пришло в голову только сейчас, неожиданно для нее. Девушка хохотала:

— Ой, умру! Ну, верно, Илья Назарыч, как кормящая мать!

Председатель и сам не мог удержаться от улыбки. Однако еще раз погрозил пальцем:

— Что-то, я смотрю, смех-то у тебя невеселый! Не заплачь! Я предупрежденье сделал, а там на себя надейся!

— Не беспескойтесь, Илья Назарыч, со слезами к вам не приду!

Как только отошел председатель, Любка прежде всего внимательно поглядела на Трофимовых: не слышали ли они разговора. Те сидели, прижавшись друг к другу, словно оледеневшие в своих белых тулупах, только дрожащие голоса делали их живыми. Старик говорил:

— Ты, Анна, смолоду-то у меня больно хороша была! Идешь, так кость воет! На работу — лютая!

— Я и сейчас...

— И сейчас... Так ведь и я еще, если захочу, смогу, как петух, крылом пыль около тебя пустить!

Любка невольно прислушалась к нежному лепету ста-

риков, посмотрела на луну, величаво застывшую в серебряном небе, и рассмеялась:

— Вот ведь что делает: таких мухоморов расшевелила!

Старики еще что-то говорили невнятное, словно бредили.

Ночь замерла, околдованная.

Неожиданно тишину ночи прорезал громкий женский плач, точно выли по умершему.

Трофимовы всполошились, вскочили. Плач несся из дома Пьянковых. Старик сказал:

— Никак Антон свою молодку учит...

Старуха отозвалась:

— Пусть поучит маленько... Ее поучить надо!

И вновь сели они рядком, прижавшись друг к другу, и Любка услышала, как Анна зашептала:

— А помнишь, Яно, как...

Мысль, что Антон может бить жену, ошеломила девушку, как несчастье.

В доме Пьянковых все еще слышались рыдания вперемежку с укорами. Люба тихо прокралась и уселась на завалинке их дома, думая об одном: «Не может того быть! Не верю!» — и скоро поняла, что Клавдия плачет не от побоев, а от обиды. Она кричала:

— В городе не жилось тебе! Я думала, в деревне у вас хорошо, а здесь ни портнихи настоящей, ни перманента! А ты траву мне с поля возишь! Да неужели ты думаешь, что и в самом деле полоть турнепс вам пойду?!

— Прособиралась! Сегодня девчата полоть окончили! — резко сказал Антон.

— Так ты ведь мне опять занятие найдешь: не полоть, так колоть! И зачем я с тобой связалась! — визжала Клавдия.

Любка думала:

«Эх, Тошка, Тошка! Она у тебя не только на машинке, а и языком хорошо чеканит!»

Клавдию перебил чей-то другой мужской голос. Любка насторожилась. В избе Пьянковых находился Васька Федотов. Он печально говорил:

— Всему нашему заводу за тебя, Клавка, стыдно! Люди работу бросают, квартиры, родню всю в городе оставляют — сюда едут, колхозам на помощь! А тебе и бросать-то нечего было, кроме перманента. Ну, давай я

тебя завивать буду! Такие рога закручу, что хоть землю лбом рой!

— Пошел к черту! — кричала Клавдия.

— Да уж зачем к черту, раз я к такой ведьме попал! Замуж за передового колхозного парня выскочила, да и позоришь его! Нам всем перед колхозниками стыд! Он тебя в лучшую девичью бригаду устроить мог, вместе с моей Фросей... Турнепс тебе возил, дома хотел показать... Один бы раз ты только с девчатами в поле вышла — вовек бы с ними не рассталась! Колхоз, знаешь, их как ценит?

— Я не за колхоз замуж шла, а за него вон, дурака! Его оставляли в городе механиком работать, так не захотел! Здесь и людей-то порядочных нет!

— Бездельница ты, вот что! — не унимался Васька.— Ах, ручки землей запачкаю! Ах, муж с работы грязный пришел! Ах, кудри измяла!

— Ты, Василь, шел бы домой: совсем мою Клавку уничтожил! Она поймет! Она у меня все поймет! — нежно проговорил Антон.

Клавдия заплакала сильнее, как ребенок, которого пожалели после ушиба.

Любка вскочила. Ей и самой захотелось громко завывать, чтобы в плаче вылить горечь обиды, которая стеснила сердце. Девушка не могла бы сейчас сказать, что сильнее обижало: то, что Антон любит не ее, или презрение к людям колхоза, к их труду со стороны Клавдии.

— Эх, Тошка, Тошка! — шептала она, тихонько пробираясь к своему дому. Около калитки остановилась, сама не зная за что погрозила луне кулаком и пошла во двор. Вслед ей неся тихий, как шелест, голос:

— А помнишь, Анна, как мы с тобой...

Утомительным и длинным был для Любки следующий день. Она не разговаривала и не пела с подругами, работала не отрываясь, все думая об одном: как выйдет сегодня на дежурство к Антону, что ему скажет.

На поле его не было. Девушки окучивали за прудом картошку, ждать, как бывало, что Антон пройдет мимо, может быть взглянет в ее сторону, не приходилось.

Над полем стояла пыль. Побеспокоенная окучками земля коптила, тлея под солнцем.

Фроська шла рядом, следя за каждым движением Любки, и той казалось, что стоит ей посмотреть подруге в глаза, как та сразу поймет, что делается в ее душе.

Она низко, до самого носа, надвинула платок и видела из-под него только хрупкие кусты картошки, землю, покрытую тонкими трещинами, как морщинами, да острый, быстро мелькавший окучник.

И потом, когда кончили работу и девчата побежали к пруду купаться, Любка держалась поодаль. В воде она не играла, не шумела, не брызгала на подруг теплыми каплями, а тихо уплыла от них почти на середину пруда.

На берегу Фрося шепнула:

— Ты пой хоть, а то все замечают...

— Что? — Любка впервые взглянула подруге в лицо. — За мной и замечать нечего...

Увидя во взгляде Любки глубокую боль, Фроська припала к ней, со слезами произнесла:

— Неужели он такой бессердечный?! — и увидела, как губы у Любки побелели и вздрогнули.

— А чего от него ждать: он — женатый... Это я виновата, что полюбила... Но я, Фрось, честное слово, и вида ему не покажу... — быстро проговорила Любка и отвернулась, жалея о том, что сказала.

— Эх, — махнула Фроська маленьким кулачком. — Жаль, что сегодня у меня тоже пожарное дежурство, а то пришли бы мы с девчонками к Антону «под шест»... может, я и выведала бы что у него... Ты ко мне придешь или... К нему не ходи, Люба, не надо: слава пойдет...

— Знаю!

— Приходи ко мне, попоем... пусть до него хоть голосок твой по пруду перекатится!

— Приду...

На своей улице Любка догнала Степана Ипатова. В валенках, еле волоча негнущиеся ноги, как опоенная лошадь, он шел, окруженный облаком пыли, останавливался против каждого окна и кричал:

— Приказано выставить бочки с водой к воротам, чтобы к завтраму... на случай... я, как пожарник...

Любка не удержалась и громко сказала Ипатову под самое ухо:

— А ты ведь, Степан Кириллыч, горишь! Смотри,

глеешь, дым от тебя! Покатайся по травке, может, потухнешь!

Тот, не понимая, кивнул головой:

— Правление приказало!

Еще не доходя до дома, Любка увидела на пригорке одиноко сидящего Антона. Она проскользнула мимо, наспех поужинала и занялась поливкой огорода.

С пустыми ведрами идти легко не потому только, что они пустые, но и потому, что Любка видела только спину дежурного, могла идти медленно, разглядывая в парне каждую мелочь.

Антон вышел без шубы. На остром воротничке ковбойки недоставало пуговицы, воротник поднялся кверху, словно прицеливаясь, и всякий раз, идя за водой, Любка смотрела на этот воротник да на загорелую сильную шею. Волосы Антона выгорели, стали похожи на залежавшуюся ржаную солому.

Труднее подниматься в гору: можно встретиться взглядами, а Любка уже поняла, что ей лучше никому не смотреть в глаза, что ее глаза предают сердце.

Ведро в этот вечер болталось и вздрагивало на ее плечах, вода выплескивалась, точно ее выбрасывали на пригорок пригоршнями, и от этого Любка чувствовала себя еще более скованной.

Однако, раз взглянув на Антона, поняла, что ей печего бояться: он все время смотрел в сторону очищенного пустыря и тихонько что-то насвистывал, как будто и не сновала то и дело мимо него Любка.

Она разглядела, что темный косячок груди, видневшийся в распахнутый ворот рубашки, стал еще темнее, что на манжете одного рукава также нет пуговицы и он шевелится, расщерившись, как крылышко пестрой птички.

Уже была полита в огороде вся мелочь, а Любка все носила и носила воду, заливая гряды. Земля уже не принимала влагу, на грядках образовались тоненькие, как пробор в волосах, ручейки и стекали в борозды. Босые ноги девушки запачкались.

«Весь пруд ведерками вычерпаю, пока ты мне хоть слово не скажешь», — думала она, глядя на упрямый затылок Антона.

Прибежала Фроська и еще раз начала упрашивать подругу подежурить с ней.

— Я вместо себя там Ваську пока оставила с ребя-

тами... Петь охота, а голосами я только с тобой спелась! Пойдем!

Ее громкий шепот, раздававшийся во дворе, услышала из сеней старая Смолякова и вышла на крыльцо.

— Придет она, Фрося! Вот только еще в бочку к воротам воды наносит...

Любка с благодарностью поглядела, как мать выкачала из амбара на улицу прямую высокую бочку.

— Приду, Фрось, иди дежурь!

Фроська ушла не сразу. Она томительно долго рассказывала о том, как к Ваське Федотову приехала из города мать, как сняли они дом вдовы Потряхиной, как мать приходила к Фроське знакомиться и говорила о скорой свадьбе.

— Вот осенью, только хмель соберем, так и свадьбу сыграем...

Наконец Фрося ушла.

На пригорке собрались колхозники. Любка, различая среди них пеструю ковбойку, думала ласково:

«Ах, Тошка! Как к настоящему, взрослые собираются...»

— Дождя бы! Землю-то хоть руби!

— Электричеством надо поливать... Говорят, в один час все поля окропить можно! — слышала Любка отдельные голоса, нося воду, теперь уже в бочку, и ожидая, когда же Антон останется один.

Как и вчера, взошла луна, освещая все вокруг неживым, тусклым светом. Волосы на голове Антона стали серыми.

Как только он остался один, Любка, внутренне собравшись вся, снова пошла за водой: в бочке перед воротами она намеренно не долила еще на пару ведер.

И теперь Антон не обернулся к ней, снова смотрел на пустырь, когда Любка поднималась с водой. Около него девушка остановилась, разбросив руки, как крылья, по коромыслу, успокоила вздрагивающие ведра и тихо спросила:

— Что же один караулишь? Старики Трофимовы и те вчера — на пару.

Антон неприветливо взглянул на нее:

— Я с тобой и разговаривать не хочу!

— Что так? — уже с вызовом спросила Любка.

— А вот то! Ты за что меня на всю жизнь «Кормящей матерью» наградила?

Любка смотрела на его опечаленное лицо и думала: «Да ведь это не главное для нас с тобой! Неужели ты не понимаешь?»

Набравшись сил, она так хотела было и сказать, но окошко ее дома раскрылось и Устинья с гневом крикнула: — Любка, домой!

Девушка вскинула голову и направилась от Антона, затаив озорно и страстно:

Проводи, милый, до дома
И послушай у окна,
Как родима моя мамынька
Ругает за тебя!

И резко обернулась — ей показалось, что в песню вмешался тоскующий голос Антона:

— Люба!

Однако парень сидел, повернув к пруду лицо, и курил. Белый дымок, как легкое облако, окутывал голову и тут же исчезал.

Любка песней не ошиблась: мать встретила ее в избе бранью.

— Вот что, мила дочь, — сказала она сквозь зубы, — я троих замуж с честью выдала, ни одна из них на женатых не заглядывалась, и ты мою седую голову не позорь! Я смотрю, ты вся истрепыхалась!..

Любка села у раскрытого окна.

Антон все курил и курил, глядя на дрожащий под лунной пруд.

— Отойди от окна, я тебе сказала! — крикнула мать.

— Что-то тебе на печи проезда нет! — огрызнулась Любка.

Откуда-то издалека приближалась под гармошку песня. Ее вели одни мужские голоса, казалось, кто-то взмахивает густым темным платком, а гармошка одна светила и поднимала тяжелые слова. Любка, неотрывно следя за Антоном, видела, как он встрепенулся, поднялся во весь рост, широко расставя ноги, повернул лицо навстречу песне.

«Что же он? — с тревогой думала девушка. — Ему уже давно с обходом пора...»

На соседнем пригорке, по ту сторону пустыря, показались ребята. Васька Федотов быстро подошел к окну, у которого сидела Любка.

— Я тебя по глазам заметил,— зашептал он.— Блестят, как светлячки... Что же ты не идешь, Люб, девчата ждут...

Мать стремительно отпихнула Любку от окна.

— Никуда она не пойдет, молодец хороший: держать себя не научилась!

Васька молча махнул Любке рукой и отошел к ребятам, которые, окружив Антона, закурили.

«Его ни холостые, ни женатые не обегают...» — подумала Любка, снова усаживаясь у окна, однако мать так прикрикнула на нее, что она молча разделась и легла в прохладную постель.

Вскоре у ее окна тихо простучала колотушка. Хотелось вскочить, побежать на эти призывные, как ей казалось, звуки, но мать за перегородкой негодующе заворчала:

— Стыда в глазах нет у мужика: женатый, а у девичьих окон гремит!

Любка притихла, лежала не шевелясь. У ее постели ясно отпечаталась тень цветка, стоящего на открытом окне. Мелкие листы шевелились, будто подмигивали.

— Все равно не усну! Ни за что не усну, пока Антон еще не постучит...— прошептала Любка и уснула стремительно, точно провалилась в темную яму.

5

А шест себе гулял и гулял от двора к двору. Гулял все медленнее, задерживаясь кое у кого на несколько дней, так как пошли дожди.

Девчата теперь работали на сенокосе, сушили и сгребали сено, торопясь успеть от дождя до дождя.

Каждое утро, направляясь на работу, Любка считала про себя, сколько же домов осталось от шеста до ее двора. Хотелось просто подойти к нему, взять в руки и унести, а потом целую неделю вдыхать исходящий от ладоней смолянистый его запах. Но девушка знала: унести шест не позволят.

Каждое утро ей хотелось бы просто подержать шест в руках.

Однажды, еще до работы, сгоняя корову к стаду, Любка так и сделала. Она кралась к шесту с оглядкой, чтобы никто не увидел. Но, взяв его в руки, невольно

вскрикнула: шест стал сухой и легкий, не пачкал смолой руки, ветки, оставленные на верхушке, не топорщились в разные стороны и не хватали солнце: они высохли, осыпались и походили на грязное помело.

«Не шест, а хворостина, хоть коров им гоняй!» — подумала Любка. Она не могла бы объяснить, чем это ее огорчило: не от жалости же к шесту сердце отчаянно заколотилось.

Загон, куда нужно было гнать корову, находился сразу за селом, между кладбищем и вокзалом.

Смоченная дождем дорога слегка курилась парком, просыхая. Солнце вставало над ней, спокойное и белое, словно и его промыл и освежил крутой дождь.

Маленькая пестрая корова (красная с белым) то и дело оглядывала молодую хозяйку большими печальными глазами, взмывала и снова шла, казалось, торопясь попасть во-время в свой загон.

Впереди на дороге, у редкой кромки леса, за кладбищем, Любка увидела странный воз. Он полз медленно, какой-то белый узел то и дело сваливался. Стройная нарядная женщина хватала узел с земли, громоздила на воз и, подпирая его руками, подталкивая, мелко семеняла за ним.

По яркому платью, по этой семенящей походке и узнала Любка Клавдию Пьянкову. Бегом догнав воз и шагая с женщиной рядом, спросила, задыхаясь от тайной надежды и радости:

— Куда это собралась?

Клавдия посмотрела на нее черными навывкате глазами, приподняла округлые жидкие бровки.

— Уезжаю...

— А муж как?

— Что муж? Муж сам по себе, я сама по себе!

Белый узел вновь скатился с воза. Клавдия бросилась к нему. Воз продолжал двигаться, скрипя колесами.

Тяжело дыша, Любка проследила, как женщина забросила узел на середину воза, как маленькими руками поправила кудрявую голову. Необъяснимый гнев поднимался в сердце девушки. «Вот она, моя соперница! — думала Любка. — Вся на виду! Стоптала мою жизнь, жизнь Тошки, да и себе... а теперь — в кусты!» Подавив готовый вырваться крик, спросила:

— А из-за чего это? Чего не поделили?

— Антона здесь дом держит, вот что... о жене не думает... А я губить себя в деревне не желаю...— опять вскинув круглые бровки, не задумываясь, ответила Клавдия.

Не в силах больше сдерживаться, Любка с вызовом спросила еще:

— Дом ли один Антона здесь держит? — Неожиданно для себя, она оторвала руку Клавдии от тележки, резко повернула женщину.— Посмотри! Вот что его держит! — И широко повела вокруг взглядом.

Клавдия удивленно посмотрела вначале на побледневшее лицо девушки, затем на все, что та показывала ей.

Все село лежало перед ними. Улицы то сбегали с пригорков, утопали в сиреневых ложбинках, то гордо поднимались вверх, широкие и прямые. Из труб над крышами вился в голубое небо белый дым. Далеко за домами блестел пруд, в котором в этот час уже купалось солнце.

Из домов на улицы выходили люди, кучками собирались, цветастые платки и кофты мелькали всюду, как маки, откуда-то уже лилась спокойная, привольная песня.

— На работу идут...— нежно прошептала Любка. — За хлеб воюют. Вот что держит здесь твоего Антона!

И не соперница стояла сейчас перед девушкой, не соперница, из-за которой горьки были одинокие ее ночи! Стояла женщина, растерянная и жалкая, с выщипанными бровками. Она заблудилась, не узнав цену труду, цену земли и пота!

— Уезжай! Бросай нас! Купишь в городе свежего хлеба — кушай на здоровье! — с поклоном говорила Любка. — Но с каждым куском пусть тебя думка тревожит: это, мы для тебя кусок вырастили! Мы для него землю перинной взбили! Ешь, но помни! — звучали гневные слова девушки.

Клавдия ошалело посмотрела на ее лицо и бегом пустилась догонять свой воз. Любка, забыв о корове, которая щипала в лесочке траву, бросилась за женщиной, забежала вперед и насмешливо закричала:

— А я-то думаю, на каком рысаке ты гонишь!

Впрягшись в оглобли, заливаясь потом, тележку вез Степан Ипатов, бороздя негнушимися ногами влажную дорогу.

Увидя перед собой Любку, он остановился, перевел дух.

— А мне говорили, что ты за всю жизнь ни разу не вспотел, Степан Кириллыч! Чего и наскажут люди! — кричала девушка. — Смотри-ка, весь потом изошел! Куда гонишь? На вокзал?

Как все глухие, старик следил за губами Любки, силясь понять слова.

— Не-ет, — возразил он, — на вокзал!

— Ну-ну... Много ли заработал?

Это старик понял. Он порылся в кармане брюк, извлек бумажку, любовно развернул ее:

— Вот она, десятка...

— Ну, обратно повезешь узлы, еще десятку заработаешь, вот, глядишь, и к трудодням разоставок! Давай-ка, поворачивай!

Из-за веза выскочила Клавдия, оттолкнула Любку от старика, сама вместе с ним взялась за оглобли, и воз, скрипя, тронулся дальше.

Девушка кричала что-то вслед. Слезы негодования выступили у нее на глазах. Ноги дрожали, словно после целого дня косьбы. Она забыла о корове, которую кто-то из хозяек уже прогнал по пути к загону, забыла обо всем, кроме нанесенной колхозу обиды.

— Она губить вишь себя не желает в деревне! А того не знает, что и в городе давно истлела!

Словно после затяжной болезни плелась Любка обратно к селу. Дорога все еще курилась легким парком. Солнце отражалось в стеклах домов, слепило глаза; печной дым выдувался из труб белыми трепещущими столбами, подпирал небо; брякали скобки ворот; то и дело отчаянно перекликались петухи, — все было дорого сердцу Любки. Девушка еще раз обернулась вслед тележке, искренне жалея Клавдию: та пропустила мимо себя такую красоту, и цель, и такой мир!

Мало-помалу приходя в себя, Любка шла все увереннее и быстрее, кивнула шесту у чьих-то ворот, как заговорщица, прищурившись, посмотрела на солнце, которое уже утратило свою белизну, краснело, точно созревало, наливалось соком земли.

Антон Пьянков стоял у своего дома, курил и хмуро смотрел на дорогу. Глаза его ввалились, лицо пожелтело, словно отцвело.

У Любки стукнуло и куда-то провалилось сердце: она совсем забыла об Антоне. Все, что пережила она в это утро, было значительно большим, чем чувство к этому парню, которое столько времени грело ее. И вот сейчас она снова поняла, что есть еще Антон Пьянков и что ему сейчас тяжело.

Но Любка поняла также, что все слова, какие она может сказать ему, малы и не выразят все, что нужно, и не утешат.

Девушка молча склонила перед Антоном голову и прошла мимо.



Ольга Маркова

В Д О В А

1

Ветер и дождь хлестали крышу, срывали ставни и никак не могли сорвать, кидались в стекла, шлепали по лужам.

Порой они отпускали дом вдовы и уносились прочь. В избе становилось тихо.

Но снова мчался обратно ветер, ухал в трубе, играл на дворе с молодой осинкой, сильнее и проворнее плясал вокруг дома дождь.

В окно сбоку Катерина видела край черного неба, по которому свивались тучи и налегали на землю одна за другой.

Казалось ей, что улица за окном вздрагивает и плачет; казалось, что в горнице осторожно ходит погибший в войну муж, тихонько покашливая. Это не вызывало у женщины ни страха, ни радости. Она мысленно упрекала его:

«Хоть бы ребеночка оставил... А то не живу я, — тень отбрасываю, себя пестую... Замуж теперь не выйдешь, девкам женихов мало...»

Совершенно отчетливо встало перед ней лицо мужа с ласковыми, всегда зовущими глазами.

«Сейчас бы подошел ко мне и спросил: «Ну-ка, где ты тут у меня?»»

А ночь все висела над избой, бесноватая и черная. Во дворе что-то с треском рушилось, гудело, стонало.

— Дождик-то нанялся к нам... — сказала Катерина, чтобы услышать свой голос.

Слабый рассвет проклюнулся в окна. Вот уже стали видны белый угол печи с приступком, полоски половиков, лежащих накрест, цветы на окнах.

Сквозь дождь и ветер почудилось Катерине, что в сени кто-то стучит. Она вскочила с постели, быстро оделась, переплела косы. А стук, властный, хозяйский, не прекращался. Может, то был кто-нибудь из приезжих. Правление колхоза иногда ставило в дом вдовы квартирантов.

Мысль, что она в эту тягучую ночь будет не одна, радовала Катерину. Она выбежала из избы, не спрашивая, открыла сени. В чуть светлеющем провале дверей встал небольшого роста широкоплечий человек, тяжело переваливаясь, ступил за женщиной в комнату и молча начал стягивать с себя мокрый плащ.

Катерина включила свет. Пока она прикрывала постель, человек с улыбкой следил за ней.

Это был парень лет тридцати, с одутловатым румяным лицом. Серые наглые глаза не понравились Катерине.

— Кто такой? — спросила она сухо.

— Я Пашка-моряк, понятно? — ответил парень, продолжая откровенно разглядывать женщину.

Взгляд его останавливался то на полной ее груди, то на босых ногах, то на загорелом, красивом лице.

— Нич-чего... — протянул он удовлетворенно. Помедлив, спросил: — А Федька Ползунков где?

— Вам Федора? — обрадовалась Катерина. — Так вы не туда попали: он живет на задах...

— Как «не туда попали»? Ты ведь Катерина Измоденова? Ну, значит, туда попал... Но где Федька? Мы с ним хотели у тебя сегодня встретиться!

Глухая обида поднималась в сердце Катерины. То, что кто-то назначает встречу у нее без ведома ее, хозяйки, несло что-то стыдное, беспокоило. Она молчала.

Парень, порывшись в кармане мокрого плаща, с которого уже натекала на половики лужица, достал сверток и, громко стуча грязными сапогами, прошел в передний угол, швырнул его на стол. Газета развернулась, и на чистой голубой скатерти открылся кусок свежего мяса.

— Вот это построгать да пожарить, хорошая будет закуска, — небрежно бросил Пашка и вновь направился к

плащу, извлек из кармана сверкнувшую при огне бутылку.

Дрожа от негодования, Катерина спросила:

— Вы что, в шинок пришли?

— Вот ведь какая, право! А Федька говорил, что ты — хорошая...

— Что тебе Федька говорил? Что Федька знает обо мне? — закричала Катерина и, поглядев на грязные ноги гостя, на мокрые следы на полу, подбежала к столу, завернула в газету мясо и кинула сверток к порогу. — Небось ведь у тещи в погребу украл! Убирайся!

— Ну как же! Что я, зря пять километров отпластал? Нам с Федькой выпить охота, понимаешь?

— Отпластал! Ничего, и обратно отпластаешь! Пить дома можете!

— Чудная! Да разве дома бабы выпить спокойно дадут? А у тебя...

Она вдруг испугалась его взгляда и, прижав руки к груди, отступила к печи. Пашка, не спуская с нее глаз, шагнул к ней.

Она боролась с ним молча, без злобы и негодования, но все напористее, не уставая. В голове металась одна мысль: «Вон как! Думаете, что вдове каждый мужик — хозяин?»

Когда в избу вошел Федька Ползунков, Пашка отпустил женщину и, как ни в чем не бывало, набросился на товарища:

— Ты где пропадаешь? Договорено было, значит надо слово держать. А то меня Катька здесь всего исщипала...

Отупев от обиды, женщина уже не возражала. Ей хотелось закричать истошно: «За что?» Но, с надеждой взглянув на Федьку, она поняла, что никто ее не защитит, никто не поймет и не утешит: Федька был пьян и, что-то бормоча, рухнул на лавку, свесив рыжую голову на грудь.

Катерина села рядом. Тупой, словно обрубленный нос его, голубые простодушные глаза, опущенные золотистыми ресницами, — все было знакомо ей. В девичестве Катерина жила с ним рядом. Она была старше лет на десять и иногда нянчила крикливого соседа целыми днями. Рос Федька озорным и блудливым. Отец избивал его до полусмерти, и не раз Катерине приходилось прятать мальчишку у себя от разъяренного родителя.

Теперь, работая в колхозе конюхом, Федька часто выезжает в город с молоком и овощами и ни разу не вернулся оттуда трезвым.

Рано осиротев, он рано и женился.

Катерина перенесла привязанность к нему и на жену его.

Вспомнив сейчас о ней, женщина улыбнулась тепло и радостно: ей казалось, что только одна Гутька понимала одинокую вдовью ее долю.

— Федь, ты не спи... — тянула Катерина соседа за рукав. — Гутья тебя с вечера искала... Иди домой...

Федор спал.

Пашка сидел у печи и мутным напряженным взглядом следил за женщиной. Но теперь она его не боялась. Натянув сапоги, прикрыв голову платком, прошла мимо него к выходу, выбежала во двор.

Дождь перестал. Под ногами жвьякала грязь, когда Катерина пробиралась бороздами меж голых гряд в огородах.

В окне Ползунковых брезжил тусклый свет. Было видно, как Гутька качает ногой зыбку и клонится — дремлет.

«Никак, Санька опять хворает...» — подумала Катерина и, поднявшись на завалину, постучала.

Гутья встрепенулась, провела ладонью по глазам, словно обмыла их, и открыла окно.

— Федора не ищи, Гуть, он у меня, пьяный... с каким-то моряком, — прошептала Катерина и, навалившись на подоконник, заглянула в зыбку. — Хворает? — спросила она.

Гутья устало вздохнула:

— Измучил меня... А этот моряк Пашка — конюх из «Красной зари»... — Кроткие, без ресниц глаза ее, похожие на рыбы, потемнели. — Как съедутся в городе, так и пьянствуют... У бражников всегда праздник... Хорошо, что Федька к тебе попал, люди хоть не видят...

Катерина не слушала, все пытаясь заглянуть в белое лицо ребенка.

— Что за боль грызучая прижилась к нему? Захилел совсем...

— Не ест... — жаловалась Гутья. — И киселя в рот не втрешь. Уж лучше бы умер...

— Попридерживай слова-то!—закричала Катерина.—
Распустилась!

Она вошла в избу. Ребенок спал. Сморщенный, бледный лоб, синие губы, маленькие прозрачные кулачки — все было похоже на стариковское. Ей хотелось взять его на руки, принять на себя его муку.

— Дай мне его подержать... — прошептала она.

Гуля отвернулась.

— Растревозишь — до заговенья не угомонишь... Пойдем к тебе: Федьку уведу, пока не рассвело...

Рассвет упорно пробивал серое небо, все отчетливее обнажая размокшую землю. По бороздам прыгали скворцы.

Войдя в свой двор, Катерина только тут увидела, что ветер свалил заплот. Она остановилась, опустив руки. Гуляка прошла в избу и скоро выгнала оттуда мужа и его дружка, полушепотом ругаясь:

— Навек в дураках засели! Хмель-то совсем засосал!

Обнявшись, друзья плелись перед ней к огороду.

Катерина проводила их печальным взглядом: «Бражничать у меня, позорить меня можно, а тын мой и поднять некому!»

Поплевав на руки, она начала приподнимать намокшие, тяжелые доски. Ноги скользили в стороны, звенья заплота, наполовину приподнятые, вновь плюхались на землю, и вновь женщина пыталась их поставить. Сердце колотилось часто и громко.

Женщина приподнимала заплот, он падал. Она приподнимала его, он падал.

2

Неожиданно Катерина почувствовала, что он стал легкий, как перышко, колыхнулся вверх и остановился.

Женщина выпрямилась. Заплот держали председатель колхоза Илья Назарович и незнакомые две девушки. Мужчина тут же приколотил заплот к столбам, припер подпорками.

— Что, Катерина, выходит и верно: не плачет малый, а плачет вдовый, — сказал он неосторожно.

Она хотела что-то ответить, но в горле поднялся удуш-

ливый ком, стеснил дыхание. Лицо ее одеревенело, черты стали неподвижны. Катерина отвернулась.

Во двор все увереннее прокладывалась жизнь: уже видна была примятая заплотом молодая травка, бледная крапивка у столбов.

Утро дышало легко. Небо потеплело, хоть и теснились еще на нем ночные туманы.

— Это вот на практику к нам приехали из техникума... квартирантки к тебе... Пустишь? — спросил председатель после неловкого молчания.

Катерина хмуро взглянула на девушек.

Они были совсем юные, беспомощно оглядывали мокрый двор. Одна из них, с длинным узким лицом, черноволосая, глядела неприветливо. Другая же, маленькая и круглолицая, пугливо жалась к подруге. Глаза ее светлокариые, платье желтое напомнили Катерине пчелку. И хоть и были девушки разные, но сразу она отметила и то, что обе бледны («надышались городской пыли... молочка, наверное, не видят... откормлю!»), и то, что белый полотняный костюм черноволосой измят и заношен («наверное, и утюга у пичужек нет... надо будет сегодня же постирать им платьишки!»).

Тревоги и обиды этой ночи прошли: перед Катериной стояли дети, которые в ней нуждались, и сразу жизнь показалась ей интересной и заполненной.

— Конечно, пушу! Какой может быть разговор! — сказала она и направилась к дому.

— Идите, — подтолкнул девушек председатель, — вам здесь хорошо будет... Одна-то к вам, Измоденова, на птичник!

В избе девушки оторопело остановились: половики были сбиты, на белом полу осталась грязь от больших сапог, у порога валялся кусок мяса, на столе — нераспечатанная бутылка. Все носило следы бурно проведенной ночи или неряшливости.

Катерина провела практиканток в горницу, разожгла самовар. Пока она торопливо смывала грязь на полу, в горнице было тихо, словно там, как и вчера, как много дней назад, было пусто.

Умывшись, женщина заглянула в приоткрытые двери.

— Идите, погрейтесь чайком, — сказала она и озадаченно смолкла: девушки уныло сидели на чемоданах, черноволосая тихо плакала.

— Аль случилось что?

Катерине никто не ответил.

— А кто из вас к нам на птичник?

С чемодана поднялась «пчелка» и мокрыми золотыми глазами строго оглядела хозяйку.

— Я на птичник... но мы... я... может, в другой колхоз попрошусь...

Утро вставало свежее и прозрачное, в лужах на дороге отражалось розовое небо, солнце золотило крыши домов и окна, когда Катерина вела «пчелку» на ферму.

— Ты сначала наше хозяйство посмотри, потом и уезжай... — говорила она. — Как звать-то?

— Верой, — скупой ответила та.

— Чего же, Вера, подруга-то плакала? Или горе у нее какое?

Девушка молчала.

Птичник стоял недалеко от жилья, на легком склоне к речке Колотунке, мелководной и ленивой. От холодных ветров защищался он аллеей тополей и берез.

Вера неожиданно склонилась, подняла с тропы горсть влажной земли, размяла на ладони и улыбнулась.

— Суглинок, — отметила она нежно, — а нам в техникуме говорили, что птичник всегда на суглинке строить надо: такая почва влагу хорошо пропускает...

Заведовала птицефермой Степанида Усольцева, одинокая и раздражительная старуха. Веру она встретила ворчливо:

— Опять практикантка? Только практику вам показывай, а как кончаете техникумы, так в городе и остаетесь...

Катерина поспешила увести девушку по хозяйству, показала ей отделения брудерное, кормовое... По пути стремительно очистила метелочкой насесты и гнезда. Только на скрипучий голос Степаниды, настигавший их всюду, она поднимала голову. Та то и дело кричала:

— Катерина, зольные ванны надо переменить!

Катерина сменила золу в ваннах, налила чистой воды в поилки.

Птичий нежный клетот доносился из-за решетчатого забора, с выгула. Женщина провела Веру и туда.

Голая утрамбованная земля здесь была покрыта соломой, которую разрывали цыплята, отыскивая зерна. Их было так много, будто весь выгул усыпан белыми живыми цветами на желтых беспокойных стебельках.

— Опять Гутька всех вместе спустила! — проворчала Катерина.

И верно, здесь находились цыплята всех возрастов: недельные, перо которых еще не сбросило желтизны, и месячные. Катерина отделила цыплят, унесла малышей на брудерное и снова вышла на выгул. Ей навстречу белый цыпленок нес в клюве морковку, терял ее, схватывал и тащил, от кого-то убегая.

— Не справишься ведь, — ласково сказала птичница.

Цыпленок положил морковку к ее ногам, неожиданно встряхнул крыльями и неумело закукарекал.

Присев на корточки, Катерина шептала:

— Ах ты, песенник! Туда же! На больших походить охота!

Из двора снова раздался скрипучий голос заведующей:

— Катерина, сходила бы ты в правление, поругалась: скоро они нам клевер да костей привезут?

Все еще улыбаясь и глядя на цыплят, Катерина громко ответила:

— Надо птицу кормить... подстилку менять...

— Гутька накормит!

Улыбка на лице Катерины сменилась выражением усталости.

Вера спросила:

— Разве заботиться о клевере и костях птичница должна? А заведующая что должна делать?

Катерина зашептала:

— Ты, девушка, нашу заведующую не тронь... Мне ведь нетрудно за нее сделать... Сама-то она больная, и горя у нее много: в войну трех сыновей потеряла... А вот накормит ли птиц Гутька? Она все, наверное, опять перепутает... Вчера утром творог да мел скормила вместо десятидневок месячникам, а тем зерно дала. А что зерно для малышей? Они заглотать его еще не могут... Ладно, я скоро вернулась, а то бы отход был...

— А кто же такая эта Гутька? Почему ее на ферме держат? Она всех птиц испортит!

Катерина промолчала. Это она сама настояла, чтобы Гутьку Ползункову перевели из овощеводческой бригады на птичник из-за ребенка, который родился болезненным, и теперь ей приходилось расплачиваться за свою доброту.

Гутьку в это утро они нашли в сарае, где помещались куры-трехлетки, выбракованные, да петухи, которых откармливали на мясо.

Окна сарая были закрыты соломенными матами. Свет проникал только сквозь решетчатые двери. У кормушек не было обычной на птичнике суеты, птичьего гомона. Важно переваливаясь, ожиревшие, неповоротливые куры подходили к крупе. Они даже не кудахтали.

Около них, в прохладце, хорошо было Гуте подремать, сидя на широкой колоде.

Катерина прежде всего спросила:

— Ну, как, Санька твой угомонился?

Гутька подняла голову, вытерла губы и вяло сообщила:

— А что ему делается? Оживет... Сейчас Федьку с ним оставила, пусть позыбает...

Катерина передала ей распоряжение заведующей накормить птиц, от себя добавила:

— И подстилку бы надо сменить...

Гутька раздраженно заговорила:

— Тебе делать нечего, ты и придумываешь: подстилку еще птицам менять! В каждом доме курицы есть, зимуют в конюшнях вместе с коровой и с овечками, да ничего им не делается... А ты все хочешь сверх моды на вершок!

— А сколь яиц курица в конюшне несет? — спросила Катерина.

— Сколь? Сколь положено, столь и несет...

— Сколь положено? Тебе вон положено было здорового ребенка родить, а ты родила больного. Почему?

Гутька обиженно замолчала: ведь знает Катерина, что ребенок рожден от пьяного отца и порядка в доме нет!

— А как же! Обязательно даже подстилку менять! Нам в техникуме так говорили! — вступилась горячо Вера.

Гутька подняла на нее кроткие глаза.

— Это еще что за начальница появилась? Больно много надо мной начальников, я погляжу! Не знаю, кого и слушать!

— Идите, Катерина Степановна, спокойно, я подстилку смену сама! — заявила Вера.

Птичница благодарно улыбнулась.

За решеткой дверей показалась подруга Веры и громко, радостно объявила:

— Я нашла другую квартиру, Верка, пойдем за чемоданами!

Катерина вопросительно посмотрела на нее, перевела растерянный взгляд на Веру и прошептала:

— Почему? Не понравилось у меня?

Девушки промолчали. Катерина поняла и побледнела. Молча подала Вере ключ от избы и быстро вышла со двора.

Солнце уже поднялось.

Женщина постояла у ворот, вскинув голову.

Над выгулом кружил коршун, то камнем бросался вниз, то взмывал и, опоясав небо, останавливался, застывал, тихо шевеля черными крылами.

Катерина заглянула через забор на выгул и улыбнулась: привыкшие к самостоятельности цыплята с криком укрывались от хищника под навес.

Во дворе раздался голос Гутьки, непривычно оживленный:

— И правильно, девушки, делаете, что уходите от Катерины: у нее ведь не дом, а притон! Каждая ночь — пьянка! Сами знаете, у вдовушки обычай не девичий! У нее жить — себя запятнать! Все мужики, как напьются, так и к ней! Сегодня я от нее своего Федьку насилу увела!

Катерина шарахнулась от ворот, рванулась обратно к воротам и снова чуть не бегом кинулась прочь, сбежала с пригорка и только здесь, у тополей, остановилась, опустилась на землю. Сердце билось часто и беспокойно. В голове не было ни одной мысли, кроме сознания страшного горя. Хотелось ткнуться головой в траву, спрятаться от незаслуженного позора.

Коршун все кружил над пригорком. В сердце Катерины поднялась еще большая обида на Гутьку: «Не посмотрит, ни за что не посмотрит за цыплятами, а ведь всего только стоит появиться на выгуле, и птицы уже спокойно, не прячась под навес, гуляли бы и копошились в соломе!»

Нужно было подняться и идти в правление, но рассеянное внимание Катерины привлек жучок с золотой, блестящей, как копейка, спинкой. Он карабкался по травинке вверх, слегка шевеля ее, как ветерок. Вот он закрепился на листе и стал чистить тоненькими ниточками-лапками черные усы.

Катерина бездумно тронула его пальцем. Жук лег на

спину и замер, притворившись мертвым, но как только женщина оставила его, стремительно перевернулся и проворно убежал.

«Хитрит тоже! Боится меня!» — подумала Катерина и, задержав насекомое ладонью, сказала:

— А ты меня не бойся! Разве я тебе обижаю? Живи, радуйся! Вишь как день-то после дождичка разгулялся, промыли ему дорогу-то!

День поднимался и в самом деле пригожий. Вверху, вокруг солнца, стояло дрожащее сиреневое марево, пруд замер разнеженно. На берегу также замерли трое парнишек с удочками.

Дойдя до них, женщина спросила:

— Ключет ли? — и остановилась, ожидая ответа.

Мальчики недружелюбно молчали, и это тоже удумило Катерину: «Сердятся... мешаю им, — отметила она и прошла мимо, раздумывая: — А чем мешаю? Боятся, что рыбу спугну... А рыба-то в такую жару и без меня на дне в тину спряталась, в холодок!»

Председателя Катерина нашла дома, за завтраком.

За столом сидели и сыновья его, два загорелых подростка с облупленными носами, в синих безрукавых майках. Оба походили на отца: черноволосые, с прямым и строгим взглядом зеленоватых глаз. Они о чем-то рассказывали отцу, перебивая друг друга. Но, завидя птичницу, замолчали.

Третий сын, малыш лет четырех, сосредоточенно строил из кубиков что-то ему только понятное. Кубики падали, и снова мальчик терпеливо ставил их один на другой, воздвигал невиданное сооружение.

Был он, в отличие от старших братьев, весь светлый. Золотистые кольца волос спадали на лоб, яркие голубые глаза смотрели на все с любопытством. Он суетился вокруг своего сооружения, перебирая шустрými босыми ножками, метался по избе, как солнечный зайчик.

Его прежде всего заметила Катерина и потянулась к нему с порога:

— Ах ты, топ-топ!

Малыш доверчиво посмотрел на нее и серьезно заметил:

— Я — Тепа, а не Топ-Топ...

Все время, пока говорила Катерина с председателем о делах фермы, она не сводила взгляда с ребенка.

Илья Назарович пообещал сегодня же послать на ферму подводу с клевером, обещал все, что требовала Катерина.

Надо было уже уходить, однако вдова не трогалась с лавки. Все в этом доме приносило ей непонятное спокойствие и мир.

Вот ребенок запнулся за половик и хлопнулся на пол. Катерина вскочила, но тот быстро поднялся на твердые ноги, расщеренными пухлыми ладошками провел по длинной розовой рубахе и сказал:

— Ничего... без мамы я не реву!

Братья за столом смеялись. До слез смеялась и Катерина.

Пришла мама. Это была высокая светловолосая женщина с задубевшим счастливым лицом. Она внесла в комнату корзину белья для подсиньки и поставила ее у порога.

Илья Назарович вскочил и с досадой по-женски всхлопнул руками.

— Да зачем же ты, Наташа, тащила белье?! Ведь я говорил, что приду за ним!

Женщина светло улыбнулась:

— Мало ли что! Все бы дела на себя перевалил!

Илья Назарович подошел к корзине, приподнял ее и проворчал:

— Перевалил! Ты ведь у меня одна дочь-то, тебя и поберечь!

А Катерина все сидела и сидела, глядя на всех жадными глазами.

Наталья спросила о здоровье старой Усольцевой, и Катерина отвечала что-то, оглядываясь вокруг.

— Вот пришла о кормах для птицы со мной говорить,— сообщил жене председатель.— А ее ли дело о кормах говорить? Хорошо Степаниде с такой птичницей: трудодни-то ей Катерина зарабатывает... Право, Измоденова, с тех пор, как ты на ферме, смотри, как хозяйство расцвело! И кормление организовано правильно, и уход, и содержание птиц... А яйценоскость как повысилась! И молодняк весь сохраняется! Сейчас тебе, Катерина, полегче будет с практиканткой-то. Она, видать, вдумчивая... Да и жить тебе с девчонками повеселее будет... Ты только их не балуй! Ты требуй с них! Требуй!

Катерина слушала его, опустив голову.

Наталья подсинивала белье в большом железном тазу, выжимала туго, до скрипа. Голубая вода плескалась, падая в таз.

— Ушли они от меня...— тихо сообщила наконец Катерина.

— Что так? Почему? — вскинулся председатель.

Катерина развела руками:

— Не угодила... — и смолкла, увидев, с какой жалостью смотрит на нее Илья Назарович, шевеля озабоченно рукой густую черную бороду. Да и Наталья, опустив руки с бельем в таз, глядела на Катерину с непонятной печалью.

Вдова поднялась и весело сказала:

— Ну, сидят, да и ходят! Прощайте-ка! — и направилась к выходу, стараясь держаться ближе к Степе, который все еще был занят строительством. Ей захотелось просто задеть ребенка рукой, тронуть за пушистый кудрявый вихорок, коснуться ладони. Дойдя до него, она присела на корточки и посмотрела мальчику в глаза. Они были светлые, в них зрела какая-то большая и радостная мысль.

Неожиданно Степан сказал:

— Ты хочешь реветь? А у тебя ведь здесь мамы нету?

— Я не хочу реветь, Степа...

— Хочешь... Ты упала?

— Ах ты, Топ-Топ! — шептала растроганно Катерина, идя от дома председателя по дороге.

Рыбаков-парнишек на берегу уже не было. Там стоял теперь механик МТС Антон Пьянков. Любка Смолякова, недавно вышедшая за него замуж, забрела по колена в воду, мыла босые ноги и чему-то смеялась.

Антон кидал в нее сосновыми шишками, она же плескала на него воду пригоршнями и не попадала. Он кричал победительно:

— Вот и промахнулась! Опять промахнулась, Любушка!

— Ну, подожди, черт, дома ухватом не промахнись!

Катерина прошла мимо и услышала, как Пьянковы дружно над чем-то захохотали.

Их смех, как плеть, ударил женщину. «Может, так же, как Гутька, надо мной скалят зубы!»

Ей хотелось крикнуть: «Да ведь я тоже была счастливой!»

Катерина обернулась и промолчала: Антон, протянув обе руки, тащил на берег из воды наигравшуюся жену.

Катерина пошла дальше, смеясь над собой: «Встань на пригорок, баба, и реви — замуж хочу! А замуж ли я хочу? Мужа ли мне надо? Да ведь нет! Надо, чтобы я кому-то нужна была! Очень бы нужна! Чтобы без меня кто-то ни пить, ни есть не мог... Принесла бы я домой дров ношу, а он бы мне и сказал: «И что ты опять схватила! Я бы сам!» А я ему: «Все бы дела на себя перевалил!» А он бы: «Так ведь одна ты у меня дочь-то»... Так бы и жили: я для него, он для меня... Друг другом сильные! Хорошо!»

Через двор птичника навстречу Катерине бежала Вера и кричала жалобно:

— Товарищ Измоденова, коршун цыпушку унес!

Гутька была здесь же, во дворе, жалась к стене, избегая смотреть на Катерину. Опаленное, размякшее лицо, рыбы тупые глаза — вся ее рыхлая фигура выражала уныние и готовность к наказанию.

— Эх ты, сырое мясо! — вырвалось у Катерины. И в самом деле, Гутька напоминала ей чем-то кусок мяса, размякший и водянистый, который ночью оставил в доме Пашка-моряк. Рассердясь еще больше, Катерина кричала: — Да тебя скоро самою-то коршун заклюет! Иди уж, карауль в сарае петухов! С этого дня к цыплятам и не подходи: не все из них мясом будут!

Она выбежала на выгул.

Цыплята, спрятавшись под навес, при виде Катерины спокойно начали выходить на солому, блестящую под солнцем. И скоро выгул стал белым, щебетал и возился.

Коршун снова взмыл в бездонное серебряное небо, постоял над выгулом и уплыл за мохнатое облако.

3

В грозу оставаться одной легче, чем в ясную лунную ночь: дождь постучит в крышу, ветер шевельнет скобкой ворот, молния ударит в окно яркой вспышкой и уйдет, небо прогрохочет, и чувствуется вокруг жизнь, ее трепет. Можно даже подумать, что все это делается только для того, чтобы напомнить: жизнь есть вокруг и ты — не одна!

Но когда луна засеет свой мертвый пепел в избу и переплеты рам лягут на половики крестами, а за печью спрячутся тени и вокруг все тихо, тогда кажется, что больше на свете никого нет. Есть сторожкая тишина, одиночество и страх за себя.

«Как же я буду жить? Кому я нужна?» — думала Катерина, лежа в постели и глядя в потолок.

На нем металась прозрачная узенькая полоска, как змейка, уползала и вновь извивалась, пересекая матицу.

Катерина знала, что это тень от шнурка, привязанного к ставню. Ветер шевелил шнурок, и он трепетал, пытаясь сорваться.

Но можно ведь подумать, что это змеится тоска, пока еще неясная, чуть живая: появится и уйдет. И от этого женщине жаль себя.

«И почему это соловьев у нас нет? Посвистели бы надо мной, пощелкали... А говорят люди, что когда-то соловей и к нам на Урал залетал... Свистел бы гнездо у меня во дворе... петь бы научил, а то у меня скоро и голос заржавеет...»

Катерина прокашлялась и тихонько затаила:

Зачем вечернею порою
Одна выходишь на крыльцо?

И рассмеялась: голос еще не заржавел. Тоненький и прозрачный, он нежно прозвучал в тишине. Уже увереннее и громче Катерина продолжала:

И горячею слезою
Моешь мутное кольцо?

У кровати легла тень темной большой головы. Катерина смолкла и, не шевелясь, следила за ней. Вот обозначились нос, усы, большие сильные губы. Кто-то заглядывал в окно.

«Небось опять пьяницы... — подумала женщина и решила: — Не открою, пусть по баням пируют...»

Рядом с первой возникла вторая тень. По окладистой бороде Катерина узнала Илью Назаровича и поднялась.

— Измоденова, открой-ка!

— Иду! — весело отозвалась та. Накинув платье, включила свет.

Войдя в избу, председатель подозрительно оглянулся, прошел к открытой в горницу двери, окинул ее пустоту взглядом и спросил:

— Одна?

— Под кроватью посмотри, Илья Назарович, не прячу ли кого! — сердито ответила женщина.

Тот виновато пояснил:

— Слышали мы песни у тебя, вот я и подумал...

— Одна я пела... Что мне не петь? Не ем, не пью, только песни играю...

Заметно повеселев, председатель примирительно сказал:

— Ну-ну, пой себе, это хорошо... Вот квартиранта я тебе привел. Еслипустишь, подтягивать песням будет... Бухгалтер у нас новый, из райзо прислали... Потом мы ему квартиру подыщем, а пока приюти его, сироту...

Сирота как вошел, так и остался у порога, с улыбкой слушая разговор о себе. Это был лысеющий мужчина, лет сорока пяти, высокий, с наметившимся брюшком. Над толстыми припухшими губами красовались светлые усики, тщательно подстриженные. И эти усики, и нежно очерченные щеки, и прямой, несколько мясистый нос — все в его облике говорило о мягкости характера.

Звали его Николай Петрович Златоустов.

Услышав фамилию, Катерина еще раз посмотрела на его рот. Губы были красиво изогнуты, но уже размягченные и слегка расплывшиеся.

Она улыбнулась.

Златоустов поставил у ног небольшой желтой кожи чемодан и сказал:

— Ну, вот и хорошо!

Он остался.

Провожая в сени Илью Назаровича, Катерина упрекнула его:

— Не оберегаете вы меня от худой славы, товарищи правленцы: к одинокой в дом мужчину ставите!

В сенях было темно. Только в притворе виднелся лунный двор. Но лицо председателя было в тени, и Катерина чутьем угадала, что он улыбается.

— Может, и кончилось твое одиночество: Златоустов-то тоже одинок!

И зачем только сказал это Илья Назарович!

Катерина долго не могла уснуть в эту ночь, прислушиваясь к мерному дыханию квартиранта за стеной.

Луна все так же заливала избу, только тени у порога стали прозрачнее, да ниточка-змейка не металась по матице.

А когда в горнице раздался мужской здоровый храп, женщина улыбнулась и уснула. Уснула сладко, как спит счастливый человек, который никогда не бывал одиноким.

Чуть свет ее разбудила Гутька, постучав в окно.

Было странно, что уже не луна заливала избу, а дневной свет, хоть и сумеречный еще, тогда как женщине казалось, что она только что прилегла.

— Дай ты мне маслица со стаканчик, у меня все вышло, — попросила Гутька, когда Катерина открыла окно.

Осторожно ступая, она прошла в чулан, наполнила маслом стакан. Было приятно, что теперь ей нужно оберегать чей-то сон.

Рассказав о том, что Федька в эту ночь был трезв, а ребенку стало лучше, Гутька ушла. Но только Катерина прилегла, в окно же постучал сосед и попросил железную лопату.

Катерина оделась, выскочила во двор, подала лопату. А когда вернулась в избу, квартирант спросил, не выходя из горницы:

— Они хоть возвращают что берут или как?

— По-всякому бывает, — охотно отозвалась женщина.

Николай Петрович, видимо, поднимался: скрипнула половица, брякнула пряжка ремня. Он по-свойски ворчал:

— Когда берут, должны возвращать... А вы должны требовать. Этак у вас весь дом растащат...

Катерине нравилось, что кто-то может на нее ворчать, нравился и легкий голос квартиранта. И чтобы он не смолк, чтобы продолжал так же по-хозяйски укорять ее в мотовстве, она произнесла:

— Думают, что вдове ничего не надо: все равно, даром добро пропадает!

Златоустов вышел в кухню, с видимым удовольствием оглядел женщину и сказал:

— Ну, здравствуйте, хозяйка!

И началась для Катерины новая жизнь.

С утра она готовила завтрак. Вместе они сидели за столом и вели такие разговоры, как в каждой семье.

С работы теперь Катерину тянуло домой: нужно было перестирать и перештопать квартиранту белье, навести чистоту в избе, вскопать огород. И каждый раз она видела: то исправлена у крыльца покосившаяся ступенька, то подметен двор. Это наполняло ее покоем.

Беседы их по вечерам были иные, не те, что утром, не впопыхах. Они говорили обо всем, рассказывали много и подробно о своей жизни.

Так узнала Катерина, что Златоустов никогда не был женат: упустил время, помешала война.

— Вот, может, теперь, — говорил он, утопив в блюдце глаза. И Катерина опускала глаза, чтобы спрятать от него свою надежду и радость.

А ночью, лежа в разных комнатах на своих постелях, они подолгу не могли уснуть. Притаившись, слушали ночные шорохи, которые порою неслись с улицы. И ждали.

Раз он сказал в тишине:

— Давайте ломаем эту дверь... Зачем она нас разделяет?

Катерина молчала. А когда он появился около ее постели, громко вздохнула: испугалась надвинувшейся неизбежности.

Утром, сидя за столом, Златоустов сказал мягко:

— Хоть бы ради такого дня ты меня омлетом покормила. Картошка надоела... Работаешь на птичнике, а не...

— На птичнике все приходится... — поспешно отозвалась Катерина.

— Ну, приходится! Спишем!

Завтрак прошел в молчании.

После ухода Златоустова Катерина немного заплакала.

По пути на птичник зашла к Илье Назаровичу и попросила отпустить ее на день в город.

— На птичнике за меня Вера останется...

Илья Назарович посмотрел в заплаканное лицо женщины и спросил, не спуская с нее глаз:

— А зачем тебе в город?

— Скучаю дома без кур, Илья Назарович. Ну, право,

весь бы день в птичнике проводила... хочу курниц купить... чтобы и дома...

И снова вздохнул Илья Назарович

— Узнаю, как... Завтра поговорим...

Вечером Наталья принесла Катерине двух пеструшек.

— Возьми-ка на развод... Может, ты их и выправишь: ну, ничего не несут мне, прямо измучилась... кормишь их даром... Ты хоть бы лекцию прочитала, как за курами ухаживать... Говорят, ты птичник-то подняла!

И снова Катерина заплакала, уже не понимая сама отчего.

Пеструшки несли отлично.

Через день Николай Петрович имел на завтрак омлет. Он был свободнее, чем Катерина, и любил повозиться с курами: готовил им корм из моркови, крапивы и отрубей. Наконец прикупили где-то еще одну курицу, красную и крупную и совершенно ручную, и назвали ее «Совой».

Через два месяца Сова заклохотала и стала насиживать гнездо.

И Катерина забыла о неосторожных словах сожителя.

Успокоенная и подобревшая, угорев от счастья и надежды, она ходила, гордо выпрямившись, серые глаза ее стали глубокими и блестящими. Когда она смотрела на Гутьку, та съеживалась виновато и пряталась в сарай, не в силах осмыслить чужое счастье.

Зато Вера ходила за Катериной по пятам, заглядывала в лицо, а однажды сказала:

— Зря мы тогда от вас ушли, Катерина Степановна... Без вас я столько времени потеряла... Может, сейчас пустите?

Они сидели на скамейке, на выгуле. Перед ними копошились цыплята, белое оперение которых погрубело, гребни набухли и покраснели.

Катерина резко выпрямилась, словно от толчка внутри, прислушалась, очарованно и сладко простонала.

Вера взглянула в счастливое ее лицо и упавшим голосом переспросила:

— Не пустите?

— О чем ты? — расслабленно прошептала Катерина.

— Не пустите теперь нас, говорю?

— Ой, Пчелка, не пушу, не сердись... — Проведя ладонью по груди, по животу, Катерина добавила: — Место

занято... — и молодо, звонко рассмеялась. — Топ-Топ... — непонятно для чего сказал она.

Катерине захотелось немедленно бежать домой, найти Николая, сказать ему наконец, что он — отец, и увидеть его радость. Но из-за ограды раздался голос Степаниды:

— Катерина, зайди ко мне!

Во дворе птичница увидела полусонную Гутьку. Та мешала корм.

— Давай помогу! — остановившись около нее, предложила Катерина. Но из каморки заведующей раздался новый раздраженный окрик:

— Катерина!

И та, весело кивнув Гутьке, оставила ее.

В каморке у Степаниды сидел и Илья Назарович. Он привстал, завидя Катерину, и начал, покашливая:

— Вот дело-то какое, Измоденова, уходит Степанида. На старость уходит... Придется ферму взять тебе... Не справляется она, сама вон говорит. А ты... — и заглянул в сияющие глаза женщины, — ты у нас, как дрожжи, все вокруг тебя бродит! Ну, так как? Не испугаешься?

— Вчера бы испугалась... — недоуменно покачала головой Катерина. — А сегодня — ничего не боюсь! — И удивилась сама: как много смелости и сил дал ей сегодняшний день!

5

Николая дома не было. В щелку сенных дверей было брошено письмо на его имя. Катерина взяла твердый конверт и улыбнулась: вот и в ее дом идут теперь письма. И сразу мысли ее забежали вперед, обгоняя время: вырастет ее «Тот-Топ», уедет учиться в город, а она будет получать от него письма.

Он ей напишет о людях, о их делах, о девушке, которую полюбит.

«Да что это я! Никуда он от меня не уедет!.. Ну, приди, Николай, скажи мне... Что же ты сейчас сказал бы мне?.. Вот что: «Дурочка моя! Что же он всю жизнь за твою юбку держаться будет?» Ну, приди, Коля, скорее, я тебе на твои слова вот что скажу: «К тому времени у нас на селе свои техникумы будут... И не скоро еще он от нас уедет... А девушки и у нас растут красивее и красивее. И всякое дело у них горит в руках...»

Необходимо было чем-то заняться до прихода Николая.

Женщина вышла во двор, посмотрела в курятник на Сову. Курица сидела, важно нахохлившись.

— Сиди, милая, сиди,— сказала ей Катерина,— хоть и поздненько, в самую осень, ты надумала, целую зиму твоих птенцов зря кормить придется... но — сиди... Может, что-то у тебя и выйдет... Да чтобы все курочки были! Да чтобы неслись в день по два раза!

В избе Катерина полила на окнах цветы. Увидев, что стройная хрупкая бегония расцвела ярким красным цветом, сказала:

— Вишь ведь, как девка-то выправилась! — и запела бездумно:

Не гляди на то, что дугою бровь,
Не в бровях кипит молодая кровь!

Ей хотелось уже что-то делать для него, для будущего человека, который давно уже дает о себе знать. Она открыла сундук и, разбирая старые платья, из которых можно выбрать пеленки, распевала:

Не гляди на то, что ксса до пят,
Не косою тебе одевать ребят..

«А ведь за первым-то может пойти и второй и третий! — раздумывала она.— И будет у меня большущая семья! Сядут все-то за стол: мать только подноси! А вырастут, Илья Назарович не нарадуется: «Ох, и работников Катерина Измоденова подняла! Сила!» А Николай к тому времени не только усы, а и бороду отрастит!»

Представив Златоуста с бородой, расхохоталась: «Как чудотворец!» — и неудержимой нежностью наполнилось к нему сердце.

— Чудотворец ты мой!

Осторожно взяв со стола письмо, она удивилась тому, что кто-то у него есть, кроме нее, какие-то нити тянутся к нему, а значит, и к ней, из других мест. «Земля-то матушка привольная!»

На обратном адресе на конверте стояло имя: Виталий Николаевич Златоустов.

«Брат, наверное,— подумала Катерина.— Но почему брат? Брат Петровичем звался бы, а тут — Николаевич!

Да ведь мой-то Николай! — вдруг подскочила она. — Уж не сын ли?!» Помедлила, опустив письмо на стол, но, собравшись вся, как всегда перед бедой, вновь взяла и вскрыла конверт.

«Отец, здравствуй!» — прочитала Катерина. Буквы заплясали перед глазами, едва складывались в слова. Мало понимая, она все-таки продолжала читать.

«Бросил... Писал тебе, что мама умерла... скрываешься... Знай, Ленька в тюрьме за хулиганство... Мне бы доучиться... работаю слесарем после ФЗО... Нинку не брошу, не навяжу на такого отца...» — выхватывали глаза с дрожавшего листа отдельные фразы.

Катерина опустила на лавку. Кружилась голова, к горлу подступала тошнота. Как в бреду, увидела она, что в избу вошел Златоустов, тщательно вытер ноги о половик. Услышала, как он спросил:

— Что ты, Катюша? Что с тобой?

И только когда он подошел к ней и поднял ее голову, она истошно закричала.

Очнулась Катерина в постели, с компрессом на голове. Около нее сидел Николай, гладил ее руку и шептал:

— Ну, вот ты и узнала... и мне вроде легче...

— Нет, легче не будет, — громко сказала Катерина и вздрогнула: таким чужим и треснутым показался собственный голос. — Не будет! Пока детей к нам не вывезешь... Сядут все-то за стол: мать только подноси! А вырастут — Илья Назарыч обрадуется: работники!

— Чего ты говоришь, Катя? Все-таки врача надо пригласить...

Сбросив с головы мокрую тряпку, Катерина резко села.

— Не надо врача! Я говорю: детей вези сюда! Мог бросить, моги и семью собрать!

— С ума ты сошла! Да Ленька тебя в первый же день обокрадет!

— Наша с тобой беда! А вдруг не обокрадет?

— Вороватый был... Теперь в тюрьме, читала?

— Поезжай, Коля, за ними! Нинка-то большая ли?

— Десятый...

— Ну вот, помощница мне будет...

— Да зачем они тебе? Живем тихо, спокойно... Не поеду я за ними... отвык от них... Ленька на своих ногах, Виталий Нинку вырастит...

— Не плети ты мне кружево! Зашей губы, чтобы лишнего не болтать! Ехать надо, понимаешь?

Николай выдержал ее умоляющий взгляд и повторил:

— Не поеду! Не твое это дело! Не вмешивайся в мою жизнь!

Его глаза смотрели на нее равнодушно. Он как будто и не услышал всего, что говорила она.

— Вымолвил каменное словечушко... Ну, хорошо же... — прошептала Катерина и, тяжело поднявшись, направилась в горницу.

В сердце было пусто, как с похмелья. Слез не было.

Спокойно собрала она вещи Златоустова в чемодан.

В открытые двери неся со двора его голос:

— Совушка моя, на-ка, я тебе принес, кушай, милая...

Катерина сказала, обращаясь к тому, к третьему, которого только она одна успела узнать:

— Ты прости меня, сынок, что без отца вырос... А о нем не жалею! Он сорняк сеет, так пусть не кральки и снимает... Не за того я его приняла... Он не отец: троих уже бросил... А теперь вот мы с тобой его выгнали, может, во сне только увидимся да поговорим...

Закрыв чемодан, вынесла его на крыльцо, в чулане взяла корзинку, подошла к курятнику, перед которым сидел на корточках Николай. Почерпнув ладонями наседку, вместе с гнездом посадила ее в корзину.

— Вот и все... Иди теперь... — сказала она Златоустову.

— Куда?

— У Степаниды Усольцевой изба просторная... С работы она уходит, все свое время тебе отдаст... А тебе с ней спокойнее будет: с ней уж ребят не наживешь!

— Ты с ума сошла, Катя!

— Сошла было, верно... А теперь в сознание иду... — Строгий голос в сердце говорил Катерине, что поступает она справедливо и что судить ее некому.

— А Сову мне зачем суешь?

— Ну как же! Ты покупал... Она тебе яички для омлета нести будет... Чем-то тебе ведь заниматься: хоть цыплят выхаживай! — говорила она, подталкивая его к калитке.

Подчиняясь твердому взгляду женщины, Златоустов пошел, задорно и смешно вскинув голову и еле толкая ноги вперед.

Курица в корзине встревоженно поднялась, но, похлопав, снова уселась, расщерив крылья.

Катерина проводила сожителя долгим взглядом и прикрыла калитку.

— Ну и все... шелкова трава следы заплетет...

Ветер похлопал Катерину по плечу, подвел ее к крыльцу и, обняв колени, усадил на ступеньку.

Она ждала: вот калитка откроется и Николай вернется. «Хорошо,— скажет,— Катя... Ты хочешь собрать семью, чтобы нам перед детьми стыдно не было... Я понимаю... и я поеду за ними. А там и еще один у нас с тобой поспеет... и будем жить! Хорошо мы жить будем!»

Во дворе стояла тишина. Две пеструшки молча щипали у межи травку.

Калитка и в самом деле стукнула, кто-то вошел во двор и остановился около Катерины. Она подняла глаза.

Илья Назарович смотрел на нее изумленно, словно не узнавая.

— Что глядишь? — хрипло спросила она.— Вот и глядит, как на чужую!

— Не узнаю что-то... Час назад с птичника ушла другая... Что случилось? От чего лицо-то отцвело?

Катерина молчала.

Почему-то шепотом Илья Назарович спросил еще:

— Златоустов дома?

Катерина покачала головой.

— У меня своего бухгалтера больше не ищи, председатель: на другую квартиру ушел...

— Почему? А я-то думал, что вы... Почему?

— Помнишь, ты говорил, что он мне в песнях подпевать будет? Ну вот: все мы песни с ним перепели... больше и петь не о чем...

Молча смотрел на Катерину Илья Назарович, не смея нарушить тишину, наполненную сознанием глубокого человеческого горя.

Перед ним на крыльце, подперев голову кулаком, сидела уставшая женщина с бледным и осунувшимся лицом. Глаза ее дремотно смыкались.

Но вот Катерина вздрогнула всем телом, выпрямилась. Лицо размякло, на нем застыло выражение счастливого ожидания, и прежняя молодая улыбка шевельнула губы.

— Тот-Топ...— прошептала она.

Доброе солнце, высунувшись из-за трубы на крыше, заглянуло во двор, дробясь листьями маленькой осинки, осветило женщину неровным светом, заиграло во влажных ее глазах.

В белом небе проворно летело легкое облачко; жаворонок с высоты посыпал двор вдовы веселым стрекотом. Его распластанные крылья казались хрустальными.

Осинка все время менялась от ветра и взмахивала белыми снизу листьями, колыхалась травка у межи.

Блуждающая, трепетная улыбка уже не сходила с лица Катерины.



Станислав Мелешин

В ДОРОГЕ

1

Грузовик мягко катил по наезженной дороге, потряхивая пустым кузовом на ухабах. Давно уже кончились ожидающие сева пашни, тяжелыми увалами уходящие за горизонт. Южноуральская степь медленно разворачивала свою однообразную и неяркую красоту. В бурой, скучной степи весело зеленели редкие поляны на влажных низинах возле одиноких берез.

По бездонному весеннему небу чертил ястреб, косо взлетая и падая, как камень.

В кабине было душно, пахло бензином, стоялым табачным дымом, и Зое хотелось спать.

Вдруг теплый майский дождь затанцевал перед кабиной. Летящие капли просвечивались в лучах солнца, становились разноцветными, будто стеклянными, и Зое казалось, что они звенят, падая под колеса. Она высунула руку в окно дверцы, подставила ладонь теплым стремительным каплям. Взглянув на хмурого шофера, она почувствовала досаду: как это Семен может быть равнодушным к этой светящейся и поющей влаге!

Семен яростно нажимал на педали, как бы стараясь обогнать дождь. Когда ливень перестал — так же неожиданно, как и начался, — Зое показалось, что Семен обогнал все-таки дождь, и она позавидовала его профессии.

Степь потемнела. Красно-лиловые облака сгрудились у горизонта за далекой березовой чащей.

— Красота-то! Земля сейчас, как лицо у человека...
Степь дышит!

— Что?.. Дождь?.. — не расслышав, переспросил Семен, передернув плечами. — Не хватало его! Еще зерно намочим.

— Не бойся, Сема, брезентом укроем!

Зоя радовалась: Семен заговорил. Исчезло наконец молчание.

С самого утра он не в духе. Нужно было ехать в соседний колхоз за зерном, его искали по всей деревне, а он сидел у вдовы Дементьевой. Отказывался ехать: голову ломило с похмелья. Ему было все равно, что их колхоз расширял этой весной посевную площадь за счет суглинистых пустошей! Давно уже не сеяли на этой земле хлеб, и пришлось брать займы зерно из семенного фонда соседнего колхоза.

Затаив обиду, Семен молча переключал скорости, рулил, хмуро всматриваясь вперед. Зою злило, что он опять замолчал, замкнулся в себе и не обращает на нее никакого внимания, будто ее вовсе нет в кабине.

— До чего же ты скучный! Польша, а не человек!

— Помолчи, таранта! — грубо бросил Семен.

Зоя растерялась и почувствовала, как внутри у нее похолодело. Наклонив голову, она тихо, по-детски произнесла:

— Я не таранта, а... Зоя Макарова.

— Скажите пожалуйста! — насмешливо протянул Семен и отвернулся.

Семен вдруг показался Зое далеким и чужим, с какой-то своей, непонятно прожитой жизнью. От его скуластой, будто каменной головы с белесым чубом веяло силой, суховатое лицо выглядело умным и скорбным. Зое захотелось прочесть его мысли и узнать о его боли, о его обиде. Ей вдруг стало грустно оттого, что она моложе его, меньше ростом и, наверно, глупее, и не может заговорить с ним, как с равным, как с другом или братом.

Равнодушие Семена и его тяжелое молчание Зоя объясняла тем, что он мало ее знает или просто считает девочкой, которая еще не понимает, что такое жизнь и как нелегко иногда бывает человеку.

Зоя была старшей в семье. Видя, как трудно отцу одному содержать и воспитывать четверых детей, она,

окончив семилетку, стала работать в колхозе учетчицей в колхозном зернохранилище.

Зоя встречала Семена и в поле, и в клубе, и в правлении колхоза. Она знала о нем только то, что он вернулся недавно из армии, что ему предлагали работать секретарем сельсовета, но он отказался, так как имел права шофера и любил, по его словам, «жизнь на колесах». По деревне о Семене шла недобрая молва: живет у вдов, часто пропадает где-то с машиной, пьянствует, опаздывает на работу, грубит, когда его совестят. При всем том Семен никогда не ввязывался в драки, любил свою старую мать, и Зоя знала, что многие девушки втайне вздыхают по нем и ревнуют друг к другу.

Он ей тоже нравился. Но Семен ее совсем не замечал и, как казалось Зое, даже не знал ее имени. В последнее время она часто видела его во сне. Во сне все было просто: она разговаривала с ним, он кивал головой и улыбался. А наяву, увидев Семена, Зоя стыдливо отворачивалась, краснела, ругала себя и больше всего боялась, чтобы он не догадался, что нравится ей, и не высмеял при всех. А сейчас он сидел рядом с ней, плечом к плечу, и казался ей не таким, как о нем говорят люди, а простым парнем. Зоя думала так потому, может быть, что Семен был сейчас у нее в подчинении и ехал с ней получать зерно, за которое отвечать будет она, учетчица Зоя Маркова...

Дикая степь кончилась. За окном машины, вплотную подступая к дороге, раскинулась свежая, хорошо проборонованная пашня.

Въехали в деревню. Проезжали по улицам мимо больших изб, мимо густых тополей, которые казались синими: наступал вечер.

— Быстрее, Сема, быстрее! — торопила Зоя.

Шофер покосился на нее, но ничего не сказал. Когда подъехали к семенному амбару, у Зои сжалось сердце: сутулый кладовщик с белесыми усами навешивал тяжелый замок на окованные полосовым железом двери амбара. Толстая девушка-учетчица стояла рядом и заплетала косу. Грузчики сидели в стороне и ели соленые огурцы с хлебом. У весов шмыгала серая от пыли курица, воровато оглядываясь, клевала просыпанные зерна.

Зоя на ходу выпрыгнула из кабины, крикнула нарочито веселым голосом:

— Здравствуйте, люди добрые! Я к тебе, товарищ Кожин. Подожди записать! Отпусти нас: вот накладные на зерно...

Кладовщик нехотя обернулся, нагнул голову, как бы говоря: «Это что еще за птица прилетела?» — и скрипуче засмеялся.

— Ничего не знаю, гражданочка. С этой минуты общественное кончилось — личное началось. И устал я! И спать пойду!

Зоя заметила, что кладовщик был весь рыжий, а толстушка-учетчица одета в плохо сшитое платье горошком. Стоит и улыбается Семену, бесстыжая!

— Да ты посмотри накладные! Вашим председателем подписаны... Срочно.

— Председателем? Вот и хорошо! — невозмутимо сказал кладовщик. — По форме, значит. Хе-хе!

Он покрутил большим ключом перед носом Зои и спрятал в карман. Зоя растерянно взглянула на Семена, не зная, что дальше делать, как пронять вконец обюрократившегося Кожина.

Семен стоял у радиатора и с интересом прислушивался к спору.

«Ему и горюшка мало, что придется назад порожняком ехать, — осудила Зоя. — Стоит, слушает, будто мы тут концерт для него разыгрываем!..»

Семен ленивой развалкой подошел к толстушке, поздоровался с ней за руку и, поглядывая на Зою, что-то сказал. Учетчица прыснула со смеху. Зоя вдруг остро возненавидела красивое улыбающееся лицо Семена и всю его сильную, ладную фигуру.

— Посторонитесь, гражданочка! — сказал кладовщик, отходя от амбара. — Отдыхать иду. Я ночь не спал.

Зоя загородила ему дорогу и тонким, срывающимся голосом крикнула, злясь сейчас больше на Семена, чем на кладовщика:

— Не уходи! Все равно с постели подыму!

— Не испугала! — отмахнулся Кожин. — Сказано: работа до шести ноль ноль... Закон! Завтра во-время приедешь — весь твой буду... У меня уж и сторож пришел.

Высокий старик с берданкой на плече остановился возле машины и дымил цыгаркой, как бы говоря: «Воюйте, граждане, мне-то што!» Все время чувствуя за спиной

присутствие Семена, Зоя заговорила быстро и гневно, размахивая накладными и наступая на кладовщика:

— И как тебе перед людьми не стыдно?! Такие, как ты, вроде палки в колесе... Одна потерянная минута на посевной — всей стране убыток, а ты заладил свое: шесть ноль ноль! Через таких вот равнодушных людей, как ты и... другие, у нас до сих пор и ошибок в жизни много!..

На минуту наступила тишина. Кашлянул сторож. Вспорхнула и побежала курица. Грузчики не хрустели больше огурцами. Семен отвернулся от толстушки и пристально смотрел на Зою, будто впервые ее увидел.

Кожин отступил на шаг и едко сказал:

— Масштабами бьешь, да? Молодая, грамотная, нас учить приехала, да?

Зоя приподнялась на цыпочки, собираясь крикнуть Кожину в лицо что-то самое гневное и обидное.

— Повремени, Зойка! — спокойно сказал Семен. — Не ешь дядю Кожина живьем: сырой он невкусный! — Широко шагая, Семен быстро подошел к спорящим, протянул руку кладовщику: — Привет начальству!.. Что, своих не узнаешь? На свадьбе твоего племяша пили-гуляли, позабыл? А я до сих пор помню, как ты тогда барыню отхватил — всем молодым нос утер!

Кладовщик кулаком расправил белесые свои усы и скромно сказал:

— Было дело!.. То-то я смотрю, фигура вроде знакомая. Что припозднился? Авария?

— В кювет машину завалил... — соврал Семен. — Не заставляй назад порожнем ехать, будь другом!

Кожин перевел глаза на Зою и сказал, сдаваясь:

— Только для тебя распорядок дня нарушаю. Ради старого знакомства.

Он вынул из кармана ключ и пошел к амбарной двери. Семен подмигнул Зое, и та поспешно отвернулась, чтобы Семен не видел, как она обрадовалась тому, что сейчас они получают зерно, что он оказался сознательнее, чем она думала, и что ему все-таки известно ее имя..

Но признательное чувство к Семену улетучилось очень быстро. Стоя в кузове, Зоя одна принимала зерно, разгребая его тяжелой лопатой. Семен, покуривая, опять болтал с толстушкой, пуская ей дым прямо в глаза. Учетчица чихала и кашляла, но, потеряв всякое женское самолюбие, от Семена не отходила. Зое было тяжело,

ныли руки. Она старалась не глядеть на Семена с учетчицей, не слышать их смеха, и зерно, которое ссыпали в машину грузчики, казалось ей горохом — жестким и тяжелым.

Когда погрузка окончилась, учетчица подписала накладные. Зоя взяла их и встретилась взглядом с Семеном. Она покраснела и стала читать накладные, держа их двумя руками перед лицом, как будто смотрелась в зеркальце. Пока Зоя накрывала брезентом зерно, Семен, не стесняясь чужих колхозников, рядился с невесть откуда взявшимися незнакомыми людьми, сидящими на узлах и рюкзаках. Подойдя вплотную к Зое, он спросил небрежно:

— Возьмем попутчиков? Выпить охота!

Зоя ответила громко и непреклонно, чтобы слышали все: и учетчица, и грузчики, и незнакомые люди:

— Никого мы не возьмем! За зерно я отвечаю.

— Понятно! — сказал Семен. — Благодарность за то, что я уломал Кожина...

2

Долгое время они ехали молча. На душе у Зои было как-то смутно. Хотелось поскорее приехать домой, сгрузить зерно и одной, на досуге, разобраться наконец, что за человек Семен и почему хорошие ребята не нравятся ей, а такой вот никчемный человек снится по ночам.

Семен просигналил: на дороге скакали воробьи, взлетая прямо из-под колес. Он усмехнулся, когда стая перелетела вперед и снова села на дорогу.

— Вот черти... перелетные! — сказал он и неожиданно спросил Зою: — Думаешь, обидела меня, что не дала на попутчиках заработать?

— Думаю, обидела... — осторожно проговорила Зоя, подозревая какой-то подвох.

— Ну и думай: может, волосы курчавей станут! — пошутил Семен, помолчал и добавил: — Плоховато ты все-таки обо мне думаешь, девонька!

— По заслугам, — ответила Зоя, и Семен заметно помрачнел.

— Да я, может, рад, что на выпивку не заработал! — выпалил вдруг он. — Рад! Можешь ты такое представить, Зоя Макарова?

— Представить я могу, а только... ничуть ты не рад, а так... хитришь только.

Семен покрутил головой, удивляясь, как трудно говорить с Зоей. Он насупился, не зная, как добиться, чтобы Зоя поверила ему. Семену почему-то очень хотелось этого — только бы верила и не сидела в кабине так строго, как прокурор.

Когда переезжали сухой овраг, машина накренилась на левый борт и как будто провалилась куда-то.

Зоя вскрикнула «ой!», схватила Семена за плечо. Семен усмехнулся, вывел машину из оврага и покатил быстро по ровной и гладкой дороге.

— Хорошо едем! — похвалила Зоя.

Семен давно уже знал, что шофер он хороший, но сейчас ему особенно приятно было услышать похвалу из Зоинных румяных уст. Он думал, что Зоя, наверное, умнее его и грамотнее, имеет свою определенную линию в жизни, и чувствовал, что он самую малость побаивается ее. Украдкой Семен с любопытством посматривал на Зою. Ему нравилось ее маленькое чистое лицо, тугие черные косы, строгий взгляд темнозеленых больших глаз, плотная литая фигура и маленький пухлый рот. Но вся она, когда говорила что-либо обидное для его самолюбия, казалась ему злой, чужой и далекой.

Невольно он сравнивал ее с другими девушками, которых знал, и не нашел в ней ничего особенного, что отличало бы ее от них, кроме душевной гордости и строгой самостоятельности, и недоумевал теперь, за что же он начинает ее так сильно уважать и даже побаиваться.

— Жен-щи-ны! — вслух сказал он, а про себя подумал привычное: «Все вы на один манер, только платья разные!..»

Заговорила Зоя:

— Сказку про колобок знаешь? Бабушка поскребла-помела по сусекам и спекла колобок.

— Ну и что? — заинтересованно отозвался Семен.

— Вот и мы сейчас такой же колобок везем в свой колхоз. Только зерно не на хлебы пойдет, а на посев.

— К чему это ты? Не пойму.

— Да так... в голову пришло. Тяжело людям хлеб достается, не как иным, которые легко привыкли жить..»

— А-а... — протянул Семен, догадался, что последнее

относится к нему, но не обиделся. — Сказочница, подумаешь...

«Перевоспитывать начинает!» — решил он, и ему стало весело. Он взглянул на белый и круглый Зоин лоб, на плотно сжатые губы и подумал о том, что она, наверно, еще ни с кем не целовалась. Ему захотелось вдруг крепко подружиться с ней, чтобы можно было говорить с ней обо всем, что придет в голову.

— Знаешь, — доверительно сказал он, — приехал я из армии — и скучно мне показалось. Друзей нету, все разъехалось кто куда. Одно только утешенье — работа вольная! Едешь один — и никого над душой...

— Друзья новые будут, — отозвалась уверенно Зоя. — И в деревне найдешь, да и люди теперь со всех концов едут к нам. Газеты ведь читаешь?

Семен поспешно кивнул головой, и Зоя поняла, что газеты он читает нерегулярно.

— Вот, говорят, пьяница я. А разве я сейчас так пью, как раньше? Просто выпью иногда... от скуки. А когда-то пил сильно, это верно. Вот слава недобрая и плетется за мной. Пей теперь — не пей, все равно пьяницей прослыл. Вот и пью — все равно уж!

— Хитро, ты надумал! — удивилась Зоя. И решила: «Одинок он. И работа для него — только обязанность. Нужно зарабатывать, чтобы мать кормить. А после работы — выпить от скуки. К вдове сходить — тоже от скуки...»

Семен, словно догадавшись, о чем думает Зоя, сказал:

— Что ж вдовы? Они тоже люди!.. Чего ты покраснела? Наверно, и у тебя есть кавалер — брюки клеш! Ведь есть, признайся?

— Целых три штуки! — выпалила Зоя, сердясь на Семена за то, что он не постыдился заговорить с ней об этом.

Семен безошибочно определил, что ни одного кавалера у Зои нет, повеселел и повел машину еще быстрее.

А потом грузовик долго взбирался на гору, натужно жужжа мотором. Семен покраснел от напряжения, руля и нажимая на педали ногами, на щеках вздулись желваки, глаза прищурились, и Зое казалось, что машина не хочет взбираться на гору и Семен тащит ее на себе. Она впервые подумала, что шоферская работа не такая уж легкая и Семен устал за рулем. Ей стало по-настоящему

жаль его, словно Семен был не чужим парнем, а ее родным братом.

В кабине теперь было не так душно, не пахло бензином и махоркой. Семен почему-то забыл о куреве, и Зоя хотелось сказать ему: «Ты долго не курил...» Она посмотрела на него свободно и открыто, заметила на щеке пятно машинного масла и капельки пота и инстинктивно потянулась к Семену, чтобы вытереть это пятно, будто оно было не у него на щеке, а у нее самой.

— У тебя щека измазана, на платочек.

Семен платка не взял, вытер ладонью обе щеки и благодарно кивнул Зое.

Когда одолели трудный подъем, оба вместе вздохнули и улыбнулись друг другу.

— Сейчас с горы покатым. Люблю... как птица летишь! — сказал Семен, нажимая на педали.

Зоя встревожилась. Впереди дорога была в колдобинах и выбоинах: пастухи здесь всегда перегоняют через дорогу стадо. Семен, усмехнувшись, блеснул озорным взглядом:

— Эх, и прокачу же я тебя, Зойка! Боишься?

— Я тебе прокачу! — и радуясь и осуждая, сказала Зоя и положила руку на руль, жалея, что не умеет управлять машиной.

Грузовик под уклон набирал скорость. В кабине стало холодно от встречного ветра.

— Осторожней, зерно не рассыпь! — крикнула Зоя.

У Семена хищно раздулись ноздри, лицо его стало неприятным. «Противный какой! — подумала Зоя. — На пьяного похож...» Впереди чернел кювет, дорога резко сворачивала в сторону. Семен затормозил, выровнял движение. Машина благополучно миновала поворот, и вдруг, когда Зоя уже облегченно перевела дух, грузовик развернулся, осел на заднее колесо и остановился на самом краю дороги.

— Вот и прокатил! — зло сказала Зоя, выпрыгивая из кабины на куст боярышника и не чувствуя сухих колючих шипов.

Семен вылез из кабины, виновато посматривая на Зою. Она хозяйственно ощупывала вялую покрывку колеса.

— Менять придется, Сема-шофер. Как вы думаете?

Семен промолчал, досадуя на то, что провозиться с ко-

лесом придется долго, до самой ночи. Солнце уже скрылось, наступил синий вечер.

Вдвоем подкатили к оси запасной скат. Зоя говорила сердито, будто этой аварией Семен лично ее обидел:

— Я думала, что ты хоть шофер хороший, а ты лихач... Видали мы таких лихачей! Они по жизни лихо прокатиться хотят и... часто шею себе ломают!.. Я тебя понимаю, как миленького: подобрала под тебя ключ!..

— Ну ладно, Зоя...

— А ты чего стоишь, глазами хлопаешь? Ремонтируй! — Зое понравилось растерянное выражение лица Семена. Она погасила улыбку и сказала убежденно: — Залежь ты! Тебя, как землю, тоже поднимать надо. Вспыхивать душу твою. У-у! Небритый, зарос! Эх, ты... транспорт!

— Начитанная ты... — отмахнулся Семен, накручивая домкрат.

Зоя наблюдала, как поднималось крыло машины. А потом Семен полез под кузов с гаечным ключом и остановился в нерешительности перед дождевой лужей.

Зоя поискала глазами вокруг доску или хотя бы щепку какую, но ничего не нашла.

— Эх, жизнь шоферская! — сказал Семен и плюхнулся в лужу.

«Привык по пьяному делу в лужах барахтаться — ему и ничего!» — решила Зоя. Семен распластался на спине, взмахивая руками, подтягиваясь, будто искал ногами точку опоры. Вид у него был работающий, старательный, и Зоя сменила гнев на милость: «Любит машину. Заботливый...»

— Подержи-ка! — деловито попросил Семен, протягивая из-под кузова гаечный ключ.

Рукоятка ключа была теплая: Семен нагрел ее своими большими руками.

— Готово! — Семен вылез из-под машины, выпрямился во весь рост и широко расставил руки, как бы собираясь обнять Зою.

Зоя отпрянула, засуетилась:

— Зерно-то цело?

Семен перевалился через борт, заглянул под брезент.

— Здесь... твой колобок!

Он спрыгнул на землю, по-мальчишески шмыгнув носом, встретившись с Зойкиными ласковыми глазами. По-

думал: «Легко с ней! Отчитала, а не обидно... Как это она? «Душу вспахивать!» — Усмехнулся: — Хм, таранта!»

— Поехали, поздно уже... — смутившись от его пристального взгляда, сказала Зоя.

— Куда спешить? — чувствуя непонятное волнение и радуясь степной тишине, спросил Семен.

В вечернем стеклянном небе угадывались первые звездочки, далеко разносилась по степи звонкая трель запоздалого жаворонка.

— Очумел, парень... Чтоб тебе ни дна, ни покрывки!

Зоя нагнулась сорвать стебель полынного и заметила, что чулок порван. Не стесняясь Семена, разулась, стала снимать чулки. Семен покраснел, наблюдая за ней, а Зоя, смотря снизу ему в глаза, сказала с осуждением:

— Отвернись... Мог бы и сам догадаться.

Семен медленно отвернулся. «Хм, тоже мне!» Стоял, переминаясь с ноги на ногу, чутко прислушиваясь, как шуршат чулки.

Поехали. Семен включил фары, и в степи сразу словно потемнело. Машина покачивалась, скрипели пружинистые сиденья. Взглянув на тормоз, Семен заметил на ноге у Зои царапину.

— Смотри, кровь...

Зоя улыбнулась ему, наложила на царапину платок.

— Пустяки!

— Жаль, бинта нет...

Семен вздохнул, а Зоя засмеялась и провела ладонью по его щеке. Задержалась на секунду и отдернула руку. От волнения у Семена перехватило дыхание. «Ласковая!» — подумал он и, не зная, как выразить свою радость, несколько раз подряд нажал пуговицу сигнала.

— В клуб придешь сегодня... Зоя Макарова?

— Не знаю...

Впереди затемнели избы родной деревни. От освещенных окон веяло домашним теплом.

Въехали в деревню. Фары выхватывали длинные плетни, стены изб и саманных домиков, телеграфные столбы, покосившуюся чайную.

«Бедная степная деревня!» — подумала Зоя и спросила Семена:

— Тебе нравится у нас?

Семен удивленно посмотрел на нее.

— А что? Жить можно. Людей вот маловато...

У зернохранилища Зоя спрыгнула. Сонный лохматый сторож в полушубке открыл ворота. Семен развернул машину и подкатил ее кузовом к ссыпным окнам. Зоя весело простучала каблуками по каменным плитам, устилавшим двор, отперла главную дверь и вошла в зернохранилище.

Семен остановился у запыленного радиатора машины, не решаясь войти вслед за Зоей. «Вот приехали — и уже чужие. Ей бы только зерно ссыпать, двери на замок — и домой. Все люди так... Взять и уйти сейчас! Окликнет или нет!»

Зоя вышла из зернохранилища, поправила платок на голове.

— Ну, дело сделано, — равнодушно сказал Семен. — Машина на месте, пора и шабашить...

Зоя растерялась, погрустнела. Ей не хотелось идти сейчас в правление колхоза, просить кого-нибудь помочь сгрузить зерно, не хотелось, чтобы Семен ушел, оставил ее одну. «Пусть еще поработает, — решила она. — Здоров, как бык, ничего ему не сделается!» Зоя сказала требовательно:

— Подожди, Семен. Помоги выгрузить зерно.

Она опасалась, что Семен посмеется над ней, скажет: «Не мое это дело. Мое — привезти зерно и чтоб машина в исправности!» Но Семен молчал и внимательно разглядывал радиатор. Его молчание разозлило Зою, она схватила лопату и сказала презрительно:

— Не хочешь, не надо. Устал, бедняжка!..

Семен огляделся вокруг, взял лопату у двери и молча полез в кузов. Выгружали неторопливо, молчали, старались не смотреть друг на друга.

Зоя осторожно брала на лопату зерно, наклонялась вперед всем корпусом к ссыпному окну, на ее возбужденном лице таилась чуть заметная улыбка.

«Душевно работает!» — отметил Семен, подражая движениям Зои, и пожалел, что раньше никогда еще не чувствовал такого удовольствия от работы. «Работать-то не тяжело, оказывается... М-да!»

Зерно было легкое, казалось, оно само ложится на лопату. Когда очистили кузов, Семен помог Зое спрыгнуть на землю, спросил:

— Устала?

Зоя кивнула головой и наклонилась, скатывая брезент в трубку.

Семен взвалил брезент на плечи и понес в открытую дверь зернохранилища. В нем было чисто и сухо. От рогож, пола и пустых дощатых сусеков веяло холодом. Зоя включила лампочку над столиком, села и стала раскладывать какие-то бумаги. «Начальница!» — подумал Семен, радуясь тому, что ближе познакомился с ней в этот день, что она ему теперь не чужая, что его тянет к этой девушке, которой доверили хранить зерно.

— Небогато живем, — сказал он, разглядывая пустые сусеки, и на минуту ему стало неловко перед Зоей, будто он один был виноват в том, что колхозные сусеки пусты.

«Вот снимем урожай, — подумал Семен, — день и ночь возить буду, набью сусеки доверху!»

— Тебе не скучно со мной? — спросила Зоя, повернув к нему освещенное лицо.

Она торопливо что-то писала, от электрического света ресницы ее просвечивались, щеки округлились. Семен ничего не ответил — занят был: любовался ею.

Он сидел рядом, отдыхал и думал о том, что курить здесь, конечно, нельзя: Зойка заругает. Придвинуться к ней и обнять — тоже нельзя: обидится. У него было сейчас легко и радостно на душе, одно только смущало — он не знал в точности, хорошо ли Зое с ним.

— А тебе не скучно со мной?

— Нет... — сказала Зоя и пояснила: — Мы с тобой сегодня хорошо поработали.

Семен поднялся и склонился над ее плечом, чувствуя, как в груди колотится сердце.

— Что пишешь?

Зоя запрокинула голову, и Семен, не в силах сдержаться, обнял ее за шею и поцеловал в теплые губы. Зоиные губы дрогнули и сжались — стали жесткими.

Он хотел поцеловать еще раз, но успел только провести ладонью по пухлым детским щекам и почувствовать теплоту ее плеч. Зоя быстро встала, оттолкнула Семена, а когда он попытался приблизиться, ударила его по щеке. Семен натужно засмеялся, потирая щеку. Она стояла пе-

ред ним, сжав кулачки, готовая обороняться, и ему больно было видеть ее такой чужой и безжалостной. Щека горела. Они молчали, стоя друг против друга. «Душу вспахивать начинает...» — подумал Семен и покачал головой.

— А я бы вот не ударил! — с вызовом сказал он.

Зое показалось, что он смеется над ней, ни капельки ее не уважает и поцеловал просто так, как всех целует, — от скуки. «Слабо я ударила его, — пожалела она. — Надо было изо всей силы стукнуть!» Она чуть не заплакала, но пересилила себя, строго сказала:

— Пошли, нечего тут рассиживаться! — И, пропустив его первым, повесила замок на дверь.

Семен взял из кабины пиджак, кинул на плечо и пошел к воротам, безразлично смотря себе под ноги. «Не придет в клуб. Озлилась. Эх! А я приду! Подожду, может, и придет?..» Из кармана пиджака посыпались папиросы, покатались по каменным плитам — белые и маленькие. Зое хотелось крикнуть: «Семен, вернись, папиросы рассыпал!» — но промолчала. За воротами послышался певучий грудной голос вдовы Дементьевой:

— Здравствуй, Семочка! Ждала я тебя, ох, ждала! Зайдешь ко мне? Хоть на минуточку...

Семен помедлил и проговорил с сильной усталостью в голосе:

— Ну, здравствуй, здравствуй... Не приду я. Видишь: помыться надо... Всю грязь с себя смыть...

Зоя постояла во дворе, пока затихли шаги Семена, и пошла домой — напрямик через площадь, не разбирая дороги.

4

Ночь нависла над деревней душная, темная. В избах тускло светились огни, слышался скрип чьих-то ворот, лай собак и плеск воды на реке: за день берега подсохли, и глина отваливалась глыбами в воду.

Семен, одетый в белую рубаху и лучшие свои брюки, выглаженные матерью, стоял у клуба лицом к афише, засунув руки в карманы. Из открытых окон доносились покашливание односельчан и зычный бас лектора. Зои не было нигде: ни в библиотеке, ни в биллиардной, ни в зале. «Значит, не пришла... или опоздала, придет потом?» От

нечего делать прочел афишу: «Сегодня лекция на тему «Есть ли жизнь на других планетах». Лектор — тов. Пряников». Усмехнулся: «Сладкая фамилия! Лектор, наверно, веселый человек: афишка с ошибкой, а ему хоть бы что».

Он спросил самого себя: «Есть ли жизнь на других планетах?» Решил, что, наверно, есть, и представил вдруг себе людей, живущих где-то там, в небе. Как и на земле, они также сеют хлеб, ходят в баню, выпивают по праздникам. Есть у них, наверно, и автотранспорт, и шоферы. Ему захотелось перелететь на чем-нибудь к ним и пожить там недельку-другую. Жизнь там, наверно, совсем иная, и законы ненашенские. Он почему-то был уверен, что шоферы там водят машины без прав, а работают — только когда душа пожелает. И девушки там не обижаются, когда их целуют парни, а только смеются и говорят: «Милый!..» Но нет там наверняка теплых степных ночей, умных лекторов, деревенского клуба, возле которого можно часами ждать Зою Макарову, да и такой, как Зоя Макарова, тоже нет...

Семену расхотелось перелетать на другие планеты. Пусть там живут те, кто живет, а он тут останется.

Зоя все не шла. Заглядывая в окна, Семен ходил вокруг клуба. Он видел толстого лектора с очками на лбу, тихие, внимательные лица слушателей. На задней скамье заметил два свободных места, словно оставленных для них с Зоей. Семен вздохнул и вспомнил о пощечине. Перед глазами встала Зоя — строгая и гневная. «Если придет, значит простила. Поцелую опять».

Обернулся на звук шагов за спиной, увидел, как метнулась в сторону чья-то фигура и пропала за изгородью у старой березы. Узнал по белой шали Марусю Дементьеву.

«Наблюдает за мной или случайно встретила? Наблюдает. Ждет. Стоит сейчас за березой и мнет пальцами свою белую шелковую шаль с кистями...» Вспомнил ее полные холодные руки и настороженные, злые глаза, когда он уходил от нее утрами; вспомнил виноватые вздохи и ту ее податливость и предупредительность, которые льстили ему... Почему-то он всякий раз отмахивался от слов матери: «Женит она тебя на себе, Семка. Ой, женит! Смотри...»

Семену стало жаль Марусю. Захотелось подойти,

обнять, пойти к ней в дом, где всегда есть вино, где жарко натоплено и пахнет березой. Маруся поставит на стол кувшин желтой крепкой браги с горькой твердой вишней, сама нальет ему стакан и, подперев голову рукой, будет смотреть ему в глаза, ждать ласки. А утром будет болеть голова и снова станет стыдно и тяжело на душе от мысли: «А что дальше? Проходят дни и недели. И вся эта жизнь и проста, и легка, и пуста...»

«Эх, Зоя-Зоенька, напрасно ты не пришла!»

Семен вздрогнул: в клубе вдруг громко захлопали в ладоши, зашумели, задвигали скамейками. «Всё узнали односельчане про жизнь на других планетах — теперь расходиться будут».

Он отошел от крыльца и снова различил в темноте за старой березой шаль. Покачиваясь, Маруся медленно уходила, словно ждала оклика: шаль плыла белым пятном над землей. Семен сам не заметил, как пошел за ней следом.

За поворотом, там, где избы спускаются к реке, Маруся исчезла, Семен постоял у стены бревенчатого сарая, закурил папиросу. Дальше идти не хотелось. Издалека доносились девичий смех и звуки баяна: в клубе начались танцы. Возвращаться в клуб тоже не хотелось. «Устал я что-то сегодня... Зерно привезли? Привезли! Сгрузили? Сгрузили! Точка!»

Вспомнил темнозеленые Зоины глаза, зажмурился и как будто снова ощутил ее теплые, мягкие губы. Завтра снова ехать с нею в соседний колхоз за зерном. Ему захотелось, чтобы завтра Зоя похвалила его за то, что утром он встал рано и машину ведет хорошо — лучше некуда, и чтобы она дважды сказала ему по-родному «спасибо» — когда он погрузит зерно у Кожина и после, когда он сможет сгрузить зерно дома...

Семен свернул в переулочек и направился к себе домой кружным путем — так, чтобы пройти мимо Зоино дома. Согнутым пальцем постучал себя по лбу. «Чудак! Думал, прибежит сразу... Люди разные бывают, это тебе не Маруся! Заслужить надо ее любовь, а как — пока неизвестно...»

По дороге Семен заглядывал в окна, узнавал односельчан, видел, как одни ужинали, другие укладывались спать. Посмеялся над собой: «Нет худа без добра — хоть выплещу сегодня!»

У саманного домика, где жили Макаровы, остановился, долго смотрел в окно. Поверх узкой занавески видно было, как сидит за столом Зоя, задумчивая и хмурая, а рядом с ней стоит долговязый отец и что-то говорит ей сердитое, сильно размахивая руками. В углу, прижавшись друг к другу, кучкой сидят три девочки — Зоины сестры; лица у них испуганные.

Семен подождал, не станет ли отец драться, не надо ли будет выручить Зою из беды. Но отец только говорил и размахивал руками, а драться, видимо, не собирался. Семену стало грустно, что повода зайти к Зое у него нет, и он поплелся домой.

«Может, потому она и в клуб не пришла, что в семье неладно?» Семен хорошо знал, что обманывает сейчас себя, но очень уж ему хотелось подыскать уважительную причину — почему Зоя не пришла? Обидно. Никогда раньше с ним ничего подобного не бывало. Он подумал с испугом, что жизнь его вступает в какую-то новую, неизвестную полосу. Любовь к Зое, наверно, будет трудной и нежной, какой ни разу еще не довелось испытать Семену в жизни, а случилось лишь видеть в кино...

В небе висели крупные звезды, поблескивая, как светляки, зеленоватым светом. Смолк баян, отчетливее стали слышны за спиной чьи-то шаги и приглушенный девичий смех.

«Не спится людям!..» — позавидовал Семен и постучал в окно своей избы.

